

НОВОЫЙ МИР

11

НОВОЫЙ МИР

Блокная
книга 2

1981

11



1981



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Л. И. БРЕЖНЕВ — Воспоминания	3
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Беспокойство, стихи. Перевел с балкарского Олег Чухонцев	27
БОРИС ПРИМЕРОВ — Два стихотворения	34
ВЛАДИМИР КАРПЕКО — Моя муза, стихи	36
ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ — У вечного огня, стихотворение	37
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ, ДАНИИЛ ГРАНИН — Блокадная книга. Часть вторая	38
ТАТЬЯНА АНДРОНОВА — Из лирики	204
ВАДИМ КОВДА — По грибы, стихи	206
АНАТОЛИЙ МЕХОНОШИН — Верстак, стихи	207
АКРАМ ШАРИПОВ — На сопках Маньчжурии, отрывок из документальной повести	208

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЕГ АЛЯКРИНСКИЙ — Жанр и жизнь. Американская действительность сквозь призму повести	223
Ю. ТРИФОНОВ — Как слово наше отзовется...	233

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	245
А. Лебедев. Человек из-под Ржева. — Лев Озеров. Вкус к жизни. — В. Хмара. С позиций социальности.	
<i>Политика и наука</i>	255
В. Буров. Какими они были. — Ю. Каграманов. Контркультура в зеркале науки. — С. Десятков. От Мюнхена к войне.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Леонид Жуховицкий.—Александр Родин. Летний зной. Рассказы. ♦ Равиль Бухараев.—Ильдар Юзеев. Тихое утро. Стихи и поэмы. ♦ Илья Фоняков.—Юрий Магалиф. Монолог. Стихи. ♦ Ю. В. Давыдов.—Б. М. Шахматов. П. Н. Ткачев. Этюды к творческому портрету. ♦ Т. Мотылева.—С. Апт. Над границами Томаса Манна. Очерки. ♦ Владимир Буданин.—Николай Кузьмин. Меч и плут. Повесть о Григории Котовском. ♦ Вл. Кузнецов.—Михаил Черноусов. Советский полпред сообщает... ♦ И. Трифильцев.—А. Б. Дитмар. География в античное время (Очерки развития физико-географических идей). ♦ Вл. Котовсков.—П. Топер. Овладение реальностью. Статьи	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

Л. И. БРЕЖНЕВ

★

ВОСПОМИНАНИЯ

ЖИЗНЬ ПО ЗАВОДСКОМУ ГУДКУ

1

Мне посчастливилось родиться, вырасти, получить трудовую за-
казку в рабочей семье, в большом рабочем поселке. Одно из
самых ранних, самых сильных впечатлений детства — заводской гу-
док. Помню: заря только занимается, а отец уже в спецовке, мать
проводит его у порога. Ревет басовитый гудок, который, казалось
мне, слышен по всей земле.

Радио не было, часов рабочие не имели, завод сам созывал их на
работу. Первый предупредительный гудок давался в полшестого
утра, затем в шесть — на смену, потом в полшестого вечера — преду-
предительный и опять на работу — в шесть. Народу в нашем Камен-
ском, будущем рабочем городе Днепродзержинске, было тогда два-
дцать пять тысяч, и весь отсчет времени, весь бытовой уклад, привыч-
ки, нравы, сам труд людей — словом, вся жизнь шла по гудку.

Я быстро одевался и босиком, не поев, бежал вслед за отцом.
Если он брал меня за руку, я гордо оглядывался вокруг: вот, дес-
кать, какой вырос большой, уже иду на завод, а мне тогда шел пя-
тый год. Из соседних домов, из боковых улочек и переулков выхо-
дили другие рабочие, нас становилось все больше, одеты были почти
все в потертые куртки и штаны из грубой «китайки». И мне, помню,
очень нравилось шагать вместе со всеми.

Тысячная толпа валила вниз, к Днепру, к Базарному спуску. Тут
отец оставлял меня, и вскоре его картуз терялся среди множества
картузов, кепок, войлочных шапок — я только издали видел как втя-
гивала смену черная дыра проходной. А лет, наверное, семи я и сам
первый раз вошел в эти ворота — с судками в руках, в которых нес
обед для отца.

Завод работал в две смены, каждая по двенадцать часов, а бывали
дни (при ломке смен), когда рабочие и по восемнадцать часов остава-
лись на производстве. Столовой не было, обеденного перерыва не по-
лагалось — наскоро перекусывали тем, что брали с собой из дома.

Некоторым еду в узелках приносили жены, дочери, сестры. Позже я узнал: отец и мать мои встретились не на гулянье, не в городском саду, не в гостях и не в клубе, которого, впрочем, в их пору и быть не могло, а здесь же, в железопрокатном цехе Днепровского завода.

Отец был помощником вальцовщика, а сварщиком на нагревательных печах стоял старый рабочий Денис Мазалов. Я его хорошо помню: кряжистый, немногословный, настоящий русский мастеровой. Родом он был из Енакиева, работал прежде в Никополе, на наш завод, перебрался уже с большой семьей, и обед ему часто приносила взрослая дочь Наталия. Вот здесь-то, у нагревательных печей, у стана «280», молодые люди и познакомились, а год спустя поженились. Отцу было тогда двадцать восемь лет, матери — двадцать.

Что можно еще сказать о своем происхождении? Родословных рабочие семьи, как известно, не вели. Знаю, что отец, Илья Яковлевич Брежнев, поступил на завод в 1900 году. Он пришел сюда из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда. Название деревни, как и фамилия наша, происходило, надо полагать, от прибрежного ее положения, а возможно, и от понятий «беречь», «оберегать», что вполне согласуется с крестьянским бережливым отношением к землекормилице. Землю ценили, защищали, берегли, веками поливали ее и потом и кровью. Но веками же бедность не покидала людей, иначе не пришлось бы отцу уходить на заработки из родных мест.

Между прочим, впоследствии жил с нами в одной квартире дядя Аркадий, по фамилии тоже Брежнев, но отцу он братом не приходился, а был земляком. Приехал, как все, на заработки, отец пустил его к себе, он вышел в металлурги и уже после этого, женившись на младшей сестре моей матери, стал нам родней, а мне дядей. По-видимому, как это повелось в русских селеньях, однофамильцев в нашей деревне было немало.

Таким образом, по национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной.

Возможно, именно тут уместно вспомнить родословную рабочего класса России. Бурный его рост начался как раз на рубеже XIX—XX веков, что и вызвало перемещения огромных масс народа, крутые перемены в жизни миллионов людей. Судьба каждого из них в отдельности могла показаться случайной, но общая их судьба была исторически обусловлена, можно сказать, предрешена технической революцией, которая совершалась в стране. И совсем не случай привел моих родителей именно на Екатеринославщину (в нынешнюю Днепропетровскую область), заставил обосноваться именно на юге России.

В этом краю счастливо соседствовали уголь Донбасса и руда Криворожья, железная дорога связала их, водная магистраль Днепра позволяла отправлять готовый металл машиностроителям Бежицы, Брянска. Все это, вместе взятое, а также неограниченные возможности привлечения дешевой рабочей силы тянули сюда не только российских предпринимателей, но и иностранных капиталистов. Днепровский завод, например, объединял бельгийский, польский и французский капитал («копитал», говорили у нас в слободке, имея в виду слово «копить»). Завод рос чрезвычайно быстро: с 1887 по 1896 год население в Каменском увеличилось с 2000 душ до 18 000.

Эти цифры приведены в книге В. И. Ленина «Развитие капитализма в России». «То, что прежде складывалось веками — писал он, — осуществляется теперь в какой-нибудь десяток лет». Много позже, будучи студентом, я читал этот классический труд и обратил внимание на то, с какой тщательностью и глубиной Владимир Ильич иссле-

довал рост металлургии Юга. Для меня, помнится, было очень важно, что великий вождь мирового пролетариата, анализируя общественно-экономическое развитие всей страны, окидывая взором всю Россию, видел и наш край, в том числе бывшее село Каменское, изучил его прошлое, знал настоящее, предвидел будущее.

В 80-х годах прошлого века по технической оснащенности первыми шли Санкт-Петербургская губерния, Московская, Киевская, Пермская, Владимирская, но уже в 90-х годах после столичной, оттеснив старые промышленные центры, шла Екатеринославская губерния. На Урале «число паровых сил» за десять лет возросло в два с половиной раза, а на Юге за то же время — почти вшестеро. При этом южные заводы в отличие от уральских использовали уже не древесный, а каменный уголь, чугун выплавляли уже не на холодном дутье и в выделке железа отбросили древний так называемый кричной способ.

«Насколько Урал стар, — делал вывод В. И. Ленин, — и господствующие на Урале порядки «освящены веками», настолько Юг молод и находится в периоде формирования. Чисто капиталистическая промышленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни традиции, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости определенного населения».

Все это, повторяю, я прочел и осмыслил позже, в студенческие годы. Но то, о чем писал Ленин, я видел и запомнил еще с детских лет. Многоязычный говор, толпы испуганных мужиков, стекавшихся к нам из разных губерний, бараки, сколоченные на скорую руку, и строительство домен, мартенов, мощных прокатных станов — помню все это до мелких подробностей. Завод, в ту пору самый крупный на Юге, возвышался над поселком. Все у нас тяготело к нему, и я, как и другие сыновья рабочих, знал, что вслед за отцом приду в цех, к живому огню. Об иной доле в поселке не помышляли. Завод громко гудел, напоминая о себе, и я знал: это моя судьба.

По тому времени завод считался хорошо оснащенным, но, разумеется, ни рольгангов, ни подъемных столов в цехе не было. Вагоны разгружались лопатами, уголь в топки тоже кидали лопатами, понуря лошадь возила черные слитки к нагревательным печам, у которых орудовал мой дед Денис. Отсюда раскаленные дробла «штуки» весом в полтонны крючьями волокли к стану, потом вручную перетаскивали с одного калибра на другой, а из последней клетки, ухватив щипцами еще горячую, но уже раскатанную, тонкую ленту, бегом тянули ее на плитовой наст, где металл должен был остывать.

Снова и снова замирал на своем месте (у нас говорили: «в петле») высокого роста, плечистый, в фартуке и чунях рабочий. Я хорошо видел: он весь в напряжении, клещи в любой момент наготове. Едва лишь вырвется из клетки раскаленная, шипящая, злая змея, как он тотчас ее усмирит и широким взмахом перебросит, «задаст» в другие валки. Сказочным силачом, великаном представлялся мне в тот момент человек. А это был мой отец.

Заметив меня, отец звал дядю Аркадия, или нашего соседа Луку, или еще кого-то из рабочих, чтобы подменили его, ополаскивал руки, лицо, выходил наружу, щурился на солнце и садился на чахлую траву обедать. Ел он молча. Иногда гладил шершавой рукой мою голову, спрашивал, что дома, как мать. Кончался обед всегда одинаково, отец говорил: «Иди гуляй». И я, не понимая, какой адюв труд снова ему предстоит, бежал со своими друзьями к дымящим трубам, за которыми кончался завод.

За краем построек рос краснотал, и в этих зарослях мы пробирались к Днепру. Берег в том месте был очень высок и обрывист. Мы смотрели сверху, и даль перед нами открывалась неоглядная. Внизу голубела вода, виднелся зеленый остров, поросший кустарником,

дальше все было подернуто синевой: вода, луга, заречные села Николаевка и Куриловка — для нас это уже был край света.

Детство есть детство. Тут, у Днепра, все для нас было радостью: сбегали вниз по обрыву, купались, переплывали на остров. Но только не весной. В разлив вода скрывала островные деревья, дальний берег едва был виден. Сейчас, вспоминая Гоголя — «редкая птица долетит до середины Днепра...», — я думаю, этот образ реки возник у него из памяти детства.

Память о детстве всегда приятна, но хотелось бы избежать ошибки, в которую нередко впадают авторы воспоминаний: прошедшее им рисуется в розовом свете хотя бы потому, что сами они тогда были молоды.

2

Наша семья жила в рабочей слободке, которая называлась «Нижняя колония», в Аксеновском переулке. Здесь я и родился 19 декабря 1906 года. Все в той же комнате явились на свет мои брат Яков и сестра Вера.

Забота о духовных потребностях жителей исчерпывалась тем, что в поселке Каменском были две православные церкви, католический костел, лютеранская кирха и еврейская синагога. Прочие «очаги культуры» начинались прямо у заводской проходной: трактор Стригулина, трактор Смирнова и еще бесчисленное количество тракторов, казенных винных лавок.

А к юго-западу от поселка, в «Верхней колонии», был совсем иной мир: стояли двухэтажные, просторные, благоустроенные дома администрации завода. Даже дым, извергавшийся из многочисленных труб — высоких и низких, круглых и восьмигранных, — отворачивал от них в сторону. тянулся почти всегда к рабочей слободе. Потом-то я понял, что тут учтена была роза ветров Приднепровья. По этой причине дымным было небо моего детства, слой копоти покрывал наши дома.

Рабочим на территорию «Верхней колонии» вход был строго-на-строго запрещен. Там светился по вечерам электрический свет, туда подкатывали пролетки на дугих шинах, из них выходили важные дамы и господа. Это была как бы другая порода людей — сытая, холерная, высокомерная. Инженер, в форменной фуражке, в пальто с бархатным воротником никогда бы не подал руки рабочему, а тот, подходя к инженеру или мастеру, обязан был снимать шапку. Мы, дети рабочих, лишь издали, из-за решетки городского сада, могли смотреть на фланирующую под духовой оркестр «чистую публику».

Чтобы хорошо понимать и ценить нынешнее, человек должен в истинном свете видеть минувшее.

«Такие каторжные условия, как на Каменском заводе, вряд ли где встретишь, — свидетельствует одна из большевистских листовок, распространявшихся в нашем поселке. — Где это видано, чтобы работа продолжалась пелый год без всяких праздничных дней и чтобы приходилось работать по двенадцать часов подряд, а иногда и по восемнадцать, не имея перерыва на завтрак и на обед? Где это слышано, чтобы с рабочих вычитали на ремонт зданий, на поправку машин и инструментов? Нашим кровопийцам, видно, мало тех барышей, которые они получают от нашего труда, и они, придираясь к каждому случаю, штрафуют нас... Вечно работая, вечно в грязи живем мы затем, чтобы кошелек хозяев был полон, а наши желудки пусты».

Революционная история рабочих юга России известна. Напомню, что первые социал-демократические кружки появились здесь еще в

1885 году. Был такой кружок и в Каменском, куда регулярно доставлялась ленинская «Искра». В разные годы по заданию В. И. Ленина в этом краю вели активную работу такие его ученики и соратники, как И. Х. Лалаянц, В. П. Ногин, В. А. Шелгунов, М. Г. Цхакая, Р. С. Землячка, В. В. Воронский, П. Н. Лепешинский, Г. К. Орджоникидзе. Но особо хотелось бы сказать о трех большевиках из плеяды первых рабочих, ставших сознательно на путь революционной борьбы.

Екатеринославский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» организовал в 1897 году Иван Васильевич Бабушкин. В. И. Ленин, как известно, называл его гордостью партии, народным героем. «Без таких людей,— писал Ленин,— русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации».

В кружке Бабушкина приобрелся к революционному движению Григорий Иванович Петровский. Имя этого рабочего-революционера, впоследствии видного деятеля нашей партии, присвоено заводу, на котором он работал токарем. В память о его заслугах и город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск.

Никифор Ефремович Вилонов — третий из тех, о ком хотелось вспомнить; он менее других известен. Между тем это тоже был герой и мученик освободительной борьбы. Летом 1903 года, когда стачечная волна охватила весь юг России, он стал в Екатеринославе членом искровского комитета РСДРП. Принял партийную кличку Михаил Заводской, да и был человек заводской, квалифицированный слесарь, истинный рабочий по духу.

Когда в эти места пришла весть о расколе, происшедшем на II съезде РСДРП, Вилонов сразу причислил себя к большевикам. Он написал большое письмо В. И. Ленину, но ответа не получил, потому что вскоре был арестован и сослан в Сибирь. А Владимир Ильич ему ответил, и эти письма встретились десятилетия спустя в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. На ленинском ответе сохранилась приписка, сделанная рукою Н. К. Крупской: «Мише Заводскому послано 22/XII».

Больше того, основатель нашей партии полностью поместил мнение «одного заводского рабочего из города -ва» в своей брошюре «Письмо к товарищу о наших организационных задачах». А встретились они с Вилоновым лишь через шесть лет, в Париже, и когда Крупская заметила, что из Екатеринослава им писал когда-то интересные письма Миша Заводской, Вилонов улыбнулся: «Так это я и есть». Тут только выяснилось.

Вилонов прошел обычный путь революционера — аресты, одиночки, тюрьмы, побег, новые аресты, ссылки. Жандармы бросали его в сырые карцеры, отбили ему легкие, довели до ранней чахотки. И все равно он вырос в одного из видных организаторов и пропагандистов партии, а в революцию 1905 года был в Самаре председателем Совета рабочих депутатов. Ему исполнилось в ту пору всего двадцать два года.

Уже смертельно больной попал он в эмиграцию, жил на Капри, оказался в самом центре фракционной борьбы. Время было тяжелое, под нажимом реакции шел идейный разброд, появились «отзовисты», «богостроители», «эмпириомонисты» и проч. Рабочему-революционеру непросто было разобраться во всем этом, но он безошибочно сделал свой выбор — пошел за Лениным. Известно письмо Владимира Ильича А. М. Горькому, где, рассказав о долгой беседе с Михаилом Заводским, он выражает глубокую веру, что рабочий класс выкует свою партию — «выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам. Такие люди, как Михаил, тому порукой».

Да, такие люди, как Бабушкин, Петровский, Вилонов и тысячи других, были тому порукой. И я пишу об этих беззаветных борцах, чтобы стало еще яснее, почему рабочий класс России шел всегда за В. И. Лениным, за большевиками, за великой партией коммунистов. В революции 1905 года рабочие-днепровцы принимали уже самое активное участие. Вслед за Советами рабочих депутатов в Петербурге, Москве, Иваново-Вознесенске, Киеве, Екатеринославе, Луганске и других крупных городах создан был Совет и в поселке Каменском. Тон в нем с самого начала задавали большевики и председателем был избран большевик И. М. Беседов, заводской электрик. Впоследствии мне приходилось с ним встречаться: после гражданской войны он был у нас председателем городского Совета, а затем директором завода.

Борьба продолжалась и после поражения первой русской революции. Несмотря на массовые аресты, несмотря на идейные шатания, меньшевики и эсеры сильных позиций здесь никогда не имели. Борьба ширилась, год за годом работали подпольные кружки, были стачки, проводились маевки. Например, 4 июля 1912 года «Правда» писала: «Вчера на Каменском заводе полиция арестовала 22 человека по обвинению в попытке устроить политический митинг». В одном из следующих номеров газеты сообщалось уже, что «на Каменском заводе арестовано 32 рабочих». Но боевой дух рабочего класса нельзя было сломить.

«Только подняв всеобщее вооруженное восстание от края и до края, — призывала листовка, ходившая на нашем заводе в 1916 году, — только разрушив окончательно дряхлую деспотию Николая II и учредив на ее развалинах демократическую республику, мы сможем предохранить себя от повторения ужасов человеческой бойни... Пусть наша борьба будет единой, всеобщей, ибо в единении — сила!»

Конечно, в те годы я этих листовок не читал, на маевки нас, мальчишек, не брали, да и вообще далеко не все было нам доступно и ясно. Но в этой атмосфере я рос, думы и чаяния рабочих были мне изначально близки, я приобщался к ним, слушая разговоры взрослых, видя их в трудные дни забастовок. Могу сказать, что с детских лет мне открылись лучшие черты рабочего человека.

Он великий труженик, ему присуще неиссякаемое терпение, он знает свое дело и привык делать его хорошо. Даже в царское время, даже в условиях эксплуатации ему претила плохая работа, ибо всегда он ценил мастерство и уважал свой труд. Почти все богатства, накопленные человечеством, созданы его мускулистыми руками, но сам он не привязан к собственности, душа его не убита корыстным расчетом, а живы в ней широта, удаль и вечная тяга к справедливости. Он находчив, смекалист, наделен живым умом и юмором. Он решителен, смел, верен дружбе, готов в любой момент прийти на помощь товарищам. Заводской гудок всех разом звал на смену, он же и сплывал рабочих, возникало высокое чувство единения, общности интересов, той пролетарской солидарности, которая миллионы людей, разных по возрасту, опыту, обычаям, национальности, делала могущественным, монолитным, подлинно революционным классом.

К этому классу я принадлежал по рождению, в этой среде был воспитан, с нею связан, можно сказать, кровными узами. Мой отец до конца дней оставался рабочим. Рабочими были мой дед, братья матери — мои дядья, и сам я, когда пришел срок, поступил на завод, а за мной следом брат, сестра, муж сестры... Семья Брежневых многие десятилетия своей жизни отдала родному заводу, нашу фамилию вы и сегодня найдете в заводских списках.

Скажу подробнее о семье, потому что именно тут лежат истоки характера человека, его отношения к жизни. Мои родители испытали на себе всю тяжесть царского гнета, жили большую часть жизни трудно, но дома у нас всегда царило согласие. Возможно, не обходилось и без каких-нибудь трений, но мы, дети, этого не ощущали, даже повышенных голосов нам слышать не пришлось.

Отец был человек сдержанный, строгий, нас он не баловал, но, сколько я помню, и не наказывал никогда. По-видимому, в том не было нужды: росли мы в духе уважения к родителям. Ростом отец был высок, худощав и, как большинство прокатчиков, физически очень силен. Черты лица имел тонкие, у него были хорошие, внимательные глаза. Отец всегда следил за собой, дома был чисто выбрит, подтянут, любил аккуратность во всем. И эти его привычки, видимо, передались и нам. Отцу в высшей степени было свойственно чувство собственного достоинства, он не лукавил, был прямодушен, тверд и его уважали товарищи. Видеть это нам, его детям, было приятно.

— Если уж ты обещал, то держи слово, — говорил мне отец. — Сомневаешься — говори правду, боишься — не делай, а сделал — не трусь. Если уверен в правоте — стой на своем до конца.

Так он и сам поступал, слова у него не расходились с делом.

Народ в поселке Каменском собрался разный. В администрации завода состояли французы, бельгийцы, поляки. Среди рабочих тоже было немало поляков, но больше местных — украинцев и очень много елецких, курских, орловских, калужских мужиков. Отец мой разницы между труженниками не делал, как мы сказали бы теперь, разделял людей не по национальному, а по классовому признаку. И для меня тогда, вспоминаю, сын урядника или купца-богатея, хотя они и русские, был чужим, а дети рабочих, тех же поляков, были свои.

После революции, когда завод перешел на восьмичасовой рабочий день и надо было укомплектовать третью смену, отца назначили фабрикаторм. Долгие годы он проработал вальцовщиком, считался мастером своего дела, однако новые обязанности требовали не только опыта, но и солидных знаний. Фабrikатор дает заявки в мартеновский цех, определяет, из каких болванок можно получить заказанные профили, какие выбрать марки стали, как вести термическую обработку, чтобы уменьшить потери тепла, и т. д. По существу, тут требовался уже инженерный расчет, а отец дошел до всего многолетней практикой и природным умом.

В советское время мы переехали на улицу Пелина, в новый заводской дом, где получили двухкомнатную квартиру на первом этаже. Одну из комнат отец уступил семье дяди. Жили мы дружно, весело, часто принимали гостей, пели песни, вели беседы до полуночи, и мать, бывало, никого не отпустит, пока не накормит. Дом стоял у станции Тритузной, тогда это считалось окраиной города, позади был зеленый дворик, цвели акации, утро начиналось с пения птиц.

Отец вышел в ударники, стал в 30-е годы стахановцем, был окружен уважением, детей поставил на ноги, мы все уже работали, помогали семье, тут бы отцу и пожить. Но он вдруг заболел и умер, когда ему не исполнилось шестидесяти лет.

Отец до последних дней жил заводскими заботами. Он всегда проявлял живой интерес ко всему, что происходило в стране, в мире. В моей памяти сохранился один разговор, который я часто вспоминаю потом и хотел бы здесь его воспроизвести. В тот день я пришел со смены и начал, как повелось, рассказывать отцу о заводских делах. Но отец думал о чем-то своем. Он перебил меня:

— Скажи, Леня, какая самая высокая гора в мире?

— Эверест.

— А какая у нее высота?

Я опешил: что это он меня экзаменует?

— Точно не помню,— говорю ему.— Что-то около девяти тысяч метров... Зачем тебе?

— А Эйфелева башня?

— По-моему, триста метров.

Отец долго молчал, что-то прикидывая про себя, потом сказал:

— Знаешь, Леня, если б поручили, мы бы сделали повыше. Дали бы прокат. Метров на шестьсот подняли бы башню.

— Зачем, отец?

— А там бы наверху — перекладину. И повесить Гитлера. Чтобы, понимаешь, издалека все видели, что будет с теми, кто затевает войну. Ну, может, не один такой на свете Гитлер, может, еще есть кто-нибудь. Так хватило бы места и для других. А? Как ты думаешь?

Весь век — рабочий, и такие мысли в голове. И когда? Еще за долго до войны, до нашей Победы, до Нюрнбергского процесса, пригвоздившего гитлеровских главарей к позорному столбу. Человек не изучал марксистской теории, но, как говорится, нутром чувствовал великую правоту нашего дела, видел опасность фашизма и очень верно выразил отношение рабочего класса, всех трудящихся к угрозе войны.

Мать моя, Наталия Денисовна, намного пережила отца. И если от него я воспринял, как говорили у нас, упорство, терпение, привычку, взявшись за дело, непременно доводить его до конца, то от нее мне достались в наследство общительность, интерес к людям, умение встречать трудности улыбкой, шуткой. Всю жизнь она работала, растила нас, кормила, обстирывала, выхаживала в дни болезней, и, помня об этом, я навсегда привык уважать тяжелый, невидный, конца не знающий и благородный женский, материнский труд.

Работая впоследствии в Запорожье, Днепропетровске, Молдавии, Казахстане, я пользовался каждым случаем, чтобы повидаться с матерью, всегда относился к ней с глубоким сыновним почтением. Скажу больше: человек, который не любит мать, давшую ему жизнь, выкормившую и воспитавшую его,— такой человек мне лично подозрителен. Не зря говорится в народе — Родина-мать: кто мать способен бросить и забыть, тот и Родине будет плохим сыном.

Я уже работал в Москве, а мать все никак не соглашалась переехать ко мне, жила в том же доме на улице Пелина, все в той же тесной квартирке — с сестрой и ее мужем, дельным инженером, выросшим до начальника цеха на нашем заводе. Позже я узнал — не от родных, они мне об этом не писали — такую историю. Местные власти сочли неудобным, что мать секретаря ЦК КПСС живет в такой квартире, и предложили более просторную, более светлую, со всеми удобствами. К тому времени, надо заметить, в Днепродзержинске широко развернулось жилищное строительство. Однако мать, как ни уговаривали ее, отказалась от переезда, продолжала жить в прежнем доме. Ходила в магазин с кошелкой, сердилась, если пытались уступить ей очередь, вела по-прежнему все домашнее хозяйство, очень любила угостить людей. До сих пор вспоминаю ее домашней выделки лапшу: никогда такой вкусной не ел. А вечерами в своей старушечьей кофте, в темном платочке она выходила на улицу, садилась на скамейке у ворот и все говорила о чем-то с соседками.

Находились, как водится, люди, которые знакомство с матерью Брежнева хотели использовать в своих целях, совали ей для передачи «по инстанциям» всякого рода жалобы и заявления. И, должен сказать, я поражался ее уму и такту, высочайшей скромности, с какой держалась она. Мне опять-таки ни разу мать ничего не говорила, а

узнавал я стороной, от других. Она считала, что не вправе вмешиваться в мои дела. Знала, как я уважаю ее и люблю, но если помогу кому-то по ее просьбе, скажем, с жильем, то это ведь за счет других, кто не догадался или не смог обратиться к ней. А те, может быть, больше нуждаются в поддержке. Так примерно думала мать, а говорила просто:

— Вот мои две руки.— И поднимала жилистые, изработавшиеся, старые руки.— Чем могу, я всем тебе помогу. Но сыну наказывать, чего ему делать, я не могу. Так что извини, если можешь.

В 1966 году мать переехала ко мне в Москву. Она дождалась правнуков, жила спокойно, в ладу со своей совестью, была окружена любовью всех, кто ее знал, гордилась доверием, которое народ и партия оказали ее первенцу, и для меня великим счастьем было после всех трудов сидеть рядом с мамой, слушать ее родной голос, смотреть в ее добрые, лучистые глаза.

4

Я еще не сказал: не только отец мой знал грамоту, но и мать умела писать и любила читать, что в пору ее молодости в рабочей слободке было редкостью. Лишь повзрослев, я понял, чего стоила родителям их решимость дать нам, детям, настоящее образование. А они хотели этого и добились: девяти лет от роду я был принят в приготовительный класс казенной мужской классической гимназии. Вспоминаю, мать все не верила, что приняли, да и вся улица удивлялась.

Детей рабочих прежде в гимназию вообще не допускали, да и тут не распахнули двери, а только чуть приоткрыли. По-видимому, с одной стороны, это вызывалось потребностями растущего производства, а с другой — сказывалось влияние революционных событий в России. Тем не менее для нас был устроен особый конкурс, брали самых способных, примерно одного из пятнадцати, и всего-то сыновей рабочих приняли в тот год семерых. Все прочие гимназисты приезжали из «Верхней колонии», принадлежали к среде чиновников, богатого купечества, заводского начальства.

Нас именовали казенными «стипендиатами». Это не значит, что мы получали стипендию, а значит лишь то, что при условии отличных успехов нас освобождали от платы за обучение. Плата же была непомерно велика — 64 рубля золотом. Столько не зарабатывал даже самый квалифицированный рабочий, и, конечно, отец таких денег при всем желании платить бы не мог.

Учился я, как, впрочем, и все мои друзья, хорошо. Во-первых, нравилось узнавать новое, во-вторых, отец строго следил за моими занятиями, а в-третьих, учиться плохо было попросту невозможно — для нас это было бы равносильно исключению из гимназии.

Отношение к нам, сыновьям рабочих, было иное, чем к гимназистам из «Верхней колонии». И нас зло брало и азартное желание доказать, что неправда это, будто мы неспособны к наукам, что не глупее мы сынков из богатых семей, которым многое прощалось.

Любимым нашим учителем был историк Ковалевич. Он прекрасно вел свой предмет, рассказывал не только о царях, но и о Разине, о Пугачеве, от него я узнал впервые о восстании декабристов, услышал имена Чернышевского, Герцена. Он учил нас думать, понимать закономерности развития общества и, как я понял впоследствии, далеко выходил за рамки официальной программы. Конечно, мы не догадывались, что лучший из наших учителей — большевик, подпольщик, и узнали об этом позднее, когда денкиинцы расстреляли его. Сейчас в городе Днепродзержинске есть улица Ковалевича. Возможно, не все молодые знают, в чью честь названа она, и я рад, что могу об этом сказать.

Февраль семнадцатого года докатился до Каменского раскатами отдаленного грома. Самодержавие рухнуло. Однако война продолжалась, очереди за хлебом не уменьшились, на земле по-прежнему сидели помещики, заводами по-прежнему владели фабриканты. И у нас «Верхняя колония» все так же свысока, хоть уже не без страха, взирала на «Нижнюю». Хозяева остались хозяевами, рабочие — рабочими.

Совсем по-иному запомнились, я бы сказал, навеки врезались в мою память великие дни Октября.

Заводской гудок заревел вдруг в неурочный час. Время как бы раскололось, переломилось надвое, начало свой новый отсчет. Это было совсем необычно для нас, и мы вслед за отцами кинулись к заводу. Едва ли не весь город бежал туда, люди высypпали из цехов, грозно гудели людские голоса, безграничное море голов бушевало на площади. Видны были солдатские папахи раненых, вернувшихся с фронта, кое-где мелькали женские платки, но больше всего было металлургов, рабочих. И мне запомнилось ощущение всеобщего подъема, настоящего торжества.

Начался митинг, на котором выступил М. И. Арсеничев, первый руководитель каменских большевиков. Он работал у нас в котельном пехе, рано втянулся в революционную борьбу, печатал и распространял листовки, потом, когда за ним установили слежку, уехал в Петроград, прошел славный путь подполья, не избежал и сибирской ссылки, был среди тех, кто встречал В. И. Ленина на Финляндском вокзале, слышал его знаменитую речь, кончавшуюся призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Впоследствии Арсеничев был в годы гражданской войны расстрелян белыми, и учиться мне довелось в Metallургическом институте имени Михаила Арсеничева.

Тогда на митинге он говорил о великой победе пролетариата, рассказывал о II Всероссийском съезде Советов, объявил о том, что образовано первое в мире рабоче-крестьянское правительство, а во главе его стоит Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Народ пришел в движение, раздались крики: «Ура!» И еще я помню, с каким замиранием сердца, задрав голову, смотрел на красное полотнище, реявшее на фоне осеннего серого неба.

Каждое поколение, хочется добавить, получает в наследство от предшествующих поколений то, что было ими завоевано, добыто, построено, сделано. и идет дальше, продолжает свой путь — уже на новой высоте, на новой ступени исторического развития. Молодым кажется порой, что все главное осталось позади. Позади революция, позади бои гражданской войны, годы социалистического переустройства гигантской страны, позади героика Великой Отечественной войны... Так думают юноши и девушки, но наступает их время, эстафета от дедов и отцов переходит к ним в руки, и тогда выясняется, что и на их долю выпадают немалые испытания и величественные дела.

Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена. Задачи немислимых прежде масштабов мы можем поручать комсомолу, всем молодым людям Советской страны и видим, что им присуще благородное чувство личной ответственности за все, происходящее на нашей земле, что во всякое начинание они вносят свой романтический порыв и, я бы сказал, молодую окрыленность. Молодежь растет коммунистически убежденной, глубоко преданной делу партии, делу великого Ленина, верной идеалам Октября.

Вот об этом и думаю я, вспоминая красное знамя революции, реявшее на фоне хмурого осеннего неба. Никогда не уйдет из моей памяти приход Октября в наш рабочий поселок. Знамя поднято было высоко-высоко, на трубу доменной печи номер один.

* * *

Велика была сложность социального бытия в годы моей юности, на сломе эпох. Днепровцам пришлось тогда нелегко: власть Центральной Рады сменили немецкие войска, за ними появился Петлюра, в январе 1919 года его выбила из Каменского конница Красной Армии, но спустя полгода пришли белые, а там махновцы, григорьевцы. Всякая шушера вылезала на поверхность, витийствовали на собраниях украинские «самостийники», меньшевики, кадеты, эсеры, анархисты. Политическое воспитание мы в те годы проходили весьма наглядное, мужали, как говорится, не по дням, а по часам.

И вот что хотелось бы еще раз подчеркнуть: город наш был рабочий, население в большинстве своем было рабочим и потому пролетарскую революцию у нас всегда считали своей, партию большевиков — своей, власть Советов — своей! То есть проблемы выбора, самого вопроса, с кем идти, чью сторону держать, у рабочих-днепровцев не было. Мой отец, например, в партии, а точнее ни в каких партиях не состоял, но с первых лет революции активно поддерживал большевиков, и позже, когда я вступил в комсомол, а затем стал членом Коммунистической партии, отец и мать встретили это как большие и радостные события.

В первые трудные послереволюционные годы, едва только отгремели выстрелы гражданской войны, в литейном цехе нашего завода был отлит из чугуна памятник, можно сказать, уникальный. Он и сегодня стоит на одной из красивейших площадей Днепродзержинска. На высокой колонне поднялся легендарный титан Прометей, оковы его сорваны, в руке у него огненный факел, у ног — поверженный орел, веками терзавший его. Символика эта очевидна и в годы моей юности была понятна всем. Мы ведь помнили, как повержен был двуглавый царский орел, а животворящее пламя всегда было в руках металлургов. Они создали гимн из металла тому, кто похитил у богов и навеки подарил людям огонь. Это памятник Прометею и одновременно — монумент рабочему классу.

Настал знаменательный день моей жизни. В свои пятнадцать лет я стал рабочим. Гимназия, преобразованная в Первую трудовую школу города Каменского, выдала мне свидетельство об окончании школы. Надо было работать, помогать семье, меня взяли на завод кочегаром, потом перевели в слесари, и я довольно быстро освоил эти профессии. Завод давно был мне знаком, цеховой шум, грохот, запах нагретого металла — все здесь мне было по нраву.

Итак, пришел заветный день, когда заводской гудок прогудел и для меня, вместе с отцом я вышел на смену и трудился, как все. Ныли до ломоты мускулы, пот слепил глаза, но был я по-настоящему счастлив. И потом была радость: вернулся домой, скинул дочерна прокопченную фуфайку, и мать, как, бывало, отцу, сливала студеною воду на мои руки и я отмывал лицо. Помню, поднял голову и увидел слезы в ее добрых глазах.

— Чего ты, мама?

— От радости, Леня, от радости. Вот и ты уже стал кормильцем.

Мне приходилось однажды об этом говорить, но здесь повторю: я всегда помню своих наставников и старших товарищей, с которыми работал на Днепровском заводе. Они дали мне первую профессию, учили меня сложной науке жизни, показали великую силу и духовную красоту человека труда.

Такие университеты не забываются.

ЧУВСТВО РОДИНЫ

1

Чувство родины у всех у нас развито очень сильно. Прекрасное чувство! И оно питается, конечно, не только созерцанием красоты нашей земли. Надо, как говорится, врасти в нее корнями, и когда человек до дота потрудится на ней, хлеб вырастит, заложит город, построит новую дорогу или окопы будет рыть на этой земле, защищая ее,— вот тогда он поймет до конца, что такое Родина.

Говорю об этом к тому, что в начале 20-х годов началась для меня пора узнавания родной страны. На поездах, на речных пароходах, иногда верхом на лошади, а больше пешим порядком пришлось «отмерить» многие тысячи километров. Началось все с поездки в края, откуда был родом отец. На курской земле я узнал, что такое крестьянская жизнь, приобщился к труду хлебороба.

Расскажу, чем вызван был такой крутой поворот в моей жизни. Разруха после гражданской войны совпала со страшной засухой в Поволжье. Тогда же, в 1921—1922 годах, засуха и голод обрушились также на Украину. По всей Екатеринославщине горели посевы, в день на рабочего давали полфунта хлеба, да и то не всегда. Но пока пылал огонь в печах, пока дышали трубы, пока работал завод, работали и мы. А потом настал черный день, когда пришлось остановить Днепровский металлургический завод.

В цехах воцарилась тишина, повсюду было запустение, подъездные пути с поразительной быстротой стали зарастать бурьяном, которому и сушь была не страшна. Люди разъезжались по окрестным селам, меняли что могли на продукты питания. Некоторые прихватывали с завода полосовое железо — богатые селяне брали его на обручи. Наша семья такой предприимчивостью не отличалась, да и для обмена, как выяснилось, мы ничего не накопили. Отец и я перестали быть кормильцами, а стали едоками.

Жизнь в Каменском утратила всякий смысл. Открыли биржу для безработных, но работы от этого не прибавилось. Пошли болезни, начался голод, каждый день в соседних домах кто-нибудь умирал. Город обезлюдел, пришлось и нам сниматься с места. Помню, уходя, я оглянулся в последний раз — проститься с заводом, и увидел на трубах, на эстакадах, на крышах цехов черные вороны гнезда. Впечатление осталось тяжелое: вверху кружило воронье, внизу стоял омертвевший завод.

Таким образом, возвращение к земле оказалось вынужденным. Но по молодости меня и радовало нежданное путешествие, оно было первым в моей жизни, к тому же давно хотелось побывать на родине отца, испытать себя в сельском труде. Я уже хорошо понимал, как важен этот груд для народа, жизненно необходим для страны, познавшей истинную цену хлеба. И когда пустили снова Днепровский завод, когда отец с матерью и младшими детьми вернулись домой, то, как ни тянуло меня в родной цех, я счел себя обязанным остаться и долго еще работал в сельском хозяйстве — на курской земле, в Белоруссии, на Урале.

Вот с той поры и открылись во мне две привязанности, о чем хочу теперь рассказать. Уважение к сельскому труду передалось мне с детства — от родителей, от всей обстановки Каменского и окрестностей. Поселок наш был особенный. Наполовину Каменское оставалось селом, хоть и жил в нем настоящий, заводской закалки пролетарят. В самой душе пролетариев жил дух недавних крестьян. Отец

частенько рассказывал, как сам он «мыкал крестьянство». Лиха в той жизни было немало, но я видел, с какой тайной печалью и нежностью отец говорил о сельском приволье, о пахоте, сенокосе, о молотбе, о хлебе, добытом своими руками. И, конечно, совсем не случайно отношение к хлебу было в нашей семье предельно уважительное. Веселое присловье матери, которое каждый день звучало у нас за столом, запомнилось на всю жизнь: «Ну, ребятки, поели, а теперь каждую крошку — в ладошку!» Не от скудости и не от скупости родились в народе эти слова. Они воспитывали в детях бережное, я бы сказал, священное отношение к хлебу.

Без такого отношения к хлебу насущному не может, я считаю, вырасти достойный, нравственный в полном смысле этого слова человек. Сейчас в столовых, в кафе и булочных стали вывешивать красиво оформленные призывы беречь хлеб. Это, конечно, полезно. Однако грустно, что понадобились такие призывы. Бережливость должна прививаться с раннего возраста, и в первую очередь в семьях родителями.

Здесь уместно будет напомнить, что в 1918 году управделами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич спросил: «Владимир Ильич, можно ли одним словом выразить, за что мы сейчас боремся?» Не задумавшись ни на минуту, В. И. Ленин ответил: «Хлеб». Он писал в те годы, что борьба за хлеб есть борьба за социализм.

Мысленно возвращаясь к годам своей молодости, я вижу сейчас: работа на селе была очень нужной и важной для государства. И я тут многому научился и многое понял. Впоследствии я вернулся в Днепродзержинск, пришел на завод, стал инженером-металлургом, но само время не дало полностью отгородиться от сельских дел. Они пересеклись с опытом заводской жизни, соединились, дополнили друг друга. Всю дальнейшую жизнь мне едва ли не в равной степени довелось заниматься и тем и другим. Две привязанности слились в одну. И я благодарен судьбе за то, что она дала мне уроки жизни и на крестьянском поле и под крышей завода.

Однако я забежал вперед, а тогда, узнав жизнь деревни в один из самых тяжелых периодов, поработав и на пахоте, и на севе, и на косовице хлебов, по-настоящему привязавшись к земле, в 1923 году я поступил в курский землеустроительный техникум. Сдавал конкурсные экзамены и прошел неплохо — дали мне повышенную государственную стипендию.

Техникум был старинный, с хорошей учебной базой, давними прогрессивными традициями. (В нем, между прочим, учился и В. Д. Бонч-Бруевич.) За четырехлетний период обучения мы получали основательные знания по математике, физике, химии. На институтском уровне изучались специальные предметы — геодезия, общая геология, почвоведение, география, сельскохозяйственная статистика. Мы читали ленинские труды — не в привычных теперь томах собрания сочинений, а в тонких брошюрах, еще пахнувших типографской краской. Мы изучали советское строительство, государственное право СССР, и на первой же практике в Щигровском уезде я убедился, что землеустроителю эти знания не только теоретически, но и практически очень нужны.

Семнадцати лет меня приняли в комсомол, и после этого я считал себя обязанным участвовать во всех общественных начинаниях. А было их, надо сказать, немало. Мы выходили на красные субботники, проводили массовые кампании «Долой неграмотность!» и «Помощь беспризорным!», открывали в деревнях избы-читальни, выпускали стенгазеты, ставили спектакли, проводили сельские сходы, разъясняли батракам их права, и на все нас хватало, до всего нам было дело.

Пришлось тогда усвоить одну истину: время имеет не только протяженность, но и объем. Можно бесцельно транжирить, убивать свои дни и часы, а можно их сжать, уплотнить, загрузить до предела. И тогда окажется, что очень многое успеешь сделать.

Жилось нам в общезитии на Херсонской улице иногда голодно, холодно, одеты мы были кто во что горазд: носили сатиновые косоворотки, рабочие промасленные кепки, кубанки, буденовки. Галстуки в те времена мы, разумеется, отвергали. Но комсомолия 20-х годов жила ярко и интересно. Нужды страны были нашими нуждами; мы мечтали о светлом будущем для всего человечества, шумели, спорили, влюблялись, читали и сами сочиняли стихи.

Знатоками поэзии мы себя не считали, превыше всего ставили актуальность, политическую направленность стихов. И поэты были у нас свои, комсомольские.

Однажды я ехал по железной дороге, в том же вагоне сидела девушка моего возраста, тоже студентка. Разговорились. Девушка показала тетрадь со стихами, какие обычно собирают в альбом. И вот что характерно: в этой тетради оказалось стихотворение, которое прежде я никогда не встречал, — «На смерть Воровского». Мы тогда тяжело переживали убийство нашего посла, стихи взволновали меня, тут же я выучил их наизусть. С первой строчки — «Это было в Лозанне...» — и до последней строфы:

А утром в отеле с названьем «Астория»
Посол наш убит был убийцы рукой.
И в книге великой российской истории
Жертвой прибавилось больше одной.

Помню, приехал в Курск Маяковский. Разумеется, мы, комсомольцы, прорвались в железнодорожный клуб, где был его вечер. Чисто одетая публичка встретила поэта в штюки. «Вот вы считаете себя коллективистом, — кричали из зала, — а почему всюду пишете: я, я, я?» Ответ был немедленным: «Как, по-вашему, царь был коллективист? А он ведь всегда писал: мы, Николай Второй». Шум, хохот, аплодисменты. Или еще такой эпизод. Из последнего ряда поднялись двое молодых людей, для которых, видимо, интереснее было побыть наедине, а не слушать Маяковского. И вот, когда они медленно пробирались вдоль ряда, раздался мощный голос поэта. Вытащив руку в направлении к ним, Маяковский сказал: «Товарищи! Обратите внимание на пару, из ряда вон выходящую». И опять бурный взрыв смеха, аплодисменты.

Маяковский читал отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Слушали не дыша. Смерть Ильича мы пережили совсем недавно, всенародная боль оставалась для каждого из нас глубоко личной болью.

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.

Эти слова звучали с необычайной силой. Маяковский говорил спокойно, как бы вслух размышляя, но бас его доходил до последнего ряда. И действительно, он «сиять заставил заново» самые высокие для нас понятия.

лир и мерная рейка, куда прокладывалась трасса, по тому, как проявлял себя человек в столкновениях с кулаками, крестьяне судили о политике партии: здесь, на поле, всем становилось ясно, за кого и против кого советская власть.

Хорошо запомнился первый трактор, подаренный крестьянам бисертскими железнодорожниками. Это был маленький слабосильный «Фордзон», но восторг он вызвал не меньший, а может, и больший, чем первый спутник. Не просто машина вышла на поля, это было орудие социального переустройства деревни, это был пропагандист и агитатор колхозного строя. Местные кулаки и подкулачники пустили слух, что-де земля не родит под «железным конем», но хлеба поднялись всем на диво, и тогда ночью они подожгли амбар. Только благодаря героизму бисертских колхозников удалось отстоять зерно.

И все это было не в кино, не в книгах, а в собственной жизни. Вместе с другими комсомольцами я сталкивался с кулаками на полях, спорил с ними на сельских сходах. Нам угрожали кольями, вилами, злобными записками, камнями, брошенными в окно. Однажды прочитали в газетах, что в соседней Тюменской области кулаки совершили гнусное преступление — одно из первых прогремевших тогда, в период массовой коллективизации, на всю страну. Ночью они подкараулили тракториста Петра Дьякова, спавшего в кабине, облили керосином и подожгли. Мы тяжело переживали страшную смерть неизвестного нам, но сразу ставшего родным соратника и товарища. И еще решительнее, смелее повели наступление на ненавистных кулаков.

А вскоре появилась песня о том трактористе. Мы полюбили ее и пели без конца, притом часто стоя — в память о герое коллективизации.

По дорожке неровной, по тракту ли —
Все равно нам с тобой по пути.
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!

Заканчивали в общем-то мягкую, лирическую, душевную песню мы уже грозно, обращая ее слова и к себе:

Огрызаются, лютые, лаются,
Им нерадостен наш урожай...
Кулачье до тебя добирается:
Комсомолец, родной, не плошай!

Лишь через годы, лет через тридцать, я узнал, что Петр Дьяков чудом остался жив, да еще отвоевал всю войну. Словом, подлинно человек из песни.

А тогда был 1929 год, вошедший в историю как год великого перелома на всем гигантском фронте социалистического строительства, когда наряду с развитием крупной промышленности — ведущей отрасли народной экономики — началось создание в стране крупного, механизированного сельского хозяйства.

Недавно товарищи из Свердловского обкома КПСС прислали мне некоторые документы тех лет.

Вот выписка из протокола пленума Бисертского райкома ВКП(б) от 5 декабря 1929 года:

«Т о в. Б р е ж н е в: Тот план, который у нас намечен по проведению весенней посевной кампании, связан с величайшими трудностями. Того с/х инвентаря, который нам необходим, мы не имеем, следовательно, вопрос заброски с/х машин стоит в острой плоскости. В связи с переводом некоторых с/советов на многопольный севооборот у нас уменьшится посевная площадь озимых и яровых культур. Прощедшее землеустройство лучшие земли передало бедняцкой и середняцкой части населения, в связи с этим мы должны приложить все

усилия, чтобы эти земли были засеяны. Безусловно, здесь вредительство кулаков будет. Следовательно, должны быть полностью использованы все возможности, которые предоставлены бедняцкой и середняцкой части крестьянства. Особое внимание должно быть обращено на распределение кредитов бедняцким группам, которые организованы. Я считаю большим недостатком в работе по коллективизации отсутствие планов этой работы, и планово ее сельские Советы не вели. Выезжающие шефы вопросов коллективизации в деревнях не заостряли...»

В этом документе — подлинная картина времени, времени неспокойного и нелегкого. Дела в деревне требовали полной отдачи сил. Я своих сил не жалел и как доверие людей принял избрание меня депутатом Бисертского районного Совета депутатов трудящихся. Вслед за этим был назначен заведовать райземотделом, потом меня выбрали заместителем председателя райисполкома. А в начале 1931 года последовало новое назначение в Свердловск — заместителем начальника Уральского окружного земельного управления. Мы с женой перебрались в Свердловск, но через некоторое время я решил вернуться на родной завод — работать слесарем и учиться одновременно в институте.

3

Вот как это вышло. Все годы по письмам родных, по выступлениям газет я следил за тем, что происходило на нашем заводе. Рабочие-днепровцы сами потребовали его восстановления, их делегация ездил в Москву, добилась приема и помощи у Ф. Э. Дзержинского, тогдашнего Председателя ВСНХ. В 1925 году в печати появилось его выступление на XIV конференции РКП(б): «Я должен сказать, что из тех колоссов, которые в свое время были в действии на юге, один колосс давал ежегодную продукцию больше 20 миллионов пудов изделий. Этот колосс, так называемый Днепровский завод, со вчерашнего дня, 28 апреля, в 2 часа был открыт и на нем была пущена первая домна».

Разумеется, вести эти волновали, бередили душу, я не мог забыть, что наш завод наращивает мощности, растет, тем более что и на Урале повсюду к западу полей и лугов примешивался хорошо знакомый запах индустрии. Куда ни поедешь, везде встают перед глазами фабричные трубы и дымки над ними. В самой Бисерти и неподалеку от нее находились старинные демидовские заводы — Нижнесергиевский, Михайловский, Ревдинский. О Свердловске и говорить нечего: как раз в ту пору здесь развернулось невиданное по масштабам строительство «завода заводов» Уралмаша.

Я рассуждал так: в коллективизации уже произошел необратимый сдвиг (к середине 1931 года в колхозы объединилось более половины индивидуальных хозяйств страны), а индустрия силу только еще набирает. Там, на индустриальном фронте, лежит сегодня передний край борьбы за социализм. Без промышленности, без электроэнергии, без широкой сети машинно-тракторных станций не поднимешь и сельское хозяйство. Стране был нужен металл, две трети чугуна давали заводы Юга, крупнейшим из них считался Днепровский завод, которому присвоили имя Ф. Э. Дзержинского, — значит, мое место там.

Вот так и произошло возвращение в родные места. Конечно, трудно было опять выходить в рабочей спецовке на смену, да еще и учиться по вечерам в институте, но сила была и упорства хватало.

В 1931 году на родном заводе меня приняли в партию. Как сейчас помню, это было 24 октября. Кандидатскую карточку сменил в моем кармане партбилет № 1713187, и я знал, что он не льготы мне даст, а новые, непростые обязанности. Думаю, однако, что каждый

из нас, коммунистов, если спросят его, хотел ли бы он избрать другую дорогу, твердо ответит: нет. Потому что наша дорога — это дорога беззаветного служения народу, партии.

Время для меня уплотнилось еще больше. В цехах шла реконструкция, ею руководил главный инженер нашего завода И. П. Бардин, будущий академик, ставились новые агрегаты, внедрялась механизация — словом, работы хватало. В институте тоже кипела интересная жизнь. К знаниям мы все тогда тянулись с жадностью. Я же вдобавок был избран группарторгом факультета, затем председателем профкома и, наконец, секретарем парткома всего института. Это было большое доверие товарищей. Конечно, доверие радовало, да и по натуре я был из тех, кто любит находиться среди людей, полностью отдавать себя делу.

В 30-е годы особенно остро стояла задача обучения, воспитания, идейной закалки кадров, прежде всего научно-технической интеллигенции. И потому очень ответственной я посчитал предложенную мне в 1933 году работу: студентом третьего курса я был назначен руководителем рабфака, а затем и директором днепродзержинского металлургического техникума. Работал с душой. Хотелось побольше сделать для товарищей. Сохранилась книга приказов тех лет. С улыбкой просматривал я старые, в чем-то, может показаться теперь, наивные приказы, но тогда это была политика. Мы считали своим долгом биться за каждого нашего студента, уговаривали заводских ребят учиться, старались помочь им профсоюзными ссудами, а то и просто подкормить их в нашей столовой. Как-то приехал в город известный ученый-металлург, создатель теории доменного процесса академик М. А. Павлов, я уговорил его выступить перед рабфактовцами. И радовался, наблюдая, как слушали академика мои сверстники. Из этих парней выросли в будущем отличные командиры производства — не «спецы» старого типа, а энтузиасты, новаторы, люди, преданные идеалам коммунизма.

Работа в техникуме, партийные поручения и общественные дела не освобождали, однако, меня самого от учебы. Чертил курсовые проекты, сдавал экзамены, не только не ожидая для себя послаблений, наоборот. Положение обязывало быть для других примером — мог ли я требовать от других успеваемости и прилежания, если бы сам учился спустя рукава? Приведу еще один документ — выписку из протокола заседания Государственной квалификационной комиссии от 28 января 1935 года:

«С л у ш а л и: защиту дипломного проекта студента V курса теплосилового отделения Брежнева Л. И. на тему: «Проект электростатической очистки доменного газа в условиях завода имени Ф. Э. Дзержинского». Оценка работы кафедрой: теоретическая часть — отлично, проект — отлично.

Вдумчивый подход к решению задач газоочистки и расчеты в записке говорят о прекрасной инженерной подготовке автора проекта.

На все вопросы тов. Брежнев дал исчерпывающие ответы.

П о с т а н о в и л и: дипломная работа выполнена отлично. Присвоить тов. Брежневу Л. И. звание инженера-теплосиловика».

О своей новой работе начальником смены силового цеха скажу коротко: это был год, наполненный напряженным трудом, поисками оптимальных производственных режимов, спорами, ударными вахтами, встречными планами, ночными вызовами, а подчас и авралами.

В том же году произошел и новый крутой поворот: меня призвали в Красную Армию.

Утром с повесткой я пришел в военкомат и встретил там нашего недавнего студента Аркадия Куценко. Оказалось, обоим, учитывая образование, посылают в Читу, в танковую школу, которая называлась тогда Забайкальской бронетанковой академией. Снова надо было прощаться с заводом, с друзьями, родными и ехать в края далекие.

— Хочешь быть военным? — спросил Куценко.

— Как знать, — сказал я. — Может быть, и это в нашей жизни крепко пригодится...

4

Сорок дней и сорок ночей продвигался на восток наш воинский эшелон. Ехали через Москву, и я надеялся побывать на Красной площади, увидеть Кремль, постоять у ленинского Мавзолея, но это удалось только на обратном пути.

Было грустно, как всегда бывает, когда позади остается какой-то этап жизни, и одновременно радостно, потому что впереди нас ждала другая, еще незнакомая жизнь и все новая открывалась, по словам поэта, за далью даль...

Наверное, такое уж свойство характера: все места, где приходилось работать, люблю и поныне, считаю родными. Мне нравятся и бело-зеленые острова украинских сел среди пшеничных полей, и неброская, но за сердце берущая красота белорусских пейзажей, и щедрое цветение садов Молдавии, и бескрайние степи Казахстана, особенно весной, когда сплошным ковром покрывают их тюльпаны и маки... А за те сорок суток вся страна прошла перед моими глазами, и я не переставал дивиться ее просторам.

Военный лагерь, куда мы прибыли, располагался в районе станции Песчанка, недалеко от Читы. На желтой земле стояли длинные серые приземистые бараки, построенные еще японцами. Посредине был плац, вокруг громоздились дикие скалы. Запомнился сонный верблюд, тащивший бочки с водой. Вода тут была привозная, и в бане (она для солдата — первое дело) давали воду по норме две шайки на человека.

Нас обмундировали, разбили по ротам, я попал в первую роту танкового батальона, и пошла служба.

— Подъем! Пулей вылетай!

Жара ли, мороз, дождь, ветер — мы, голые по пояс, выскакивали на зарядку, потом строем на завтрак, потом занятия по уставу, долгие часы строевой подготовки и наставления старшины Фалилеева, который был с нами особенно строг:

— Тут вам не институт. Тут головой надо думать. Смир-р-но!

Ходили мы с песнями — любимая была тогда «Нас побить, побить хотели», — пели дружно, с присвистом, печатали шаг. Я быстро втянулся в эту жизнь.

Недавно, во время поездки в Сибирь и на Дальний Восток, пришлось побывать в Песчанке. Это уже совсем не тот поселок, хотя и сегодня в нем размещена учебная воинская часть. Есть музей воинской славы, где я увидел и мой портрет в танкистском шлеме прежних лет. С любовью собраны солдатами фотографии, материалы Великой Отечественной войны, документы малоземельцев. Потом молодые воины пригласили посмотреть дома, в которых они живут. И опять это были совсем не те бараки, где мы проходили службу. Современные помещения, светлые окна, заправленные койки, чисто вымытые полы. А тогда, по существу, жилого фонда не было и танки стояли в траншеях, прикрытые сверху лишь брезентом.

Главным для нас была воинская служба. Много внимания, как всегда в армии, уделялось спорту — работа на турнике, игра в волейбол, зимой — лыжные походы. Помню, приходилось мне и в одиночку проделывать длинный путь на лыжах. Километров тридцать — сорок. Возил рапорты командованию на разъезд.

Нам часто говорили, что танкисты должны уметь совершать и пешие броски. Скатки на плечи, обувь подтянуть и команда: «Марш вперед!» Броски были далекие. Поначалу и ноги натирала и портянки наматывать не умели. Все это было. А однажды весной во время такого марша-броска между сопками разлилась речушка местная. Мы

уже возвращались, шагали с песней, все вроде было хорошо. И вдруг водная преграда. Слышим голос командира: «Почему остановились?» Молчим: сам, мол, видишь, по воде не пройти. К тому же ветрище холодный. Ранняя весна в тех местах теплом не баловала. Видим, командир снял гимнастерку, обернул в нее личное оружие, поднял над головой и скомандовал: «За мной!» Вода студеная, миновали речку — зуб на зуб не попадает. Тут новая команда: «Вперед бегом!» Ничего, выдюжили.

Так закалялась воля, так вырабатывался характер, характер советского солдата. Потом подошло самое интересное: занятия по тактике, изучение матчасти, вождение танков. Осваивали мы тогда средние танки «Т-26», «БТ-4», по нынешним временам, конечно, слабые. Но тогда они представлялись нам грозным оружием. Стреляли с места, с ходу по движущимся целям и были очень горды, когда сам комбат Копцов оценивал наши стрельбы на отлично.

С большим удовольствием до сих пор вспоминаю этого требовательного командира и душевного человека. Не могу сказать, что мы с ним стали друзьями (он был командир, я — курсант), но комбат относился ко мне хорошо, я тоже испытывал к нему уважение. По вечерам мы нередко говорили об армейской службе, о возможной войне. Впоследствии Василий Алексеевич Копцов участвовал в боях на Халхин-Голе, получил звание Героя Советского Союза, к Отечественной войне пришел генералом и на фронте героически погиб. Это был первый кадровый офицер, которого я узнал: о таких говорят обычно — военная косточка. По складу характера человек немногословный, волевой, всегда подтянутый, бодрый. Он был для меня и наставником и примером настоящего командира, посвятившего свою жизнь воспитанию советских солдат, которые в любой момент могли стать на защиту нашей великой Родины.

Помню такой эпизод. Недалеко от места, где располагалась наша часть, протекала река Читинка. Мы любили ходить на берег: прозрачная чистая вода, во многих местах просматривалось дно. Как-то Копцов и говорит:

— Все вы здесь собрались инженеры. Вот попробуйте решить такую задачу. Вы на своих танках проходите по равнине, берете препятствие, ставите машину под углом на сопках, а никто из вас не задумался над тем, как бы пройти на танке по дну реки?

И что вы думаете: мы этим делом занялись. Начали прикидывать, что можно сделать. В конце концов задачу эту все же решили.

Что это? Воспитание своего рода удали? Нет, мы понимали приказ комбата так, что он нас готовит к любым сложностям, в которых может оказаться экипаж танка уже не на учебе, а в водовороте военных действий. И там придется решать задачи посложнее, чем на полигоне, на плацу. Вот к чему нас готовил Копцов. И многие были благодарны ему за это. Танкисты, вышедшие из нашего батальона, показали себя закаленными командирами в годы Отечественной войны. Как тут не вспомнить суворовские слова «тяжело в ученье — легко в бою». Правда, в бою никогда легко не бывает.

В Песчанке я одним из первых был назначен командиром взвода, а потом и командиром второй роты. Для меня это назначение было почетно, я рассматривал его как доверие командования.

Затем стал я политруком части. Дни были заполнены до предела. И воинская служба, и выпуск боевых листков, и политчас, воспитательная работа, да и поговорить с солдатом надо. Люди остаются людьми, у всех свои заботы, свои беды, свои радости. Но как бы занят я ни был, всегда улучал момент послать весточку домой. Однажды даже отправил своим карточку. Стоял на крыльце, подошел Копцов, кто-то щелкнул фотоаппаратом. И получилась фотография. Решил послать ее домой. Рассуждал так: отцу и матери всегда приятно не только получить письмо, но и поглядеть на своего сына.

Прошли годы. И теперь я особенно хорошо вижу, сколь полезны были для меня все эти переезды, назначения, новые встречи и новые дела, в которые приходилось вникать.

Разумеется, защищая диплом инженера, я не думал, что в будущем мне предстоит заниматься восстановлением «Запорожстали», руководить оборонной промышленностью области и даже всей страны. Работая землеустроителем, не предполагал, что вместе с товарищами придется мне переустраивать землю на миллионах целинных гектаров, а получая военную выучку, не представлял в полной мере, как пригодится она в тяжелейшей войне. Не знал и того, что все это, вместе взятое, при постоянном общении с массой людей превратится в сплав опыта, навыков, знаний, который именуется двумя простыми словами: партийная работа. И только с годами я стал понимать, что меня, как и тысячи других людей, действительно готовили, притом вполне сознательно, к будущим большим делам. Подготовку эту вела Коммунистическая партия.

Вскоре после возвращения из армии меня избрали заместителем председателя исполкома Днепродзержинского горсовета. Председателем был тогда Афанасий Ильич Трофимов, старый член партии, моряк-балтиец, участник Октябрьской революции, рабочий нашей Дзержинки. Образование он имел небольшое, очень обрадовался моей инженерной подготовке и сразу предложил ведать в исполкоме вопросами строительства и городского хозяйства.

Пришлось глубоко вникать в работу Совета — беспокойную, многоплановую, целиком обращенную к нуждам народа. Работа была не новой — я приобщился к ней еще в Бисертском районе, и все-таки многое надо было постигать заново. Этот опыт помог мне в 1960 году, когда я был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР, помогает и сегодня, когда наряду с обязанностями Генерального секретаря ЦК КПСС партия и народ вновь доверили мне этот высокий, почетный, но чрезвычайно ответственный пост, требующий неустанный труд.

Помня собственную практику, я с самого начала добивался разработки и принятия законов, расширяющих права депутатов, ставил вопрос об усилении роли местных Советов, о повышении их авторитета, о совершенствовании деятельности всего государственного аппарата.

Свою работу в Каменском, на моих глазах превратившемся в современный город Днепродзержинск, вспоминаю всегда с благодарностью. Время было интереснейшее. Именно тогда мы рукоплескали четверке папанинцев, покорившей Северный полюс, с замиранием сердца следили за чкаловскими перелетами, радовались вестям с Магнитки, Кузнецкого комбината и других новостроек. Днепровский завод в те годы тоже продолжал развиваться: при мне задули восьмую доменную печь, ввели аглофабрику, третий мартовский цех. На весь Союз прогремел стахановский рекорд нашего сталевара Якова Чайковского. Нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе призвал сталеплавильщиков страны перенять его опыт.

Вместе с заводом, а точнее, с заводами, которые появились у нас, рос город, в его черту вошли села Тритузное, Романково. Возникали проблемы — не хватало школ, поликлиник, детских садов, трудно было с жильем, в обновлении нуждались водопровод, канализация, транспорт. Вот этим всем я и занимался в исполкоме. Надо было научиться спорить с директорами, которые стремились строить «хутора» при своих предприятиях, преодолевать ведомственные настроения, собирать силы и средства в один кулак, и я хорошо помню первые наши успехи, пусть скромные, но так необходимые людям.

В Наркомтяжпроме мне удалось получить ассигнования, и мы положили трамвайную линию от Баглея до площади Ленина — настоящее торжество было, когда красные вагоны побежали через весь город. Помню, как возвели (за шестьдесят два дня) красивое здание, в котором и сегодня помещается Дворец пионеров, как комсомольцы строили стадион, как появились у нас «высокие» дома в четыре этажа, с балконами, широкими окнами. И хотя масштабы строительства были далеко не сегодняшние, однако сотни семей справили новоселье. Мостились в городе улицы, закладывались скверы, больше стало товаров в магазинах, народ приоделся, жизнь становилась лучше — этим и памятно мне время работы в Днепродзержинске.

В городском Совете Днепродзержинска я был более года, потом меня выдвинули на партийную работу. Вначале заведовал отделом, а в феврале 1939 года был избран секретарем по пропаганде Днепропетровского областного комитета КП(б)У. О сложной и многообразной работе обкома — штаба партийной организации всей области — я подробно рассказал в книге «Возрождение». Первым секретарем был у нас тогда Семен Борисович Задионченко, человек опытный, умный, сильный, у которого многому можно было научиться. Отношения у нас сложились деловые, товарищеские. Отныне я нес ответственность за один из важнейших участков партийной работы — за работу в области идеологии. Круг моих обязанностей резко возрос, масштабы дел расширились, мне приходилось теперь часто ездить по городам и селам, встречаться с сотнями людей.

Считаю очень важным обстоятельством то, что я прошел эту школу. Существует, как известно, три основных направления партийного руководства — политическое, идеологическое, организационное. Разговора о том, какое из них важнее, быть не может — все они необходимы партии, все в равной степени важны. Умение сочетать все стороны партийной деятельности — это искусство, и надо этому искусству учиться всю жизнь.

Идеологическая работа всегда была и остается одной из первостепенных задач Коммунистической партии. Эта работа многообразна: она требует научного анализа процессов, которые происходят в обществе, и постоянного решения возникающих в связи с этим проблем.

Опасно даже на время, даже на отдельных участках забывать об идейном начале в государственной и общественной жизни, мириться с идейными ошибками. На первый взгляд они бывают не так заметны, как, скажем, ошибки технические. Если неверно спроектирован какой-то агрегат, то он не даст ожидаемой мощности или вовсе не будет работать — это сразу видно, понесенный убыток просто подсчитать. А ошибка в идеологии, как правило, скрыта, закамуфлирована одеждами из красивых слов, но тем более чревата последствиями, ибо она скажется непременно и принесет гигантский вред, если ее вовремя не исправить. Вакуума в современном мире нет: там, где благодушествуем мы, там действуют наши идеологические противники. «Поэтому, — учил В. И. Ленин, — всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

Это с особой остротой ощущал я в те годы, о которых веду рассказ: на западе уже началась вторая мировая война, она приближалась к нашим границам, идейное противоборство двух систем подходило к своей крайней форме — открытому военному столкновению. В этой обстановке повысились требования к идейно-политическому воспитанию кадров, к укреплению связи партии с массами. Необходимо было вести активную, наступательную пропагандистскую работу, давать своевременный отпор враждебной идеологии, укреплять в советских людях высокую политическую сознательность, воспитыв-

вать их в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма. в духе преданности идеалам коммунизма.

Ко всему этому должен быть вкус у каждого руководителя, у каждого коммуниста, не говоря уж о самой, казалось бы, простой, но требующей постоянных усилий задаче — доводить до народа цели, какие мы ставим перед собой, объяснять, чего конкретно добивается на данном этапе Центральный Комитет нашей партии. Другими словами, надо выступать в различных аудиториях, встречаться с людьми. Тогда, в Днепропетровской области, я впервые столкнулся с этой необходимостью, в связи с чем хочу высказать некоторые соображения, которые начали складываться у меня еще в те годы.

Партийное страстное слово было и остается острым оружием партии, и относиться к этому надо очень серьезно.

Советские люди одобряют политику партии, поддерживают ее. И тем не менее мы всегда уделяли и уделяем большое внимание идеологической работе. Главное оружие в этой работе — правда. И об успехах и о недочетах, мы считаем, необходимо говорить честно. Открытый разговор люди всегда поймут. В. И. Ленин подчеркивал, что сила социализма в сознательности масс.

Нет ничего бесплоднее, чем пропаганда без адреса, оторванная от интересов аудитории, от потребностей дня. Если оратор уходит от ответов на острые вопросы, то он внушает людям недоверие. Если лектор мямлит на трибуне, повторяет общеизвестное, то пользы от этого ни на грош, более того, такой оратор может отучить людей вообще слушать лекции. Формализм в этом деле противопоказан, обязательно нужен творческий подход. Хочу подчеркнуть: не в ловких ораторских приемах, на которые горазды буржуазные политики, не в рассчитанном пафосе и не в силе голосовых связок секрет успеха. В. И. Ленин, как известно, не обладал громким голосом, а ведь его слышали все. Вся страна, все человечество. Слышали потому, что с л у ш а л и. А слушали потому, что в речах его были идеи и мысли, близкие массам, в защиту этих идей он находил неотразимые доводы, был логичен, делал глубоко научные, смелые выводы, задачи ставил всегда конкретные и значительные...

Предвоенные годы в Днепропетровске вспоминаются как время напряженнейшей работы. Внешне все было спокойно: в кино шли комедии «Волга-Волга» и «Светлый путь», в обычном трудовом ритме протекала жизнь в городах и деревнях, зрел на полях урожай. Но все мы чувствовали: угроза войны нарастает. В 1940 году Днепропетровский обком получил ответственное задание ЦК ВКП(б) — перевести часть предприятий области на выпуск военной техники. Из Москвы пришла шифровка, предлагавшая нам учредить должность секретаря обкома по оборонной промышленности. Заседание бюро проводил Задюченко. Он сказал, что, учитывая особую важность этой работы и значение, которое ей придает Политбюро Центрального Комитета, надо на этот пост выдвинуть не только технически подготовленного, знающего металлургию специалиста, но и дельного организатора, умеющего работать с людьми. Вот так примерно он говорил и предложил мою кандидатуру. Проголосовали единогласно.

Учитывали ли мы реальную опасность войны, готовились ли к этому? Безусловно, учитывали, готовились. В том, что угроза войны нарастает, что фашизм — главный наш враг, сомнений не было.

Страна остро нуждалась в металле. В июне 1940 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О мероприятиях, обеспечивающих выполнение установленного плана выплавки чугуна, стали и производства проката». Развернулось всеоюзное соревнование металлургов за лучшее использование мощности агрегатов, и мои земляки добились в этом соревновании заметных успехов. Предприятия, изготовлявшие сугубо мирную продукцию, стали теперь работать на армию: завод имени Артема выпускал детали к боевым самолетам.

завод имени Коминтерна — минометы, Днепровский металлургический имени Дзержинского — артиллерийские снаряды..

Ко мне на стол в обкоме поступали сводки, которые не могли не радовать. И хотя я нес ответственность уже за сотни предприятий, вести с родного завода, не скрою, принимал особенно близко к сердцу. В 1941 году Днепровскому заводу имени Ф. Э. Дзержинского было присвоено звание «лучший металлургический завод Советского Союза» и передано переходящее Красное знамя Наркомчермета и ЦК профсоюза металлургов.

* * *

Чувство родины у каждого из нас начинается с памяти детства, со своего дома, своей улицы, своего города или села. И вместе с тем живо в нас ощущение большой, великой Родины, которая в дни опасностей и больших испытаний вся от края и до края становится вдруг до боли близка и дорога.

Мне повезло увидеть воочию просторы родной страны, узнать близко многих сограждан, и я знал, что планы, мечты, замыслы народа под стать земле, на которой нам посчастливилось жить, которую получили мы от отцов и должны оставить детям еще более богатой и цветущей.

Мы доказали это великими свершениями первых пятилеток.

Но вот настало мучительное, горькое и вместе с тем исполненное высокой веры и невиданного героизма время в жизни нашего народа. Началась Великая Отечественная война. Пришла пора отстаивать великие завоевания социализма, защищать все, что сумели мы сделать и построить, встать грудью за дорогую нам землю. И я вместе с миллионами советских солдат и офицеров прошел многотрудный путь войны от начала до конца, от первого дня войны до светлого дня Победы.

Но об этом периоде — речь особая.



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

БЕСПОКОЙСТВО

Из новой книги стихов «Говорю людям»

С балкарского

* * *

Ночь и рассвет, я видел вас в равной мере,
Конь меня ночью и на рассвете нес,
Шел я в атаку ночью, в победу веря,
И на рассвете, помню, цвел абрикос.

Ночью отец мой умер, сын — на рассвете,
Помню, родился — скорбь и веселье в дом.
Добрую весть приносили порой соседи,
Черная весть находила сама потом.

Горе мы пили — и радость всей грудью пела,
Как бы ни гнуло — мы не сгибали спин.
Ночь, когда мать по отцу моему скорбела.
Утро, когда с войны к ней вернулся сын.

Вьюги ночные выли, мели метели,
Утром стихало, и горизонт был бел.
Ночью метельной с треском дрова горели,
И на рассвете новый снежок скрипел.

За полночь ухал сыч, а с новой зарёю
Ласточка в небе выше искристых крон.
Там, где во сне сходилась гора с горою,
Белые горы явью вplывают в сон.

Буря шумела ночью, ярился ветер
Так, что, казалось, лес покладет вповал,

Но на рассвете, видя, как строй их светел,
Я каждый раз, как на празднике, ликовал.

Утром, когда я вижу, что стены крепки,
Слажен уклад и соседи не знают бед,
Радостный вздох из грудной вылетает клетки:
Жизнь, говорю, дай надольше мне этот свет!

Ночью я слышал дыханье моей любимой,
Видел ее лицо при свете зари.
Утро, твои подарки горят рябиной,
Сколько б ни одаряла, еще дари!

Снова пришел рассвет. Я гляжу в долины:
За ночь на гроздь не кровь, а роса легла.
Зимы я знал и лета и счастлив ныне
Тем, что побегам радости нет числа.

Пахарь или пастух, если ночь тревоги
Мирно прошла и рассвет не пришел с бедой,
Рад я вдвойне — значит, смерть не нашла дороги
К вам и ко мне и в запасе день молодой.

Как хорошо, что и ночь просветлеть готова,
Как эта ночь ни темна, а заря пришла.
Снова рассвет. И надежды дерево снова
Зелено, как и всегда, а гора бела!..

* * *

Когда и гений в докторской ермолке
Работает на смерть, чернеет снег.
Не на луну — на солнце воют волки,
И к пропасти подходит человек.

И жить нельзя, не думая про это,
Ни пить, ни есть, и, человеческий сын,
Боюсь я, в тыщи рек заплещет Лета,
А землю выжгут тыщи Хиросим.

Я, Хиросиму видевший воочью,
За вас тревожусь, пашня и скала.
Чем, кроме беспокойства, вас упрочу?
В наш трудный век тревогам нет числа.

Я за детей тревожусь все упорней,
И за своих детей и за чужих.
Но день встает — и тьме не сдастся черной
Свет белый, не оставит малых сих.

ГОВОРЮ МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Ну вот и наши сумерки настали,
Стучится старость в двери к нам, а мы —
Что так и будет, мы об этом знали
И вот дождались голоса зимы.

Что ж, сверстники мои, держаться будем
Так, как держались мы в ночных боях,
А уходить — так уходить как люди
И как солдаты, побеждая страх.

Чем мне утешить вас, друзья, в дороге?
И к нам ночная темень подошла,
День отблестал — и вечер на пороге,
А человек — не вечная скала!

И наша радость радостью светилась,
И наше горе горем отлилось,
И нашим делом стало то, что сбылось,
И стало словом то, что не сбылось.

Все наше доброе и все худое —
Все это наше, а не чье-нибудь,
И мудрость и тщеславье молодое
С годами не поубыли ничуть.

Мы помним, как вставал рассвет когда-то,
Теперь мы видим, как встает закат.
Мы волю жизни исполняли свято
И пили все: и мед ее и яд.

И как с врагом когда-то перед боем
Лицом к лицу стояли, так сейчас
Мы перед смертью встанем редким строем —
Не для того ль и закаляли нас?

Не об отваге речь! И маломощный
В последней схватке бьется как герой.
Жизнь, дай нам силы, чтобы в час полночный
С достоинством принять последний бой.

О поколенья храбрых, в битве жизни
Мы победили многих, но года
Сильнее преуспевших в героизме —
Они берут без боя города.

Так до последнего держаться будем,
Хоть поредел наш буйный частокол.
И будем честно уходить — как люди
И как солдаты, чей черед пришел.

ПЕСНЯ МОЕЙ МАТЕРИ

Мама пела, глядя на снега,
Сирых вспоминая и убогих,
Пела, заглядевшись на луга
И на стог в тени чинар высоких.

Мой бешмет подлатывая, пол
Подметая, что-то напевала.
Вторя ей, попыхивал котел,
И белье на солнце просыхало.

Снова звезды блещут, восходя,
Зацветают абрикос и слива,
И трава и листья ждут дождя,
И бахча и поле ждут полива.

Снова хлеб подходит в очаге
И пшеница в поле колосится,
Я гляжу — и в дальнем далеке
Видится мне мама-мастерица.

И теперь, за далью долгих лет,
Кажется, не будь со мною песни,
Ледники бы погасили свет
И чинары темные исчезли.

Горы на рассвете, и сейчас
Чудится мне голос издалика,
Мамин голос освящает вас,
Горы, и чинары, и дорога.

Издалика, с птичьей высоты,
Но такой отчетливый и близкий,
Родниковый голос чистоты
С гор Чегемских,
голос материнский.

ЧИТАТЕЛЮ СТИХОВ

Благодарю! Как без деревьев тени,
Так без тебя не будет и меня.
В твоём лишь густолистом шелестеньи
Моя не умолкает щебетня.

Не будь тебя, и ключ, журча по скалам,
Не будет вестью: камни не прочтут.
И перевал не будет перевалом,
Пока через него не перейдут.

И я старался говорить с тобою
О том, что знал, и знал из первых рук,
Так говорить, как будто надо мною
Склонялся ты, единственный мой друг.

Я не старался показаться смелым
Или умнее, чем взаправду был,
Хотел, чтоб белое считалось белым,
А черным черное — по мере сил.

А если силы были — лез на кручи
По скалам строк, оттачивая слог,
Но все, что сделал, думал сделать лучше,
Не упрекай: я сделал все что мог.

Но накопилось все-таки немало
Перед тобой моей неправоты.
Бывало, что рука не то писала,
Но были в сердце помыслы чисты.

Нигде, пожалуй, в мире нет такого
Читателя, как ты. В мой день немой
Ты рядом был. Благодарю за слово,
Которым поделился ты со мной.

Ты слову моему в его бессильи
Давал возможность жить и плоть обрести,
Чтоб книги не томились в толще пыли,
Ты брал их, мне оказывая честь.

Ценитель Гёте и знаток Толстого,
Ты понимаешь все и между строк,
Готовый разделить со мной — за слово! —
Свой лучший час, как фронтовой паек.

Соавтор дошлый, книгочий безбожный,
Во многих землях мне случалось быть,
Но мне тебя такого невозможно
С любым другим читателем сравнить.

Признательность моя тебе безмерна,
Как птицы небу, травы косарю,
Как благодарно дерево, наверно,
Земле — так я тебя благодарю.

Меж нами нет межи или границы,
Мой стих, он обогрет в гнезде твоём.
Так пусть же, как весной щебечут птицы,
Мои стихи летят к тебе с добром.

Я посылал их, ласточек, на волю,
Как весточек весны — во все концы.
Цвела ли груша, вьюжило ли поле,
Мои слова как птицы, как гонцы

В твоём дворе садились. Ты не гнал их,
Уставших, севших стайкою на снег.
Мой друг и брат, свидетель небывалых
Событий, ты родной мне человек!

Таким, каким я знал тебя, бывает
Лишь добрая душа, а потому
И стихотворцы новые взывают
К суду и приговору твоему.

К тебе мои сомнения и думы
Летят опять, на двор зеленый твой.

Как бедовали общую беду мы,
Так радостью поделимся живой.

И птицу в небо радость песни тянет,
И у певца слетает радость с губ.
Без дров огня нет, без тебя меня нет.
Привет тебе, читатель-стихолоб!

* * *

Деревья, тень бросающие в зной,
Приязни к вам не выразить словами.
Деревья гор, возлюбленные мной,
И я блаженно сиживал под вами.

Еще ребенком я под вами спал,
А взрослые под ваш полночный шорох
Свой спор вели, пока не заблестал
Рассвет среди блиставших в разговорах.

Деревья, и с надеждой и с тоской
К вам приходил и прихожу опять я,
Вы силы мне даете и покой,
Друзья мои зеленые и братья.

Молчальники великие, кружком
Стояли вы в день маминой кончины,
Как родственники, слабым шепотком
Давая знать, что вы со мной едины.

Деревья, пули, ранящие вас,
Язвили и меня, и скорбью брата
Над вашим пеплом я скорбел не раз,
Как на родном пожарище когда-то.

И как тогда из дальних мест домой
Меня вы ждали, скрашивая сроки,
Так и теперь вы тень даете в зной
Дороге и тому, кто на дороге.

* * *

И камень как знак дорог,
И склон, и сама дорога,
И дерево — все урок,
Всему они учат строго.

И колос — урок для нас
И синь над овсом зеленым.
На дню поклонись пять раз
Земле поясным поклоном.

Пять раз поклонись земле,
Как пятижды мать молилась
Тому, кто узрел во мгле
Все то, что в цветку явилось.

Учись книгу книг читать:
Ущелье, дорога, поле...
Земля — всем родная мать,
Учись в ее мудрой школе.

И если, ученики,
Не сможем ее уроки
Взять в толк, ни одной строки,
О как мы тогда жалки,
Как жалки, бедны, убоги!

Перевел ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ



БОРИС ПРИМЕРОВ.



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Найти себя одно есть средство:
Родиться в гениальный час
И чтить веселое соседство
Неоспоримых слов и фраз,

Платить душой, а брать натурой,
Забуть себя в тревожном сне
И ощущать звериной шкурой
Доступное одной весне,

Семь дней подряд смотреться
в лужи,

Семь дней подряд дышать огнем
И знать, как дождь и ветер нужен
Душе, нелегкой на подъем,

Потом, не тратя жизни даром,
Единым прочерком пера
Напомнить предсказаньем старым,
Что жизнь, как облако, быстра...

* * *

Чу! По России синей-синей
Из зорь рассветных на закат
Плывет, плескаясь, мать-гусыня
С весенним выводком гусят.
Плывет по трепетным купавам,
Поближе к берегу, к земле.
Два солнечных пятна на правом,
Четыре — на другом крыле.
Под ней волна, сплошь золотая,
Как бы на цыпочки встает.
И чудится гусыне стая,
Почти готовая в отлет.
В отлет! Там всякое бывает,
Чем дальше. тем простор темней,
Но в темноте, как свет, мерцают
Протяжные крыла гусей.
Их путь, воистину великий,
Раскинулся на много верст.
Вожак ведет их по инстинкту
И по обширной карте звезд.
Бросая в ночь тугие крылья,

Зовет он их на зимний пир.
Уж серой, зарубежной пылью
Горчит и пахнет целый мир,
Встает раскидистой оливой
И деревом встает иным,
Но птице не бывать счастливой
Под зноем многовековым.
Три месяца мелькнут как что-то
Похожее на птичью грусть —
И приготовится к отлету
На Дон, на Волгу серый гусь.
Его потянет даль родная
С резными зеркалами вод,
Глушь, где, почти не отдыхая,
Волна на цыпочках идет,
Запретная для страха зона,
Целинный крепкий чернозем,
Все, что как будто на ладони,
Без края ляжет под крылом.
Русь полевая, Русь лесная
Под лебединый ляжет гнет —
И вся большая, вся такая,
Что сразу за сердце возьмет...



ВЛАДИМИР КАРПЕКО



МОЯ МУЗА

Ее я встретил на войне.
Но не перо, не лиру муза,
а острый штык вручила мне:
— Служи Советскому Союзу!..

Досель она из грозных лет,
где судьбы всех ломались круто,
пожарищ шлет багровый свет
и — ослепительный! — салютов.

Вот потому на все года
запомнил я т а к о ю музу
и отвечаю ей всегда:
— Служу Советскому Союзу!

* * *

Мы лесом шли. И, приустав слегка,
остановились на краю полянки,
где чуть виднелся след от костерка
и откровенно разрослись поганки.

Из-под листвы опавшей угольки
проглядывали редко, сизо-сини.
Мы отдохнуть присели, грибники,
на сваленной бог весть когда лесине.

И увидали вдруг недалеке
осевшую могилку, над какую
кренился, притонув в сыром песке,
фанерный конус с жестяной звездой.

Фамилия была видна на нем
и даже полустершаяся дата...
Но кто-то снизу приписал углем:
«Могилка неизвестного солдата».

Сюда венков парадных не несли.
Речей над нею не произносили.
Но, прорастая прямо из земли —
его земли, — цвели цветы России!

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ



У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Букет гвоздик в поклоне низко
Лег на гранит с букетом роз,
Зеленых елей обелиски,
Почетный караул берез.

Минуту оба помолчали
И руки юные сплели,
Цветы вослед им замерцали
Зарницами самой земли.

И взвился над священным
прахом,
Над скорбным свитком на плите
Огонь немислимой отваги
В своей суровой чистоте...

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ,
ДАНИИЛ ГРАНИН



БЛОКАДНАЯ КНИГА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

Трое

В первые дни войны, несмотря на стремительное продвижение фашистских полчищ, никто еще не мог предвидеть, какова будет военная судьба Ленинграда и что ждет ленинградцев.

Слово «блокада», вобравшее в себя все мыслимые и немыслимые трудности, мучения, беды, возникло и закрепилось в тревожной жизни горожан не сразу. Что-то грозное происходило, надвигалось, и ленинградец жадно искал, где, где же нужны личные его усилия, его самоотверженность, готовность сражаться, а если надо, то и умереть. Только бы не длилось это беспомощное ожидание самого худшего. Найти в деле, в общем и главном деле выход гневу и беспокойству...

Ополчение! Народное ополчение!.. Это встало и зазвучало надеждой, уверенностью, как бы позванное из исторического прошлого народа, из героического прошлого города-революционера.

Слово было найдено, дело обречено — для тысяч и тысяч, готовых все отдать, все на себя принять...

С первого дня войны, с 22 июня 1941 года, к дверям парткома Кировского завода выстроилась очередь. И внизу, на первом этаже, по всему коридору протянулась очередь к дверям комитета комсомола. Несколько суток обе очереди не убывали. В них стояли пожилые рабочие и молодые ребята, даже девушки и женщины, комсорги, парторги, активисты и никакие не активисты, совсем пассивные, как их до этого считали, беспартийные и некомсомольцы.

Тут же в коридоре, на лестнице, на подоконниках писали заявления. Старались объяснить как можно убедительнее, почему их надо отправить на фронт. И в первую очередь. Приписывали себе военные способности. Доказывали, что они артиллеристы, поскольку их цех делал пушки. Выяснилось, что кроме того необходимо доказать, что завод может без тебя обойтись. надо было получить разрешение от начальника цеха. Потому что завод работал на оборону, делал танки и все были нужны и имели так называемую броню. В парткоме добровольцам приходилось еще труднее, туда шли мастера, конструкторы, инженеры — цвет завода, путиловская гвардия. Если бы отпустить всех, кто рвался на передовую, в истребительные батальоны, завод пришлось бы остановить.

* Первая часть работы, «Главы из Блокадной книги», была напечатана в № 12 журнала «Новый мир» за 1977 год.

Еще не было объявлено о народном ополчении (это решилось на восьмой день войны), но на всех заводах, в райвоенкоматах, всюду стояли такие же очереди. Ах эти страстные, возмущенные, умоляющие прекрасные жалобы и заявления! Изложенные с трогательной и наивной убежденностью, что если нас пустят, мы немедленно разгромим, уничтожим врага. Ясное дело, мы — кировцы, путиловцы — имеем право первыми идти в ополчение. И она-таки получила первый номер, Кировская дивизия народного ополчения — Первая ДНО!

За Нарвской заставой маршировали взводы, роты первых ополченцев. Учились в парках ползать по-пластунски, метать гранаты. Старательно отбивали шаг — еще в туфлях, штиблетах, в макинтошах, подпоясанных ремнями. Ночевали в клубе имени Газа. То и дело обнаруживалось, что этот работник планового отдела, а тот лекальщик — участники гражданской войны, что они саперы, кавалеристы, а не просто пожилые люди, которые не могут быстро бегать со снарядами ящиками, что они воевали, командовали...

Молодым это еще предстояло. Печальные июльские сводки не могли сбить восторженного настроения. Выдали гимнастерки, шинели, синие шаровары, в них добровольцы-ополченцы гордо ходили по заводу, прощаясь, и все им завидовали. Эшелоны уходили, гремя песней «за далекой за Нарвской заставой парень идет молодой...».

Будни войны навалились сразу за Лугой, нагрянули с первыми бомбежками, воем пикирующих самолетов, первыми боями, первыми могилами.

Конечно, ополчение было армией своеобразной. Наспех обученная, необстрелянная, скудно вооруженная, дисциплина отнюдь не военная, скорее производственная. Кругом заводские, свои. Командир роты — мастер, взводные у него — механик, бригадир. Обращались к командирам по имени-отчеству. Нужны были бои и бои, чтобы цеховые авторитеты заменились военными.

Но зато у этой армии были некоторые преимущества — она быстро приспособлялась к непривычным для кадровиков условиям войны, она знала цену каждому орудию, танку, здесь царила своя трудовая спайка...

Тяжелейшие испытания обрушились на только что сформированные дивизии. Даже участники тех событий с трудом могут объяснить, каким образом могли выстоять эти народные полки, батареи — даже остановить фашистские колонны тяжелых танков, поддержанные с воздуха, их кадровые механизированные дивизии, прошедшие всю Европу. Это было чудо — чего? Нет, не отчаяния. Вцепившись в землю, стояли насмерть оглохшие от бомбежки, прекрасно понимающие, что все сейчас зависит от них, рабочие Нарвской заставы, судостроители, кировцы, портовики, учителя, наборщики, историки... Горела рожь, горели деревни, жара, и едкий дым, и кислая вонь взрывчатки, и повсюду треск немецких автоматов. Наши — с гранатами и бутылками горючей смеси — лежали притаясь, чтобы подпустить танки ближе.

Было всякое. Но Кировская дивизия не побежала, полки продолжали воевать, попадая в окружение, лесами и болотами пробиваясь к Ленинграду.

Город создавал все новые дивизии — Московского района, Фрунзенского, Калининского, Октябрьского, — они собирали под свои знамена людей без различия званий и степеней. В ополчение вступили: замечательный артист Николай Черкасов, учитель Леонид Попов, партработник Александр Ермолаев, профессор Кирилл Огородников, литературовед Исаак Ямпольский. Никто не думал, как лучше использовать свои знания. Может, это было бесхозяйственно — но стать солдатом было выше соображений о пользе своей специальности. В этом был патриотизм тех дней, это считали самым нужным.

Потери, ранения — ничто не останавливало добровольцев. Только бы хватило винтовок, только бы было из чего стрелять!

Город отдавал в армию лучших. Ополчение стало великолепной школой мужества. Ополченцы проявляли героизм легендарный подобно Дмитрию Подрезову, начальнику политотдела Кировской дивизии, или Феодосию Смолячкову, знаменитому снайперу фронта.

Эпопея ленинградского ополчения преобразила город. Через ополченцев каждое предприятие было напрямую связано с армией и войной. После сентябрьских боев ополчение влилось в кадровые дивизии Красной Армии. Бои на дальних подступах превратили ополченцев в солдат. Война учит каждый час, каждый день без перерыва, учит надежно.

Когда зимой сорок первого — сорок второго один из нас сидел в мерзлых окопах за Шушарами, невольно вспоминался завод, родные улицы, Нарвские ворота, тот ресторан, где накануне собрались, прощаясь, члены заводского комитета комсомола. Один уходил в летнюю часть, другой — в арtdивизион; мы прощались легко и уверенно, не задумываясь над тем, что многие из нас не вернуться.

Мы жили вестями с завода. В опустевших цехах, поросших инеем, работа не прекращалась. Был уже другой Кировский, эвакуированный в Челябинск, на ЧТЗ, вести оттуда доходили редко. Бывшие ополченцы писали прямо на свои цехи, на свои фабрики, потому что для многих это было единственное, что оставалось от мирной жизни. Семья погибла, друзья на фронтах, был только свой завод. И на заводе-то, увезенном куда-то за Урал, многое сменилось, но все равно это была последняя родня. И они действительно были надежной родней, они заботились о детях, матерях, помнили и ждали.

Героическая эпопея защиты Ленинграда стала одной из славных страниц истории Отечественной войны. То, что происходило в городе во время блокады, хорошо известно. Героизм, стойкость, мужество запечатлены; собраны сотни примеров, удивлявших мир.

Однажды в Минске был у нас разговор с Константином Симоновым. О том, как он собирал рассказы солдат — кавалеров орденов Славы, как записывал воспоминания маршалов. И Жуков, и Рокоссовский, и Конев, да почти все наши маршалы опубликовали мемуары, и все же К. М. Симонов после этих публикаций записывал их рассказы — у каждого набиралось сотни страниц недоговоренного, того, что по разным причинам в книги не вошло. Так собрались бесценные материалы. «Мы должны, — говорил Константин Михайлович, — хотя бы успеть записать все что можно. Это материал не только для историков, но и для будущих писателей, для тех, кто сумеет создать эпопею Великой войны».

Он был прав. Благодаря его энергии собраны свидетельства солдат и крупнейших военачальников, кинокадры, кинорассказы. Константин Симонов проделал громадную историческую работу. С его стороны такая работа была самопожертвованием — в ней он жертвовал собою как писателем. Вместо того чтобы писать собственные романы и повести, он собирал чужие свидетельства, выступая при этом лишь как хронограф, как собиратель, побудитель..

Отдавая должное подвигу Константина Симонова, мы все же не могли полностью освободиться от своих сомнений: каков смысл нашей работы над Блокадной книгой? Для чего надо извлекать на свет божий, восстанавливать полноту человеческих страданий и переживаний тех времен? История отобрала уже то, что нужно, из ленинградской блокады, воздвигла памятник ее героизму и мужеству — чего же мы ищем?

Нас интересовали истоки, то, как рождалось у тех или иных людей сознание необходимости терпеть любое лишение во имя победы, как возникал, формировался дух стойкости, сопротивления, со-

хранявший непреклонность и человеческое достоинство в самых отчаянных обстоятельствах. Нам нужен был процесс подлинный, не подправленный знанием свершившейся победы. Единственной возможностью узнать, раскрыть то, что происходило в душах людей, было обратиться к документам тех лет. И лучшими из них были дневники. Они позволяли видеть внутреннюю жизнь без поправок на то, что будет. Наши герои не знали о победе. Они не знали, выживут ли они, что будет с Ленинградом, со страной. Сомнения и даже отчаяние охватывали их, но и в эти дни, если вчитаться внимательней, в них живет вера в торжество справедливости. Более того, вера эта предметна — они убеждены, что Ленинград выстоит. И наконец, самое примечательное: мы можем видеть, как постепенно крепнет эта вера, хотя день ото дня становится тяжелее, голоднее и смертный мрак поглощает надежды.

...За два дня до своей смерти Державин написал грифелем на аспидной доске последнее свое стихотворение. Никогда еще он не писал так просто. Слабеющей рукой он выводил строки, поднимаясь с ними над прожитой жизнью, над временем, над могучей екатерининской эпохой:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Надо иметь немалое мужество, чтобы уходя обречь на забвение все, чем восхищался, ради чего жил и творил. Но еще более поражает здесь мысль о том, что если что и останется на какой-то срок, то это то, что воспето лирой и трубой, то есть поэтом, композитором, художником.

Современникам не дано узнать, что из пережитого ими история отберет на века, что истлеет в газетной подшивке, а что превратится в легенду. Конечно, хочется думать, что ленинградская блокада останется надолго в памяти народов. Но какой она привидится потомкам? Как время перекроит ее, что сотворит из тысяч трагедий, какой миф создаст из стойкости и ужаса, из мороза и голода? Мы об этом не узнаем, как не узнали жители осажденной Трои, что человечество из девятилетней осады их города сохранит мифы о прекрасной Елене, о троянском коне, о золотом яблоке раздора. Сколько в те времена было войн значительней и страшнее, а в живой памяти человечества осталась эта, связанная с маленьким городом Троей. Конечно, тут заслуга автора «Илиады» и «Одиссеи», но у истории есть свои причуды, она позволяет порой произвол и несправедливость, предавая часто забвению и героев и жертвы, приносимые народами. Однако Ленинград.. Откуда это ощущение будущей легенды, долгой ее жизни? Не должно это пропасть... Не потому, что так хотелось бы нам, а потому, что в подвиге ленинградцев есть такие высоты человеческого духа, которые не могут пропасть.

...Их трое, главных героев этой нашей книги. Они никогда не делились, не знали друг о друге. Двое мужчин и одна женщина. Первый — Георгий Алексеевич Князев, историк, второй — пятнадцатилетний мальчик Юра Рябинкин и третья — Лидия Георгиевна Охупкина.

Для первой части Блокадной книги мы записывали, собирали сегодняшние рассказы людей, переживших ленинградскую блокаду, для второй использовали прежде всего дневники того времени.

Во время блокады дневники вели многие. А некоторые блокадники по свежим следам записывали, что пережили. Нам присылали, при-

носили эти тетрадки, старые конторские книги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иногда коченеющей рукой люди записывали пережитое. Из всех дневников и записок мы отобрали эти три наиболее поразившие нас истории, три разные судьбы.

Они подлинны, они позволяют проследить во всех подробностях историю души каждого нашего героя в дни блокады. Ни одного слова в них не вписано, не изменено, мы позволяли себе только сокращать, опускать повторы или записи, не имеющие отношения к происходящему.

В Ленинграде мемориальные доски ставят скупое. Слишком их много — мест, домов, достойных быть отмеченными, обозначенными. Поэтому тот дом на Васильевском острове всегда привлекает внимание.

Если идти по набережной Невы от университета по направлению к гранитным сфинксам, что лежат над невской водой у бывшей Академии художеств, а ныне Института имени Репина, то сразу за сфинксами виден трехэтажный дом с портиком, поддерживаемым четырьмя дорическими колоннами. Дом старой постройки, милой, скромной петербургской архитектуры, в 1806—1808 годах он был перестроен знаменитым зодчим Захаровым. Все его стены увешаны чугунными мемориальными досками. Ни один жилой дом в Ленинграде, да и в Москве, пожалуй, а может, и вообще в мире не имеет столько мемориальных досок. Их здесь 27. Дом принадлежит Академии наук. Жили здесь — преобразователь русской орфографии и составитель русского словаря Яков Карлович Грот; византиевист Федор Иванович Успенский; исследователь русской литературы Александр Сергеевич Орлов; физик, изобретатель современной гальванотехники Борис Семенович Якоби; крупнейший русский и советский минералог Александр Евгеньевич Ферсман; создатель теории фигур небесных тел Александр Михайлович Ляпунов; первый русский электротехник Василий Владимирович Петров; языковед Николай Яковлевич Марр; великий наш геолог, геохимик, человек, который создал современную теорию биосферы, ноосферы Владимир Иванович Вернадский; здесь жил и умер в 1936 году Иван Петрович Павлов. Что ни имя, то целый раздел науки. За полтора с лишним века история отобрала эти двадцать семь крупнейших имен, а сколько еще жило здесь замечательных русских и советских ученых.

В доме этом, ставшем в каком-то смысле символом русской науки, проживал к началу войны директор Архива Академии наук СССР Георгий Алексеевич Князев.

Мог жить он и в другом доме, там завершить свой жизненный круг, написать труды по истории Академии наук, по архивному делу, но то, что он жил в этом доме всю блокаду и здесь писал свой дневник «Полвека жизни среднерусского интеллигента», обретает неожиданный смысл.

Часто кажется, что если бы вы жили в другом доме, с другим видом из окна, то вы были бы немного другим человеком и жизнь, возможно, сложилась бы иначе. Может быть, это не просто игра фантазии.

У Георгия Алексеевича Князева ноги были полупарализованы, ходить было грудно, из дома на работу и обратно перемещался он в коляске, «самокате». Более дальние поездки были редки. Архив Академии наук находился тут же на набережной, за университетом, в здании Академии наук, метрах в восьмистах от дома. В сущности, этот отрезок пути по набережной и составлял главный путь Г. А. Князева всю блокаду, это был тот кусок, кусочек города, который он мог видеть, тот крохотный радиус, на котором развевалась для него война — блокада, обстрелы, бомбежки, голод, эвакуация.

На первый взгляд площадка очень ограниченная, но в эти же самые месяцы мы, сидящие в окопах на Ленинградском фронте под Пулковом, под Пушкином, у Синявина, что видели мы? Свой окоп, свой участок длиной в те же полкилометра, «своих» фрицев, заминированное поле, пятачок, да позади землянку штаба батальона, два своих дота и где-то вдали бездымный силуэт города. Свой крохотный радиус, где проходила наша Великая Отечественная, где гибли, стреляли, наступали, где было все.

Князев записывает:

«1941.VI.23. Второй день войны. Так и не узнал я о подробностях вскрытия гробницы Тимура. Военные события заслонили сведения об археологических раскопках в Самарканде.

Как все повторяется на свете. Тимур, или Тамерлан, в XIV веке завоевал Индию от Инда до Ганга, Персию, Сирию, Турцию, южную Россию.

И вот теперь снова, но далеко превзошедший Великого Хромца — наглый Гитлер, принесший столько страданий и своему народу и всем другим народам, как поработенным и униженным, так и боющимся с его дьявольским режимом.

В Ленинград привезены первые раненые. Новая линия Маннергейма за Выборгом прорвана нашими частями в нескольких местах, по словам Черникова. Также уничтожен германский воздушный десант в несколько тысяч человек.

Закончился второй день великой отечественной войны¹.

Устал за день. В голове шумит кровь, и словно гул пропеллеров все время звучит в ушах».

Этот лишь ожидаемый гул пропеллеров долго будет преследовать Г. А. Князева — пока не произойдет первый большой налет на Ленинград в первых числах сентября. И тогда этот нервный гул пропадет, заменившись настоящим ревом самолетов и взрывами, к которым тоже вскоре люди привыкнут.

«1941.VI.25. Четвертый день... Сегодня утром, когда все окна проклеили белыми полосками, пришла одна женщина и сказала, что в их учреждении получен приказ заклеивать не белыми, а черными полосками... Весь же город, все окна в домах испещрены белыми полосками бумаги.

У карты изучаем положение на фронте. Напряженные страшные бои. Наиболее нас волнует вопрос, удастся ли немцам перерезать Кировскую (Мурманскую) железную дорогу. Особенно напряженные бои идут в районе Кандалакши.

На службе вел переговоры с представителями специальных архивохранилищ. Решили в ряде случаев не переносить наиболее ценные материалы в сырые и затопляемые подвалы...»

Что у вас под окном, по дороге на работу: березы? липы? река? избы? дома? У Георгия Алексеевича Князева — сфинксы. Как бы специально — потому что он историк. И еще потому, что собирает, записывает факты, говорящие о прогрессе или регрессе рода человеческого. Всегда перед глазами они — древние сфинксы. И есть с кем по дороге в Архив или домой поговорить о веках и тысячелетиях кровавой истории человечества...

Лежат розовато-каменные, под цвет гранитных набережных, с человеческими лицами и звериными лапами, обращенные друг к другу, а старая вязь кириллицы сообщает: «Сфинксъ изъ древнихъ Оивъ

¹ Заметьте, Г. А. Князев предугадал, как эта война войдет в нашу историю — Великая Отечественная. (Здесь и далее примечания авторов.)

въ Египтѣ перевезен в градъ святаго Петра в 1832 году». Так кстати здесь они — свидетели немалой уже истории бесконечных, как пишет Князев, «взлетов и падений человечества по пути прогресса».

Записки Князева с ранних лет посвящены были — давно и постоянно — одному вопросу: куда идет человек, человечество? Теперь это записки ленинградца, который еще не знает, какая судьба ждет город и его жителей в ближайшие месяцы, но который в первые же дни войны понял: «Нам много придется пережить — это ясно».

«...стоявшие около сфинксов два бронзовых светильника разобраны и увезены. Сфинксы еще стоят... Сегодня я смотрел на них с глубоким волнением... Но стихов сочинять не мог.

Но вот все-таки пишу эти записки. Зачем? Не могу не писать. Но не гонюсь за необъятным.

«На моем малом радиусе» — вот содержание моих записей. Для кого же пишу? Для тебя, мой дальний друг, член будущего коммунистического общества, которому будет чужда и органически отвратительна война, как противна нам, противоестественна антропофагия — людоедство... А ведь люди, наши предки, с удовольствием пожирали друг друга!.. Я верю, и здесь я неисправимый мечтатель, что настанет такое время, когда войны не будет на земле.

Вот почему я все же пишу свои записки. И меня не пугает мысль, что они, может быть, погибнут, сгорят в какой-нибудь страшный момент возможной бомбардировки нашего города. Как не пугает и то, что могу погибнуть и я.

И если дойдут до тебя, мой дальний друг, может быть в отрывках, обгоревшие эти страницы, ты переживешь вместе со мной, чем жил и волновался твой несчастный предшественник, которому пришлось жить в «доисторическую» эпоху, но на заре истинной человеческой истории. В официальных бумагах, сохранившихся до тебя, ты найдешь материалы для научной истории, в моих записках ты ощутишь биение пульса жизни одного маленького человека, пережившего на своем малом радиусе большую, необъятную сложно-трагическую и противоречивую жизнь...

На дворе, в садике, собрание живущих в доме. Там и моя жена. Сейчас она придет и расскажет, что там делалось.

10 ч. 30 мин. Последние известия по радио. Турция заявила о своем нейтралитете. Громадный взрыв народного воодушевления прокатывается по стране в связи с начавшейся великой отечественной войной.

Должны же восстать народы Европы!

1941.VI.26. Пятый день. Ночь проспала спокойно. Тревоги не было. Значит, в ушах шумело. Интересно, что эта иллюзия слуха не у меня одного, а и у других наблюдателей.

На службе нормальный рабочий день. Провел экскурсию со студентами и читал им лекцию с большим подъемом.

Вечером читали правила поведения и мер при воздушной тревоге. М. Ф.² ходила в медицинский пункт. Я разбирал запасы медикаментов на случай ожогов или ранений».

Века и даже тысячелетия, обжитые умом и фантазией образованного историка Князева, не мешают ему оставаться «среднерусским интеллигентом своего времени». Потом мы убедимся (и записи это засвидетельствуют), что дни, недели, месяцы жизни в условиях блокадного Ленинграда окажутся равными многим десятилетиям в жизни человека. Он передумает, перечувствует, поймет столько, что вся его предыдущая жизнь покажется лишь подготовительным классом.

² М. Ф. — Мария Федоровна Князева, жена Г. А. Князева, которая предоставила нам этот дневник и многое помогла понять в личности и трудах Георгия Алексеевича.

«1941.VI.28. Суббота. Седьмой день. Нервный, нервный день. На службе излишнюю нервность внесла И. Л.³. Она под влиянием обьявленного угрожаемого положения и известия об эвакуации детей составила, по-видимому, мрачное заключение о положении на фронте в связи с протечкой танковых частей в расположение наших войск на минском и других направлениях. Это настроение сразу передалось другим, особенно тем, что пришли усталыми с ночного и бесцельного дежурства в главном здании Академии наук. Я принял все меры к поднятию настроения. Указал И. Л., что она накануне нарушила мой приказ, сняв с дежурства в Архиве вечером Свикуль и направив ее в главное здание. По выражению дежуривших там сотрудников, они «сберегали стулья в кабинете президента», в то время как Архив оставался без охраны. Утром все сотрудники носили песок на чердак».

Записи, да еще подневные, сделанные в те месяцы и дни, отличаются от воспоминаний из тридцатилетней дали. Отличаются прежде всего тем, что в дневнике человек не знал, что будет. Он здесь со своими надеждами, которые не оправдались и потому забыты, с предположениями, которые оказались иллюзиями... Так, Князев убежден, что народы Европы восстанут, что начальство все предусмотрело...

Сегодня блокада вспоминается как одна из трагических страниц победы н о с н о й войны. Многие подробности той жизни память утратила или же по-своему заострила, но отбирая факты и переживания, укрупняя и заостряя их, она порой теряет кое-какие краски, душевные движения, нюансы.

По рассказам ленинградцев — по тому, что и как они помнят, — хорошо заметна такая особенность блокадной памяти: человек пребывает там (в блокаде) и здесь (в нашем времени) одновременно. Жесткая, ничего не прячущая память как бы стирает границы времени. (Поэтому, кстати, рассказы-воспоминания блокадников так естественно и просто монтируются с документами и дневниками.)

Евгения Александровна Равдель, женщина точного и наблюдательного ума, очень емко сформулировала для нас то самое двойное (или сдвоенное) видение — характерную особенность блокадной памяти:

«Когда я отсюда смотрю туда, то у меня такое ощущение, что я стою все время у открытых могил, но когда я переносусь туда вся, тогда я хорошо помню, что было и любопытство ко всему, что нас ждет, какое-то восторженное ощущение, что откроется невероятное...»⁴.

Или читаем в дневниковых записках Т. В. Рябининой, в которых такое же удивление перед неожиданностями, сложностью человеческих переживаний и поведения:

«Тогда-то мы узнали, что выхода из города нет, что мы окружены плотным кольцом. Но не было паники и не было желания вырваться. Что касается меня, то я кроме того была полна глупого детского любопытства. Я хотела все видеть и все испытать. Желание мое судьба потом вполне удовлетворила. Я видела и испытала достаточно».

Да, дневниковый материал отличается и должен отличаться от тех записей блокадных воспоминаний — тридцать лет спустя, — которые составили первую часть Блокадной книги.

Но какое это отличие, в чем оно? Публикуя дневниковую часть книги, мы как бы подвергаем проверке и перепроверке ту, первую

³ Многие фамилии полностью не публикуем, поскольку оценки людей могли быть случайными, продиктованными неясностью ситуации или настроением минуты.

⁴ Разрядка в цитатах здесь и далее авторов.

часть. Выдержит ли правда воспоминаний испытание дневниковым документом?

Сомнения были, нам их высказывали: все-таки минуло тридцать лет! Насколько можно доверять таким воспоминаниям?

Но своеобразную проверку воспоминания, составившие первую часть Блокадной книги, уже прошли. Она зафиксирована в откликах-письмах бывших блокадников, тех, с которыми мы не смогли встретиться, поговорить. И почти во всех письмах: да, и у меня так было, у нас тоже именно так было!.. И тут же — свои случаи, подробности, подтверждения.

Дневники тоже подтверждают — не опровергают, не отрицают правду воспоминаний блокадника. Память эта особенная, время на нее, конечно, действует, как действует оно и на горные породы: мягкие выветриваются, осыпаются, зато твердые выступают на поверхность, обнажаются. Самое сильное делается заметнее. Но теперь, читая дневники, мы спускаемся к материковым породам, в ничем не нарушенную подлинность той жизни...

Юра Рябинкин — он представился в своем дневнике краткой автобиографией:

«Автобиография»

Я родился в 1925 году 2 сентября в г. Ленинграде.

Живу я с матерью, с сестренкой и теткой.

Мать моя работает в Обл. комитете союза пром. строит. центра, завед. библиотечным фондом, член ВКП(б) с 1927 года. Тетка — врач, в настоящее время на фронте. Сестренке — 8 лет. Отец бросил семью в апреле 1933 года, женился и уехал в Карелию; впоследствии, говорят, в 1937 году, он был сослан в г. Уфу.

До 7-летнего возраста я рос у тети за городом.

В 1933 году поступил в школу и сейчас закончил 8 классов, перешел в 9-й класс.

В 1938/39 году учился еще в морском кружке Куйбышевского района, прошел летнюю практику в Стрельне и получил значок «Юный моряк». Кроме этого, попутно со школой занимаюсь 3-й год во Дворце пионеров в историческом кружке. Проводил доклады на темы: Багратион, Суворов и т. д. По учебе имею «хорошую» оценку.

Ю. Рябинкин».

Итак, ему еще нет шестнадцати, живет он в центре, на улице Третьего июля (тогда бывшая, ныне опять Садовая улица). Он, как и все, описывает день начала войны со множеством деталей. День этот запомнился всем. Не только то, что происходило после известия о войне, но и предшествующие часы память тоже прихватила, высветила с мельчайшими подробностями.

«22 июня 1941 г. Всю ночь мне не давало спать какое-то жужжанье за окном. Когда наконец к утру оно немного затихло, поднялась заря. Сейчас в Ленинграде стоят лунные, светлые, короткие ночи. Но когда я взглянул в окно, я увидел, что по небу ходят несколько прожекторов. Все-таки я заснул. Проснулся я в одиннадцатом часу дня, вернее утра. Наскоро оделся, умылся, поел и пошел в сад Дворца пионеров. В это лето я решил получить квалификацию по шахматам. Как-никак, а я выигрываю часто даже у третьей категории.

Выйдя на улицу, я заметил что-то особенное. У ворот нашего дома я увидел дворника с противогазом и красной повязкой на руке. У всех подворотен было то же самое. Милиционеры были с противогазами, и даже на всех перекрестках говорило радио. Что-то такое подсказывало мне, что по городу введено угрожающее положение.

Придя во Дворец, я застал только двоих шахматистов. Вероятно, было очень рано. Действительно, немного позднее пришло еще несколько человек.

Расставляя шахматы на доске, я услышал что-то новое, обернувшись, я заметил кучку ребят, столпившихся вокруг одного небольшого парнишки. Я прислушался и... замер...

— ...Вчера в 4 часа ночи германские бомбардировщики совершили налет на Киев, Житомир, Севастополь и еще куда-то,— с жаром говорил паренек. — Молотов по радио выступал. Теперь у нас война с Германией!

Я просто, знаете, сел от изумления. Вот это новость! А я даже и не подозревал такой вещи. Германия! Германия вступила с нами в войну! Вот почему у всех противогазы.

У меня голова пошла кувырком. Ничего не соображает. Я сыграл три партии. Чудак, все три выиграл и поплелся домой.

На улице остановился у громкоговорителя и прослушал речь Молотова.

Когда я вернулся домой, дома была только мама. Она уже знала о происшедшем.

Пообедав, я пошел ходить по улицам. Всюду чувствовалось какое-то напряжение, им была наполнена вся душная, пыльная атмосфера города. Подходя обратно к своему дому, я встал в очередь за газетой. Газеты еще не было, но очередь была огромной. По очереди ходили любопытные разговоры, пронеслись шутки на международные темы, скептические замечания.

— А что будет, если Германия с Англией мир заключит и вместе с ней да на нас?

— Теперь все будем бомбить, не как в Финляндии, и жилые кварталы, пусть пролетариат заговорит, поймет, на что идет.

— Слышали, под Ольгино самолет немецкий сбили!

— Вон куда залетел!

— Да, готовься к бомбежке. Как налетит на Ленинград сотни три...

— Без этого не обойдешься. Все своим чередом.

Постояв около двух часов, я решил было уйти, как вдруг объявили, что хотя газет не будет, но будет какой-то официальный бюллетень, но когда он будет, неизвестно. Постояв еще полчаса, я все-таки пошел домой. За газетой пошла наша домработница Нина.

День кончается. На часах — половина двенадцатого. Началась решительная серьезная борьба, столкнулись два антагонистских строя: социализм и фашизм! От будущего этой великой исторической борьбы зависит благо всего человечества».

Отрывки из дневника Юры были напечатаны в 1970 году в ленинградской газете «Смена». Копию дневника нам дала Алла Белякова, бывший редактор этой газеты. Спасла и сохранила дневник медсестра Р. И. Трифонова.

Все, кто соприкасался с дневником Рябинкина, безошибочно ощущали силу и талантливость этого документа. Хотя начало его довольно обычное. Так же как и Г. А. Князев, Юра выполняет свой долг, старается чем-то помочь взрослым, городу. Война, блокада еще не ставят перед ним серьезных проблем, ему еще не надо бороться...

К этой обычности стоит присмотреться. При всем мальчишестве Юриных записей и несмотря на то, что это первые дни войны, в дневнике нет страха, есть деловое спокойное отношение, есть работа, которой Юра немного любит. Но заметно, и далее это будет все явственнее, как быстро он взрослеет.

«26 июня. Сегодня, как встал, пошел во Дворец. Оттуда вместе с ребятами пошел на строительство у Казанского собора. Работал я с

одиннадцати утра и до девяти вечера с обеденным перерывом. Перерыв час. На обеих руках — мозоли, занозы. Таскал доски, копал землю, пилил, рубил — все приходилось делать. Под конец рука разболелась так, что пилить не мог. В обеденный перерыв дома начал читать Тургеневу «Новь». Вечером дома. Мама возвратилась со своего дежурства рано — ее сменили. Ну, писать много не могу — нет времени, надо идти во Дворец.

28 июня. Сегодня работал опять во Дворце пионеров на строительстве бомбоубежища. Работа была адовая. Мы стали сегодня каменщиками. Я отбил все свои руки молотком — все они теперь в царапинах. Но сменили нас рано — в 3 часа. Поработали мы, следовательно, 4 с половиной часа, но как!!!

Из Дворца я пошел к маме. Мама в беспокойстве, все ходит унылая... Встала возможность химической войны, сейчас начинает производиться эвакуация. Взял 5 рублей и сходил в столовую. Затем пришел домой. Приходила какая-то женщина, которая записывала всех ребят до 13 лет. Ирку записала. Комендант приказал Нине дежурить у ворот с половины десятого и до трех. Кстати, сообщил, что на случай тревоги мы должны бежать к Хамадулину, в 1 этаж. Но там все равно небезопасно. От фугасной бомбы не спастись, от воздушной волны тоже: волна снесет дом, а его обломки похоронят нас в этом подвале; от химической бомбы не спастись тем более.

29 июня. Работал во Дворце на строительстве бомбоубежища. Перед этим был на площади Лассалья — грузил песок. Но работы там было все же мало. Ребята вылепили из песка рожу Гитлера и стали бить ее лопатами. Я тоже присоединился к ним. Во Дворце опять таскал кирпич и песок. Ушел из Дворца в шесть часов. Придя домой, получил неожиданный сюрприз.

Еще в дверях ко мне подбежала Ира с криком: «Посмотри, что мне мама купила! А тебе не купила! Не купила!» Я пошел в столовую. На диване лежала купленная Ире матроска и кукла. На столе стояли новые Ирины сапоги.

Мама мне сунула какую-то записку в руки. Я машинально развернул ее. Это было заявление в военкомат о добровольном вхождении мамы и меня в ряды Красной Армии.

Оказывается, у мамы было утром партсобрание и все партийцы решили войти в ряды нашей Красной Армии. Никто не отказался. Сначала я почувствовал какую-то гордость, затем некоторый страх, наконец, первое пересилило второе.

Вечером я и мама пошли к владелице одного из домов в Сиверской. Мама решила отправить туда Нину и Иру, если мы уйдем на фронт. Кое о чем все же там договорились.

В тот же вечер я — ого-го! — сходил в парикмахерскую. Наверное, месяца два не стригся.

30 июня. Придя во Дворец, застал ребят, играющих в бильярд. Поиграл около получаса; затем мы пошли на работу в бомбоубежище. Я опять таскал песок из сада. Освободился только к 7 часам. Пошел в фонд. Там другая новость — меня, наверное, в армию не возьмут: мал да еще плевроит; из-за того, что плохо себя чувствую, дает себя знать плевроит, освободят, наверное, от работы во Дворце и пошлют в лагерь.

С Тиной⁵ связь прервана. Она не может сюда приехать, так как прописана в Шлиссельбурге, а к ней ехать опасно. В девять часов вечера сходил к Доде Финкельштейну. Он нигде не работает — свободен. Братишку отправляют в Малую Вишеру послезавтра. Рассказал ему о Дворце. Решил тоже идти туда работать. Я ушел от него около одиннадцати часов».

⁵ Тина — Валентина Ивановна, тетка Юры, сестра его матери.

И третий персонаж этой книги — Лидия Георгиевна Охупкина. Ей было тогда двадцать восемь лет. 22 июня 1941 года она с утра собралась возвращаться на дачу, где жила с детьми. Муж ее, Василий Иванович, был в командировке, и Лидию Георгиевну пришли проводить ее племянник и родственник мужа Шура Самсонов.

«Все уже было собрано, я кормила дочку грудью, ей было пять месяцев. Вдруг по радио прозвучало: «Внимание, внимание!» И стал выступать Молотов. Я сказала, что на дачу мы не поедем. Надо дожидаться мужа. Я совсем не испугалась, вспомнив финскую войну, которая совсем не была страшной, во всяком случае для меня и для Ленинграда. Олю, сестру мужа, и моего племянника послала в магазин за продуктами к обеду. Накормив дочку, с ней на руках я и Шура вышли на улицу. Шура меня успокаивал, говорил, что война долго не продлится, но, однако, ему и Васе придется идти воевать».

Уточним: заметки Лидии Охупкиной отличаются от Юриных и князевских, это не дневник, а записки и сделаны они несколько позже.

«Начала я их как раз в день победы. Все веселятся, а на меня нахлынуло, и я села писать. Специально для мужа, для сына писала — муж воевал за «кольцом», а сын ничего не помнит. И я поклялась, что напишу только правду. Только правду! За месяц все записала. А тогда, в блокаду, мне не до того было, совсем не до того было, совсем не до того...» — вот история записок Л. Г. Охупкиной, как она ее сама излагает.

«26 июня 1941 г. приехал муж. Из Ленинграда стали эвакуировать некоторое оборудование заводов и людей. Достать билет на поезд уже трудно. Всех детей детсадовского и школьного возрастов предполагают вывезти в другие города, так как Ленинград будет подвергаться опасности».

Далее записи идут не по числам.

«Мы с мужем решили только сына отправить с детским садом... А я с дочкой останусь, и мне легче в случае тревоги бегать в бомбоубежище. Он тоже предполагает, что война продлится лето и к зиме кончится».

Жила Лида Охупкина в двухэтажном деревянном доме за Волковым кладбищем.

«28 июня мы отправили сына. Бедный ребенок, ему пять лет. Я приготовила для него одежду, всю пометила, вышила нитками его имя и фамилию.

Одевая его в то утро, я подумала, когда мне придется еще его одевать. И вдруг меня взяла тревога и беспокойство, когда я его увижу вообще, а вдруг он потеряется. Я очень расстроилась и взволновалась и сказала об этом мужу, оглянулась на него и смотрю, у него по щекам текут слезы.

...30 июня Вася уехал. Перед отъездом он сказал, что его отправляют на спецвоенные работы (он был инженер), а не на фронт, где идут бои, чтобы я не беспокоилась. Это была правда и неправда. Его отправили куда-то под Смоленск, и он попал в окружение немцев. Долго блуждали и скрывались в лесу, потом все же вышли. Но об этом ни он, ни я еще не знали.

...Бомбежки продолжались 20—30 минут, а иногда они длились час и два. Я от страха вся дрожала и бледнела. В ушах что-то звенело и как будто лопалось. Ноги слабели, и я иногда была не в состоя-

нии двигаться. А надо было брать на руки дочурку и бежать в бомбоубежище».

Так начинается эпопея матери.

Полуголодная, а затем голодная женщина спасала своих детей. Спасала не раз, не два, а сотни раз, проявляя выдумку, изворотливость, отчаянную смелость.

«Никуда я из города не поеду»

Архив и дом. Оба эти пункта жизни Князева претерпевали изменения. Война преображала, казалось бы, самые устойчивые, малоподвижные, неизменные оплоты. Г. А. Князев неустанно наблюдает это, сравнивает, осмысляет. Можно подумать, что он готовится к долгим записям и тысячелетнему повествованию — таков обстоятельный зачин его дневника. И, как ни странно, именно такое повествование ему и удалось довершить, а многие дневники, начатые наспех, коротенькие записи, где рассчитывалось, что потом, дальше записано будет подробнее, были оборваны разными обстоятельствами.

«1941.VII.1. Десятый день войны. Акад. Павловский, передавая мне находившуюся у него рукопись, сказал: «Сохраните, если возможно. Положение очень серьезное».

Через некоторое время пришел зав. Архивом ИРЛИ⁶. Долго совещались по вопросу о надлежащем сохранении здесь, в Ленинграде, ценных материалов — рукописей Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и др. На Городецком лица нет. Не может спать. «Какую же мы несем с вами ответственность!»

Да, величайшую мы несем ответственность (не о юридической, административной или служебной ответственности здесь приходится говорить), ответственность моральную, перед потомством.

1941.VII.2. Одиннадцатый день. Здание Архивного управления, на площади Красного флота, так много выдавшее на своем веку, сейчас переживает еще один этап в своей истории. На лестнице, по которой когда-то стучала сабля гвардейского офицера Лермонтова, по которой когда-то пробегали в суете, обыскивая дом, солдаты с насаженными на штыки сальными свечами в ночь на 15 декабря 1825 года, после неудавшегося восстания на Сенатской площади, — теперь висит на правой стороне обрубленный рельс на толстой проволоке и рядом металлический прут — било. Это на случай химической тревоги. На верхней площадке темно: горят синие лампочки. Шел по коридору почти впотьмах и испытывал что-то похожее на постановки Мейерхольда.

Жуткое впечатление произвело на меня архивохранилище ИРЛИ. Я не узнал рабочих комнат. Все в каком-то хаосе. В первой, проходной, комнате сзади статуи Александра Веселовского стоят две сорокаведерные бочки с водой, одна из них уже подтекает; везде ящики с песком и лопатами; по коридору растянута пожарная шланг. Около пушкинской комнаты ящики для архивного материала. Некоторые пустые, другие заполненные. Надо отдать справедливость — упаковка пушкинских рукописей идеальная... Но много нервности, суеты. Тут же около ящиков один из сотрудников диктует машинистке статью о фашизме. Кто-то пишет описи подлежащего укладке в ящики. Под ногами песок, водяные пятна от растянутого на полу пожарного рукава, по-видимому оставленного для просушки или положенного там для какой-то предохранительной надобности. Везде, как в служебных помещениях Архива, так и на лестницах Музея, толкуются люди, несут мешочки с песком... У дверей в читальный зал прижались два бюста писателей. Их откуда-то второпях сняли и оста-

⁶ Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).

вили на полу. Заведующий Городецкий очень много сделал для сохранения материала, но и переборщил. Успенская, дочь писателя и сотрудница Литературного архива, сказала мне, показывая на развал: «Пожалуй что и перестарались...»

Сам Городецкий устал до изнеможения. Он третью или четвертую ночь не спит: все время в Архиве, волнуется, борется с администрацией. В результате совсем издерган. «Обязательно уйду, как только выполню свой долг. Ни за что не останусь заведовать Архивом. Меня не понимают, и администрация упрекает за слишком большие заботы об архивных материалах, за настойчивость...»

Памятник Петру Великому закладывают мешками с песком.

В Румянцевском сквере закончены траншеи или землянки.

Сфинксы еще стоят. Им нет ни до чего дела, как всегда!

Никак не пойму — шум ли в ушах или шум пропеллеров слышу. Тихо, зловеще тихо... И вот когда-то придет час и такую тишину будет разрывать страшный треск. Начнутся пожары. Завалятся в развалинах громадные дома под ударами фугасных бомб... Раненые... Убитые... Обезумевшие... Засыпанные обломками заживо. Все это придется пережить, и в самом, быть может, недалеком будущем. Если думать все время об этом, надо сойти с ума; в лучшем случае потерять жизнеспособность и сделаться никчемным человеком. Надеюсь, со мной этого не случится. У меня достаточно еще воли к жизни.

1941. VII.3. Двенадцатый день. Те, кто слышал речь самого Сталина, передают, что было очень плохо слышно и многие места речи они не разобрали. Мой шофер, слышавший эту речь, заметил, что слишком сильно выделялся акцент и были паузы, во время которых было слышно бульканье воды, наливаемой в стакан...

Беседовавший со мной академик С. И. Вавилов очень трезво смотрит на вещи. За Ленинград он спокоен. Обсудили с ним все вопросы по истории Академии наук и другим работам. Работу комиссии по истории Академии наук мы продолжаем.

Смертельная борьба... Отступая, ничего не оставлять врагу — так ков лозунг в речи Сталина.

1941. VII.5. Четырнадцатый день. Жена целое утро убирала чердак, носила на двор доски и всякий хлам. Чего только не сбросили с чердаков, захламленных более чем за сто лет. (Наш дом капитально перестраивался за 6 лет до первой Отечественной войны, т. е. в 1806 г.) Никак не можем организовать достаточной и полноценной пожарной охраны на нашей лестнице № 3. Быть может, представит когда-нибудь интерес вот этот небольшой документ, составленный общительным и любезным семидесятитрехлетним старичком, живущим в квартире акад. Крачковского, бывшим инженером Снитко: «Список жильцов, проживающих в д. 2 по 7-й линии В. О. по лестнице № 3 (кв. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 29)»⁷.

...О чем я, гуманист, сейчас мечтаю? Вот о чем (см. иллюстрацию, вырезанную из газеты): «В ответ на угрозу германского вторжения население Лондона воздвигло у одного из разрушенных бомбардировкой домов виселицу с надписью: „Приготовлено для Гитлера“».

Но не сразу повесить, а сперва судить. Призвать от каждой разоренной Гитлером страны представителей: мужчину и женщину из особенно пострадавших местностей в качестве присяжных заседателей. Собрать документы и образчики из необъятного количества «вещественных доказательств» изуверской жестокости Гитлера и гитлеровцев. Создать из этих «реликвий» музей в назидание потомству, показать будущему человечеству «музей» ужасов и страданий, причиненных людям жестоким завоевателем. Собрать в этом «музее» и предшественников Гитлера — мировых убийц и грабителей, удач-

⁷ Список длинный, из экономии места мы его опускаем.

ливых и неудачливых, вроде Наполеона и Вильгельма, Тамерлана и Аттилы и всякой прочей нечисти т. н. всемирной истории человечества, точнее, истории дочеловеческого общества... Пожалуй, даже не среди этого сонма «великих», а просто в ряду смрадных негодяев вроде Каина, Ирода, Иуды место Гитлера. Презренное имя во всем мире. Смрадное имя».

И список жильцов-соседей, который приводит Г. А. Князев, где эпически, на равных соседствуют имена выдающихся (арабиста Крачковского, китаиста Алексеева) и безвестных «домашних» (вдов и родных академиком, пенсионеров, домашних хозяек, школьников: все люди, все равны перед надвигающейся трагедией), и подробности происходившего в архиве Института литературы — все пронизано ощущением историзма происходящего. Драгоценное чувство, естественное для автора-историка, но, к сожалению, не столь уж распространенное. Подробности жизни, быта, даже значительных событий теперь не записываются, не фиксируются так, как это было, допустим, в XIX веке. Мы, например, куда лучше представляем себе детали, события, обстановку, круг чтения, вкусы, мебель, еду, костюмы и т. п. в двадцатые годы XIX века в России, чем все это спустя сто лет, в двадцатые годы XX века. Мы как бы перелагаем обязанности летописца, бытописателя на газеты, кино, журналистику. Надежды эти часто остаются неоправданными. Ни в одних воспоминаниях о блокаде не сохранилось текстов объявлений о продаже, обменах, услугах, которыми тогда пестрел город. Известно, как много их было, какие среди них были необычные, характерные, тексты же забылись. Ни у кого не встретилось нам подробных описаний блокадного рынка или первых гитлеровских военнопленных, которых провели по улицам города. Вот почему так дороги подробности жизни, которые тщательно заносит в свой дневник Г. А. Князев.

«1941.VII.7. Шестнадцатый день. Напряженный день. Четыре раза объявлялась воздушная тревога. Стрельбы не слышали. Вчера, говорят, появились над городом одиночные вражеские аэропланы, но тревоги не объявлялось. Все передают, что был сбит в окрестностях Ленинграда вражеский самолет, который, упав, сгорел.

Исаакий со своим грандиозным золоченым куполом, видный за многие десятки километров, как стометровой высоты маяк, теряет свой эффектный вид. Золоченый основной купол и другие малые золоченые купола покрываются какой-то серой массой.

Медный всадник все еще не обложен мешками; также совсем не обложены сфинксы. Но вот Петр работы Растрелли, стоявший перед Инженерным замком с надписью «Прадеду правнук», снят. Остался один пустой пьедестал.

Третьего дня эвакуировались дети. Теперь предполагают эвакуировать не только детей, но и взрослых, которые могут сопровождать своих детей.

Все главные ценности Эрмитажа эвакуированы в неизвестном направлении. Сегодня у меня был акад. С. И. Вавилов. Решили присоединить ко второму эрмитажному эшелону и наши архивные ценности. Некоторые мы уже и передали: мозаичные портреты Петра работы Ломоносова, два плана Петербурга XVIII века (Леблон и Махаева) и золоченый ковчег, в котором хранился в Академии наук Наказ Екатерины II, писанный ею самой.

Нет слов, чтобы описать мое настроение, когда снимался со стены мозаичный портрет основателя Академии наук Петра I, который я оберегал с такой любовью и заботливостью; когда выносили позолоченный ковчег искусной работы мастера XVIII века; когда оголялось и разорялось хранилище, которому я отдал столько сил и любви. Эрмитажные рабочие бережно сняли портрет со стены и унесли

его на автомобиль. Я провожал их, не скрою, очень взволнованный. Я ясно отдавал себе отчет, что больше их не увижу. Я строил как мог архив и музей истории одной области великой русской культуры — Академии наук. Война нарушила порядок и оголила те места, где с такой заботливостью хранились эти памятники.

Сперва мы говорили о надежном хранении на местах, теперь, в связи с событиями на фронте, заботимся об эвакуации; думаю, что эвакуация совместно с Эрмитажем будет дело надежнее... Но болит сердце. Пришел домой совсем разбитый.

1941.VII.13. Двадцать второй день. Не дождался автомобиля и четыре часа простоял и просидел под колоннами нашего академического дома. В расстоянии каких-нибудь сотен метров (до километра) по радиусу раскинулись передо мной: Нева, мост, сфинксы, Академия художеств, Исаакий, Адмиралтейская игла, памятник Петру (скрытый в дощатом футляре), здание бывшего Сената, старинные дома на набережной, вдали Зимний, прямо у моста б. дом Румянцева с его знаменитым музеем, прежняя Английская набережная, на западе — Новое Адмиралтейство, по правому берегу Невы — Балтийский завод, Горный институт, Морское училище, б. Киевское подворье, старинные прямые линии Васильевского острова, корабли у причалов, высокие могучие краны у берегов, где Нева заворачивается мысом Васильевского острова. Это мой город, красотой которого вот с этого бывшего Николаевского моста восторгался еще Достоевский, вот эту Сенатскую площадь и открывшийся оттуда вид на стрелку Васильевского острова с Академией наук и Пушкинским Домом воспевал Блок, вот этот гордый памятник Петру I, Медный всадник, и Неву воспевал Пушкин; вот эти сфинксы, которые волновали многих поэтов, художников, ученых, проходивших мимо них. Замечательный город!.. И неужели ему угрожает опасность быть занятым врагом?.. Нет, нет, нет!..

Четыре часа я любовался дивной панорамой своего родного города. Никуда я из него не поеду. Если случится несчастье, пусть лучше вот тут, где-нибудь на набережной или в водах глубокой Невы погибну... Но наш город, я твердо верю в это, не попадет в руки врага!

1941.VII.15. Двадцать четвертый день. Сегодня отправили из Архива в Эрмитаж самые большие наши ценности — рукописи Ломоносова, Кеплера, рисунок Кунсткамеры и т. п. Они будут отправлены со вторым эрмитажным эшеленом в надежное место. Какое? Нам неизвестно.

Всего запаковали 30 ящиков. Приняли все меры против сырости и проникновения пыли (руберион, целлофан, клеенка, папки, бумага). Работали всем составом Архива в течение 2-х недель. На все материалы составили поящичные описи. Ящики перевязали проволокой и запломбировали.

Проводил из ворот до набережной грузовик с ящиками. Так провожают кого-то родного: сына, дочь, жену... Долго смотрел, как медленно грузовик (я просил шофера быть осторожным) двигался по Дворцовому мосту... Осиротелый вернулся в Архив...

Вводятся продуктовые карточки. Предложено завтра к 10 часам составить списки. Проводится это очень спешно. Само население только приветствует это новое, или, точнее, старое, введение.

Предложено все путеводители, планы Ленинграда-Петербурга сдать в спецчасть.

1941.VII. 16 и 17. Двадцать пятый и двадцать шестой дни... Доносятся слухи о крайней несогласованности, неорганизованности. Это меня пугает. Чем страшны немцы? Именно своею исключительною организованностью, точностью, слаженностью действий...

С эвакуированными детьми неблагополучно. Матери едут за своими детьми. Я отпустил служащую у нас машинисткой Т. К. Орбели в Боровичи за своими двумя дочками 9 и 12 лет».

Первая эвакуация детей

Мы записали немало рассказов об эвакуации детей, первой и последующих. Г. А. Князев добросовестно подчеркивает, что радиус его наблюдения малый. За его пределы он выходит осторожно, чтобы не сбиться на слухи: Князев по первой мировой войне знает, как много этого добра в тяжелые времена. Об этом, кстати, предупреждает и народный опыт: «В голод намрутся, а в войну наврутся».

Где возможно и где это к месту будем расширять малый радиус Г. А. Князева посредством дополнительных документов — дневников, рассказов, воспоминаний других ленинградцев.

Мария Васильевна Мотовская как раз занималась в те дни эвакуацией детей. Помнит события во всех подробностях. Немолодая уже женщина, она до сего времени тяжело переживает, что так все получилось...

«Теперь мы понимаем, что ехали мы навстречу немцам, а тогда никто этого не понимал. Что вы! Район очень хороший, глубинный район. И я была назначена уполномоченным райисполкома по вывозу ребят в Новгородскую область, конкретно в Демянск. И прямо туда мы и приехали. У меня было две легковые машины и одна грузовая. Со мной послали еще двух товарищей ответственных, и мы поехали.

— А кем вы работали?

— Я заведовала в это время районным отделом народного образования Кировского района, членом исполкома была. Вот поэтому меня и направили. У меня был очень хороший заместитель, Анатолий Иванович Стадорский, который должен был отправлять, а я — как следует размещать ребят. И вот я... Не знаю, стоит ли об этом говорить?

— Говорите, пожалуйста.

— Получилось так. Мы приехали туда... Надо вам сказать, что Демянск, как говорится, поднял весь район, чтобы встречали ленинградских детей... Мы наметили, где будет какая школа размещена, все такое. А через несколько дней последовало распоряжение срочно опять эвакуировать ребят.

— А вы уже и ребят завезли?

— Да, ребят разместили. Но они только две-три ночи там переночевали, и последовал приказ о реэвакуации. Да и мы уже чувствовали, что движется, быстро движется немец.

— А много ребят с вами было?

— Много, очень много.

— Сколько сот?

— Где там сот — больше! Сейчас уже не скажу сколько. Вообще из Кировского района было около шести тысяч эвакуировано, но часть потом была отправлена в Ярославскую область. Вот так, значит, реэвакуация. Понимаете, какая история? Были у нас и ясли. Мы ясли тоже вывозили, и почти без отдыха им тоже обратно нужно было ехать. А тут уже, знаете, немец подступал (Демянск в сорока километрах от железнодорожной станции Лычково). Немцы там сбросили чрезвычайно большой десант, и мы оказались отрезанными. Потом тут были истребительные отряды организованы и десанты все рассыяли. Ну вот, мы стали ребят реэвакуировать.

— На чем вы возвращались?

— Ой! Кто на чем мог. Тут нам армия сильно помогла. Военные машины стали вывозить ребят. Я даже помню такую деталь: еду, смотрю — на обочине стоит автобус, значит, наших ребят везут. Я соскочила. Что же они стоят? Ведь вывозить скорее надо! Подхожу: шофер лежит на земле, спит. Я подошла к нему, говорю: «Товарищ!» А он говорит: «Ну, теперь я могу ехать. Я ведь четыре ночи не спал. Я немножко отдохнул и поеду. А так я боялся дальше ехать». Помню — хороший был день, прекрасный день. И началась бомбежка в Лычкове, на железнодорожной станции. В это время в Лычкове были ребята Дзержинского района. Они были еще дальше, чем наши, — в Малоосминском районе. Где ребята? Я вскочила в какой-то большой дом, потому что знала, что ребят всегда в хороших домах размещали. Сидит воспитательница. Около нее ребята. Сколько их! И вот как бомба разорвется, они кричат: «Мама! Мама! Мама!» Ужасно! Я первый раз в жизни ребятам соврала: «Не бойтесь! Не бойтесь! Это наши!» Сама вышла на крыльцо. Вы знаете, он летает так низко, посмотрит, нажимает — и бомба сразу разрывается. Потом говорили, что они не знали. Ерунда! Прекрасно знали

они и, конечно, прекрасно видели. Дело в том, что Дзержинский район уже грузился в эшелон в это время, и он бомбил ребят на вокзале. Прекрасная погода. Ребята хорошо одеты. Он прекрасно видел, кого бомбит... Ну, потом, когда мы всех уже из Лычкова отправили, я говорю: все-таки поеду в Демянск, потому что я должна проверить, всех ли мы увезли.

Приехали туда. Все сельсоветы обзвонили: остались только раненные. И вот, как сейчас помню, идем мы с Василием Яковлевичем в больницу, где лежат наши ребята, идем, а тут ведут немцев пленных (там, наверное, несколько десантов было). Говорю: «Черт возьми вас! Подождите, подождите, придет время, когда наши летчики тоже будут ваших детей убивать!» Василий Яковлевич мне говорит: «Что ты, Мария Васильевна! Разве будут наши летчики детей убивать? Это они вот так только убивают». Стали отправлять раненных детей. Мы их отправили в Ленинград хорошо: с врачами, с медицинскими сестрами. А сами мы в Кировскую область поехали. Тут мне на помощь Ленинград прислал заместителя моего. Он приехал помогать, потому что с родными, с родителями творилось ну что-то ужасное! Еще бы! Потому что, что есть дороже ребенка?!

Не доехали до станции Котельнич — пришел в поезд начальник станции, говорит: «Тут едет уполномоченный Кировского исполкома?» Я говорю: «Да». «Знаете, передали из Кирова и рекомендовали вам не выходить в Котельнич». Я говорю: «Почему?» «Там вас толпа родителей ожидает!..» Вы понимаете, в чем дело? Родители приехали в Котельнич вслед за нами. Понимаете? Анатолий Иванович, мой помощник, говорит: «Мария Васильевна, не выходи! Давай я выйду!» «Ты что? Моя совесть чиста. Я выйду сама. Ты мне даже не говори про это!»... Ну, приехали в Котельнич. Я помню, у меня такое светлое пальто было, знаете. Иду я, и женщины — а! а! — начинается шум. Ну, видят, что я спокойна. Я говорю: «Знаете что, товарищи, если так будете себя вести, мы ничего не разберем. Спрашивайте, что кого волнует, я вам на все отвечу, потому что всех детей увезли, кроме тех, которых ранило». «Тех-то мы встретили, тех-то мы видели» — это они говорят. Я говорю родителям: «Прежде всего вам скажу: буквально всех мы вывезли. Вот не могу только сказать об одной девочке, о Беловой...» Потом они меня об отдельных ребятах уже начали спрашивать. И я не могу сказать, где одна девочка. Понимаете! Мы взяли списки, все перерыли — нет! Я говорю: «Подождите, все равно я ее найду!» И что мне запомнилось: я в светлом пальто. Там шпалы. Я прямо села в этом светлом пальто! А женщины: «Встань, встань! Что ты села? Пальто-то испачкаешь!» Я, значит, вижу, что настроение уже другое. Ну хорошо. Я два дня там пробыла, в Котельниче, все эту девочку маленькую разыскивала. Она оказалась в том же интернате, но под другой фамилией. Я матери говорю: «Вон иди туда, там твоя дочка...» Потом я поехала в Киров, и там мы стали уже жить.

— Скажите, какова судьба этих детей? Их куда-то дальше на восток увезли?

— Нет, зачем? Большая часть осталась в Кировской области, но туда был не только наш район эвакуирован, там было около шестидесяти тысяч эвакуированных детей».

Но многие вскоре все-таки вернулись в Ленинград.

Вернулась в Ленинград и Александра Михайловна Арсеньева со своей дочкой.

«— Когда мы вернулись в Ленинград, то нас спрашивали: «Беженцы, вы откуда? (Причем я ленинградка коренная, у меня и дедушка ленинградец.) Вы откуда, беженцы?» И только кассирша из нашего магазина узнала нас и говорит: «Ой! Да это соседи наши, это же из этого дома, я их хорошо знала!»

— Это вы вернулись такими не похожими на себя?

— Мы вышли из вагона кто в пальто, кто в халатике. Мы очень долго ехали до Мги, что-то около трех суток. Когда начался обстрел вдоль вагонов, сразу были раненные и убитые. Мы детей — под лавки, матрацы на них клали, закрывали матрацами, сами бросались на них.

— В вагонах?

— В вагонах. Бомба попала в паровоз... Все-таки нам удалось, когда было затишье небольшое, выбраться из вагона. Уже стало темнеть. Станция горела. Никого не найти. Это был какой-то ужас! Начальник эвакопоезда сидел на пне и держал голову вот так — обхватил руками. Он потерял семью и не знал, кто где... Как только начинался где-то обстрел, какой-то звук — мы сразу тут же в канаву, детей вот так, носом в землю, и сами на них. И одеяла набрасывали. Потом, когда мы вставали, дети все равно уже са-

ми одеяла натягивали на головы. Вот так они закрывались этими одеялами. Потом, значит, мы увидели, что движется что-то — все в елках и движется. Это, видимо, поезд маскированный. Мы к станции, к рельсам, смотрим — состав! Он медленно, медленно так двигается. Остановится и опять двигается. Все закрыто. В одних дверях стоит солдат и говорит: «Девушка! Дай-ка мне этот матрасик. У меня раненых тут полный вагон». Я даю ему матрасик и бросаю дочку.

— Туда? В вагон?

— Да! Бросаю дочку и говорю: «Довези!» И сама хочу сесть. Но колеса покатились. А дочка уже в вагоне! Вдруг вижу — колеса остановились! Я бегом. Догнала, говорю: «Возьми меня!» А он: «Не могу! Не могу! У меня плюнуть негде. Спичку зажечь нельзя. Раненые стонут». Я говорю: «Слушай! У меня для раненых есть бутылка вина. И в заплечном мешке кое-что». (Заплечный мешок у меня большой.) Он говорит: «Ну давай сюда!» Бросила я мешок и сама уцепилась. Он меня, не знаю как, за спину, и втащил в вагон. Потом из мешка я все отдала для раненых. И изюм мой пошел по рукам, и вино пошло по рукам. Все стонали. Я сняла с себя пальто, потому что они мерзли, раненые. А когда на Сортировочной нам нужно было разгрузить раненых, оказалось, что мое пальто все в крови. И я осталась в одном платьице, а холод был собачий!

— Это сентябрь?

— Это было тридцатое сентября, уже Мги взяли. Приехали. Стали разгружать раненых. Мне тут сказали: «Дочка уже на вокзале, найдешь ее там». И я ее потом нашла. Она под колонной сидела на вокзале. Кто-то ей ватник дал, ватником закрыл ее.

— Как вашу дочку звали?

— Моя дочка — Евгения Порфирьевна Строганова. Она руководитель группы в проектной организации.

— Тогда ей было пять лет?

— Да, пять лет. Вот дочка, она меня действительно спасла. Кто — кого, не знаю. Вот так. Уменьшая, неразговорчивая. После Мги она долго не разговаривала ни с кем. И в школу пошла, на пятерки училась, а не разговаривает...»

Надо было срочно вывозить детей из районов, которые оказались в опасности. Занимались этим и ленинградские организации, и местные власти, и сами матери. Лидия Охупкина тоже пыталась вернуть сына.

«Как-то после обстрела я побежала с дочуркой на руках за хлебом, надо было успеть, пока стихло. Передо мной стояла женщина лет 60—63, в очках, на вид интеллигентная, и стала говорить, что вот, мол, возьмет хлеба на два дня вперед и поедет за внуком. Я спросила ее, куда был отправлен ее внук. Она ответила, что с 21-м детсадом (помню точно номер), т. е. туда, куда и мы отправили своего сынишку. Я, вначале нерешительно, стала просить ее привезти и моего. Она стала отказываться, уверяя меня, что дороги бомбят, что не дай бог нас убьют и она не хочет на душу брать грех. Я с ней, конечно, соглашалась, но другого человека у меня нет и я за нее ухватилась, мысленно, конечно, и стала ее так просить, умолять, от волнения я заплакала. Потом взяла ее руки и стала их целовать. А сама все говорю: ну пожалуйста, прошу вас, пожалейте его и вот этого ребенка, что у меня на руках. Как я с ним поеду, чем кормить, умоляю вас, поймите, помогите, я никогда не забуду вас — и тому подобные слова.

Она согласилась, даже сама чуть прослезилась. Она спросила, сколько лет мальчику. Я сказала, что скоро будет шесть (наврала). Он крепкий, хорошо бегаёт и может пешком пройти, если нужно будет, много.

На следующий день надо было через райсовет взять документ на возврат ребенка. Я думала, что это просто, но оказалось — довольно трудно. Когда я опять, конечно с девчушкой на руках, приехала к Московскому райсовету, там уже собралась толпа женщин-матерей. Все они были взволнованы, шумели, а некоторые даже кричали: «Верните наших детей! Пусть лучше они с нами здесь будут, а умрем, так вместе, хотя бы будем знать, как и где». Мужчина, который вы-

писывал документы, успокаивал как мог, объясняя, что хотели как лучше, и торопливо выдавал документы. Он дал мне доверенность, которую я сделала на ту женщину. Сразу же поехала к ней. Дала ей весь хлеб, что у меня был, и немного денег. Она в этот же день уехала. А я с нетерпением стала ждать их возвращения.

Однажды я только что вернулась из бомбоубежища после отбоя тревоги измученная, усталая, сразу легла и заснула. Вдруг проснулась от страшного артобстрела. Я вскочила, спала я тогда не раздеваясь, в платье и чулках. Схватила Ниночку, рюкзак, в котором было приготовлено самое необходимое для ребенка, документы и деньги. Выбежала из комнаты в коридор. Окна — стекла — у меня давно уже были разбиты. А в тот момент от взрывной волны и сотрясения слетела дверь с петель. Я выбежала на крыльцо и увидела, что снаряды летят прямо по нашей улице и так низко, примерно не выше электрических столбов. Я не знала, что мне делать, бежать в бомбоубежище я опасалась, так как они там летают, бомбят. Я так перепугалась, что руки и ноги у меня дрожали и ослабли и дочка стала выпадать из рук. Я села на крыльцо. Колени у меня ходили ходуном. Ко мне подбежала соседка и взяла ребенка. «Что ты здесь сидишь, успокойся, пойдем в бомбоубежище, — говорила она. — Смотри, они падают и разрываются чуть дальше, вон где-то у карбюраторного завода».

Вдруг мы услышали страшнейший взрыв, и пошел черный дым. Это снаряд упал где-то недалеко, где стояли цистерны с бензином. Но бензин все же успели вывезти, а пустые, огромные, чуть ли не с наш дом баки остались, так вот туда и попал снаряд. Запахло гарью, горела земля, пропитанная керосином и бензином, потоки дыма и огня распространялись все дальше и дальше. И мы испугались, как бы пожар не достиг нашего дома. А ближайшие дома сгорели. Небо было багрово-черным с красно-желтыми сполохами.

Я вернулась домой. Один сосед, старый дядька, повесил мне дверь, и я стала варить на воде дочурке жиденькую манную кашку на керосинке. Я решила, как только мне привезут Толяшку, немедленно куда-нибудь выехать».

Прошло две недели. Все это время Лидия Георгиевна жила в страшном напряжении в ожидании сына.

«Наконец, смотрю как-то раз в окно и вижу, стоит та женщина с двумя мальчиками. В одном я, конечно, узнала своего, скорей выбежала, схватила его, стала целовать и благодарить ту женщину. Она стала рассказывать, что дорога была очень трудной. Они ехали немного на поезде, когда бомбили — выбегали из вагонов. Много шли пешком, ехали на попутных грузовых машинах, на подводах и лошадях... Я поблагодарила ее. На следующий день я опять поехала в райсовет — за посадочными документами. Куда ехать, я не знала. Да мне было все равно, лишь бы выехать из Ленинграда. Мне хотелось в Саратов, где жила моя мама, но это через Москву, а туда поезда не ходили. Время было конец августа. Но поездка моя сорвалась, потому что я вновь потеряла Толика. Когда я подъехала к райсовету, у его дверей было очень много народу — больше женщин, но были и мужчины. Все они хотели выехать и пришли тоже за документами. Дверь была закрыта. Все волновались, кричали, стучали в дверь. Я Толю отвела в сторонку, чтоб его не задавили. Вдруг объявляють воздушную тревогу. Дверь открыли, меня туда втолкнули люди, которые были позади меня. Я успела крикнуть: «Толик, беги скорей сюда!» — но потом я огляделась и его не нашла. Я просила открыть дверь, но ее не открыли. Я стала оформлять скорей документы, попросилась без очереди, объяснив, что у меня остался на улице ребенок. Волновалась ужасно. Когда дали отбой воздушной тревоги, я выбежала скорей на улицу, стала искать его, кричать: «Толя! Толя!» — но его нигде не было. Я ста-

ла спрашивать всех, кто попадался: «Не видели ли мальчика, одетого в белую панамочку и синее пальто, такого кареглазого, пяти лет?» Мне все отвечали: «Нет, нет». Я кинулась в одну сторону, все продолжаю спрашивать: «Не видели ли мальчика?» — потом в другую. Все отвечают: «Нет, нет». Где он сейчас, боже? Что мне делать, куда бежать? В такой сутолоке, далеко от нашего дома, он же потеряется. Вроде адрес наш он знает, так ведь мог забыть, перепутать!

А по Международному проспекту едут танки по направлению к Средней Рогатке и идут строем солдаты. Многие одеты по-военному, а многие в штатском. Они идут на передовую. За ними, вернее с ними, идут по бокам провожающие, конечно больше женщины. Некоторые плачут. А впереди — духовой оркестр.

Я подумала — не побежал ли мой сынишка за ними? Я кинулась за ними, кричу все время: «Толя, Толя!» Дочка на руках у меня плачет. Наверное, хотела есть и вся мокрая. Догнав строй, я шла рядом, смотрю по сторонам и продолжаю звать: «Толя, Толя!» Люди и солдаты думают, что я зову кого-нибудь из них. Некоторые оглядываются. Я устала, волосы растрепались. Берет, что был на голове, потерялся. Вижу, что сына нет, я села на какое-то крыльцо и заплакала. Думаю: ну вот все, значит, мне завтра не уехать, значит, мне суждено остаться в Ленинграде. Ко мне подошла одна женщина и спросила, что я плачу. Я ей объяснила, что потеряла мальчика, а завтра надо с утра уезжать. Она мне посоветовала обратиться в милицию, она должна помочь. Когда я туда пришла и стала говорить, милиционер не мог ничего понять, так как я говорила сквозь рыдания. Он дал мне стакан воды, чтобы я успокоилась. Когда я в конце концов успокоилась и объяснила, милиционер стал звонить в другие отделения, повторяя, что потерялся мальчик, звать Толя, привести в такое-то отделение. Я прождала его до 9 часов вечера. Дочка плакала, я ее никак не могла успокоить. Мне предложили идти домой, так как без пропусков после 9 часов не разрешалось ходить. Я поехала домой.

Всю ночь, конечно, не могла заснуть. Ни о каком отъезде я, конечно, уже не думала. На следующее утро я поехала в милицию. Толика я сразу увидела, он сидел на окне. На щеках размазанные слезы. Мы оба обрадовались, он заплакал, милиционер рассказал, что он все старался сесть на трамвай, ехать домой, говорил, что мама его ждет. Сел, куда-то поехал, но где выходить, не знал. Сел, конечно, не на тот трамвай. Потом стал плакать. Его какая-то женщина отвела к постовому милиционеру, а тот, лишь когда сдал пост, отвел его в отделение, но в другое, там он и ночевал. И только утром привели его в это отделение.

Было 10 ч. 30 минут, а ехать надо было в 8 часов утра. Мы уже опоздали. Снова хлопотать сегодня или завтра я не могла. Этот случай с потерей сына решил, почему я не выехала из Ленинграда».

Случай этот определил дальнейшую судьбу Лидии Охупкиной и ее детей. Если бы сын не потерялся, если бы не было в тот момент тревоги, если бы из милиции его привели сразу, когда мать еще ждала его, то она с детьми уехала бы на следующее утро, не осталась бы в Ленинграде и дальше все сложилось бы иначе. Мысленно она часто возвращалась к этому случаю, от которого вела отсчет поворота своей судьбы.

«Малый радиус» Георгия Алексеевича Князева

Но вернемся на «малый радиус» Князева — на набережную Невы, по которой он ездит на своем «самокате» с ручными рычагами от дома к Архиву, — все те же восемьсот метров.

«1941.VII.19. Двадцать восьмой день. Когда я сидел в саду во время тревоги, предо мной в непривычном ракурсе силуэтились на фоне

ясного июльского неба мои неизменные спутники — сфинксы. Солнце отсвечивало от их буро-рыжих лоснящихся спин... Сколько у меня с ними связано мыслей, образов в связи с прошедшим и будущим... Я мгновенен, они почти что вечны. Даже если около них упадет фугасная бомба, вряд ли погибнут оба сфинкса, один-то из них, вероятно, останется. И записки мои и стихи мои за многие годы также тесно связаны с невскими сфинксами, с моими думами, с моей тревогой, с «предчувствием», или «прогнозом», того, что случилось. Конкретно я не мог представить себе, конечно, всех событий, но черную ночь великой гуманистической культуры я предвидел. Впереди, вдалеке — и рассвет, опять солнце. Но сейчас страшная кровавая черная ночь культуры... Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что то, что с таким трудом и героизмом строил советский народ в течение 23 лет, разрушается полностью. Страшная ненависть охватывает при мысли о завоевателях, мечтающих подчинить себе, как рабов, всех завоеванных. Рабами завоевателей мы не будем!.. У нас есть священная цель — самозащита от разбойников. Что несут в мир завоеватели? Господство касты «избранных», управителей, устраивавших новый порядок...

Я сидел в саду, и эта перспектива туманила мой мозг. Я смотрел на сфинксов... «Вы все видели, но такого страшного человеческого несчастья вам еще не удавалось видеть. Весь мир горит! И на пепелище старого мира страшные морды овладевших совершенной техникой шакалов! Вы, сфинксы, создавались в рабовладельческом Египте. Но это было три с половиной тысячи лет назад... Неужели вы снова будете молчаливо стоять среди когда-то свободных людей, ставших рабами?»

Так было приятно слышать гармоничные звуки отбоя. Все вышли из земельных насыпей и принялись за свое дело или пошли своей дорогой...

1941.VII.20. Двадцать девятый день. Нужна организация, самая строгая дисциплина. А у нас этого мало! Не умели мы еще организованно и слаженно работать. Учимся только в военных условиях. Я где только могу стараюсь ввести это настроение бодрости, настойчивости. Но ведь я песчинка в необъятном людском море.

Настольная лампа завешена с трех сторон, чтобы свет падал только на стол и не освещал углов комнаты. Пишу эти строчки и думаю: а кто знает, может быть, через несколько дней или через несколько часов от всех этих писаний ничего, кроме пепла, не останется. И все-таки пишу. Стараюсь передать то, чего другие не запишут, даже мелочи, даже такие штрихи, как то, что жена академика Алексеева сидит в свое дежурство у ворот в шляпке и лайковых перчатках. Сегодня в Румянцевском сквере за столиками я видел проходящих туда играть в домино рабочих и служащих. Все те же лица, как и три и пять лет тому назад. Играют, как будто бы ничего не случилось; во время тревоги лезут в траншею. По улицам идут прохожие, шумят трамваи, снуют мальчишки. Особенно они облепляют сейчас моих любимцев — сфинксов. Забираются на спину, на голову, тычут палками в глаза, в уши окаменевшего, когда-то гордого повелителя. Около сфинксов — кучи привезенного песка. Его сгребают женщины, девушки, подростки. Насыпают в автомобили. Город живет напряженной деловой жизнью. Никакой нервности, удрученности не заметно. Движение транспорта только резко сократилось. Зато отдельные военные машины проносятся с невероятной скоростью и не очень заботясь о правилах движения. На ручном самокате я поэтому предпочитаю ездить по тротуару со скоростью, не превышающей человеческого шага.

Разговорились с комендантом нашего дома. «Скучно, — сказал он, — что воюют на нашей территории... Много разорений. Почему без боя сдали укрепления старой государственной границы?..» Я ответить ничего не мог. Мы очень мало осведомлены. Я так и не знаю, близко ли, далеко ли немцы. Есть серьезная угроза Ленинграду или нет?

В замечательный летний день так многолюден Ленинград. Вечером на набережной много гуляющих. Под Ленинградом горит торф, и над городом стоит дымок. Просто не верится, что у нас война: все спокойны, хотя бы внешне. Около сфинксов — целое гулянье взрослых и малых. Тут же, несмотря на вечер, мальчишки купаются. Мы куда не видели ни раненых, ни беженцев. Куда же направлен поток жителей Западной Украины и Западной Белоруссии, Литвы, Латвии?..

Глядел на мать с ребенком — дворничиху. Такая мирная идиллия, но она с противогазом. Она играет с ребенком, а сама посматривает на небо — не летят ли? И сколько таких матерей лишилось детей, крова, жизни!

Я не снимаю со стола ехидно усмехающегося черта. Как он нагло смотрит на меня и будто цедит: «Ну что, гуманный гуманист, дождался под старость «документов прогресса»?.. Наивный дурацкий мечтатель! Не мир, а война — закон всего живущего...»

И мне делается душно невыносимо. Не мучай, черт, и без того измученный мой мозг.

Не меньше нацистской заразы я боюсь и шовинистического угара. Война для нас священна как защита от налетевших стервятников, но не как война ради господства одного народа над другим. Тут встает вопрос о действительной вине германского народа, принесшего столько страданий человечеству. Что сделал бы Гитлер, если бы его не поддерживала значительная часть германского народа? Мучительный вопрос...»

Это пишет «пассивный защитник Ленинграда» — человек, который все-таки не стреляет по врагу. И по которому (пока еще) не стреляют. Лишь «гул пропеллеров» — реальный или только от нервного напряжения — висит над ним.

Но вот перед нами записки человека стреляющего, находящегося под огнем — артиллериста Сергея Герасимовича Миляева, бывшего сотрудника Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Через два года он погибнет под Витебском, а пока своей батареей помогает удерживать Ленинград. У него свой «малый радиус обзора», но это уже и радиус обстрела — он солдат. И тоже ленинградец, тоже интеллигент, и мучат его почти те же вопросы, что и Князева:

«Закончил чтение «Красного и черного», перечитывал с большим удовольствием. А сейчас читать нечего. Конечно, скучно. Ведь сидишь в обороне. Т. к. делать нечего, то выпишем весьма известное, важнейшее место из «Развития социализма от утопии к науке». Энгельс: «...и это будет скачком человечества из царства необходимости в царство свободы». Поскольку мне жить еще немного (даже если останусь после этой войны), то умру я все же в переходный период и поэтому большая часть времени уйдет опять-таки на индивидуальную борьбу за существование, выражаясь языком Энгельса. Как много прекрасных дней потеряно в этой борьбе!»

Ленинградец-артиллерист Миляев прочел отрывок из популярного в те дни произведения и тут же записывает:

«Мне показалось по отрывку, что автор провозглашает тезис «классовой крови» (и отпрыски врага останутся врагами). Чем это лучше тезисов об «арийской крови»?»

Не в том суть, правильно или неправильно прочел вещь Сергей Герасимович Миляев. Важно другое — живущая и в нем и в Князеве настороженность к любому, самому малому сползанию на позиции шовинизма, которым и без того был отравлен мир.

Вот такими были они, защитники Ленинграда, в начале войны. Сказывалась и ленинградская интеллигентность, и настойчивое интернациональное воспитание народа в предвоенные годы.

Дневники Г. А. Князева свидетельствуют: нелегко было снова и снова удерживать в себе высокое чувство братства. Справедливая ненависть к безжалостному врагу, принесшему столько горя, становилась порой невыносимо острой. Но — исчезали наивные формулы, схемы и все-таки оставалось и даже укреплялось сознание, что жесточайшая борьба, все жертвы и страдания потому и оправданны, что они не ради господства одного народа над другим, а во имя будущего без войн, жестокостей, ради жизни, достойной человека.

Писалось это в первые недели войны, когда ненависть к немцам возрастала, когда мы, солдаты, как бы освобождались с горечью и болью от довоенных иллюзий, от надежд на немедленную интернациональную помощь, на классовую сознательность немецкого рабочего класса. Позже, много позже мы заново учились отделять немцев от фашистов.

«1941.VIII.10. Пятидесятый день. Так все меняется. Еще год тому назад хоронили Англию, ее морское и мировое могущество. Теперь Англия — не гроб, плавающий по морским волнам. Англия при помощи США удерживает свое господство на морях. И Англия не враг, а союзник. Мы боремся вместе с Англией против общего врага — гитлеровской Германии. И каким анахронизмом является эта картинка с гробом-кораблем теперь!

Сколько поворотов пережито за последние годы в мировой политике, непредвиденных, неожиданных поворотов. Нам, простым людям, хотя и историкам, трудно разобраться во всем этом. Поэтому я не пытаюсь много анализировать. Я только констатирую факты. В прошлом году мы и представить себе не могли, что случилось в текущем. Что же принесет нам будущий год? Коммунизм ведь чужд либерально-консервативной буржуазной демократии Англии, как и нацистской Германии... Сколько тут заложено противоречий.

1941.VIII.11. Пятьдесят первый день. Наш кочегар Урманчеев пошел в армию. Осталось трое ребятишек и молодая, но мало смышленная жена... Только он ушел, пережив тяжелую сцену расставания, сдав на наше попечение детей и жену, как мы узнали, что объявлена обязательная эвакуация детей до 14 лет и их матерей. Бомбежка Ленинграда неминуема, и тот, кто распространяет мнение, что немцы не будут бомбить Ленинград, злостный провокатор или глупый болтун. Дети и матери должны уехать из Ленинграда в обязательном порядке. Установлены две очереди: 15-го для неслужащих матерей, 23-го — для работающих. Эвакуация предполагается на баржах. Матери в отчаянии. Что они будут делать, чем жить в тех местах, куда их эвакуируют!

К моей коллекции «документов прогресса». Иллюстрация из «Огонька», 1941, VI, 11. Памятник английскому поэту Мильтону, разрушенный бомбой гитлеровских бандитов. Это в Англии. Что разрушено в городах Западной Украины, Западной Белоруссии, Литвы, мы снимков пока не имеем. По-видимому, коллекция составила бы очень обстоятельную.

С каждым днем растет все сильнее ненависть к насильникам, разоряющим наши земли, дома, национальные ценности. Но не пропала еще и почта врагу. Вот один из документов. Иллюстрация. Пленному немецкому летчику Эрнсту Реетцу оказывают первую помощь доктор Е. И. Невирович и сестра В. П. Васильева.

1941.VIII.14. Пятьдесят четвертый день. Сегодня мучительно хлопотливый день. Что-то недоброе случилось на фронте. В полдень стало известно, что пал Смоленск. Известие это камнем опустилось на сердце. Немцы где-то за Ильменем-озером. Город полон всевозможных слухов. Особенно в нервном состоянии женщины. До последних дней они крепились. Сейчас не выдержали нервы. Тому, чему я так радовался — спокойствию, выдержке, — пришел конец. Одной женщине, не желающей подвергать своего ребенка всем испытаниям, в районном Со-

вете ответили: «Не хотите выехать организованно, потом пешком пойдете». Что же это? Подготовка к эвакуации всего населения, к сдаче Ленинграда? Сегодня даже стойкие люди струхнули.

Пытался читать сейчас начатую историю человечества, но не мог превозмочь усталости. Не пришлось отдохнуть сегодня: такой уж день выдался. Собираю в себе все силы, чтобы преодолеть все трудности. Судьба делает меня свидетелем, точнее современником, величайших и потрясающих событий. Смоленск также пал в августе в 1812 году. Бородинский бой был 26 августа. В сентябре Наполеон вошел в Москву. Как-то развернутся теперь события? И откуда у немцев столько сил, столько дьявольской напористости!»

О тех, кто был рядом

В дневниках Г. А. Князева, естественно, много записей о людях, которые жили, работали рядом с ним на его «малом радиусе» — о жене Марии Федоровне, о сотрудниках Архива, о жильцах дома, работниках Академии наук, университета, Зоологического музея и т. д. Записи эти подробные, подневные, кое-где предвзятые (страсти и оценки предвоенных лет не могли не влиять на Князева), но постепенно перед лицом смертельной опасности, нависшей над родиной, переживая как человек и историк всемирную драму, Георгий Алексеевич Князев извлекается от различных старых и новых заблуждений.

Делясь со своим дневником мыслями о тех, «с кем не победишь» и «с кем победишь», описывая десятки реальных человеческих типов и судеб, Г. А. Князев постепенно создает сложный образ блокадника, как он его наблюдал на своем «малом радиусе». Среди многих — образ прекрасной, самоотверженной женщины Марии Федоровны Князевой. Георгий Алексеевич и Мария Федоровна встретились в молодости, были, что называется, на равных — и он и она готовились к научной работе. — но постепенно, оба такие независимые, с характером, как бы слились в одно существо. Незаурядная духовная энергия маленькой женщины-зырянки сконцентрировалась на любимом, скованном болезнью, но одержимом работой человеке. Сознание, что она похоронила себя как работник науки, как ученый, если и возникало, то преодолевалось другим чувством, пониманием: Георгий Алексеевич с ее помощью делает за двоих, без нее он не мог бы столько делать.

«М. Ф. говорила мне: «Я люблю жизнь, природу. С детства люблю...» Она твердо и героически переживает страдные дни. Как и я, ко всему готова. Дивная, замечательная женщина! Неужели нас судьба разделит, заставит быть свидетелями несчастья или смерти другого? Уж если умирать, то вместе бы...»

В те дни ходило немало разных слухов о знакомых людях. Нелегко было отделить вымысел от правды. Г. А. Князев старается соблюдать максимальную честность в своих записях. Поправляет сам себя, опровергает, если выясняется что-либо новое.

«Я не записываю массы вздорных слухов. Мне не хотелось, чтобы в моих записях сообщалось под видом факта что-либо вымышленное».

Поэтому он, например, опровергает сплетню об известном литературоведе, о бегстве его из Ленинграда, да еще на моторной лодке! Нет, человек этот в Ленинграде, Князев видел его и записывает это, выяснив, что он куда-то выезжал и «это подало повод к гнусной и порочащей его сплетне».

Меняет он свое мнение о сотруднице Архива И. Л., о которой прежде отзывался нелестно:

«И глядя на нее в эти суровые дни, я ей многое прощаю. Она искренне страдает и участвует в общей работе коллектива. Несет большую нагрузку обязанностей и по службе и по общественной линии. Сейчас ею руководит бескорыстное чувство, а не карьеризм, как мне показалось в начале войны, когда она пошла в добровольческое ополчение. Справедливость требует и ее отметить в нашем активе. С такую победишь!»

Еще много раз в своих записях он будет возвращаться к облику этих и других людей, оценивая их более объективно, разносторонне по мере того как ужесточающиеся обстоятельства принудят глубже заглядывать в самого себя, лучше видеть, вернее понимать человека. А пока у очень многих мысли зачастую диктуются не самоуглублением, размышлением, а первыми эмоциями.

«С. А. Щ., этнограф, заходила к нам в Архив сдавать свои научные материалы. Разговорились.

— Чувствую отвращение к жизни. В середине XX века — и вдруг такие массовые убийства, разрушения.

Отвращение к жизни, к культуре, опрокидывающей самое себя, — вот что начинает овладевать мозгом мыслящих людей. Люди не сделались лучше; хуже, жестче, коварнее, пакостнее стали... Так многие думают сейчас...

Подошел опять в соседней комнате к раскрытому окну. Звездная тихая теплая ночь. Зарницы (или вспышки выстрелов) перестали мигать... Звезды, далекие, бесстрастные, волнующие душу, рассыпались узором по темному небу. Неужели и в ваших звездных мирах, где есть жизнь, происходит то же? Неужели война, массовое, жестокое убийство себе подобных, братьев своих, — закон вечный, неизменный?

Вот и ночь на исходе. Светает. Кончается мое дежурство. Тревоги не было. Немцы опять не бомбили Ленинграда. Это вызывает большое удивление и массу толков, иногда крайне примитивных. Вплоть до того, что гитлеровской дочери нужна неразрушенная великолепная северная столица!

Что принесет сегодняшний день? Осталось два часа до сна перед уходом в Архив. На сердце словно кто наступил, придавил его. Надрывается оно. Может быть, и недалеко те часы, когда... Не буду ничего загадывать. Буду добр, деятелен, работоспособен. До конца.

Передо мной три портрета: Лев Толстой, Тургенев, Чехов. А сбоку — Достоевский. Мои учителя любви к человеку, к человечеству, великие гуманисты. Останусь верен своим учителям!

В газетах много деклараций, соболезнований и т. п. со стороны Америки, Англии и других стран. Надоело читать словесную помощь... До сих пор у немцев ведь так и нет второго фронта!

1941.VIII.23. Шестьдесят третий день. В ночь на 22 августа, а потом на 23-е ждали бомбежки Ленинграда. 22-го исполнилось два месяца войны и месяц со дня первого налета на Москву. Это число сделали кабалистическим. Бомбежек же не было. Никто не понимает причин, почему немцы не трогают Ленинграда. По этому поводу продолжают различные измышления».

Да, «в войну наврутся». Например, бродил слух, что Васильевский остров бомбить не будут, поскольку Розенберг будто бы родился на Васильевском. Или что там живет много немцев, еще петербургских, со времен Петра I. И вот уже некоторые, доверчивые к слухам, переселяются к близким и знакомым на «безопасный» остров...

Г. А. Князев записывает:

«Вероятно, можно было бы из всех слухов делать и какие-нибудь выводы для изучающего психологию масс. Историк Чернов, например,

написал целое исследование о слухах, относящихся ко времени восстания декабристов. В слухах можно подметить и сокровенные чаяния известных прослоек населения и влияние врагов. Это своего рода «метеорологическая сводка погоды» общественного настроения. Но это специальная тема, и ею я вряд ли займусь в своих записках. Не так я много вращаюсь среди людей и слышу новостей. Например, я совсем не бываю в очередях, на рынках и т. д. А это главные очаги всяких слухов. Может быть, кстати сказать, следовало бы попытаться в противовес стихийным слухам при помощи умелой пропаганды заняться организацией создания здоровых, кующих волю и бодрость духа слухов.

...Все мы живем сейчас надеждой, что прижатые к морю немцы будут взяты в плен или уничтожены морской артиллерией Балтийского флота. Как-то даже успокоились. Сегодня весь день прожили этой надеждой, что немцы будут отброшены от Ленинграда. Живем и другой надеждой — что на юге армии Буденного удалось выйти из окружения!»

Вот они — тоже слухи. Хотя вроде бы положительные. Вроде тех, что и будоражили и успокаивали ленинградцев, — про армию Кулика, которая вот-вот окружит немцев, держащих в кольце Ленинград. Кто знает, сколько тысяч людей неразумно заупрямились и не подчинились приказам об эвакуации, теша себя подобными слухами, иллюзиями! (Об этом есть рассказ заместителя председателя Ленинградского горсовета И. А. Андреенко в первой части Блокадной книги.)

«1941.VIII.25. Шестьдесят пятый день. Совершенно недостаточна существующая информация. Все в один голос указывают, что кингисеппские позиции в наших руках, Смоленск тоже... Но положение на юге тяжелое. Н. П. Т. сегодня мне конфиденциально сообщил, что на этих днях решается судьба Ленинграда: город будет объявлен незащищенным. Поэтому нет и бомбежки. Поэтому приостановлена и эвакуация матерей с детьми. В черту города должна войти 30-верстная полоса по радиусу. Уехать из Ленинграда сейчас очень трудно... После его посещения мне стало тяжело: неужели мы не отгоним немцев от Ленинграда? В чем тут дело: почему вдруг так сразу чудовищный нажим на юге и северо-западе, т. е. у нас? Откуда такая силища у врага? Спокойно смотрю событиям в глаза, но мне грустно, что мы недостаточно организованы для преодоления всех трудностей войны...»

Миллионы людей в 1941 году пережили подобные чувства. Сначала неверие: «Немцы придут в наш город? Быть такого не может!» Потрясение: «Они уже движутся сюда!» И затем — кошмарная реальность оккупации.

Не все города были стратегическими подобно Москве, Ленинграду. Конечно, в судьбе отдельного человека и его деревня занимала положение стратегическое. Жизнь и смерть, судьба человека зависели от того, возьмут ее немцы или не возьмут.

Но судьба страны в представлении миллионов напрямую связывалась прежде всего с двумя городами — Москвой и Ленинградом... Конечно же, горе от потери Киева, Минска, гордость и боль за Севастополь, а тем более напряжение, с каким все следили за битвой в Сталинграде, — все это события и чувства всенародного значения. Но пока стояла Москва, пока держался Ленинград, многие другие потери не казались непоправимыми.

Люди везде люди, что в столице, что в маленькой деревушке. И все-таки людям, которые подобно Князеву способны многое понимать, самостоятельно оценивать, взвешивать, невозможно было не сознавать, что личная судьба их определяется еще и тем, что живут они в стратегическом городе. Как заметно по дневникам Г. А. Кня-

зева, не все и не сразу это ощутили, на этом сразу стали, чтобы стоять до конца. И слухи ползли, и иллюзии плодились, порой небезвредные для дела и для стойкости. Вроде этих — о «незащищенном городе» и им подобных.

Не то удивительно, что были слухи и иллюзии, а то, что миллионы жителей города — об этом свидетельствует вся девятисотдневная стойкость ленинградцев, — оказавшиеся на стратегическом участке борьбы, повели себя так, словно сознавали: нам слабость непозволительна, мы не имеем права, на нас особая ответственность! Потому что мы — ленинградцы, мы — питерцы, мы — на виду у всей страны. Все на виду: и наши муки, и наше мужество, и наша готовность пожертвовать всем, но только не вторым главным городом страны!

«Мне — 16 лет»

А Юра Рябинкин все эти летние недели работает, ходит во Дворец пионеров, играет в шахматы, читает — что еще было делать ленинградскому школьнику в это позднее лето войны? Приятель взял у него читать Майн Рида, Юра взял у него взамен Льва Толстого и «Ниву».

«Ходил с Додей в кино, смотрел «Боксеры»... Ходил в зоосад, играл в бильярд, в шахматы... Почему-то сильно заболела грудь. Появился кашель. Пот так и льется днем и ночью... Город Остров, по всей вероятности, взят, так как появилось псковское направление. Каким фронтом командует Ворошилов?.. Маме приказано явиться на Балтийский вокзал для отправки в Кингисепп рыть окопы. Я провожал маму до вокзала».

Он томится, не знает, что записывать. Война, а с ним и вокруг него как бы ничего существенного, значительного не происходит. Тем не менее он аккуратно пишет и пишет:

«Вечером, когда мы вернулись домой, к нам неожиданно приехала из Шлиссельбурга Тина. Она будущий главврач больницы. Договорились, что если с мамой что случится, она берет меня и Иру к себе... Говорят, будем учиться эту зиму (8, 9 и 10 классы). Особенно этому не верю. Тут бы быть живым!».

Эта запись сделана 19 июля 1941 года. Юра Рябинкин не мог ничего знать об испытаниях, которые ему выпадут, но тем не менее какое-то предчувствие заставляет его вести дневник. Он как бы готовится к чему-то, в нем заостряются чувства, он не верит в успокоительные слухи, он многое уже понял за этот месяц: «Тут бы быть живым!» И еще записи:

«Да... это, пожалуй, самая тяжелая, самая опасная для нас война. Много будет стоять победа».

«Прочел «Дворянское гнездо».

«Играл с Давидом в шахматы».

«Мама дала мне денег, на которые я съел тарелку супа (борщ) и тарелку манной каши с маслом в столовой Дворца труда. Затем пришел домой. Дома учился давать мат слоном и конем».

«Читал «Давид Копперфильд».

«Поехал с мамой на оборонную стройку под Лугу, в Толмачево».

С удовольствием описывает он, как копал вместе со взрослыми противотанковый ров. Эти две августовские недели были полны тревог, их обстреливали «мессершмитты», а они копали, копали по восемь часов подряд. Тем временем товарищи его начинают уезжать из Ленинграда, а Юрина мама тоже готовится к эвакуации. Они обсуждают,

куда поехать: мама хочет ближе к Ленинграду, Юра почему-то в Омск. Он все с большей пристальностью следит за событиями на фронте, вдумывается в них и досадует на свою пассивность.

«26, 27 августа. Новгород взят уже несколько дней тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от СССР. Нам присылают все время американские танки, самолеты («Боинги»). «Боинги» везут на кораблях до Владивостока, а там они летят с посадками до Ленинграда. Недавно Япония заявила протест насчет отправки к нам из Америки нефти, ссылаясь, что это угрожает ее интересам. Не обошлось без Германии, наверное. Наши и английские войска вступили в Иран... Иран занимает 4 место в мире по нефти.

Сам я занимаюсь малополезными делами. Читаю книги, играю в шахматы (закончил матч с В. Н. Никитиным. 17—11=6 в мою пользу), занимаюсь военным делом, делаю военную игру.

От Тины вестей больше нет.

30 августа. ...Мама меня хочет записать в военно-морскую спецшколу. Да я знаю, что медкомиссия меня не пропустит, и отказываюсь. Тяжело все же отказываться от своей мечты — моря, да нечего делать. Все попытки — зря.

Пахнет пессимизмом.

Дни провожу за военным делом, шахматами да чтением. Настроение жутко упадочное. Никаких, даже посредственных, перспектив перед собой не вижу. Нину мама увольняет с 1 сентября. Шахматы, военные игры, военное дело. К чему это мне сейчас, когда я свою заветную мечту — военно-морское дело — в жизнь превратить неспособен. Тяжело. Пессимизм полнейший.

31 августа, 1 сентября. Занятия в школе 1 сентября, сегодня, не состоялись. Неизвестно, когда будут. С 1/IX продукты продают только по карточкам. Даже спички, соль и те по карточкам. Настает голод. Медленно, но верно.

Ленинград окружен! Немецкий десант, высадившийся в районе ст. Ивановская, отрезал наш город от всего СССР..

Настроение паршивое. Не знаю, вернется ли когда-нибудь ко мне веселость.

Сегодня, по всей вероятности, нося тяжелые мешки у мамы на работе — помогал снимать важные бумаги, — свихнул шею...

В сводках пишут, что идут бои на всем фронте. И только. Ночью небо озаряют зарницы. Дальнобойные орудия бьют с наших полигонов по врагу. Враг в 50 км от Ленинграда!

Бил баклуши весь день. (Разве только у мамы на работе помогал.) Говорил с Финкельштейном. Если в школах учебы не будет, совместно пройдем (если пройдем?!!) весь курс 9-го класса. Учебники есть.

Завтра мне должно было бы быть 16 лет. Мне — 16 лет!

2 сентября. Да, ничем необыкновенным мой день рождения не ознаменовался.

Мама дала мне 5 руб. в столовую. Решил себя порадовать. Пошел в магазин и купил шахматный учебник. А потом пришел в столовую — там ничего дешевого уже нет. Зато мама пришла вечером — мне два пирога принесла. Потом еще суп сварили — я и суп поел. Сыт, доволен!»

Чему учили стоики

А в этот же день, семьдесят третий день войны, 2 сентября 1941 года, Г. А. Князев записывает: «Ленинград стал фронтом».

Уже стекла в парадном доме на Васильевском острове заколотили фанерой и досками. В Румянцевском сквере под дождем учатся гранатометчики. Князевы пытаются запастись сухарями, единственным, чем

могут еще запастись. Кроме того, Мария Федоровна приготовила индивидуальные пакеты на случай ранения, контузии. Делает она это спокойно, муж смотрит на ее работу, грустно улыбается, считая, что «наша-то жизнь, во всяком случае, кончена».

«Газета не пришла. В витрине около университета вывешены «Последние известия». Коротко и трафаретно: бои идут по всему фронту. Наши войска продвигаются по Ирану. Около витрины всегда стоят четыре, пять, десять человек. Опять жалею, что не могу здесь дать их зарисовку. Вот Васнецов когда-то запечатлел, и так талантливо, читающих военную телеграмму в 1877 г. Жаль, что не знаю таких зарисовок у современных художников. Вообще с иллюстрациями, лубками и прочим очень бедно...»

В день рождения Юры Рябинкина Г. А. Князев записывает:

«В газетах, по радио призывы к защите Ленинграда: «Защитим каждую улицу, всякую площадь, сделаем каждый дом крепостью!» Но с ополчением опять что-то не вышло. И кругом меня, на моем малом радиусе, покуда нет ни баррикад, ни рвов, ни отрядов ополчения».

Г. А. Князев не знал, что дивизии народного ополчения в эти дни яростно сражаются на дальних подступах к городу. Благодаря им в значительной мере был сорван план захвата города, план победоносного марша. Начиная с июля первая, вторая, третья дивизии народного ополчения, составленные из коммунистов ленинградских заводов и учреждений, из молодежи, из тысячи добровольцев, останавливали гитлеровские армии, наносили им немалый урон. Ограниченность обзора Г. А. Князева и плохая информация мешали ему знать истинное положение с ополчением. Он мог лишь гадать — и не всегда верно.

«Вчера около 12 часов ночи гремели выстрелы дальнобойных орудий или грохот взрывов. На небе полыхало отдаленное зарево. Где линии наших войск, точно нам неизвестно, но фактически Ленинград в окружении вражеских войск. Сегодня убавлен паек хлеба, закрыты коммерческие магазины. Мы вступаем в состояние осажденного города. Смотрим прямо и спокойно на надвигающиеся испытания. По-видимому, город решено защищать, а не сдавать. Тем, кто руководит нами, виднее. Они должны решить вопрос стратегически. Ленинград в этой титанической борьбе лишь эпизод... Но мы, ленинградцы, живые люди и для нас, безоружных, не воинов, происходящие события решающие. Вот сейчас я опять зажег лампу под зеленым абажуром и уселся за свой письменный стол. А что будет через несколько дней, никакое воображение не может представить. Только аналогии разгрома и гибели десятков и сотен городов встают по отрывочным газетным сведениям как ночные кошмары. Но все аналогии не в счет, если вопрос идет о таком колоссе, как Ленинград... Неужели я буду свидетелем его гибели?..

Направо из сада видны сфинксы. Они стоят по-прежнему. О них попросту забыли... Не до них!.. И они — сами по себе, вне событий.

После сегодняшней тревожной ночи снял в служебном кабинете силуэты академиков работы Антинга (1783 г.) в стеклянных рамках, чтобы не упали и не разбились. Вазу из первого советского фарфора, специально изготовленную к 200-летию Академии наук, чтобы она не опрокинулась при сотрясении здания, положил плашмя в углублении на шкафу. Не делал этого ранее, чтобы не нарушать порядка, который помогал организовывать нашу волю, наше сознание... Наступили события, которых мы не думали быть ни современниками, ни свидетелями... Ленинграду угрожает смертельная опасность!..»

Чувство ожидания неизвестного особенно тяжело для человека, приговоренного к бездеятельности (свою работу в Архиве он не считал в тех условиях первоочередной для защиты города).

Была у него тревога, были сомнения: «Долго ли сможет обороняться город?.. Великолепный город, ни разу не оскверненный врагом?» Что было, то было, без этого не понять, не оценить того душевного пути, который прошел не один Князев.

«1941.IX.5. Семьдесят шестой день. Мы стали брать обед в академической столовой, но теперь там длиннейшие очереди.

...Стоит холодная погода, дождь... Цветы вдоль моей дороги на службу поблекли, сморщились, доживают последние дни. Сфинксы лоснятся, омоченные дождем. Над Невой серая дымка скрывает четкие контуры Исаакия, Адмиралтейства, Зимнего дворца, Сената, коней над аркой Главного штаба. А где-то, в нескольких десятках километров на подступах к Ленинграду, немцы... Не верится, словно лихорадочный сон, а не действительность. Как это могло случиться? Немцы у ворот Ленинграда.

Комендант нашего дома, сидевший у ворот, делится со мной своими впечатлениями: «Была бы раньше такая организация, как сейчас, не подпустили бы немцев так близко к Ленинграду».

1941.IX.7. Семьдесят восьмой день. Стойки учили, что цель жизни — в мудрости и добродетели. Достигнуть этого можно только господством над страстями и неразумными влечениями и непоколебимым равнодушием к превратностям судьбы... Правда, у греков были и последователи другой философской школы, полагающей целью жизни счастье.

Нас учит жизнь непоколебимому равнодушию к превратностям судьбы. И я бываю иногда таким философом. Но я не философ, не мыслитель в полном смысле этого слова. Я хочу жить хорошо, счастливо. Мне лично мечта других греческих мыслителей — о счастье — ближе.

Счастье сейчас? Какая злая ирония. Быть бы живу, не до жиру. Но жить для того, чтобы жить во что бы то ни стало, хоть ничком на земле издыхая, еще более страшная ирония.

Сегодня воскресенье. Не знаю, что делается в мире, в окрестностях моего города, в самом Ленинграде. Ядовитыми слухами не питаюсь, корреспонденции не имею; сижу и читаю отдельные страницы из истории всех времен и народов. И на каждой странице рядом с гением мысли и творчества человека его же кровь, кровь и невыразимое страдание.

Живу лишь данной минутой, даже не часом, не говорю уж о дне. Подарила еще минуту судьба — и благодарю ее. Читаю, пишу, мыслю... А что будет хотя бы через минуту, стараюсь не думать.

Мне попала картинка на глаза: «Спокойная старость». На иллюстрации глубокий старик в тишине и покое читает. Какой иронией смысливается это в современном аду!..

Для нашего времени более подходит другая картинка. Великий геометр Архимед сидит в раздумье над своими чертежами. А враги ворвались уже не только в город, но и в дом, где живет мыслитель. Они на мгновение остановились от удивления, увидев спокойное лицо старика. Красивое предание вложило ему в уста, когда он увидел, что его чертежам (не ему) грозит гибель: «Не разрушай моих кругов (чертежей)». Архимед, как известно, был убит во время осады Сиракуз римлянами в 212 г. до н. э.»

Первая бомбежка

Тем временем Юра Рябинкин, по молодости, естественно, натура более действенная, кипящая энергией, создает план за планом, как защитить Ленинград. Его товарищи хотят поступить в народное опол-

чение. По этому поводу он замечает, что не так-то просто, изучив винтовку, идти против танков. Тут же подбадривает себя: «И с винтовками повоюем!» И тут же приводит один из своих планов:

«Сделать бы так. Минировать бы весь Ленинград, выгнать бы из него население в леса, в общем, чтобы Ленинград пустой бы стал. Создать панику в городе и т. п. Ни один помощник главнокомандующего не знал бы, что главнокомандующий думает. Войска бы заставить так отступить, чтобы если они обернутся, то заняли бы наилучшие для атаки позиции. И вот немцы уже знают, что Ленинград пуст, все их шпионы говорят то же самое. Немцы будут подозревать хитрость в том, что Ленинград заминирован, пустят туда саперов и т. п. Тогда-то главнокомандующий делает то, что он только один знал. Сразу же, молниеносно, неожиданно (еще неожиданней, чем 22/VI для нас) наши танковые части переходят в грандиозное наступление и заставляют немцев сжаться в комок. Тогда по этому комку обрушивается вся мощь артиллерии, которая во время отступления заняла наивыгоднейшие позиции. Через полчаса огонь орудий переносится на несколько км дальше, а то место, которое они обстреливали, занимают наши войска. Вся авиация, собранная над ними, летает и бомбит уцелевшие остатки врага. И как только враг дрогнул, отступил, тут его надо преследовать с воздуха, с земли, с моря. Посылать все новые и новые войска, не давать ни минуты остановки. Передовые танки сменяются новыми, первые отдыхают, затем снова заменяют вторых и т. д. И только таким ударом можно сломить немцев. И потом еще: как только танки наши достигли определенного участка, часть из них идет назад под углом к прошлому курсу.

Да, но все это несбыточная, фантастическая мечта. Никому не провести такого наступления. Да и танков у нас мало. Я думаю, что Гитлер, наверное, думает выиграть войну шпионами ну да и еще техникой, разумеется.

Да, десант на Ивановской уничтожен. Остался еще, который на Мге. Каждая передовица в газете кричит: не отдадим Ленинграда! Защитим его до последней капли крови! Крепи противотанковую оборону! Но почему-то победы у нашей армии нет, оружия тоже нет, по всей вероятности. Милиционеры на улице, да даже ополченцы и красноармейцы иные вооружены винтовками-маузерами черт знает какой давности. Немцы танками прут, а нас учат бороться с ними не танками, а связками гранат, а то порой и бутылками с горючим. Ну и дела».

Нельзя судить Юру взрослым умом, да еще по логике мирной жизни. Это мальчишеские мечтания, в которых, конечно же, мало учитывается реальность, главное в них — страстное, азартное желание, чтобы все и разом изменилось в лучшую сторону.

Впрочем, минуто спустя и сам Юра замечает, пишет с грустью: что «все это несбыточная, фантастическая мечта».

Ему шестнадцать лет, когда детское и взрослое в человеке еще сосуществует; перебивает друг друга. Он старается додуматься, почему немецко-фашистские войска оказались под Ленинградом, и первое, что ему приходит на ум, — шпионы!

Юрин план разгрома под Ленинградом немецких армий, который он мог бы осуществить на пару с главнокомандующим, не последний всплеск предвоенного детства и предвоенной психологии. Будут и еще всплески такого вот понимания, наивных, а порой и нелепых представлений, не говоря уж о проявлениях откровенного детского эгоизма, с которым немало намучится совесть Юры.

Вот-вот обрушатся на Ленинград бомбы — через несколько дней. Потом начнутся зверские систематические обстрелы. И самое страшное — голод. Каждый приближался к этому, проходил через это своим житейским маршрутом, у каждого был собственный радиус ленинград-

ской судьбы. Малый — с точки зрения всего фронта; бескрайний, бесконечный — если погружаться в глубь человеческой души, переживаний, надежд и утрат.

«5, 6 сентября. Никитин и Финкельштейн хотели идти в народное ополчение, да не пошли. Зашли в школу: крышу красить их заставили. Они не согласились, сказали, что им надо куда-то идти, обещали прийти на следующий день, а на следующий день не пришли.

Мама опять меня хочет устроить в морскую спецшколу, да я не желал бы туда идти. Ведь все равно в школу меня не примут, потому что я плохо вижу — раз, плевритные спайки в правом легком — два, ну да и еще кое-что. Чего же себя тешить радужными надеждами, а потом получать горькие плоды?

Ленинград обстреливается из дальнобойных орудий немцами. Так и бухают разрывы снарядов. Вчера снаряд попал в дом на Глазовской улице, снес полдома. Финкельштейн с Никитиным приходили смотреть и рассказывали. Где-то снаряд попал в сквер — много убитых и раненых. Сегодня под вечер опять обстрел. Так и бухают снаряды где-то в стороне Московского вокзала, там, дальше, за ним. В очередях бабы говорят, что Гитлер обещал закончить войну к 7 сентября, т. е. к завтрашнему дню. Ну и слухи! А еще совсем недавно говорили то же самое, только дата была 2 августа.

Вчера был у Штакельберга. Его дома не застал. Пришел домой, он ко мне является. Работает в госпитале, принимает раненых — санитар. Ходил с ним на выставку отечественной войны (на 1-й Красноармейской). Много интересного. Французский средний танк стоит, легкий чехословацкий, потом гаубица 142-мм, всякое германское снаряжение, оборудование. Потешались над одной вещью: карточка, как у нас для хлеба, только она для солдат и на ней стоит надпись «Имперское отделение по делам поцелуев». И на отрывных талончиках (отрывают, по всей вероятности, в публичных домах) надписи: «случайный поцелуй», «мимолетний поцелуй», «талон на (...)»⁸ свидание» и т. п. Полнейшее бесстыдство. По стенам развешаны плакаты, фотоснимки и т. п. Мы попали в тревогу и пробыли на выставке 3 часа. Штакельберг мне рассказал о немецких ОВ. Жуткая вещь!

...Сейчас половина десятого. Ленинград обстреливается из немецких тяжелых дальнобойных орудий. Сильные разрывы заставляют содрогаться здания и стекла.

7 сентября. У мамы выходной. Мне пришлось дежурить у ворот с 12 утра до 4 дня. Читал «День пламенеет» Джека Лондона.

Вчера, 6-го, вечером была здоровая канонада. Немцы били по Ленинграду из тяжелых орудий. Сегодня уже тише. Тревог не было, но зенитки били. Сегодня — 129 лет со дня Бородинской битвы. Когда-то под Москвой произошел грандиознейший бой между русскими и французскими войсками. Больше 108 000 человек было убито и ранено в этот день. Тогда иноземные захватчики получили крепкий отпор.

8 сентября. День тревог, волнений, переживаний. Расскажу все по порядку.

Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работы в совхоз, что в Ориенибауме. Ей пришлось бы оставить меня и Иру одних. Она пошла в райсовет — ей дали там отсрочку до завтра. Потом мы договорились о спецшколе. Мама пошла в обком, оттуда завернула в спецшколу, а я завернул к Финкельштейну. У них в школе вышел номер. Ребятам было велено покрыть пол чердака известью. Но извести оказалось мало, и они решили разбавить ее. Но вместо извести они добавили суперфосфата. Произошла реакция. В результате выделился хлор. Ребятам пришлось ходить в противогазах по

⁸ Отточием в скобках обозначены непрочитанные места: страницы дневника обгорели, иные стерлись.

чердаку. Пришел Варфоломеев, разругался («Даром, что ли, я вас химии учил!»). Затем Додя пошел сдавать велосипед в армию (3 дня назад пришла повестка о «мобилизации» велосипеда).

Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что, возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь. Затем мама пошла опять куда-то.

И тогда-то началось самое жуткое.

Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел... 12 «юнкеров». Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговаривал с ней. Потом откуда-то прибежала мама, прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный. Полнеба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него.

Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда.

Сейчас настанет ночь, ночь с 8 на 9/IX. Что-то эта ночь принесет?

До 12 часов.

Только Ира легла спать, опять объявили тревогу. Мы спустились вниз, в 1 этаж. Быстро оделись. Сперва немного постреляли зенитки, затем стали выть и трещать самолеты. Все время по небу ходили прожекторы. Но ни один самолет не был сбит. Где-то опять бомбили. Все население нижних двух этажей (исключая подвалы) было в коридоре 1 этажа. Долго, томительно тянулось время. Затем где-то, на дворе дома № 36, забили в рельс. Мы перепугались. Я, Маруся и Лидка надели противогазы и пошли на двор спрашивать, что такое. А на дворе постовой отвечает, что никакой химической тревоги не было. Так прошло около 2-х часов. Наконец мы решились и пошли домой. Тревога еще не кончилась. Зарево на востоке погасло, но то и дело со стремительной скоростью над городом пронеслись немецкие самолеты. Их обстреливали, а они носились и носились над городом. Сейчас я не знаю, что делать. Мама с Ирой легли спать не раздеваясь. Может, и я так сделаю. Не знаю. Да, эту неделю фашисты хотят сделать оставленной в памяти у нас, у всех ленинградцев. Видно, взять Ленинград с суши не удалось, так вот они и решили его с воздуха уничтожить.

9 сентября. Пишу ровно в 12 ч. ночи. За весь истекший день — 11 тревог! Да каких! По часу, по два. Самая жуткая тревога была последняя, ночная. Сильно бомбили Октябрьский район. Бомбы рвались и на Красной улице, и на Театральной площади, и у моста Лейтенанта Шмидта. Оттуда пришел очевидец весь в грязи — закидало землей — и рассказывал.

Днем во время тревоги над нашим домом сбили один самолет. Летчик выпрыгнул с парашютом прямо в город. Не знаю, что с ним. Наверное, поймали. В спецшколу не ходил, в школу не ходил. Перерывы между тревогами были по 10—15 минут. Завтра, если все будет благополучно, мама велит идти в спецшколу. Думается мне, не пропустят врачи. Не пройду медосмотр. В сводке передавали, что на Ленинград в 8.30 было сделано нападение с воздуха, но военные объекты не пострадали. А мама сказала, что сгорело много продовольственных складов, станция Витебская-товарная, маслобойный завод и еще жилые дома, сколько их — неизвестно.

Эти налеты на Ленинград все объясняют тем, что у Гитлера не выгорела операция с захватом Ленинграда сухопутными войсками. Обозлился и приказал бомбить.

На фронтах без перемен. Мы отбили какой-то город Ельно⁹... И то хлеб.

Да, теперь Ленинграду отдыха не будет. Каждый день бомбить будут.

В нашу квартиру хотят вселить семью какого-то главного инженера треста. Жуки! Мама хочет наотрез отказать.

Сирена. Час — тревога. Отбой. Перерыв — десять минут. Опять тревога. Так можно вконец измучить население. А у нас в доме даже нет бомбоубежища.

Пожалуй, пристроюсь я в пожарную команду в школе. В спецшколу наверняка не попаду. лягу, пока тихо. А там кто знает?..»

Иначе пережил тот же день первой бомбежки Г. А. Князев:

«1941.IX.8. Когда я возвращался со службы, на отрезке моего малого радиуса — набережной Невы — чувствовалось неровное пульсирование жизни города. Николаевский мост был разведен. Движение происходило только через один Дворцовый мост. Поэтому пустынная Университетская набережная превратилась в магистраль. Вскоре между поднятыми разводными частями красавца моста показался корабль — канонерская лодка с двумя дальнобойными орудиями. Корабль поднимался вверх по течению Невы. Река была оживленна. Военные катера волновали свинцовые сентябрьские невские воды... Недалеко от Дворцового моста корабль остановился и дал продолжительный свисток, чтобы его скорее пропустили дальше.

По набережной прошел отряд матросов в походной форме и шлемами на походных сумках. Какой-то автомобиль, весь покрытый грязью, с разбитым стеклом, прокатил мимо. В Румянцевском сквере опять ожидали группы ленинградцев, отправляющихся на трудовую повинность. В автобусах ехали куда-то вооруженные и невооруженные рабочие...

Так вдруг наполнилась жизнью, как река в половодье, моя пустынная дорога вдоль грядки с цветами и кустиками...

Кстати, на днях их подстригли. Кто-то блюдет их даже в эти жуткие дни! Это меня как-то подкрепило, подбодрило.

На Съездовской линии у ворот казармы толпится народ. Ждут свидания с ранеными, размещенными там. Некоторые заглядывают в окна, откуда высовываются красноармейцы и матросы с забинтованными головами или руками...

В 7 часов 30 минут вечера, когда я отдыхал, вдруг затрясся весь наш дом. Раздавалась стрельба из зениток и пулеметов. Первое мгновение было жуткое. Но сразу же взял себя в руки, поборов первое стремление уйти, убежать от опасности... На дворе толпится народ около бомбоубежища. Крауш привезла туда своего больного ребенка. Все смотрели на небо. Соседи пришли сказать, что у них из окон на юг видно громадное зарево и столбы густого дыма, которые заволокли все небо. Действительно, когда я пошел посмотреть, за Невой пылало пожарище. Даже в воде оно отражалось. Некоторые предполагали, что прорвавшимся немецким бомбардировщикам удалось зажечь нефтехранилища где-то у Волковой деревни.

10 часов 30 минут. Опять тревога. Вышел на лестницу. Проектора обыскивают небо. Стреляют зенитки. Возвратился к себе в кабинет и сижу в пальто, в фуражке и калошах под колпаком своей зеленой лампы и пишу... М. Ф. шутит: «Ты совсем как Архимед». Дом вздрагивает, но не так, как давеча. До тревоги успел позвонить на службу. Там все дежурные наготове. Мы с М. Ф. поужинали. Собрали свои узелки с вещами, деньги. М. Ф. ушла на свой санпост.

⁹ Так Юра называет неизвестную ему Ельню.

12 часов 30 минут. Тревога продолжается. С судов на Неве иногда раздаются выстрелы. Соседи еще не вернулись, сидят на ступеньках лестницы вниз. Сегодня весь Ленинград, по-видимому, не будет спать.

Итак, на семьдесят девятый день началась бомбежка Ленинграда. Впереди, пожалуй, предстоит много еще таких тревожных дней и ночей. Чашу испытаний нужно будет выпить до дна, трудную чашу».

Начались бомбежки Ленинграда. В устных рассказах-воспоминаниях каждый второй говорит о пожаре на Бадаевских складах независимо от того, близко или далеко он был от них.

Но вот мы читаем дневник Г. А. Князева, подробный, подневный, и ничего этого в нем нет: «где-то у Волковой деревни» немцам, мол, «удалось зажечь нефтехранилища»... И 9 и 10 сентября — хотя и о бомбежках записи, но фантазию человека поражают какие-то мелочи (в сравнении со складами и их значением). Впрочем, и в мелочах этих зловещая символика, ирония войны.

«1941.IX.10. Восемьдесят первый день. Оказалось, что и вчера в вечернюю тревогу были жертвы. Стервятники бомбили опять... зоологический сад. Погиб слон. По одним сведениям, его контузило взрывной волной, по другим — ранило осколком бомбы, он очень мучился, и его пристрелили. Два вечера подряд несчастный зоологический сад переживал все ужасы действительного ада».

Так и не найдем в записках Князева ничего о Бадаевских складах. Да, у него — малый радиус, да, он старается «не фиксировать слухов». Но гибель складов, пожар во все небо, якобы виденный всеми, оказывается, не производили тогда того впечатления, какое они обрели в воспоминаниях.

Угроза непосредственного штурма города была слишком серьезна, мешала думать о более далеких последствиях и событиях.

У вспоминающих сегодня — уже другой угол зрения. Они уже прошли через страшный голод, их месяцами и годами терзали сожаление, память о хлебе, который не запасли, о сахаре, о крупе, которые погибли, и поэтому им кажется, что в первый же день они уже ощутили, осознали значение тех пожаров. А вот в дневниках этого нет. В них нет отбора событий — как бы из будущего. Они словно бы неисторичны. Но в них есть психология того времени, видение войны теми глазами, и в этом дневники историчны...

Горели не только Бадаевские склады, горели соседи — жировой завод, запасы которого тоже немало значили для блокадного Ленинграда. Нина Александровна Хаткина даже уверена, что тот дым, всеми ленинградцами увиденный, был от ее завода... В те дни многие свой радиус считали особенно тревожным, значительным. Могли главного и не заметить. Но то, что помнит Н. А. Хаткина, действительно сыграло свою роль и в трагедии и в спасении Ленинграда.

«— Я как только кончила институт и получила звание инженера-технолога, была направлена (тогда ВСНХ распределял студентов) сюда, в Ленинград. Потому что моя дипломная работа была на тему «Маргаринный завод», а здесь строился в это время маргаринный завод. Один уже был построен в Москве, а второй строился в Ленинграде. Ну, меня сюда и послали...»

Когда-то, при царизме еще, здесь был завод главным образом по переработке отечественной культуры льна. Льняное масло переваривалось на льняную олифу. Много производили, когда я уже начала работать, — десять тысяч тонн в год мы этой натуральной олифы варили. Приходилось расширять сырьевую базу, и к нам стали поступать то подсолнухи, то какие-то другие масличные культуры... Ездил у нас один деловой такой мужичок по Советскому Союзу и направлял нам всякие жиросодержащие культуры. И поэтому когда кто-то из центра нам предложил взять на переработку кокос,

закупленный у американцев на Филиппинах, то наши с удовольствием согласились, потому что это означало полную загрузку производства. Купили, привезли во Владивосток, а оттуда по железной дороге к нам... Мы считались передовыми, считалось, что у нас кадры подходящие и сумеют справиться с совершенно новой культурой. Надо было переделать машины, сделать целый ряд опытов, и потом только мы сумели перерабатывать этот самый кокос.

Привезли нам две тысячи тонн. Мы приняли, положили, начали работать — и на этом настигла нас война. Ну, первый день нападения с воздуха на Ленинград — его все, по-моему, кто не помнит, кто забыл, кто не знает точно, как это было. Но я-то помню, потому что оказалась в самой гуще этого дела. Помню, мы были на казарменном положении, когда был первый налет самолетов... Я не знаю, сколько они сбросили на Бадаевские, но на наш завод я знаю более или менее точно, потому что все «хвосты» от бомб, все стабилизаторы были ко мне принесены. Ну, бросились по неопытности гасить то, что видели, что упало на крыпи (а крыши деревянные), в цеха, на груды угля, которым тогда котельная топилась, просто на территорию, а то, что проникло внутрь бунтов с кокосовым орехом, естественно, не увидели, а может быть, тот, кто стоял около этих складов, не очень внимателен был, — не знаю, но там увидели только тогда, когда все эти бунты с огромным количеством сухого и жирного семени (жирность 70%, влага — 2%), — когда все это занялось и загорелось таким костром, который был виден с Крестовского острова. Так вот про этот пожар. Мы были совсем неопытные, как я уже вам сказала. Я — одна из трех на заводе, которая имела ружье, видите, не умею даже точно назвать — винтовку. Она, надо сказать, «темное пятно» в моей биографии, потому что как только сказали, что летят над нашим заводом самолеты, мы все бросились тушить зажигалки, и я поставила винтовку где-то в углу, и она пропала! Вы представляете!..

— Расскажите, а как вы тушили жмых?

— Да, жмых... Занялись склады, горела копра. Копра, конечно, горела в первую очередь. У нас был один ряд складов с копррой, затем еще ряд складов с копррой, а в середине — строение, где лежало восемьсот тонн жмыха, и мы под конец, когда было видно, что тут ничего не сделаешь, решили спасать хотя бы этот склад жмыха. И вот наш директор Василий Яковлевич Трофимовский, очень хороший человек, — он главным образом и тушил. Я забрала тоже у одного пожарного (потому что он очень пятился из этого огня, огонь был немислимый!) кишку, поливала склады, поливала директора, когда на нем дымилось пальто. Ну и на крыше у нас стоял один рабочий, хороший такой, и он поливал. Кто-то подносил воду. Вот таким образом мы боролись против этой стихии.

— Скажите, а жмых потом в хлеб добавляли?

— Этот жмых куда шел? Я вам боюсь точно сказать. На нашем заводе он не имел никакого употребления. Соседний хлебозавод брал — это был двенадцатый хлебозавод (через забор с нами), вот туда шел жмых. Потом его как таковой отпускали и как таковой употребляли жители, в том числе и мы. И он, наверное, спас нас от голода, потому что мы этот жмых рубили, и это главное питание, которое у нас было. Мы его поджаривали, какие-то лепешки делали, и вот таким образом мы жили. Конечно, нас спасли не только жмых. Все же у нас было жировое предприятие. Мы могли этот жмых поджаривать на каком-то жире, и, таким образом, у нас не было людей, которые умерли от голода.

— А вы горелое это масло в армию отправляли?

— Да, мы были главные поставщики Ленинградского фронта по жирам, и то, что у нас было, все, что было переработано на жир, пока была электроэнергия, — все эти жиры отдавались армии Ленинградского фронта. Потом, с каким-то перерывом, мы снова вернулись к производству жира для армии. Это был перерыв примерно месяца в три потом, когда уже проложили по дну Ладожского озера кабель от Волховской ГЭС и нам стали давать очень экономно электроэнергию, мы некоторые цеха стали пускать — незнергоемкие. Энергоемкие цеха не пускали до окончания войны, а другие цеха пускали. Но это все могло быть или когда была электроэнергия — до 6 января 1942 года, — или после трехмесячного перерыва. На три месяца вообще все в Ленинграде замерло. Это были страшные дни — дни совершенного мрака, абсолютной тишины, мертвой тишины и огромного количества смертей...»

Мы расспрашиваем Нину Александровну только по делу. Свидетельство **Нины Александровны** касается объекта важного, о судь-

бе которого мы ничего не слышали, нигде не читали. Видимо, в ее рассказе и содержится объяснение тому знаменитому дыму, той картине страшного пожара, которая вошла во все рассказы ленинградцев.

Мы ограничиваем себя исключительно этой историей, мы не спрашиваем Нину Александровну о ее личных потерях, о ее семье. На стене висит портрет юноши. Кто он? Эта скромная, но давно обжитая комната со старыми, привычными хозяйке вещами — что она видела, как сложилась жизнь Нины Александровны в 1943—1944 годах? Даже этого мы не выясняем, потому что чувствовали, знали — для книги понадобится только этот кусочек. У нас уже был опыт. Мы ограничивали себя. В этом была необходимость, может быть, честность перед Ниной Александровной, но была и жестокость. Человек деликатный, она не навязывала нам своих воспоминаний, рассказов о себе, которые могли быть тоже важны и ценны. И долго еще вспоминалась эта недосказанность, эта комната в доме вблизи стадиона Ленина. Таких недосказанных, невыслушанных историй было немало, и от них копилась горечь и чувство вины перед людьми, чью память мы так безжалостно растревожили...

Однако вернемся к подневным запискам Г. А. Князева.

«1941.IX.16. Восемьдесят седьмой день. Все по порядку.

Утром я увидел на набережной отряды вооруженных матросов. Они входили в подъезды домов. На Неве разгружался против нашего дома военный транспорт. Оказалось, что в окнах домов, выходящих на Неву, устанавливаются пулеметные гнезда. Матросы вошли и в наш дом, чтобы поставить пулеметы в квартирах Карпинских, Щербатского, Павловой и др. По затемненной лестнице ходили с мешками песка чистенько одетые, совсем юные моряки, по-видимому, курсанты. У ворот выстроился целый караул...

Вернулся домой. Что делать?

Дом превращается в форт или дот. Можно ли оставаться в нем, хотя наши окна выходят во двор? Не теперь, конечно, а во время боя. Но где враг: далеко, близко? Моряки действовали очень быстро, даже с места на место не переходили, а перебежали. Решили с М. Ф. временно перебраться на службу. Если нужно будет погибать, то хоть на посту, а не в какой-то лестничной клетке или в бомбоубежище. Собрали необходимые вещи, походную кровать, и я отправился на службу.

Около Академии художеств меня поразило то, что моряки на небольшом расстоянии друг от друга выкапывали ямки, что-то укладывали туда, сверху клали кирпичи и засыпали песком... Аккурат против сфинксов. Неужели... И сердце дрогнуло.

Целый день хлещет дождь. Задувает сентябрьский ветер. Где-то вдалеке ухают артиллерийские орудия. Несмотря на нелетную погоду, часто гудят пропеллеры наших самолетов. Весь город оцетинился штыками, пулеметами, огневыми точками, заграждениями. На некоторых улицах, на подступах к городу возводятся баррикады. Ленинград готовится к боям на улицах, площадях, в домах. Чему мы будем свидетелями? Настают самые трудные дни и часы...

Ночь. Сажу в своем служебном кабинете в Архиве. Со мной М. Ф. Она спит на моей походной кровати. Тишина. Горит затемненная лампа, бросает свет только на этот лист бумаги. В углу на белом фоне стены чернеет профиль бюста Ленина. Думал ли я когда-нибудь, что мне придется в этом уютном служебном кабинете проводить при таких исключительных обстоятельствах ночь! Прислушиваюсь к тишине, тревоги не слышно. Мои дежурные — двое спят в читальном зале, а один бодрствует в той комнате, где телефон. На дворе черная ночь. Дождь, кажется, перестал хлестать. Но холодно и тоскливо на душе.

Белявский показал мне поднятое письмо на Зелениной улице около разрушенного дома. Взрывная волна вынесла на улицу чью-то переписку и листки какой-то рукописи... Неужели и с моими листками случится то же?

«Скажите,— обратился ко мне Белявский,— неужели никто сейчас не ведет записей того, что происходит в городе, как переживают люди события? Как бы хорошо организовать такую запись, освободить такого человека от других обязанностей; поручить ему ходить по улицам, заходить в учреждения, дома... Не может ли это делать Институт литературы, например?» «Нет,— ответил я,— это не входит в его функции. В институте — историки, теоретики литературы, а не писатели или бытописатели...»

Я ни словом не обмолвился, что такую запись, насколько у меня хватает сил и времени, все-таки веду, например, я. Правда, мои записи ограничиваются очень малым радиусом и малым числом встреч и событий. Но кто-нибудь, наверное, записывает события и переживания на значительно большем радиусе».

Дневники, дневники...

Георгий Алексеевич Князев догадывался, что пишут, не могут не писать о том, что происходит с Ленинградом, со страной, с миром, с ними самими происходит, и другие ленинградцы. И, возможно, у кого-то радиус шире, не замкнут на доме, работе, небольшом отрезке набережной Невы... За «узость» своих записей Князев винится, оправдывается, обращаясь к возможному их читателю, к «далекому другу». И где может расширять свой радиус, вводя сообщения из газет, книг. Нам же, его «далеким друзьям», хорошо видно, что значимость и сила его записей как раз в закреплённости за определенным радиусом.

У Юры Рябинкина да и у Лидии Георгиевны Охапкиной радиус еще более узкий — они пишут о себе, о своей судьбе. Великую истину выразил Лев Толстой, когда говорил: чем глубже в себе зачерпнешь, тем нужнее это всем!.. Дело не столько в широте захвата, сколько в глубине проникновения. А к дневникам и запискам тех лет это имеет отношение прямое и даже особенное. Вот почему огромную всечеловеческую силу имеют сегодня эти сугубо личные, казалось бы, исповеди блокадной матери и блокадного мальчика, исповеди людей, которые себя и других познавали, открывая до срока бездны и вершины существования человеческого...

Больше всего, страшнее всего запомнился Л. Г. Охапкиной воздушный налет 8 сентября 1941 года.

«Это было 8 сентября 1941 года. Когда началась тревога, я побежала в бомбоубежище, но не добежала, а скрылась в подъезде каменного дома. Я стояла и тряслась от страха. Одна женщина пригласила меня к себе. Она жила на втором этаже. Только мы поднялись по лестнице и вошли в квартиру, как услышали взрыв оглушительной силы, с неописуемым грохотом и шквалом огня. Рев моторов нас всех оглушил. Взрывы бомб где-то недалеко раздавались. Весь воздух, все кругом трещало, гудело. Наш дом весь дрожал. Казалось и земля-то бьется в судорогах, как при землетрясении. У меня от страха стучали зубы, тряслись колени. Я забилась куда-то в угол, прижав детей к себе. Они от испуга плакали. Мне казалось, что я минутами теряю сознание. Я думала, что вот конец, вот сейчас на нас упадет бомба и мы все погибнем. Все мы стояли как приговоренные к смерти. Хозяйка квартиры стояла с открытым ртом и расширенными глазами, что-то шептала. Мать ее, старуха, упала на колени и крестилась. А дети ее, немного старше моих, тоже плакали. Мы жили на Волковом

проспекте, недалеко от железной дороги и совсем близко от линии фронта. Поэтому там было гораздо опаснее, чем, например, на Васильевском острове или на Выборгской стороне, вообще по ту сторону Невы. Этот налет продолжался долго. Я уже думала, что мы не переживем. За эту ночь у меня появились седые волосы.

Я решила, что оставаться жить здесь больше нельзя, тем более что недалеко от нашего дома разрушены были в ночь дома. Утром дымилась руины. Балки торчали как огромные кресты над людьми, которых завалило...

...Я поехала на Петроградскую к жене Шуры, которая жила недалеко от Кировского проспекта. У нее тоже была маленькая дочка. Я думала, что мы больше друг друга пойдем, тем более она жила в первом этаже, а тогда это было удобнее и безопаснее. Когда я к ней приехала, все ей рассказала. Она согласилась; только, чтобы ночевать, надо взять разрешение в милиции. Мне пришлось долго там ждать.

У Инны я прожила всего два дня. К ней приехала мать из пригорода, нам стало тесно, и мать была недовольна, и я опять уехала к себе домой в Волкову деревню.

Дома у нас жильцы почти все выехали, кто эвакуировался из Ленинграда, а кто переехал жить в центр города к родным или знакомым. Крыша нашего дома сгорела, и во втором этаже уже никто не жил. Я жила в первом этаже. Там еще осталось две семьи. Я жила в страхе за детей и как приговоренная к смерти. От каждой бомбежки ждала гибели. Но однажды приехала комиссия от райсовета и предложила выехать в другой район, сказали, что утром будут поданы трамваи и нас всех, кто жил в Волковой деревне, перевезут. Нас перевезли на Васильевский остров, где потом через В. О. райсовет мне дали комнату, узенькую, 8—9 метров, на 1-й линии, на третьем этаже, где я потом и жила с ребятами. Это было числа 20—23 сентября. Тревоги и воздушные налеты продолжались, и я с детьми бегала в подвал, где было устроено бомбоубежище. Но потом перестала туда ходить, так как убедилась, что если случится прямое попадание, то все равно не спастись. И потом тревоги начинались больше вечером, часов в 8—10, дети уже спали и их трудно было собрать. Толик спал одетым, как и я, даже в зимнем пальто, в ботинках. Его трудно было поднять. Один раз я его будила, чтобы скорей бежать. Он только что заснул и не хотел вставать и сквозь слезы говорил: «Не пойду я, пусть меня сонного убьют, мне будет не больно. Не хочу я, не хочу никуда». Мне слышать это было невыносимо... С тех пор я перестала ходить в подвал.

...Я уже не помню, когда мыла ребят. Бани работали с большими перерывами. И из-за тревог туда опасно было ходить. Я решила детей помыть дома. Когда я раздела Толика, то увидела, что его тело все покрыто болячками и расчесано. У него была чесотка, которую он подхватил, когда был в отъезде. Я пошла в аптеку. Чесоточной мази не было, и мне дали синьки. Но прежде чем помазать его, надо было помыть как можно горячей водой. Один раз во время такой процедуры — дело было к ночи — он стоял голенький в круглом тазике, и я его мыла такой горячей водой, что у самой еле терпели руки. Он кричал. Вдруг объявили воздушную тревогу. В окно нашей комнаты тут же как бы влетела огненная вспышка. Ковер старый, занавешивающий окно, упал. Стекло вдребезги расколосось. Все это в один миг. А на улице я услышала оглушительные взрывы. Дети громко закричали. Я схватила сначала Тольку, голого, мокрого, почти бросила в коридор на пол, потом побежала за дочкой. Прижала их к себе где-то в углу коридора. Думаю, ну когда же это кончится. Неужели не будет конца? «Звери, сволочи», — ругала немцев. Наутро, когда я пошла за хлебом, увидела, что у дома напротив нашего одна половина была разрушена, на другой, уцелевшей, стенки оклеены разными обоями:

розового, голубого и зеленого цвета, в цветочки и полоски. И что странно было — в одном квадрате висели большие часы и еще ходили».

Но все равно Лидия Георгиевна Толика мыла и смазывала каждый вечер и вылечила его, хотя, когда наступало время мыть, страшно нервничала...

Дневники стали вести сравнительно многие ленинградцы. Возможно, такое происходило с началом войны и в других прифронтовых городах, не знаем. Но в Ленинграде явление это достойно внимания. В первые дни войны работница больницы имени Софьи Перовской Фаина Александровна Прусова дает своему сыну, студенту-медику, общую тетрадь и просит записывать, что будет происходить с ним и со всеми. И сама принялась писать военный дневник. Они сохранились, оба дневника, матери и сына. Дневников уцелело на удивление много, хотя это, конечно, ничтожная часть того, что было.

Сколько их, этих дневников, все более теряли первоначальный характер аккуратных, старательных записей, по мере того как надвигались темень, голод, холод, смерти. Вроде бы нетрудное занятие — писать — теперь становилось непосильной работой, подвигом человеческого духа. А сколько таких записок было разметано взрывами, сгорало в блокадных пожарах, пропало после войны — одни в самом Ленинграде, другие где-то в далекой эвакуации. Мария Алексеевна Ткачева сохранила переписанный от руки ее теткой дневник неизвестной блокадницы и привезла его в Ленинград из Ярославля. В конце сделана такая приписка: «Эти тетради были найдены в столе одного учреждения в г. Ярославле. Один из служащих нашел их в столе и пренебрежительно отбросил. Их подобрала другая служащая и, посмотрев наскоро в перерыв и увидев, что это дневник женщины, пережившей голодную зиму 1941 г. в Ленинграде, взяла их к себе домой. Дома, прочтя, она узнала, что автор — родственница ее близких знакомых. При расспросах выяснилось, что учреждение расположилось в помещении, где до этого помещался стационар для эвакуированных, где и умер автор дневников».

И дневник Юры Рябинкина — обгоревшая общая тетрадь — оказался в руках внимательного человека, медсестры Р. И. Трифоновой, и был сохранен.

Здесь также были свои спасатели...

Некоторые блокадники начали писать, записывать пережитое, как только вырвались за кольцо. Или же вскоре после войны — «по свежим следам». К машинописным «Запискам о блокаде Ленинграда» Л. Д. Барановой сделано примечание: «По настоянию друга всей моей жизни Надежды Васильевны Розановой-Верещагиной составлены эти записки в 1942—43 годах по приезду в Москву из блокированного Ленинграда».

Т. В. Рябинина свой маленький блокадный дневник дополнила записями по памяти, строго разделив то и другое. А причина того, что дневник оказался излишне лаконичным и неполным, ею же объяснена:

«Мне жаль теперь, что я так скупо писала, но это в значительной степени зависело от того, что нельзя было писать подробно. Десятки плакатов и воззваний призывали нас к бдительности, так же как и к стойкости, мужеству, сплоченности. Всюду стены были оклеены призывами, карикатурами, плакатами. Тут был и «наследник престола российского» Кирилл в виде коронованной обезьяны, и обыватель — любитель слухов с огромными ушами, и рабочий, призывающий работать, не склоняясь перед трудностями, и женщина, призванная заменить мужчину на производстве, — всего не перечислишь. Множество листовок расклеивали в домах, на воротах, раздавали в домоуправлениях. Их читали, очень читали, и они, несомненно, сыграли большую роль...

А о бдительности, об осторожности нам твердили на каждом шагу. На улицах патрули нередко проверяли документы, без паспорта нельзя было ходить, так как в любой момент могли остановить и потребовать его. Нельзя было указывать дорогу ни к каким «объектам» — заводам, мостам и т. д., нельзя было ни выслушивать, ни давать каких-нибудь сведений о пострадавших домах, о количестве жертв, о местах падения бомб, так как все это давало ориентировку врагу. Спросить «как пройти туда-то?» означало получить в ответ «не знаю», сопровождаемое подозрительным взглядом. Я сама отвечала «не знаю» незнакомым людям на какой-нибудь пустячный вопрос. Особенно осторожны мы стали после того, как в двух шагах от нас с помощью собак-ищеек поймали двух диверсантов, скрывавшихся в забитом ларьке «Утильсырьё». Это им мы обязаны первой бомбой, упавшей на дом № 4/3 восьмого сентября, это они давали сигналы теми красивыми зелеными ракетами, которыми мы по глупости любовались в первую ночь бомбежки¹⁰. Они просуществовали в своем ларьке недели две, и за это время бомбы не раз слышались возле нас. Я не видела, как их обнаружили, но видела толпу, провожавшую их. Какое-нибудь незатемненное окно вызывало взрыв негодования и подозрений».

И вот пришлось Т. В. Рябининой восполнить по памяти свои записки военных лет — уже в начале 50-х годов.

Возвращались позже к своим записям и некоторые другие блокадники. Например, дневник Фаины Александровны Прусовой имеет дубликат: она сама в 1951 году переписала свой дневник с разрозненных клочков бумаги в общую тетрадь. Копию сделала «для Димы» (внука) со всей бабушкиной старательностью: с фотографиями, вырезками из газет, фотокопиями блокадных рисунков сына Бориса и т. д.

В архиве Ольги Федоровны Берггольц осталась толстая папка с надписью «Выписки из дневников». Там перепечатанные на машинке отрывки из блокадных дневников самых разных людей — учителей, партийных и советских работников, врачей, шоферов. Ольга Федоровна собирала подлинные документы тех лет для своей книги «Дневные звезды» — донесения бытовых отрядов, сводки райкомов комсомола, вырезки из газет, — делала выписки из дневников. Где сами дневники — неизвестно. Но интересно, как много их было в ее распоряжении в первые послевоенные годы. Да и к нам спустя тридцать лет дошло немало. Материал, отобранный Ольгой Федоровной, действительно впечатляет, и мы позволим себе привести эти выписки (с разрешения Марии Федоровны, сестры Ольги Берггольц).

Выписка из дневника заведующей учебной частью 239-й средней школы К. В. Ползиковой. - Рубец¹¹.

«11/XI.41 г. Бомбоубежища настолько вошли в быт, что без них многие себе не представляли города. Старушка в очереди: «Разбомбили на Фонтанке господский дом, там и теперь никто не жил и раньше квартир не бывало. Жили там одни господа, графья. А папаша-то мой был у них старшим дворником. Дворницкая-то была хорошая, светлая. И как сейчас помню: налево конюшни и каретный сарай, направо подвал. А вот где было бомбоубежище, никак не могу припомнить, девчонкой ведь я тогда была». Под общий хохот очереди старушка никак не могла сообразить, что в те времена ни бомб, ни убежищ не было.

28/II.42 г. Хочется записать про самое красивое и страшное зрелище одного из октябрьских вечеров. Я у Луров-Муров. Сирена воеет, и Лур властно требует, чтобы мы спустились в бомбоубежище. Мур исчезает в штабе, а Лур сидит со мной. Затем он выходит на улицу, возвращается и говорит — «сбросил зажигательные в районе Нардома». Через час отбой, и мы выходим на набережную. Здесь так светло, что можно читать газетный шрифт. Американские горы точно иллюминированы ярким белым, точно электрическим, светом, местами освещение так ярко, что видны рельсы, по ко-

¹⁰ Рассказы о ракетчиках были характерными для тех дней слухами, порой сильно преувеличенными, что и понятно в тех условиях. Не раз, когда мы пытались выяснить подробности, оказывалось, что случай не подтверждается.

¹¹ Дневник К. В. Ползиковой-Рубец мы получили полностью.

торым когда-то спускались вагонетки. Горы эти высятся на фоне огромного темно-красного моря огня. Пламя ширится. Темное облако дыма нависло над этим гигантским костром. Иногда видна струя брандспойта, но, кажется, она не имеет действия. Нева вся сверкает, отражая то кроваво-красный огонь, то ослепительно яркий белый. Крепость и Томановская биржа прекрасны, так прекрасны, как не были никогда ни в одну иллюминацию. Все три моста видны до мельчайших деталей. Зрелище незабываемое по страшной красоте, именно страшной, от слова «страх». Что-то есть, что напоминает брюлловскую «Гибель Помпеи»...

Вернемся, однако, на малый радиус Г. А. Князева. 19 сентября он записывает:

«Не понимаю, что происходит. 15-го у меня было впечатление, что неприятеля ждали на улицах города. Поехал ночевать в Архив, чтобы вместе с ним разделить его участь. 16-го ободрился. Все говорили, что неприятель отогнан, наша авиация усилена, кольцо окружения размыкается извне... 18-го иллюзии был положен конец часовым ожесточенным обстрелом города!..

1941.IX.21. Девяносто второй день. Три месяца войны. Последняя, 13-я неделя для нас, ленинградцев, была самая тяжелая. Вспоминаю сейчас отдельные эпизоды и если бы не вел записи, не мог бы установить по памяти, когда и что было в точности. Есть такие моменты, которые врезаются в память, как тавро каленым железом, но когда это было в ряду других событий, установить можно не сразу. Вот эти моменты впечатлений. Пожар здания Сената, «прыжок» нашего дома вверх и вниз при падении двух бомб, свист артиллерийских снарядов над Архивом, темный бюст Ленина на фоне чуть освещенной стелы в кабинете на службе во время ночевки там... Сосредоточенно-молчаливый, но полный внутренней силы взгляд Шахматовой, когда близко, близко от нее пролетел снаряд; вбегающие в подъезды моряки, чтобы установить огневые точки, и многое другое. Все это впечатления последней недели. Их много, и так странно располагаются они в мозгу — не в хронологическом, а в каком-то причудливом порядке.

Что же происходит? Никто ничего толком из нас не знает. Враг у ворот. Где-то близко. Но где? Люди растерянно глядят друг на друга, но редко кто-нибудь задает вопрос. В газете аншлаги: «Укрепить все подходы к Ленинграду. Каждую заставу, площадь, улицу и переулок превратить в бастионы и крепости, сделать неприступными для врага...». «Создадим укрепления, неприступные для врага...», «Ленинградцы решают одну задачу — отстоять город, разгромить врага...», «Преградить врагу все пути в город...», «На каждом шагу врага должна ждать смерть, а его технику — уничтожение». Газета полна выдержками из сочинений Ленина и других авторов о том, как вести гражданскую войну, строить баррикады...

Но разомкнуть кольцо можно только извне, а если этого не случится, тогда останется только умереть, защищая родной город... Старые рабочие Обуховского завода заверяют: «Выбор сейчас у нас только один: «Смерть или победа, свобода или рабство! Ни шагу назад... Или победа, или смерть!»

Проповедуется бесстрашие перед смертью, беспощадно бичуются трусость, малодушие. «Смерти этим не избежать. Она все равно придет но только смерть позорная, сопровождаемая насмешками и издевательствами конвойных и палачей...» Это место цитируют газеты из советов генерала Коммуны Ключерэ...

Итак, апофеоз героической смерти — вот лозунг этих дней. Если не победим, то умрем...

Отступать больше некуда!

Интересный передают разговор с профессором математики, специалистом по теории вероятностей. У каждого ленинградца один

трехмиллионный шанс быть убитым или раненым. Совершенно ничтожная величина, которой спокойно можно пренебречь. Но в то же время в Ленинграде был единственный слон, и именно этот единственный слон убит при бомбежке города!.. Вот вам и теория вероятностей с пропорцией 1 : 3 000 000 и 1 : 1...

Газеты полны сообщениями о немецких зверствах. Если бы собрать их и систематизировать, то страшнее повести не выдумаешь.

1941.IX.22. Девяносто третий день. Дорогой мой дальний друг, нужно ли знать тебе, что я сейчас иногда читаю?.. Если я потеряю М. Ф., увижу разрушенным и разгромленным мой город, уничтоженным вверенный мне Архив, то зачем мне жить?.. Но как уйти из жизни, если я не буду убит? Оказывается, что через сдавление легче всего, некрасивый конец, но верный. Вот сейчас я взял энциклопедический словарь и читаю: «Петля, затягиваемая при повешении тяжестью тела, ложится обыкновенно выше щитовидного хряща и, давя спереди назад и с боков, одновременно с закрытием дыхательной трубки сдавливает большие шейные сосуды и блуждающий нерв. Благодаря этому мгновенно или через несколько секунд наступает полная потеря сознания от остановки мозгового кровообращения...» Это в будущем, а пока я не теряю ни присутствия духа, ни бодрости. Полностью выполняю свой гражданский долг на своем ответственном посту».

У Юры Рябинкина возникает в эти дни проблема не менее жгучая, в которой мы, к сожалению, до конца так и не можем разобраться, он и в дневнике не решается признаться. Проблема, где опять же соединилось и детское и подростковое, подлинное и суетное. Но в этом-то и проявляется характер этого мальчика, вовсе не образцово-положительного, мальчика со своими страстями, фантазиями, завихрениями, порой излишне требовательного, переменчивого, мнительного, самолюбивого. Много ломалось, перестраивалось в этом неустановившемся характере. Он развивался быстро. Если внимательно вчитываться в некоторые записи, видно, что развитие происходило не за счет событий, они сами по себе ума не прибавляли, но прежде всего потому, что Юра думал — и над тем, что творилось кругом, и над тем, что происходило в нем самом, следил за собой, требовал от себя. Примечательна в этом смысле мелкая, казалось бы, история игры в карты. Юра играет с мальчишеским увлечением, когда вдруг замечает, как растет в нем азарт, он приглядывается к новому опасному чувству, обнаруживает в себе игрока. И останабливается. Карты, война, блокада, деньги — все соседствует с горькой достоверностью. Подростки болтались в школе, не зная, куда себя деть. Занятия не начинались, это были критические дни сражения под Ленинградом — 15, 16, 17, 18 сентября 1941 года. Пал город Пушкин, немецкие части подошли к Пулковской горе, судьбу города решали какие-то часы, решали отдельные роты, батальоны, батареи... Одному из нас в те дни пришлось проделать весь путь отступления: сдачу Пушкина, отход под бомбежкой — мимо Шушар, мимо Пулково — к Ленинграду, к Средней Рогатке... Тогда казалось, что враг вот-вот ворвется в город и начнутся уличные бои.

«15 сентября. Сегодня утром решил: в спецшколу не являться. Причину здесь не пишу. Я не знаю, чего стоило мне это решение. У меня и сейчас слезы на глазах стоят, но я все тянул с этим. Сейчас это кончено. Впрочем, не знаю. Ведь это какой удар маме! И вместе с тем я знаю, что решение правильное.

Когда я сказал об этом решении маме, она стала доискиваться причин. Я решил отмолчаться. Но это не удалось. Тогда выдумал уловки: дескать, школа не понравилась. У нее уже тут как тут неле-

ные подозрения: дескать, не боюсь ли я, что на фронт отправят, да в этом духе.

...Я очень хорошо вижу, что мне грозит. Слишком хорошо. Но я очень хорошо вижу, что я сделаю этим маме. И я не могу решить: пожертвовать ли собой ради нее или остаться при своем решении. Выхода — два, но из них нужно выбрать один.

Тяжело, мучительно расставаться со своей мечтой... Что поделаешь? Будем к этому цинически относиться, авось будет какой толк.

На «авось» больше полагаться никогда в жизни не буду. Раз я положился на «авось». Этот дневник я пишу для себя, здесь можно говорить все — однажды я подхватил вшей. А учился я тогда в школе. И позвали наш класс на проверку к врачу — есть ли у кого вши. И я, дурак, тоже пошел. Понадеялся — «авось» не заметят моих. Ну и нашли. Стыда-то сколько было. А все из-за чего? Да из-за моего глупого решения — на «авось». Надо было тогда как-то вернуться от осмотра, улизнуть.

Чем мне теперь заниматься? Что делать? Идти на завод? В пожарную команду при школе? Оставаться так?

Оказывается, у меня уже три решения. Думаю, я буду изучать курс 9 класса сам. Напрягусь и изучу. Сдам экзамены после войны и перейду в 10-й класс. Так-то лучше. А впрочем, не знаю. Не пережить из нас никому этой войны. Сейчас еще только бутончики, цветочки еще не видели. А если применят немцы ОВ да бактерии?..

Ну да все равно. Жили до нас миллиарды людей, будут жить после... Надо же быть кому-нибудь из них неудачливыми в жизни.

Сейчас еще только час дня.

Сегодня еще раз был у мамы. Вернулся вместе с мамой домой. На ночь пошли к кочегару. Сегодня вечером пришло два письма от Тины. Пишет, что ее эвакуант меняет свое местоположение и свертывается в неизвестном направлении.

Мама говорила, что по Ленинграду из орудий бил десант, который теперь выбили наши моряки. Не особенно этому верю. Говорят, что Пулковое переходит из рук в руки и сейчас там немцы. Лигово тоже взято. По газетным данным, взят г. Кременчуг — следовательно, немцы форсировали р. Днепр. Дела ой как плохи у нас. Из порта в обком приходили люди, рассказывали, что порт сильно пострадал от налетов германской авиации.

Теперь над Ленинградом куда ни глянь всюду летают «ястребки». Столько их, что за день не перечеть.

Тревога всегда запаздывает у нас. Сперва услышишь стрельбу зениток, а уж затем через минуту-полторы загудит сирена.

Слишком давно не был в кино. Разумеется, надо посмотреть «Кинорепортаж с фронта» и какой-нибудь художественный фильм. От горя начал опять писать. Интересна подробность: чем больше я занят делом, тем меньше пишу в дневнике.

16 сентября. Сегодня я совершил ужасную вещь — потерял 30!! рублей. 30!! рублей. Мама дала мне их на подсолнечное масло (у нее не было более мелких денег), а я их потерял... Теперь весь день я был этим огорчен. Денег и без того осталось — кот заплакал, а я еще теряю по столько рублей.

И погода тоже подкачала. Идет дождь, пасмурно. Однако за день было уже три тревоги. Сейчас — половина пятого. Был у мамы в фонде. Там спешка — уничтожают все бумаги. Все какие есть. Мама еще к тому же навела на меня панику — велела посмотреть и приготовить противогазы.

Сейчас половина пятого. Ближе от нашего дома опять слышны сильные звуки разрыва артиллерийских снарядов. По словам В. Никитина, немцы в 15 км от Ленинграда. Я думаю — ближе.

Вечером к маме приходила Бушуева из Сосновой поляны. Рассказывала про всякие там ужасы. Володарская занята немцами. Есть

новости и хорошие: например, под Ленинградом и в Ленинграде сосредоточено около 2 000 000 войска, из Америки и Англии прибыло около 1000 самолетов. Сейчас над городом все время летают «ястребки». Говорят, что оголены другие фронты, а войска брошены к Ленинграду, войска идут даже из Сибири. Ленинград в германском окружении, а немцев мы хотим сами окружить. Есть новости и плохие. Лигово взято (12 км от города), все дороги до Лигова усеяны немецкими танками, войсками. Немцы кинули на Ленинград большое количество своих частей. В.¹² ранен. Но все неофициально.

17 сентября. Сегодня вечером произошло важное событие. В нашу квартиру вселяется управляющий стройтрестом. Некий И. с женой из Московского района. Сегодня перетаскали к нам его вещи. Завтра сам явится, по всей вероятности. Маме пообещали пользование их бомбоубежищем и столовой. Не знаю, как это выйдет.

В Информбюро (сообщении) сказано, что немцы готовят интенсивный налет на г. Ленинград.

18 сентября. Сегодня был у Финкельштейна. Договорились с ним о дежурстве в школе. Завтра с 8 вечера до 8 утра. Вышел приказ о военной подготовке мужчин начиная с 16 лет. В первую очередь идут, однако, 17 и 18-летние. Вечером вышел новый приказ. В нем говорилось, что по Ленинграду начались уличные бои, что все от 16 лет (мужчины) и от 18 лет (женщины) должны идти на баррикады. Ну и дела!

Немцы опять обстреливали город из орудий. Был обстрелян Невский, мосты, Фрунзенский район.

Баррикадами не продержаться. Устарели. Современная война требует авиации, танков, орудий, а баррикады? Тьфу!..

Сейчас, наверное, немцы применят ОВ. В Ленинграде столько народу и армии, что если немцам применять в эту войну ОВ, то только сейчас. Два дела сделают: Ленинград возьмут и столько армии положат. А у немцев, наверное, есть такие ОВ, что нам еще неизвестны и наши противогазы ничего против них не сделают. Ведь война-то началась как? Сколько войск у немцев было сосредоточено на границе... А мы и в нос не чуяли, что война близка. Так же с ОВ будет.

Ну ладно, облегчил свою душу сими строками — и будет».

Юра Рябинкин мечется, винит все и всех, он лишен успокоительной силы дела, ответственности. Ему некуда девать себя, не на что направить энергию. Особенность Ленинградского фронта не давала в те дни многим подросткам, школьникам возможности чем-то помочь армии. Он чувствует опасность, хотя не знает подробностей и масштабов надвигающейся беды.

«22 сентября... Новости с фронта крайне плохие. Пал Киев. Это значит, что треть немецкого плана выполнена. Неужели немцев не отшвырнут от Ленинграда? Всюду говорят, что Ленинград окружен немцами, а немцы окружены сибирской армией под командованием Кулика. Ребята в школе шутят: «Кулик немцев жмет, немцы нас жмут. В конце концов Кулик так на немцев нажмет, что они «в панике» ворвутся в Ленинград».

Десять винтовок на весь батальон.
В каждой винтовке — последний патрон...

* Говорят, что эта песня действительна (...). Не знаю, так ли это. Больше слухам теперь не верю.

23 и 24 сентября. Дежурили в школе. Особых происшествий не было. Научился в коня, в девятку играть. Особо интенсивных налетов германской авиации на Ленинград не было. Правда, вчера было 13 тревог, но не бомбили.

¹² Видимо, Юра имеет в виду К. Е. Ворошилова.

Уменьшен паек на мясо и еще на что-то.

В спецшколу на медосмотр не ходил. Не знаю, пойду ли вообще. Как знать?

25 сентября. Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют — не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.

Кроме того: решил тратить на еду себе начиная с завтрашнего дня 2 рубля или 1,5.

Мое решение — сильный удар для меня, но оно спасет и от другого еще более сильного удара. А если смерть, увечье — то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье — покончу с собой, а смерть — двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира.

Итак, из опасения поставить честь на карту я поставил на карту жизнь. Пышная фраза, но верная.

26 сентября. Появились новые факторы на мое решение. Откуда мама взяла, не знаю, но она говорит, что с 1 октября всех с 16 лет возьмут в рабочие отряды. Когда я сказал ей, что в спецшколу не пойду, произошла целая сцена. Просила, просила, чтобы я шел...

Ладно, все одно... В спецшколу иду, чтобы успокоить маму (на 1 день), а она, бедняжка, и не ведает, что это за успокоение будет.

В сводках ничего особого. Слухам не верю. Вчера опять была артстрельба по городу».

Может быть, Юра не хотел идти в спецшколу из-за медосмотра? Боялся, что признают негодным? Стыдился своего слабого здоровья? Слабого зрения? Он скрывал свое нездоровье от всех. Подобное почти болезненное тщеславие или самолюбие вполне в характере этого подростка.

«1 и 2 октября. За последние дни как-то сильно проявились в моем характере упрямство и гордость. Думаю, что от беспрестанных волнений. Сдана Полтава, больше ничего особого не знаю. Окончилась конференция США, Англии и СССР для оказания помощи СССР против Германии.

Дежурить в школе продолжаю. В нашу команду недавно поступил Левка Шванг. В ночь с 1 на 2 была сильная бомбежка. Я с Финкельштейном и Никитиным в это время был на чердаке школы.

Мне — шестнадцать лет, а здоровье у меня, как у шестидесятилетнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим сильно удручена.

Черт знает какие только мысли лезут в голову. Когда-нибудь, перечитывая этот дневник, я или кто иной улыбнется презрительно (и то хорошо, если не хуже), читая все эти строки, а мне сейчас все равно.

Одна мечта у меня была с самого раннего детства: стать моряком. И вот эта мечта превращается в труху. Так для чего же я жил? Если не буду в В.-М. спецшколе, пойду в ополчение или еще куда, чтобы хоть не бесполезно умирать. Умру, так родину защищая.

Думал написать мало, а оказалось много. Ну ладно.

Хоть английский помню, и то хлеб.

Сейчас еще мама не вернулась с работы с Ирккой. На часах — четверть шестого. Займусь шахматами и чтением, а может быть, завалюсь спать. Там посмотрю, что выйдет.

А мама уже мне раз сказала очень интересные слова: «Юра, ты узнай, как можно, если записаться в спецшколу, эвакуироваться». Очень интересные слова.

Никитин меня вчера вечером спрашивает: «Юрка, не пойдём ли в В.-М. спецшколу?» Да, мечта, а с мечтой расстаться — себя похоронить. Как быть?.. Кем быть?.. Где быть?..»

Сотый день войны

В сотый день войны, 29 сентября 1941 года, Г. А. Князев как бы окидывает заново взглядом свой малый радиус. Его перу часто не хватает живописных подробностей, подлинных диалогов тех лет, той живой плоти, которая украшает дневники людей художественно одаренных или хотя бы имеющих журналистскую сноровку. Этого у Князева мало, он не слышит в разговорах окружающих людей характерных выражений, словечек военного времени, на которое быстро и чутко отозвалась народная речь. Его, историка, интересовали прежде всего факты, детали, в которых отражались ход войны, умонастроение, поведение людей. Можно, конечно, вспомнить писательский дар таких русских историков, как Ключевский и Соловьев. Блестящие стилисты, они в своих работах предстают и как талантливые художники. Требовать подобного от каждого историка было бы несправедливо. Но тем более поучительно, что подневные, подробные записи, которые вел совсем не писатель, записи, вроде бы лишённые литературной ценности, тем не менее обладают значительной, порой уникальной ценностью — исторической. Оказывается, что честные записи любого думающего, образованного человека о пережитом, обо всем, что он видел, слышал, знал, интересны и в своем роде единственны. Такие записи не обесцениваются другими свидетельствами современников.

Итак, сотый день войны.

«1941.IX.29. Понедельник. Падают под ударами резкого сентябрьского ветра листья с деревьев. Всюду ветер намел на асфальте волны песка. Хмурится порой небо, но прорывается ярким потоком лучей солнце и озаряет ярким светом наш замечательный город. В эти дни страшных для него испытаний он стал дороже, ближе даже тем, кто привык к нему и был равнодушен. Каждый дом, улица, площадь, переулок — все такое родное, близкое и в такой непосредственной опасности! Каждый день пожары, разрушение зданий, гибель людей... А люди ходят по улицам, работают на заводах, в учреждениях. Приходят на службу и тихо сообщают: «А у нас все стекла повылети: соседний дом разрушила фугасная бомба. Ночевать придется у знакомых». И никто не знает, чем кончится начавшийся, ну вот хотя бы сегодняшний день, яркий сентябрьский день...»

Вечер. Вот уже два раза поднимались к нам из квартиры Карпинских предупредить о тревогах. Во второй раз сообщили, что где-то было слышно падение сброшенной бомбы. Я так устал за день, что не стал спускаться вниз. М. Ф. читает Загоскина. Самое подходящее чтение во время тревог! Я читаю всемирную историю, пишу вот эти строки. Но не скрою, что когда начинается чуть заметное дрожание пола под ногами от вибрации воздуха при пролете поблизости самолетов — невольно настораживаешься, болезненно ощущаешь эти чуть заметные толчки. Напрягаешь слух, не стреляют ли зенитки с морских судов на Неве. Нет, стекла не дребезжат в окнах, значит, куда вражеские самолеты не летают еще в том квадрате, где мы живем. Но все-таки мы наготове, я сижу в фуражке, в калошах, рядом пальто. На всякий случай!.. И сидим мы не в столовой, а в передней, где нет окон, а только двери. Над нами чердак, мы живем в

верхнем, в третьем, а если считать подвал, то в четвертом этаже. Поэтому невольно иногда посматриваешь на потолок.

Днем все эти воздушные тревоги, артиллерийские обстрелы проходят менее заметно. На службе ни я, никто не уходит со своих рабочих мест. Я даже не мог прогнать своих сотрудников, которые не были дежурными в тот злополучный день, когда Ленинград обстреливался из дальнобойных орудий и горела уже ярким пламенем часть здания Сената. А вот вечером или ночью и бомбежку и обстрел переживать приходится более нервно-напряженно. Вчера, насмотревшись на зарево пожаров, я не решился раздеться на ночь и спал одетым, просыпаясь мгновенно от какого-нибудь даже малейшего содрогания дома.

Так переживают эти дни и ночи в Ленинграде, по-видимому, очень многие. Сегодня на службе И. А. говорила мне, что после ударов вчерашних бомб она с трудом взяла себя в руки, чтобы не прислушиваться к тишине и спать. Множество людей ночует в бомбоубежищах или бегают туда во время каждой тревоги. Это уже своего рода психоз. Некоторые держатся стойко и упорно; фаталисты, верующие и просто равнодушные ко всему люди, или очень спокойные по природе своей, или, наоборот, очень усталые. Вчера во время тревоги, когда мы на набережной стояли в подъезде дома против Исаакиевского собора, одна молодая девушка не хотела уходить с улицы, несмотря на настойчивые требования милиционера. «Мне все равно, что жить, что умирать,— злобно говорила она.— Надоело все, опротивело». В это время в транспортном автомобиле провозили гроб, вокруг которого сидели провожавшие с венками. «Вот счастливый человек»,— сказала девушка. Я не удержался и задал вопрос: почему она в таком унынии, в таком подавленном настроении? «Двоих уже потеряла, а вот третьего никак не могу доискаться: раненный привезен в Ленинград, а куда поместили — не знаю»,— скороговоркой ответила она. Я не стал ее больше расспрашивать, да и тревога уже кончилась. Все выскакивали из подъездов, из прикрытий и стремительно направлялись к стоявшим на путях трамваям.

У других больше воли, чем у этой девушки, но чувствуется страшная усталость, крайняя нервная напряженность... «Сколько же это времени продлится? — спрашивала меня сокращенная у нас Петрова, молодая мать.— И что дальше будет? Зашла в столовую, одну, другую, наконец в одной получила билетик в очередь, какой-то семисотый номер. К вечеру, говорят, может быть, удастся пообедать... Хорошо еще ребенок не голодает. Вот от мужа получила пятьсот рублей, но деньги лежат и купить на них ничего не могу. Как же дальше-то жить? Говорят, Кронштадт разбомбили»,— добавила она. Все это говорила она спокойно, не волнуясь. А вот на А. О. взглянуть страшно. Лицо совершенно без кровинки, истощенное. Сегодня она узнала, что отложенная эвакуация матерей снова возобновляется, и перед испытаниями неизвестности ужас опять стал глядеть из ее глаз. Тяжело тут, в Ленинграде, но есть по крайней мере работа и академическая столовая, куда она водит обедать своих двух детей. А там впереди полная неизвестность и сжимающий душу страх за судьбу ребят и самой себя.

Успокаивал ту и другую. Не умалял грозности событий, но указывал, что положение наше не безнадежное. Нужна только воля не поддаваться унынию, растерянности. Надо сознаться, они меня плохо слушали, или, точнее, слушали из вежливости...

Один у всех настойчивый и неотвязный вопрос: долго ли это положение продолжится? Приближается зима. Ко всем испытаниям и лишениям прибавляется холод. И невольно у многих, даже крепких нервами, встает вопрос: выдержим ли?

На этот вопрос отвечают женщины Ленинграда: «Выдержим!»
Вчера был всегородской женский митинг. Выступали артистки,

писательницы, работницы. Все в один голос призывали к защите Ленинграда и заверяли в своей стойкости и помощи защищающимся. Весь митинг стоя аплодировал одной девушке, юной дружиннице, вынесшей с передовых позиций во время боя 29 раненых бойцов. При этом она сама была ранена дважды... Вот это подлинное и святое героичество!

Я нарочно записал так подробно свои впечатления на моем малом радиусе. Как вся наша жизнь, и жизнь в осажденном городе полна противоречий. Не правы будут те, кто скажет об одной усталости, угнетенности; неверно будет и утверждение, что среди ленинградцев было лишь одно героичество. Была жизнь, полная противоречий. И вот краешек ее я пытался запечатлеть на этих страницах.

1941.X.5. Сто шестой день. Зашла девочка Валя, которую мы собирались воспитывать. Дом их полуразрушен от взрывной волны. Соседний дом разрушен до основания от фугасной бомбы очень большой силы. Живет она на Дегтярной. Вся их мебелишка исковеркана, двери сорваны, окон нет, не только стекол. Разрушение произошло в то время, когда она с матерью была на окопных работах (мать взяла ее с собой, т. к. не с кем ее было оставить). Поэтому они остались целы. Теперь большей частью живут в бомбоубежище. Есть нечего, мать без работы, карточка иждивенческая, т. е. голодная. Смотрит испуганными глазами Валя и прислушивается: «Кажется, тревога. Пойду у вас посижу на дворе в бомбоубежище». Выяснили, оказалось — тревоги нет. Все-таки она сидела как на иголках. Дали ей денег, продуктов, что могли... Бедный несчастный ребенок!.. За что она так страдает?

1941.X.6, 7, 8. Сто седьмой, сто восьмой, сто девятый дни. Прошли три дня очень беспокойных, точнее тревожных, нервно-напряженных. Ничего особенного не случилось, все то же, но только несколько в ином восприятии пережитое. Мы люди самые обыкновенные, ничем не замечательные, и записывать чего-нибудь героического мне просто нечего. Одно только и есть достойное внимания — это то, что мы работаем все время, даже во время тревог на службе работа не прекращается. Вот и все, что надо отнести к нашему «героичеству». Это, в сущности, и немало при всем том, что сейчас приходится переживать ленинградцам... Надо отдать справедливость моим сотрудникам: работают неплохо, несмотря на тревоги, на холод, на недоедание, на мытарства в столовой, на полубессонные ночи. Некоторые живут без стекол, другие принуждены были переселиться к знакомым. Замечательно усидчиво работает Шахматова, хорошо Крутикова... Цветкова еле таскает ноги: и голодна и страдает от недостатка сна... В общем же я своим коллективом доволен. Они не только работают, но поочередно еще несут вечернюю и ночную вахту, оставаясь на посту во время воздушных тревог и артиллерийского обстрела.

...На днях будут обучаться стрельбе в тире, имеющемся при университете. Стулов близорук и вдаль ничего не видит. Модзалевский тоже... Таковы два архивных «воина», готовящихся для последнего резерва. Но Архив дал и настоящего полноценного бойца и политически подкованного и с большим кругозором, А. М. Черникова. Дал и добровольца, который дерется на линии огня, П. Н. Корявова, скромного и честного партийца. В московском отделении Архива ушел на фронт добровольцем Гетман. Таков наш гражданский и военный актив Архива.

1941.X.9. Сто десятый день... По радио выступал профессор-красноармеец К. Ф. Огородников. Он доктор физико-математических наук, 19 лет изучал в лабораториях вопросы строения звездного неба, наблюдая в телескоп за небесными светилами. Теперь он в рядах Красной Армии, куда пошел добровольцем, научился стрелять из винтовки, метать гранаты. Он сказал: «У меня много учеников, мно-

го друзей и знакомых. Я хочу, чтобы они знали, что их профессор и коллега — красноармеец Огородников будет стойко и храбро, как подобает советскому воину, сражаться с врагом».

Затем профессор обратился на английском языке к своим коллегам в дружественной Великобритании. Он передал привет сэру Спенсеру Джонсу, королевскому астроному, и профессору Смарту, с которым был связан многие годы совместными работами в области астрономии.

1941.X.10. Сто одиннадцатый день. Весь вечер работаю над историей Академии наук. Сейчас около 12 часов ночи. Третий раз приходит к нам студентка Нехорошева, сообщая о тревогах. Сажу в передней в пальто. Холодно. Начинаем прислушиваться. Изредка стреляют зенитки. Отложил карточки с выписками по истории Академии. Невольно прислушиваюсь к гулу орудий и беру листок для записи впечатлений за день.

1941.X.13. Сто четырнадцатый день... Мой дорогой дальний друг, нужны ли тебе все эти подробности, переживания, мысли современника страшных событий в мире, но человека, честно старающегося запечатлеть и свои и чужие переживания, отображения событий? Я, быть может, иногда повторяюсь, записываю лишнее, наоборот, опускаю более интересное. Ты пропустишь длинноты, простишь пропуски. Ты, читая эти строчки, сопереживаешь со мной всю мою глубокую тревогу за человека, человечность, гуманизм...»

Горькие дни переживал Г. А. Князев. Ему казалось, что в огне войны ненависть испепелила в людях всякую человечность, гуманностью стало лишь уничтожение немецких захватчиков. Человечность ушла из мира, сетовал он... Он еще не знал в те дни о Майданеке, Освенциме, Бухенвальде, о печах, где сжигали людей, газовых камерах, о душегубках, о тщательно разработанной технологии истребления народов, неугодных теоретикам национал-социализма. Война с Германией началась для нас как война с захватчиками, с оккупантами, с агрессорами. Постепенно открывались для все большего числа людей и другие стороны этой войны — уничтожение коричневой чумы, грозящей гибелью всему человечеству. Ненависть к фашизму и любовь к человеку не сразу, не просто сопрягались в наших душах.

Уничтожение фашизма и было любовью к ближнему, было гуманизмом, было всем тем, о чем тосковал старый историк-романтик. Но каждый приходил к этому своим путем. В этот день Ольга Берггольц написала:

Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь —
Кровью, пламенем, сталью, словом
Опрокинь врага, удержи!

А в Эрмитаже готовили помещение под торжественное заседание в честь 800-летия Низами.

«1941.X.16. Сто семнадцатый день. Опять тяжелые известия с вяземского и калининского направлений. Вражеские войска, по-видимому, окончательно и катастрофически для нас прорвали нашу линию сопротивления под Москвой... Тревожное чувство овладело всеми нами. Родина в смертельной опасности...»

1941.X.20. Сто двадцать первый день. В 6 часов утра заговорило радио. В Москве объявлено осадное положение. За всякое нарушение порядка, распространение провокационных слухов — расстрел на месте. На подступах к Москве — Малый Ярославец переходит из рук в руки. В 1812 году этот многострадальный город переходил от русских к французам и обратно более 10 раз!.. Положение на московском фронте, по-видимому, катастрофически ухудшилось.

1941.X.21. Сто двадцать второй день. Ухудшается продовольственное положение Ленинграда. За вторую декаду октября иждивенцы при хлебном пайке в 200 гр. получили 100 гр. мяса, 200 гр. крупы, 100 гр. рыбных продуктов, 50 гр. сахара, 100 гр. конфет, 100 гр. растительного масла; служащие и дети немногим больше; рабочие же в двойном размере, чем служащие. На деньги купить нечего и потому они не ценятся. Те, у кого есть много денег, не знают, куда их девать, и покупают или всякую дрянь (дорогие духи и проч.), или (те, которые попрacticalнее) скупают в магазинах остатки мануфактурных товаров для мены, когда деньги потеряют всякую цену. Из всех грядущих испытаний для ленинградцев едва ли не самое страшное — голод. Голод и бомбежка! Не хватало бы только еще холеры, или чумы, или просто голодного тифа. Надо приучить себя прямо смотреть в глаза событиям и как можно меньше думать о будущем. Когда придет это будущее, тогда и осмысливать его!.. Сегодня зашел к нам мастер на все руки Филимонов. «Трудно работать, — говорит он, — поослаб, питания не хватает. В академической столовке уже второй день вместо супа — ржаные макароны с водой».

1941.X.22. Сто двадцать третий день. Ночь, точнее утро, скоро рассвет... Мы, ленинградцы, сейчас, забывая свое горе, всеми помыслами обращены к Москве, к сердцу нашей советской родины. Как это могло случиться, что враг смял наши армии и просочился к самым жизненным центрам страны? Вот неотступный, мучительный вопрос. Враг, вооруженный современной, самой совершенной военной техникой и всеми достижениями науки, обратил все это на разрушение, на уничтожение в своих грабительских планах завоевателя, насильника. Он уничтожает все культурные ценности на своем пути, как дикий варвар, какой-нибудь вандал, гунн, но только во сто крат страшнее. У тех не было ни науки, ни техники. Те были просто двуногие хищники. Немецкие захватчики — двуногие культурные звери!..

Гитлер сейчас стянул под Москвой все силы свои и бросил в бой резервы. Можно ли спать спокойно в такие ночи, когда идет кровопролитнейшая в мировой истории битва за Москву, за целостность и самое существование нашей родины!

Говорят, что Гитлер в своей речи угрожал стереть Москву с лица земли как источник красной заразы. Это было четыре месяца тому назад и было чудовищно хвастливо, нелепо... И вот в эти хмурые октябрьские дни его армия под Москвой!

1941.X.21. Сто двадцать второй день... Оказывается, что бомба, брошенная на днях стервятниками между 5 и 6 часами вечера и попавшая в Мойку, была исключительной мощности. Она несомненно предназначалась для здания Главного штаба. Она упала недалеко от дома, где находилась последняя квартира Пушкина...

1941.X.23. Сто двадцать четвертый день. Пасмурный день. Дождь. И люди радуются, как не радовались солнцу, теплу: «День нелетный, бомбить не будут».

На службе у меня в Архиве голод несколько дезорганизовал работу. Особенно сдала И. Л., она, правда, совсем больна. Сидит в 12-й комнате, около уборной, где поставлена плитка, и курит, курит без конца. И кашляет.

Принимаем все меры к отоплению Архива на зиму. Но отапливаться будет всего одна комната... Сегодня еле высидел в 2-градусной температуре.

И без того нервнoбольная мать Е. Т. не выдержала всех испытаний переживаемого нами времени и в припадках болезненной подозрительности собирает задушить свою дочь. Е. Т. принуждена ночевать на службе или у знакомых.

Ехал утром вдоль свежевскопанной грядки для будущих цветов и опять умилялся... Живые живут живой жизнью!

Планировал с Андреевым заседание, посвященное памяти Беринга, на декабрь...»

Кончилось детство

Читая записи Юры Рябинкина за те же дни, словно попадаешь в другой мир. Впрочем, почему же «словно», это и в самом деле был иной мир — мир юности. Трагические события не могли загасить плещущего через край жизнелюбия, веры, веселья молодости. Карты так карты, игры, розыгрыши, насмешки, мечты, страхи — все соединилось, клочкотало, кидало из стороны в сторону этих ребят, еще лишь выходящих из детства в юность.

Но уже можно различить черты характера, судьба уже, как говорило когда-то, стучится в дверь. Ах, как просто и легко залечиваются в этом возрасте раны, как бесследно тают недавние страхи перед медосмотром в спецучилище. И все это время Юра продолжает требовательно и строго наблюдать за собой, судить себя. Пожалуй, именно эта черта, именно это качество сближает Г. А. Князева и Юру Рябинкина.

Семья Юры была потомственно интеллигентной, во всяком случае со стороны матери Антонины Михайловны, урожденной Панкиной. Ее отец, дед Юры, окончил до революции Артиллерийское училище, был офицером, после 1917 года служил в Красной Армии, был помощником начальника артиллерийской базы Северо-Запада. Мать окончила гимназию, она хорошо знала французский, немецкий, польский, в доме была богатая библиотека — русская и иностранная. Обо всем этом нам стало известно позже. В остатках семейного архива сохранились фотографии деда и прадеда, также военного, великолепные рисунки деда...

«1941 г. 3 октября. Чрезвычайно волнующий для меня день. В школе я был с 8 утра до 7 вечера — играл в очко. Проиграл 10 копеек. Но это еще ничего. Пообедал — жареный поросенок с чечевицей и студень. Пришел обратно в учительскую — сел играть в очко. Я, Бронь, Финкельштейн, Лопатин и еще какой-то парень из другой смены. Сперва играли нормально — я оставался при своих. Но затем настала очередь банковать мне. Я поставил в банк рубль. Но так передо мной ставили все. Банкую. И, как назло, все маринуют. Мне везет, банк увеличивается... 2 рубля, 4 рубля... 8 рублей... 16 рублей!.. Стучу. Идет второй круг! 32 рубля!!! Игроками овладевает азарт, все с жадностью смотрят на карты... 64 рубля!!! Ребята делают складчину и опять маринуют. Их девятка — мой туз!!! В банке 128 рублей!!! Азарт невероятный... И вот... Ребята опять маринуют... Маринует Бронь взакрывает. Я открываю свою карту — дама... Бронь осторожно свою — дама!!! Я забираю банк — целых 254 рубля!!!

Я не знаю, что со мной сделалось. Сидел как дурак. Какой выигрыш! Каково?! Стал опять играть... Играю... играю — и вот опять срываю подряд несколько банков — итого у меня около 400 рублей (наличными — 73). Меня взяла огромная тоска... Что мне с этими деньгами делать? Взял и отдал ребятам обратно. Но Лопатина уже тогда не было. Бронь что-то проворчал в ответ. И так, у меня сейчас около 40 рублей на руках, 130 должен Бронь, 100 — Финкельштейн и по 40 р. должны Лопатин и еще какой-то парень. От них всех я, разумеется, денег брать не буду... Какое сильное волнение! Когда банк в первый раз доходил до (...), то я просто хотел сказать: «Ребята, я больше не буду, не играйте...» Это все выходило как-то по-детски — неуклюже. Никто не заметил. И странно, при выигрыше почувствовал не радость, а какое-то немоющее удивление, как-то окаменел и затем долгое время, минута от минуты, нервно хохотал. Да, правду говорит пословица: «Богатство не всегда счастье приво-

сит». Так и тут. Деньги спрятал дома в железную коробку из-под конфет, которая лежит в картонном ящике в этажерке. Да что же это такое со мной делается? Я не сойду ли с ума?

4 октября. Все еще не могу очухаться от выигрыша. Собственно говоря, не от самого выигрыша, а от сознания выигрыша. Денег с ребят брать, ясно, не стал.

Мама должна уехать 5-го на субботник с Ирой.

Все это я пишу 5-го утром. Теперь расскажу происшествия за сегодняшнюю ночь. За ночь было около 8 тревог. Тревоги крайне жуткие. Несколько раз бомба так сильно свистела, что я думал, что она упадет в школу. Ровно в 1 час ночи я сменил Финкельштейна на вышке. Было «бестревожно»! Первые полчаса прошли спокойно. Затем неожиданно тишину прорезал какой-то свист, потом еще... еще... Вспышка, грохот — вспышка, грохот. Я вскочил со стола, на котором сидел, и боязливо выглянул из вышки в окно. С десяток зажигательных бомб коптились на школьном дворе и на соседних домах. Я дал сразу же три звонка — на третьем посту (...). Потом оказалось, что я немного ошибся — бомба упала рядом со стеной школы, где третий пост, на двор. Ну, их всех, разумеется, быстро потушили. Затем немцы сбросили еще несколько фугасных бомб, а уже затем воздух прорезал жалобный вой сирены. На моем посту было спокойно. Но тревоги, начиная с той, были особенные. Совершенно молчат зенитки. И только слышно отдаленное жужжание самолетов, которое то нарастает, то убывает, и порой гулкий свист — затем визг и удар взрыва. Меня слишком взволновала эта ночь. Я всю ее не спал. Да, вот какие настали над Ленинградом ночи. Давид говорил, что он тоже где-то слышал, что Псков и Старая Русса взяты Куликом...

5 и 6 октября. Дни прошли в волнениях от бесконечных тревог. Сегодня, вернее сейчас — 9 часов вечера 6 октября. Тревога. Я, Анфиса Николаевна (жена вселенного к ним И.—А. А., Д. Г.) дома. Мама с Ирой ушли вниз. Получили письмо от Тины. Жива-здоровая была на 2 октября. Пишет, что их бомбят. Намеками, конечно. Беспokoится о нас. В школе начались занятия 10-х классов. Я попросил Нину Николаевну дать мне какое-нибудь задание по математике. Она дала. Никитин уже принят и оформлен в спецколле...

8 октября. Был на медосмотре. Я, оказывается, правильно сделал. Медосмотр я не прошел из-за глаз. У меня левый глаз 20%, а правый — 40%. Ничего себе! Мама настаивает на немедленном лечении. Наверное, придется носить очки. Володька Никитин пошел на медосмотр после меня. Ну, его, наверное, примут. Но самое главное — я прошел хирурга, ушного. На фронтах положение для меня туманное. Сегодня во сне увидел Володьку Шмайлова. Эх, где-то он сейчас?

Мать мне запретила читать. Чтобы не портил глаз.

Пишу все это сегодня, 9/Х. Если бы я писал это вчера, то написал бы на 2—3 страницы, а сейчас не могу. Надо идти на дежурство.

9 октября. Сегодня дежурство было наилучшее по сравнению с остальными. Слишком весело было. До обеда еще ничего, а после обеда так и пошло... Началось с того, что нам Нина Николаевна запретила играть на деньги. Начали играть в балду. Остался им Алька. Ему назначили наказание — подойти на улице к первому встречному и сказать ему в лицо: «Я — балда». Вот хохота-то было. Потом стали играть в фанты. Лопатин полз этаж на четвереньках по винтовой лестнице, Финкельштейн катал на себе Броня, а я должен был, во-первых, поймать кошку и пустить ее в учительскую дежурку, а во-вторых, поцеловаться с Элой. Первое я сделал, от второго отказался. О чем теперь жалею, за отказ мне вылили на шею (попало на верхнюю рубашку) воды. В общем, все развеселились. Под конец поймали кота, нацепили на него бумажку: «Ужин или смерть коту»,

отпустили его. Кот помчался в столовую. Что из этого вышло — не знаю. Под конец слушали по радио концерт из произведений русских композиторов.

Сейчас половина восьмого. Объявили тревогу. Небо почти безоблачно. На фронтах положение такое: по официальной сводке, взят Орел и немцы наступают на Вязьму и еще на какие-то города. По слухам, немцев отогнали от Ленинграда не меньше чем на 60 километров. По всей вероятности, 7, 8, 9 классы начнут заниматься с 25/X.

Сейчас тревога.

11 и 12 октября. Ничего особенного не произошло.

Мама и Ира внизу, а я дома. Половина восьмого.

У нас в школе идет такое мнение: немцы решили закончить войну до зимы и развили грандиознейшее наступление на Москву. По словам Финкельштейна, Никитин не прошел мандатной комиссии. Ну да, впрочем, у него такой отец, что он все равно в спецшколе будет.

Почему-то очень часто вспоминаю Володьку и Мишу. Эх, друзья, друзья! Всего себя проклял, что так распростился с Володькой. Вернуть бы это время! Золотое время!

Игорь (брат Анфисы Николаевны.— А. А., Д. Г.) обещал принести нам одну продовольственную карточку 1 категории. Не знаю, выйдет ли это дело.

Скорее бы занятия. Скука.

Сегодня играл в очко в школе. Финкельштейн остался мне должен 121 рубль (я от него денег все равно не возьму). Ребята теперь говорят, что мне отчаянно везет в карты. Везет в карты — не везет в любви. Так ли на деле будет? Лучше бы было наоборот.

Когда я срываю банк или удачно пробанкую, сорву крупную сумму, то на моем лице появляется неизменно какая-то ехидная улыбка, я с ней теперь все время борюсь, а она нет-нет да и промелькнет. Вот скверная у меня черта.

13 октября. День прошел спокойно. Зато ночь дала себя знать. Вечером от мамы я узнал очень интересную вещь. Она видела (...), которая теперь работает в госпитале. Предлагают мне поступить в этот госпиталь. Моя обязанность эскортировать больных с госпиталю в госпиталь. Ответственность за их доставку несу я один. За потерю кого-либо иду под суд. Разъезжаю по ночам, преимущественно на машине. Мне кладут зарплату — 20 рублей в месяц и рабочую карточку. Быть может, обед. День работать, день отдыхать. Я согласен. Нужда...

Видел Володьку Никитина. Он поступил в спецшколу. 15-го идет на занятия.

Ночь была, по моему «первичному» мнению, довольно благодатная. Тучки на небе, кое-какой туман — какой самолет полетит на бомбежку? Но... без пяти 7 уже объявили тревогу.

На 2 и 1 постах я, Давид, Борис (...) и еще две какие-то женщины. Я и Давид сидели на ступеньках. О эти тревожные бесконечные ночи: навсегда останутся они у меня в памяти. Полусвет, передо мной «летучая мышь» в ведре, лестница и сбоку окно... гулко бьют зенитки, ухо настроенно ловит каждый звук, тревожно бьется сердце при сильном свисте бомбы, и чуткостораживаешься, слыша завывание германского самолета. Окно все время озаряют вспышки, порой лестница и весь дом содрогаются и дрожат от близкого падения фугасной бомбы. И это каждую ночь... Хочется спать, есть, забыться, но снова что-то свистит под ухом, инстинктивно прижимаешься к стене, втягиваешь голову в плечи... и свист замирает. Затем вспышка озаряет окно, лестница вздрагивает, и только после этого приходит отдаленный гул взрыва.

Эту ночь было более-менее спокойно, и я с Давидом вышел на

крышу. Только огляделись по сторонам, по небу прожекторы, и совершенно внезапно яростно зашипела бомба нарастающим звуком. В одно мгновение я и Давид были на чердаке, не ощущая ушибов от падения. Решив, что на чердаке оставаться опасно, мы сошли в лестничную клетку, и в это самое время раздался короткий свист и затем взрывы над нашими головами. Стало светлее, чем днем. Давид вперед меня сообразил, что это такое, и, схватив лопату, бросился тушить бомбу. Я тоже. Началась безумная горячка. Мы работали в густом едком дыму, который лез в глотку, щипал ее, залезал в самые легкие, по лицам шел пот, а мы все возились с бомбами. Я пробежал на 1-й пост. Там стояла какая-то женщина и кричала в испуге: «Бомба! Тушите!» Она схватывала горстями песок и бросала в горевшие кусочки термита. Я схватил лопату и в полминуты забросал все горевшее песком. Яркий свет сменился глубоким мраком. Кое-как выбравшись с чердака, ведя за руку женщину, я побежал на 2-й пост. Там уже все бомбы были потушены. Я выглянул на крышу — по ней сновало человек десять. Хотелось подышать свежим воздухом, очнуться, прийти в себя. Скоро тревога кончилась. Затем, затем ничего нового не произошло. Была еще одна тревога, но безобидная для нас. После этого я и Финкельштейн завалились спать и проспали до утра. Разбудило радио, сообщая нам скверную новость: Вязьма пала. Наступление немцев продолжается.

Я узнал впоследствии, что на нашу школу упало 23 бомбы. (Я потушил две и помог затушить третью.)

14 октября. Сегодня дома безобразная сцена. Ира закатила истерику, что я вот ел в столовой греста, а она даже тарелки супа не съела в столовой. Мама ей говорит, чтобы она успокоилась. Мне в то же время говорит, что Ире давали борщ в столовой и фасоль со шпиком, а Ира говорила, что ее от них тошнит, и не стала есть. А съела оставшиеся полплитки шоколада и только. Сама не ест и на меня злится! «Я,— говорит,— голодная хожу!» А кто ей мешает пообедать? Мне уже мама начинает говорить, что надо привыкнуть к мысли, что если накормят человека днем тарелкой супа, то и будь доволен. А если мне к этой мысли не привыкнуть?.. Я не ем даже половины, четверти того, что нужно, чтобы себя насытить... Эх война, война...

Сейчас хмурая пасмурная погода. Морозит, идет снежок.

15 и 16 октября. Ничего особого не происходило. Сегодня не ходил с Давидом в школу, а сходил с ним в театр на «Опасный поворот». Чрезвычайно хорошая вещь. Замечательное обрамление, превосходная в целом вещь, но, к сожалению, похожа на какой-то громадный водевиль. Мне эта вещь до того понравилась, что я поставил ее рядом с «Идеальным мужем».

Сегодня вечером во время ночной тревоги потушил одну бомбу на дворе, спас от пожара дрова, а равно и дом.

На фронтах положение прескверное. По последним данным: Мариуполь взят, образовалось калининское направление и в настоящее время еще прорван фронт западного направления!!! Я сейчас как посмотрю на будущее, у меня волосы дыбом становятся: применение ОВ, зима, немецкий гнет; этого уж нельзя. Или: фронт, смерть, бомба, смерть — калека (...), но кое-как перебиваюсь.

17 октября. Совершил ужасное преступление: потерял ключ от квартиры. Что-то мне мама вечером скажет, когда придет. Был в поликлинике глазной, врач принимает с 9 утра до часа ежедневно, кроме пятниц. В пятницы прием производится с 2-х часов дня. Был в фотографии, снялся на паспорт. Наверное, безобразно вышел из-за волос, которые расползлись по всему лбу.

Вчера произошла безобразная сцена у наших жильцов. И., возвратясь, заподозрил жену в курении (курить, у кого туберкулез,— медленная верная смерть). Он начал ругаться во весь голос, нисколь-

ко не церемонясь, что его слышат. Она ему как будто возражала, а он кричал быстро-быстро: «Нет, нет, нет! Врешь! Врешь! Врешь!» Затем, когда была тревога, он собрался идти в бомбоубежище и стал тянуть ее с собой. Она не захотела идти. Тогда он выхватил у нее из рук сумку с ключом от комнаты и пошел вон. Она его догнала, вцепилась в сумку, произошла короткая борьба. И это на виду у нас! После еще были подобные сцены. Я только обо всем этом не писал здесь. Она у него вторая жена, с первой он разошелся. Но я не зави-дую ее жизни. Хотя и питается сытно. Я всей своей едой скупой по-жертвовал бы, только бы не оскорбляться так.

На фронтах положение прескверное. Западный фронт прорван, немецкие ударные группы ползут к Москве, захватывая в кольцо наши силы. Немецкая авиация бомбит Ленинград ежедневно. Ночью. То же самое, наверное, и с Москвой, Харьковом и т. д. По всему Уралу затемнение, идут слухи, что Уфу бомбили.

Сегодня осведомился у Игоря насчет положения на фронте. Он говорит, что над Москвой нависла опасность. Ленинград полностью отрезан от СССР, на Ленинградском фронте еще ничего, держатся. В Ленинграде кончаются запасы продовольствия, скоро, пожалуй, пойдут голодные смерти, эпидемии и т. п. С тоской вспоминаешь, что не эвакуировались. Я боюсь сейчас даже вперед заглядывать — живешь одним днем.

Завтра в школе откажусь от ночных дежурств из-за неимения теплой обуви. Сейчас простудиться совсем не время.

От голода так и скребет в животе и слюна течет. А ведь я сегодня все-таки пообедал в трестовской столовой. Сказывается отсутствие хлеба в первую очередь. Сегодня мама покупала пряники, так они сделаны из овса да немножко сахара. Хорошо, что такие. Жить по такой норме я согласился бы на время, хотя бы года на три, но чтобы не уменьшать норм, а ведь это обязательно будет...»

Осенью снабжение Ленинграда, как известно, шло по Ладожско-му озеру. Но, оказывается, в эти дни уже думали загодя о зимней дороге, о том, что будет, когда озеро замерзнет. Евгений Петрович Чуров, который тогда служил офицером-гидрографом, рассказывал:

«В сентябре командование Балтийского флота доложило Военному совету план мероприятий по организации ледово-дорожной службы на зимний период 1941/42 года, и те трассы, которые мы разведали, в дальнейшем были примерно намечены.

Докладывал там флагманский штурман Балтийского флота, великолепный специалист Юрий Петрович Ковель. О нем мало пишут, собственно, не писали даже, он человек скромный. Закончил он службу вице-адмиралом, начальником Оперативного управления Главного штаба. Я считаю его личность большой вехой в моей жизни, потому что это человек гигантского оперативного мышления. В сорок втором году — еще Сталинградская битва только разгоралась — Юрий Петрович мне объяснял, как пойдет война. И вы знаете, он не видел ведь планов Генерального штаба, но показал на карте, что примерно под Сталинградом задержим противника (Ю. П. окончил академию, был он молодой сравнительно).

Потом он показал, что разгром немцев и под Сталинградом будет производиться с помощью окружений. Вот это очень важно. Ведь чтобы показать состоятельность тактики и стратегии окружения, для этого надо было глубоко представлять военную обстановку. И вот что еще показал Юрий Петрович — что блокаду можно будет прорвать не раньше сорок четвертого года...

Так вот, Юрий Петрович мне сказал: есть план мероприятий по организации ледовых трасс и дорог на Ладожском озере и в Финском заливе (так назывался этот оперативный документ).

Было принято решение: с появлением льда организовать всюду наблюдение за ледовой обстановкой. Мы начали патрульное наблюдение за ростом льда в Шлиссельбургской губе и в бухте Морье. Мы вылетали на самолетах, осматривали южную часть озера.

Кой-какая практика была: на севере нашей страны, в Белом море, войска уже проводили по льду. В проводке войск по льду там участвовал знаменитый наш ученый — академик Василий Владимирович Шулейкин. Ему принадлежит первая разработка теории проходимости машин, техники по льду морскому, соленому. Он разработал впервые в мире таблицы для расчета нагрузок на квадратный сантиметр светлой поверхности льда, в зависимости от температуры воздуха, что очень важно, и от изменения силы и скорости ветра, наличия снежного покрова и отсутствия его... В училище нам читали специальный курс дорожного обеспечения, и таблицы Шулейкина и его формулы нам были знакомы».

А у Юры Рябинкина свои испытания, заботы:

«18 и 19 октября. Мама брала на эти два дня выходные. Хотела ехать за картошкой, но дело обернулось само собой. В столовую привезли капусту, целый грузовик. И вот все жильцы нашего дома накинулись на нее. Кто сколько может. Хабидугай взял себе около 40 кочанов, а мы около 10, так как таскала капусту одна Ира. На следующий день мы до отказа наелись капустой. Ночь прошла спокойно».

Положение на фронте прескверное...

Говорят, что учиться начнем 25/Х. Не думаю, однако, чтобы так было. Да, в прошлой сводке было сообщено, что мы эвакуировали в течение 8-ми дней г. Одессу.

Сейчас заглянул вперед. Если наступление немцев будет отбито, то все в порядке. Война нами выиграна. Если же наступление будет лишь остановлено, то длительный голод для нас. Если же немцы возьмут Москву, то для нас — смерть.

20 октября. Утром скучал, ходил в поисках кваса, замерз и возвратился домой. Дома мороз. Был в пальто. Брал обед в столовке треста: щи да свекла. Поел, посидел, пошел к маме. Там взял из фонда Вольтера и Дюма «Графиня Монсоро» и «Сорок пять» — ее окончание. Пообедал в столовке там. Поел супа-овсянки. Затем пошел домой. Пришел — тревога. Почитал Вольтера. Да, перед этим заходил Игорь. Он сказал, что занесет карточку вечером, ну да не верю больше этому. В магазинах на III декаду все еще не дают. Вечером произошла весьма выдающаяся вещь. Я, как написал выше, принес из фонда Дюма. Принес себе, так как читать мне нечего. И вот входит в комнату, как полновластная хозяйка, Анфиса Николаевна, говорит: «Я, Нина Михайловна, брала у вас Золя, вот вам обратно» (книгу эту дал ей я — но это еще ничего). Подходит она к столику, берет Дюма и говорит: «Нина Михайловна, я у вас возьму Дюма, мне читать нечего». А мама так и рассыпалась в похвалах этой книге, так ее и хвалит. Только возьмите. Меня взбесило. Я стал возражать (с улыбкой на лице! — до чего приходится унижаться), что эту книгу я хочу читать сам, но мама стала кричать на меня, что я могу читать Вольтера и т. д. Я ничего не мог сделать. Анфиса Николаевна забрала книгу и ушла. Я сейчас более-менее неплохо понимаю политику этой Анфисы Николаевны. Белыми нитками она шита. Она, во-первых, желает видеть, что мы превратимся перед нею в услужливых, мягко выражаясь, людей, и приучает нас к этому. Во-вторых, она, видя, как мы нуждаемся в хлебе, сахаре и т. п., в то время как сама она ест сытно, ничего не желает «дать» — ну, предположим, она очень и очень эгоистична, а, впрочем, может, она права. С тех пор как мама взяла у нее стакан драже, пообещав отдать и не отдала, она категорически про себя решила не давать нам ни кусочка. И мне теперь становится стыдно, когда я вижу, как мама пьет воду, а А. Н. стоит рядом и рассказывает о театре, в то время как мама говорит: «Ну вот, дожили до ручки. Да все как-нибудь перебьемся».

Быть может, во мне говорит моя гордость, но я не могу без какой-то злости смотреть на это. И что хуже — я сам иногда так делаю».

Эта Анфиса Николаевна похожа на толстенькую, сытенькую кошечку, которая разлеглась на диване и как будто говорит: «Ну-ка пощекочите меня». Она обо всем включительно передает своему мужу (исключая, ясно, себя), а тот (ночная кукушка всех перекукует) делает, как она хочет, сам того не замечая. Сейчас произошел еще один интересный номер: Игорь обещал нам карточку 1 категории и говорил мне, что занесет ее сегодня вечером, а она пришла к маме и прямо ей в лицо говорит: «Игорь карточки вам дать не может, так как она (...) отобрана». Как пить дать старается для себя. Она не привыкла за услугу платить услугой, а привыкла принимать от других услуги, ничего, кроме лестных слов, обратно не преподнося. Мама, я просто не знаю, что это такое, отдала ей большой кочан капусты, а (...), которая относится к нам действительно по-товарищески, дала маленький...»

Черта!

Сам еще не сознавая того, не понимая, Юра Рябинкин и его близкие подходят к черте, к которой блокада, голод придвигают, прижимают многих. Одни удержались, не переступили. Другие удержаться не смогли, не сумели. Но и те, что удержались, устояли перед невыносимыми испытаниями и черту не переступили, и те тоже не оставались прежними. Со стороны это, во всяком случае, замечалось, даже если человек сам этого не сознавал. Изменились невообразимо обстоятельства. Менялась мера многих вещей, понятий, поступков. Если учительница, у которой от голода умер муж, говорит возбужденно-радостно коллегам: «Знаете, какое счастье, морг в двух шагах!» — значит, в мире что-то перевернулось (из дневника К. В. Ползиковой-Рубец). И хотя Ксения Владимировна Ползикова-Рубец записывает этот случай с явным осуждением (то есть не принимает этой новой меры), но ведь надо понимать, что и та женщина та к о г о и так не говорила бы до или после блокады. Изменились не любовь, не горе, изменились возможности человека. И то, что можно по-человечески похоронить, довести до морга, уже хорошо.

Юре Рябинкину все предстоит открыть впервые: и хорошее и плохое и в себе и в людях. Он придирается к соседке Анфисе Николаевне только за то, что она питается лучше его, порой ему удается себя одернуть, и тогда он видит в ней и доброе и человеческое. Г. А. Князев знает жизнь. Он угадывает, даже предвидит черту, за которой ты уже не ты, во всяком случае не вполне волен в своем поведении, в своих поступках. Князев верит в человека, в собственные внутренние силы, он любит жизнь, но на всякий случай приметил крюк на потолке. И даже (не бы бы то интеллигент-книжник!) справился в энциклопедии, к а к э т о б ы в а е т. «Изучил вопрос», прикинул и на этом успокоился: нет, он себе не позволит зайти за черту. Уж лучше сразу, вот так! Может быть, и есть люди, которым предел не поставлен, которые уверены, что голод, даже съев мозг, не лишит их воли и образа человеческого. Но для Князева мыслить — это значит остаться самим собой. Он не паникер. А это в тех условиях очень многого стоило. Известны случаи, когда люди перед боем стрелялись. Насмерть. Из страха перед завтрашней смертью убивали себя сегодня. Или же из страха перед страхом смерти?..

Паника перед голодом, голодным безумием и мучительным умиранием часто губила прежде самой смерти. Поддавались панике и сильные, ясные умом и сердцем люди. Но они раньше спохватывались. Фаина Александровна Прусова записала в дневнике:

«По совету одной старушки сварила обои... Но стало так противно — тут же выбросила, только воду испортила. Сварила и ремень (дворник посоветовал) — тоже мутная, грязная вода. Вылила сразу же... И вот здесь мы дали все друг другу слово — не психовать, не есть всякую дрянь, и будь что будет!»

То, что Князев угадывает, предвидит и к чему готовит себя спокойно, с достоинством (бороться до конца, а если неостанет сил — уйти самому), то на шестнадцатилетнего Юру Рябинкина обрушивается неожиданно и непонятно. Ему предстоит все познать впервые: смерть, голод, человека, себя. Здесь будет больше всего неожиданностей и жестоких открытий...

Да, Князев еще далек, дальше многих от черты. Того, что в нем есть, что накопил за свою жизнь, взял из книг, выработал в себе, хватает и хватит на многое. Та самая неоднократно атакованная интеллигентность, в других условиях казавшаяся слабостью и даже пережитком, именно в условиях блокады обнаружила и нужность, и силу, и незаменимость свою.

«Интеллигентщина!— восклицает Георгий Алексеевич, споря с другими, но и с собой также: ведь было время, когда и сам он допускал мысль о какой-то правоте тех, кто ругался словом «интеллигент».— Да, да, чем мы были, тем и останемся... У нас есть еще стыд, совесть. Эти старые, «смешные» интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября... Я все силы напруг к тому, чтобы сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть покуда слово, бодрое и доброе слово. Оно не заменит хлеба... Но как противно, когда другие, не имея хлеба, швыряются камнями...»

«1941.Х.26. Сто двадцать седьмой день... Когда я поднимался по лестнице домой, перегонявший меня А. обратился ко мне: «Ну, какое ваше мнение, великий оптимист, о Москве: победим или оставим ее?» Я ответил приблизительно так: «Положение, как видно, очень серьезное. Решающая битва происходит под Москвой, куда стянуты все силы противника и наши... Но что бы ни случилось, я твердо уверен в том, что Германия нас не победит. На нашей стороне — человеческие ресурсы и неисчерпаемые материальные ресурсы США и Англии, борющихся с гитлеровской Германией, борьба идет смертельная, компромиссного мира быть не может. И Германия в конце концов будет побеждена... Это является для меня стимулом моей бодрости и оптимизма».

А. заулыбался и ничего не ответил.

По радио прозвучал «Интернационал». Кончился день, 12-й час. Сегодня будем спать не раздеваясь.

Это на малом радиусе... А что делается в Москве? Сердце обливается кровью о тех испытаниях, которые выпали на долю москвичей... Идет решающая битва, и москвичи — ее непосредственные участники. Ужас охватывает от этой мысли... Неужели самое жестокое испытание грозит родине?!

О будущем лучше не думать... Будущего у нас нет... Но у родины будущее есть!

...Может быть, потому что я директор и сам держусь строго и не вступаю в разговоры по вопросам войны и переживаемых трудностей, я вот несколько дней ни с кем не вел беседы о переживаемых событиях. Сотрудники затаились. Ни С., ни И. Л., ни другие о событиях ни слова...

Большим усилием, но я добился того, что сотрудники снова наладили свою работу. Теперь все сидим в одной комнате — в читальном зале, где поставлена печка. Ее топим всяким хламом, в том числе и макулатурой. Относительно тепло, около 8-ми градусов! Работать можно!

1941.Х.29. Сто тридцатый день... Вечером две тревоги.

Становится все тяжелее в продовольственном отношении. Се-

годня обед был весьма скудный. Но об этом скучно писать. Покуда только нехватки, но еще не голод, терпеть можно. Нужно.

1941.X.31. Сто тридцать второй день... И так жуть берет, а газеты агитируют, пугают, цитируют высказывания Гитлера: «Уничтожить 20 миллионов человек, начиная с этого времени, это будет одна из основных задач германской политики, задач, рассчитанных на длительный срок. Мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы... Естественный инстинкт приказывает всякому живому существу не только добить своего врага, но и уничтожить его. В прошлое время за победителями признавали полное право истреблять племена и целые народы... Перед нами встает задача уменьшить чужое население, как и обязанность содействовать росту численности германского населения. Нужно разработать технику сокращения чужого населения»... И к этому на нескольких столбцах газеты комментарии. Даже человека с канатными нервами начнет пробирать холодная дрожь, когда он прочтет все это. Была ли в мире более мрачная эпоха, с тех пор как появилась цивилизация? Пожалуй что нет. Жестокость была, но от дикости. Теперь изощренная жестокость от ума, от извращенно направленной техники, науки на разрушение.

1941.XI.1. Сто тридцать третий день. Конец пути домой пришлось проехать под артиллерийским обстрелом. Сзади меня шел по набережной академик Крачковский с женой, спокойно, своим обычным шагом. М. Ф. встретила меня радостно, с облегченным сердцем: «Ну вот, доехал, а я волноваться стала». Дома выстрелов не слышно было, только, по обыкновению, вздрагивал дом.

Вечером было две воздушные тревоги. И сейчас стоит в ушах эта гнетущая музыка завывающей сирены.

Обедали очень скудно. На этот раз, как нарочно, очень хотелось есть.

Вечером во время тревоги и в перерывах читал «Отечественные записки» начала XIX в. Все пополняю свою шестую главу истории Академии наук.

С трудом справлялся с внутренней тревогой о полной бесперспективности в будущем. К тому же охрана Архива меня очень беспокоит. Сегодня обходил все хранилище, сделал целый ряд указаний. Сотрудники понемногу сдают. С. смотрит, и без того угрюмый, болезненно-раздражительно на все. Я даже спросил, здоров ли он. У А. О. остановившиеся стеклянные глаза. Ш. углубленно-молчалива. Л. начала снова работать, но смотрит глазами «себе на уме». Что она думает, гаит в себе, как переживает события — никогда не высказывается. И мне вдруг стало скучно, одиноко в этой комнате что-то таящих в себе людей.

1941.XI.7. Сто тридцать девятый день войны. Весь день по радио передают речи, музыку.

Слушал еще одну передачу из Москвы, речь, сказанную сегодня Сталиным во время парада на Красной площади. Оказывается, традиция не была нарушена и в 9 часов утра начался парад, правда особенный. Через Красную площадь проходили войска отправляющиеся на линию огня и возвращающиеся оттуда, смененные для отдыха, прямо из боя.

Долго молчал Сталин, и вдруг сразу два выступления. Чувствуется какой-то перелом в военной обстановке. Немцы бросают все свои силы, все свои резервы, но мы больше не отступаем. Некуда! Или умереть, или отстоять Москву и Ленинград. Третьего решения нет.

...Страшное известие промелькнуло в газетах. Кнут Гамсун, замечательный норвежский писатель, пришел к заключению о невозможности для Норвегии быть независимой страной и склонился на сторону квислинговцев, то есть к полному сотрудничеству с национал-социалистами.

...В передовой «Ленинградской правды» говорится: «Мы принесли в жертву многое... Но жертвы самой большой — Москвы — мы никогда не принесем».

...Война потребует еще много жертв и времени. Сталин говорит, не надо только преувеличивать силы врага и трудности для победы, как это делают некоторые перепуганные интеллигентики.

Впереди война, только война до полного истощения противника. Ничего другого, кроме войны.

Стреляют!»

У таких людей, как Князев, свои пределы, свои тупики в условиях голода и смертельной усталости физической и душевной. Но у них есть и огромный запас человеческой прочности: гуманистическое предполье, которое образуется настоящей культурой, истинной интеллигентностью. И в душу Князева могут вползти, ворваться слабость, эгоизм, отчаянье, но, прежде чем ворвутся, должны еще пройти, преодолеть то самое предполье, которого, конечно же, недоставало мальчику Юре Рябинкину. Юре бороться с самим собой, с человеческими слабостями будет намного мучительнее. То, что Князев замечает и оценивает сразу, издали, Юра Рябинкин обнаружит в себе лишь после поступка: уже сделает и лишь потом поймет, оценит, будет мучиться...

Блокадные дневники Г. А. Князева — огромная духовная работа. Она врачует, дает заряд сил и надежд. Работой этой он непрестанно укрепляет и расширяет то самое предполье, которое отодвигает голод, холод, отчаянье.

Дневники его также работа историка. Это и немного литературное занятие, хотя и с надеждами самыми скромными, несмелыми. Истинный ученый, Князев своего писательства несколько стыдился как утаенной слабости. Побаивался незащищенности, с какой писатель в отличие от ученого является на глаза публики, вынося на люди тайное тайных. Князев шлифует до samozабвения свои стихи-формулы (лаконичные формулы мыслей и переживаний), охотно обрабатывает для себя понравившиеся чужие строки и даже чужие произведения («...как это сделал бы я!»), отыскивая «свое» у других, и все это (и стихи и дневники) заранее предназначает «в архив». Нужно при этом иметь в виду его, архивиста, взгляд на архив: для Князева это столь же желанное место, как для других печать, публикация. Совсем не кладбище, а, наоборот, то место, где живут самые уважаемые им писатели, ученые — их рука, их строки, их рукописи...

«Я уже записал в свое время небольшое стихотворение, как в фокусе отражающее мои переживания, мои настроения. Вот теперь оно в окончательной редакции. То, что требует многих десятков страниц, выражается несколькими строчками в немногих словах:

В эти дни
молчание, мой друг, молчание!
Слова излишни.
За свои страдания
и слезы ближних
отмщение придет.
Стук сердца — вот слова
и эхо — пулемет!

С большой тревогой слежу за событиями, жадно ищу ниточек, чтобы, ухватившись за них, понять, усвоить ход событий. Все переживаю в двух планах, в гражданском и личном. Поэтому так много противоречий, неувязок, трудностей в понимании происходящего и ближайшего будущего, грядущего... Пути и перекрестки сбились. Поэтому я очень утомлен. Начитался газет: это отображение пере-

живаемого в одном плане; наслушался всего: это в другом плане. И вот, сев за свои записки, растерялся: что же мне записывать? Довести до конца мысли «первого плана», значит, геройствовать; заняться изложением мыслей «второго плана», значит, ныть...

1941.XI.12. Сто сорок четвертый день. Вот он не только постучался, но и вошел костлявыми шагами — голод.

Продовольственное положение Ленинграда плохо. Об этом объявили по радио и в газетах. «Большевики не скрывают правду от народа». Положение тяжелое. Пока не будет прорвана блокада, положение не улучшится. С завтрашнего дня сокращается норма выдачи хлеба не только для населения, но и для военных. Вопросы, который поднимается малодушными о сдаче города «на милость врага», не может быть. Ленинград должен защищаться во что бы то ни стало. О сдаче и речи быть не может! Все тяжести, испытания, выпадающие на нашу долю, в том числе голод, мы должны претерпеть...

Спокойно встретили с М. Ф. новый этап в нашей жизни. Или «перетерпим», или умрем. Но о будущем лучше не думать. Придет это будущее — и тогда нужно будет преодолевать его.

Немцы хотя и взяли нас измором. Выдержат ли ленинградцы, около 4-х миллионов, это великое испытание? Но не только измором. Сегодня летная погода и за день было 5 тревог. В последний вечерний долгий налет мы опять ощущали колебания дома. Дом «поехал». Где-то поблизости, значит, ухнула бомба. И, по-видимому, не одна. Я и М. Ф. встали, когда «поехал» дом, а потом снова сели и стали пить свой вечерний чай. Утром был артиллерийский обстрел. И так, голод, холод, бомбежка, артиллерийские снаряды, пролетающие со свистом над головой.

М. Ф. говорит: «Все перетерпим, только бы отогнать немцев».

1941.XI.16. Сто сорок восьмой день... С утра пытались вымыться и надеть чистое белье. Не смогли: одна за другой тревоги заставили насторожиться. Стали убирать в комнате все те вещи, которые могут лететь, — ширму, картины, вазы, зеркало и т. п. Квартира стала походить на сарай.

В 4-м часу начался как по расписанию артиллерийский обстрел. Задрапировали окна дополнительно тряпьем, чтобы в случае взрывной волны не слишком далеко разлетелись стекла. Я снял лампу в своем кабинете со стола и поставил ее в угол; часы на камине поставил вдоль стенки. Почти посредине комнаты стоит ящик с песком, у камина бак и ведро с водой.

У соседей, несмотря на мороз, открытые окна, на полу кирпич, глина цемент; весь пол в грязи, везде слой известковой пыли. Третий день мастера устраивают в окнах, выходящих на набережную, бойницы для пулеметов. Все вещи сдвинуты, перевернуты. Жить в таких комнатах, конечно, невозможно. Жильцы устроились жить в кухне, окна которой выходят во двор.

Скоро, по-видимому, и нам придется уходить из своей квартиры. Мне ничего не жаль, кроме книг, и вот этих записок, и накопленных материалов и коллекций. А может быть, и раньше будем разгромлены или сгорим.

В декларации пленных германских солдат говорится («Лен. пр.», 41.XI.16):

«Горе нам, немцам, если поражение Гитлера произойдет помимо нас, без нашего участия, без нашего активного содействия. Никто тогда не поверит нашим заверениям, что мы, немцы, не несем ответственности за гитлеровские злодеяния.

Народ, именем которого совершены зверства, который молчит и беспрекословно ведет войну, такой народ не может рассчитывать ни на сочувствие, ни на помощь»...»

Автор записок уже познал, испытал все, что обрушивалось в те дни и месяцы на ленинградцев. Бомбы, снаряды, уже и голод подступил (хотя писать о голоде ему как бы унижительно, «скучно» — помните запись от 29 октября?). Но его по-прежнему мучит и этот вопрос: как относиться к народу, чьим именем терзают всю Европу, полмира?..

Кто-то всегда записывает

И опять дневник Г. А. Князева:

«1941.XI.17. Сто сорок девятый день войны. Вести ли дальше мои записки? Они принимают слишком однообразный характер регистрации разрушений, причиняемых бомбежкой с вражеских самолетов. Я не охватываю, как современник, событий, и радиус мой слишком мал для полноты и разнообразия их изображений. Я пытаюсь расширить свой радиус обобщением сведений, почерпнутых из газет, а нужно ли это делать? Ведь я не беру на себя в этих записках роль историка, корреспондента и т. п.

...Вот тоже — писать ли о себе, своих переживаниях? Можно ведь и порисоваться было бы: вишь какой герой, стойко и храбро переживающий все эти испытания. Действительно я стойко переживаю их, но переживаю диалектически, с большими противоречиями...

Жутко смотреть, как на разбитый череп, на верх здания лавалевского дома Центрархива. И дома имеют свою физиономию! Красавец дом превратился в мертвеца».

Мы уже упоминали, что в этой части, как правило, пользуемся подлинными записями тех дней. Прежде всего дневниками, но у многих сохранились не дневники, а отрывочные записки, зарисовки, сценки — без чисел, нерегулярные. Они тоже важны своей подлинностью. В них наблюдения, картинки.

Вот несколько сценок 1941—1942 годов из записок Ольги Николаевны Родштейн:

«На Неве ярко, сине, четко. Стая чаек, покачиваясь, сидит на воде.

Маршрут № 12 ползет по Дворцовому мосту. В вагонах стоят стиснутые люди. В толстых платках, ватниках гражданки — добытчицы дефицитных продуктов, с мешками, бутылками, тюками. Самоварные лица и, как пара углей на плоском подносе, маленькие колющие глаза.

— Птиц-то сколько поналетело! Рыбу, поди, ловют!

Притиснутые друг к дружке мешочницы любят из окон вагона картиной гордого приволья и света там, внизу, у моста. Чайки покачиваются на волнах, беленькие, как фарфоровые. Другие, трепеща крыльями, усаживаются возле своих подруг.

— Местные утки, стало быть, — поясняет одна из домохозяек. — На суп их надо всех переловить!

Почему бы и нет? Пусть чайки будут утками, если у женщины вид голодной щуки.

...Растрелли украсил крышу Зимнего дворца фигурами (кстати сказать, странное общество). Из трамвая публика глядит на них сосредоточенно:

— Зачем это на крыше дежурит столько ремесленников?

...Голод. По телефону настойчиво объясняют, что завстоловой не прав, вырезая талон на 100 грамм мяса, ибо в котлете, кроме мяса, содержится 50% булки. Котлету решено отправить в химическую лабораторию».

И рядом — запись для себя: «Гейне не пишет «сочинять стихотворение», он говорит: ein Gedicht erleben...»¹³.

У Ольги Николаевны целая папка таких записей. Зарисовки-сценки, услышанные разговоры и тут же рассказ о смерти матери, о том,

¹³ Переживать стихотворение (нем.).

как пришлось торговаться с дворничихой, которая за хлеб обряжала покойницу, — запись тяжкая, страшная... В семейных архивах ленинградцев, в архивах города хранится множество еще не разобранных записок, дневников, писем, связанных с блокадой. У каждого блокадника был свой радиус — наблюдений, осмысления происходившего, переживаний.

Но вернемся к страницам дневника Г. А. Князева.

«1941. XI.29. Сто шестьдесят первый день войны... Не можем вспоминать без омерзения гражданку Напалкову. Оказывается, что она еще накануне агитировала какого-то уставшего «нытика-интеллигента», говоря, что каждый ленинградец должен быть начеку и быть готовым к отпору врага. «Неужели у нас не хватит мужества бросить бутылку с горючим в танк врага? — говорила она патетически. — Мы стойко должны держаться в Ленинграде, не покидая его в такую минуту... Это наш долг». За несколько часов до своего отлета она ни единым словом не обмолвилась, что покидает Ленинград, своих сослуживцев и сочленов по партии.

Тем печален этот случай, что Напалкова пришла в Академию, в парторганизацию после стольких провалов в ней и, казалось, завоевала прочное положение (и даже уважение) стойкого, крепкого члена партии.

...Так устраиваются те, что на словах агитируют о самопожертвовании, о подвиге, о героизме... Еще несколько дней назад Напалкова, как ответственный член партии, агитировала меня выступить на слете интеллигенции и сказать несколько слов о долге советского интеллигента пожертвовать всем ради родины...

Нормальная жизнь человечества кончилась 28 июня 1941 года. С этого дня нужно считать начало того периода, в котором мы живем. У нас, советских людей, есть священная дата — 25 октября 1917 года, которой все мы жили как новой эрой возрожденного человечества. Так было до 22 июня 1941 года. С этого дня началась наша страшная трагедия.

1941. XII.3. Сто шестьдесят пятый день войны. Весь вечер нет электричества. Писать при лампадочке трудно.

Сегодня на службе плохо работали. Было много волнений по поводу предполагаемой эвакуации. Утром получили официальное извещение об этом. Хотят уезжать Орбели с тремя детьми (9 лет, 12 и 15), Урманчеева тоже с тремя детьми (1, 3 и 5), Травина колеблется. Остальные отказались. Идти пешком придется около 150—200 километров. Багаж и детей обещают везти. Панический ужас перед голодом бросает людей на большой риск. Орбели говорит: «Все равно: здесь умирать голодной смертью, идти — иметь какой-то шанс на спасение». Она привела всех своих девочек на службу. Смотрел на них и думал о грядущем великом исходе многострадальных ленинградцев. Идти им придется в студеные зимние декабрьские или январские ночи, в морозы, во вьюги, в заносы, по бездорожью. Отчаянная попытка».

3 декабря 1941 года — именно в этот день в доме на Карповке в своей мастерской умирает от голода замечательный советский художник Павел Николаевич Филонов. Нам рассказала о том, как это было, его родная сестра Евдокия Николаевна Глебова.

«Лежал он наискосок на койке, одна рука в белой варежке, а вторая голая.

Мы с сестрой ждали врача. Брат был без сознания. Была его жена — Екатерина Александровна. Он умирал тихо. После смерти зашел писатель Тошчаков. Такой худой был Павел Николаевич, что Тошчаков легко (тогда!) поднял его на руки, положил на стол раздеть. Девять дней мы провели у брата, не хоронили, пока Союз художников помог гроб сделать, пока на кладбище договорились...»

Мы еще расскажем о самой Евдокии Николаевне Глебовой, судьба которой поразительна, но сейчас надо заметить, что в самом начале декабря 1941 года смерть от голода была еще не столь частой. П. Н. Филонов умер так рано потому, что он и до того жил впроголодь и по убеждениям своим не принимал никакой помощи — ни деньгами, ни едой. Был он худой, истощенный, и, может, оттого так быстро голод одолел его.

А по дневнику Г. А. Князева уже —

«1941.XII.5. Сто шестьдесят седьмой день войны... Сегодня День конституции. Трамваи бегают с красными флажками, но на домах флагов не вывешено почему-то.

Опять, как в 19 и 20 года, на улицах встречаю везущих на саночках гроб...

Мать-старуху и ее сына, раненного и сошедшего с ума в финскую войну, родных Вали, которую мы хотели воспитывать, нашли мертвыми в их квартире, дверь которой пришлось взломать.

1941.XII.8. Сто семидесятый день войны... Вечер. С лампадкой делать ничего нельзя. Жгу свечку. А там — будь что будет. Культурные блага кончились или с перебоями кончаются.

М. Ф. говорит: «Если так будет продолжаться, то в январе или в феврале придется умирать голодной смертью». Говорит спокойно и добавляет: «Но так как умирать от голода очень мучительно, то придется как-то по-другому умирать. Ты убьешь меня, а потом и сам...» И говорит это М. Ф., моя жизнерадостная, любящая жизнь жена-друг...»

Поколение Г. А. Князева, все старые питерцы вспоминали 1919—1920 годы. Сравнения эти приходили по разным поводам, о том голодном петроградском времени напоминали и буржуйки — маленькие железные печурки, которые устанавливали посреди комнаты, — и слово-то это было изобретено тогда, им пользовались ныне, хотя оно лишилось своего социального подтекста. Ожили слова «пайки», «копилки», снова объявилась «дуранда»...

Оледневшие сфинксы

Продолжим запись Князева:

«...Каждый день в газетах в надзаголовках приводится цитата за цитатой из речи Сталина. Сегодня прочел в пришедшей на 8-й день газете от 1 декабря: «перепуганные интеллигентики»... Так это или не так?

Вот мерзавка Напалкова, отнюдь не «интеллигентик», всех стыдила в малодушии, интеллигентности, трусости, а когда действительно трудно и плохо стало, бросила всех и все и улетела из Ленинграда.

Несмотря на бомбежку и холод, я так хорошо и с упоением работал в октябре и ноябре, а вот в декабре все расклеилось. И сотрудники тоже ослабли. Вынутый и рассыпанный материал уже недели две лежит на полу в хранилище. Третьего дня Л. влезла с папиросой уже в само хранилище. Холод выгнал из служебной комнаты, и все сидят около плиты в той комнате, где уборная... Мрачная картина. Только тому надо отдать справедливость, что сотрудники исполняют свой долг дежурных и проводят в неделю одну ночь на службе холодные и полуголодные. Эта работа по охране вверенных нам научных ценностей — главная и действительно нужная работа.

1941.XII. 12 и 13. Сто семьдесят четвертый и сто семьдесят пятый дни войны... Сегодня мне показались такими жалкими, голыми щенками, брошенными на жестокий мороз, мои гордые сфинксы. Словно все забыли о них. И стоят они над белым простором Невы...

Вчера нельзя было оставаться по приезде домой под портиком нашего дома: снаряды рвались где-то за Невой; сегодня ухали в те же минуты где-то дальше. Походил между колоннами. Тут пешеходов почему-то меньше. Многие ищут эвакуационный пункт и нервничают, не находя такового; другие спрашивают, где собес. Это инвалиды. Иные еле передвигаются от старости или от слабости. Тяжело смотреть на этот человеческий отход. По заваленной снегом набережной все же расчищены пути для проезда. Но проезжают редкие грузовики и изредка легковые машины, по-видимому, специального назначения или сантранспорт.

Покуда я еду или стою у колонн, обязательно увижу обычнейшую теперь картину: на саночках везут купленный пустой гроб, наскоро сколоченный, некрашенный, или уже с покойником, и двое-трое везут «погребальные санки».

Говорят, что на кладбищах скопляется много таких гробов.

От наших колонн виден как на ладони Николаевский мост. Провода на нем частично оборваны, трамваи не проходят через него. И только бесконечной черной цепочкой движутся в обе стороны пешеходы. Видны и одинокие мои сфинксы среди снежных сугробов и перед ними грузовой автомобиль без передних колес. Он стоит там третью неделю. Разбил ли его снаряд, потерпел ли он аварию — не знаю. Но убрать его, по-видимому, некому и недосуг. И стоит эта разбитая техника перед стражами тысячелетий — сфинксами из древних Фив в Египте.

Запираю за собой парадную. Первые стекла ее дверей забиты фанерой, вторые разбиты от сотрясения воздуха от выстрелов, одно из них на днях. На лестнице темно, больше месяца никто ее не мел: лежат окурки, бумажки, песок и пыль... Когда кто идет, окликаем друг друга, чтобы дать дорогу.

Дома живем в передней. Электричества нет вторую неделю.

На службе тяжело с некоторыми слабеющими сотрудниками. В хранилищах мороз, в служебных комнатах тоже. Все время гаснет электричество, и тогда сотрудники сидят в полутьме. На лестнице тогда тьма кромешная. Запереть двери на улицу нельзя, не слышно стука, и без электричества звонок не действует. Я и некоторые другие сотрудники занимаемся в одной из башен-выступов, прилегающих к Зоологическому институту, где было относительно тепло, но и там стало теперь очень холодно. Сегодня я там здорово продрог, но выси-дел пять часов, работая над историей замещения академических кафедр.

Я нарочно остановился так подробно на деталях нашего быта на моем малом радиусе. Об этом вряд ли кто напишет сейчас. Жизнь же на фронте, жизнь героев, будет освещена в достаточной степени другими. От нас требуется одно — пережить, перетерпеть, дождаться перелома, победы...

И уже приходят радостные вести из-под Москвы о новом нанесенном ударе врагу. Сам Гитлер заявил, что он откладывает взятие Москвы на весну. Зима наша немцам пришлось не по вкусу. Эх, если бы они померзли все под Москвой, под Ленинградом, на Украине; нарушилась бы их коммуникация от исполинских снежных заносов. Сгинули бы проклятые разбойники, ворвавшиеся на нашу землю, ежедневно обстреливающие улицы, площади, жилые дома Ленинграда. Сгинули бы, «аки обры». Может быть, и начался уже разгром немецких армий? Сломалась бы их техника на наших снежных просторах! А тогда разбойникам пришлось бы получить возмездие за содеянные страшные преступления. Они не останутся без возмездия...

Кончаю свои записи. Со страхом смотрю на свои «мигалочки», запас горючего иссякает. Неужели скоро и мне придется жить вечер, ночь и утро в темноте, «на ощупь»?

1941.XII. 17 и 18. Сто семьдесят девятый и сто восьмидесятый дни

войны. На фронте наши войска наносят удар за ударом немецким оккупантам. Очищены занятые ими участки Северной дороги под Ленинградом (от Тихвина до Волхова). Октябрьская дорога очищается. Только Мурманская крепко перехвачена финско-немецкими войсками, сидящими в Петрозаводске. В Мурманске скопилась масса продуктов для Ленинграда. Эти вести передаются из уст в уста; люди, обессиленные, уставшие, собираются с силами.

А многие уже не могут подняться. Вчера около нашего академического дома, около часто мною упоминаемых колонн, умер человек. Комендант нашего дома Савченко видел, как женщина вела под руку через дорогу мужчину. Тот еле шел, завалился около рельсов; она его приподняла, и он сделал еще несколько шагов, но до тротуара не дошел. Упал около кучи снега. Когда Савченко подошел, то увидел уже бездыханного человека. Над умершим суежилась женщина, его жена. Прохожие, узнав, в чем дело, дали совет женщине — не указывать, что она жена, а будто чужая. Тогда милиция обязана будет взять труп и распорядиться с ним как следует. Так и было поступлено. Подошедший милиционер остановил проезжавшие сани, и труп взвалили на них для отправки в покойницкую. Что случилось с женщиной, потерявшей мужа и не могшей даже похоронить его, не знаю.

Савченко и сам смотрит таким тоскующим взглядом: «Ведь погибать придется, не выдержать». «Не придется,— успокаивал я его.— Вытерпим, только волю к преодолению трудностей не потерять». Я еще долго говорил ему, что надо продержаться, не поддаваться страху. Кажется, подействовало.

Оказывается, что в доме у нас никто не дежурит. На чердаки никто не поднимается. Когда я заговорил об инструкции о тушении зажигательных бомб в зимнее время, напечатанной в «Правде», он только грустно улыбнулся: «Кто ж это делать-то будет? Ни у кого сил нет; из дворников — Александр лежит распухший, другой, Стариков, ослабевший... Некому у нас в доме такие инструкции выполнять».

Итак, живем, полагаясь на волю случая.

На службе также с охраной тяжело. Выполнять инструкцию тоже некому.

Мрачно в хранилищах, в рабочих промерзших комнатах... С тоскою думаю: почему мы тут сидим, почему не работаем у станка, не делаем того дела, которое нужно сейчас для фронта? Сам я сейчас заканчиваю работу для доклада «К истории замещения кафедр в Академии наук за все время ее существования». Все это, конечно, могло бы подождать.

Множество народу или сами ушли, или сокращены по разным городским учреждениям и предприятиям, и поэтому всегда кто-нибудь из семьи дежурит в очереди... Сколько, значит, народу, совершенно не использованного для обороны. Неужели и весной эти люди не займутся огородничеством, ловлей рыбы и т. п.? Я всегда с сожалением думаю: под носом Невы, в нескольких километрах рыбное Ладожское озеро, а мы даже в мирное время сидели без рыбы! Ведь пол-России можно было бы прокормить рыбой из тысяч озер нашего края!.. Нет! Вот теперь, когда подвоз затруднен, ленинградцы и пухнут с голоду и умирают.

Сегодня вечером настойчиво кто-то стал стучать к нам. Пришлось отпереть. Ввалился Филимонов, столяр и мастер на все руки, но нигде не ужившийся в академических учреждениях. Он занимал обыкновенно должность завхоза. Попивал здорово. Смеялся несколько времени тому назад, когда чинил мне костыль и хотел не денег, а продуктов. Сегодня он был страшен, оброс волосами, почернел. В руках у него оказалась зажженная свечка, и с ней он повалился на колени: «Спасите, погибаю, потерял карточки, дайте хлеба». Жена растерялась. **Что мы могли поделать? Отдать свой дневной паек, т. е. сто двадцать пять грамм?.. Но это бы ведь его не спасло! Чем и как мы могли бы помочь**

ему? Я вынул и дал ему 30 рублей, стоимость 100 грамм хлеба на рынке. Филимонов взял деньги, заверяя, что ему горько, тяжело, страшно просить.

Это неожиданное посещение в такой драматической обстановке здорово выбило нас на время из колеи. Потом я успокоился. Просить в случае такой нужды я никуда не пойду. Все в таком же положении. А если придется погибать, то у меня найдется силы воли уничтожить себя.

Догорает свечка, елочная, из запасов М. Ф. Купили дюжину в третьем году на рождество. Как пригодились! Скоро рождество. Пожалуй, за 2000 лет самое мрачное и страшное. Но мы в СССР давно отвыкли от этого праздника. На днях более важное должно произойти, ежегодное событие в жизни нашей планеты: Земля, удалившись на самое большое расстояние от Солнца, снова должна приблизиться к нему. Великий праздник рождения Солнца-жизни!»

Как еще мог Князев помочь Филимонову? Что было делать с человеком, потерявшим карточки? А ослабевшие люди теряли карточки. Теряли, или у них воровали.

Подобные случаи ставили перед родными, перед окружающими нравственные проблемы, невыносимые в своей безвыходности.

Голод не тетка, совесть не сосед

Начался голод и для Юры Рябинкина, уже вовсю, в полную силу. Впервые подступило к нему непривычное, унижительное лютое чувство голода. Нам придется вернуться назад, в октябрьские дни, и пройти вновь эти месяцы день за днем, но уже не с мужчиной, а с мальчиком, менее защищенным от испытаний, которые обрушились на него.

«21 октября. Прodeжурил с 8 утра до 6 вечера в школе. Заморил сегодня все-таки червячка. Затопил, вернее сказать (то есть залил водичкой.— А. А., Д. Г.). Сегодня на алгебре в школе сделал первую запись в тетрадь.

Вечером опять неприятный разговор о еде. Голод не тетка...

Мама купила на свою карточку недельный паек — 150 гр.— драже и отдала (у ней был долг) Анфисе Николаевне. Та ей только сказала спасибо и преспокойно взяла себе. Теперь у нас осталось всего-навсего 6—8 конфеток на 10 дней декады! Завтра их уже не будет, это как пить дать.

На фронтах положение — дрянь. Образовалось еще в придачу таганрогское направление. Неужели мы не разобьем немецких ударных частей и не восстановим сообщение Ленинграда с СССР до 1942 года?

Если бы только я знал, что нормы выдачи продовольствия и хлеба нам больше не уменьшат! Если бы я только знал! Но их уменьшат. Уменьшат еще раза в два. И это как раз перед годовщиной Октября, годовщиной величайшей в истории революции пролетариата 25 (7.XI) октября!

В школьной читальне, оказывается, есть много книг по шахматам, в их числе «Современный дебют».

22 октября. Все утро проторчал в очередях за пивом. С трудом пополам достал 2 бутылки, отморозил ноги. Потом 3 талона на крупу. Вечером дежурил в школе. Тревог не было. Таганрог взят немцами. Наступление немцев продолжается...

Зачитался романом А. Дюма «Графиня Монсоро». Увлекательная вещь.

Мама 2 бутылки пива выменяла на 400 гр. хлеба. Меня опять в очередь за пивом посылают.

23 октября. Достал еще 2 бутылки пива. Был в кино. Смотрел «Праздник святого Йоргена». Читал «Графиню Монсоро»...

Дома и холод и голод. Все вместе.

24 октября. Весь день с 10 утра до 6 вечера вместо дежурства в школе провел в очереди за пивом. Не было времени даже постоять в милиции за паспортом. И все-таки пива не достал. Вечером пришла мама, истратила еще один кочан капусты. Кое-как заморил червячка. В сводках ничего особого нет. Мама мне говорила, что ЦК союзов эвакуирован в Куйбышев. Представляю себе положение в Москве.

Чаю дают 12,5 грамм в месяц на человека, яиц вообще не дают. Рыбы тоже. Сегодня интересно поведение Анфисы Николаевны. Подарила нам 3 оладьи из морковного пюре, которое достала в столовой треста, и 10 драже. Было с чем полкружки чая выпить. Написал письмо Тине. Попросил ее прислать посылку с сухарями или с картофельными лепешками. Надо думать устраиваться на работу. Об учебе на время придется забыть.

С Ирой странная вещь: днем и вечером под глазами синие потеки, колет в левом боку от быстрой ходьбы и не может есть жидкого (супа). Мама хочет идти с ней к врачу.

Что? Какой сюрприз преподнесут немцы?.. Во всяком случае, немцы грозятся сжечь Ленинград за три дня непрерывной тревоги (слухи ползут от Чистовых, которым, работая в пригороде, волей-неволей приходилось читать сбрасываемые немецкие листовки).

Очереди всюду: за пивом, за квасом, за газированной водой. За перцем, солью (особенно за солью!), за горчицей.

Немцы или перебросили все свои воздушные налеты на московский фронт, или готовятся к бомбежке на годовщину Октября. Хотят превратить наш светлый праздник в траурный день.

Сегодня только узнал, что за тушение зажигательных бомб на чердаке и на дворе нашего дома мне объявлена благодарность через (...) треста. А когда это было, уже и не помню.

25 октября. Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Интересно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или натуральных соках?

Эх как хочется спать, спать, есть, есть, есть... Спать, есть, спать, есть... А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров — ему захочется еще чего-нибудь, и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее мечтал, о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе...

Тина прислала еще два денежных перевода подряд: 200 рублей и 210 рублей. Наверное, ей прибавили шпалу, а то и две: военврач 1 ранга стала. Возможно, это и так.

Сегодня пропускаю 2-е по счету дежурство в школе и 27-го (буду жив-здоров) придется пропустить еще одно.

Ну кто бы мог подозревать, что события так сложатся? Заглянув вперед, у меня волосы дыбом встали на голове: холод, голод, арт. набеги, бомбежка, изнурительные (...) ночи, дни, целые сутки, затем (...) бактерии, кто спасется в первый день применения, тот погибнет от голода, все продукты в магазинах будут испорчены... Дальше я уж не гляжу, впредь оставаться в Ленинграде — гибель.

Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его буду. (Запомним, это важно, что мать знает о существовании дневника! — А. А., Д. Г.) Не придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете — Рябинкин Юра, посмеется над этим человеком, да... Вспомнилась почему-то фраза Горького из «Клима Самгина»: «А может, мальчика-то и не было?..» Жил человек — нет человека. И народная загадка спрашивает: что самое короткое на свете? И ответ гласит: человеческая жизнь. Когда-нибудь я бы занялся, быть может, философией. Но сейчас для этого надо: 1) еда и 2) сон. Этим и объясняется весь идеализм: для существования его необходим материалистический фундамент.

26 октября... И денег вдоволь — и все-таки голод.

29 октября... Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова: «Сейчас все люди — эгоисты, каждый не думает о завтрашнем дне и поэтому сегодня ест как только может». Она права, эта кошечка.

Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и т. п. Неужели эта посылка — вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Ну что же мне делать?

Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях заняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба.

Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения как нельзя более лучшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что, если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние...

Да, немцы, наверное, объявят непрерывную бомбежку 7 и 8 ноября. А перед тем вдоволь измучают население артиллерийскими набегами да бомбежкой. Готовят нам на праздник сюрприз.

Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас холодно, темно, ночи проводим при свете свечки.

Но самое обидное, самое что ни на есть плохое для меня — это то: я здесь живу в голоде, в холоде, среди блох, а рядом комната, где жизнь совершенно иная — всегда хлеб, каша, мясо, конфеты, тепло, яркая эстонская керосиновая лампа, комфорт... Это называется завистью — то, что я чувствую при мысли об Анфисе Николаевне, но побороть ее не могу.

Мне не к кому идти. К товарищам? У меня их нет. Вовка в Казани, Мишка — на работе. А такие (...) — эгоисты до глубины души, зачем к ним идти?.. Но во мне опять просыпается зависть, даже злость, горькая-прегорькая обида.

31 октября, 1 ноября. Что можно сказать об этих днях? 31-го я все же чувствовал себя несравненно лучше, чем раньше. Тетя Натала угостила меня горчичными лепешками, даже Анфиса Николаевна и та дала нам 150 гр. крупы (талонов — 6, из них 3 досталось мне на обед).

Ночью была тревога. Били зенитки, но бомб немцы не бросали. Беспрерывно по городу оба дня бьют орудия. И. говорил, что немцы стянули к Ленинграду свою дальнюю артиллерию с Ла-Манша. Сегодня, 1-го, меня встретил неприятный конфуз, меня не пустили в столовую треста до 2-х часов. А в 2 часа в столовке уже кончилось картофельное пюре, и мне пришлось довольствоваться двумя тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертуссином. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и питательная вещь, 2 пузырька уже выпил: остался один...

3, 4, 5 ноября. Все эти три дня шла учеба в школе. Понижены требования, из прежних преподавателей осталось только несколько. Остальные пришли из 213-й школы. При школе заработала столовка. Суп без карточек — по 1 тарелке на человека, а все остальное по карточкам.

Каждую ночь тревога. Бомбежка. Вчера над городом, в центре, было сбито за ночь 3 немецких самолета. Все время артиллерийские обстрелы. Да еще впереди — праздник. Какой «праздник» нам немцы преподнесут? ОВ, без сомнения... На 4 дня, с 6 или 7 начиная, в городе отмобилизованы все обмывочные пункты. Что-то будет?!

На сегодня надо было прочесть «Мертвые души» Гоголя, но при тусклом свете свечки невозможно читать. Пишешь машинально. Многие новости не знаю. Говорят: «XXIV годовщина решает все...»

Что такое человек и человеческая жизнь? Что же, в конце концов? «Жизнь — копейка» — говорит старинная поговорка. Сколько человек жило до нас и сколько их должно было умереть... Но хорошо умереть, чувствуя и зная, что ты добился всего, о чем мечтал в юности, в детстве, хорошо умереть, зная, что остались последователи в твоих научных или литературных трудах, но ведь как тяжело... На что надеется сейчас Гитлер? На создание своей империи. самый замысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за какой-то кучки авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей!.. Людей!!!

Уже поздно. Артиллерийская стрельба на время стихла. Свеча догорает. Голод, холод, темнота, грязь, вши и перспектива: багровое будущее, окутанное темной пеленой».

Город готовился к зиме. Гидрограф Евгений Чуров продолжал свою работу:

«Ранний лед на Свири и в верховьях Невы, в Черной Сатоме давал основание предположить, что зима сорок первого — сорок второго года будет суровой.

В моем распоряжении находились материалы валаамских монахов... монахи вели ежедневные записи колебаний уровней Белого моря и Ладожского озера; потом, примерно с 1300-х годов, монах — настоятель собора (забыл его имя) вел запись изменений погоды: когда стал лед? какой был лед? можно ли было пробить лед? кто провалился, когда богомольцы шли на Валаам? проходили ли богомольцы с Шлиссельбурга или со стороны Черной Сатомы?.. Все это давало основание косвенным путем восстановить ледовую обстановку.

Этим обобщением я занялся по своей инициативе. И у меня сложилось четкое представление, что да, зима может быть суровой, что в этот год озеро тоже полностью замерзнет и можно будет вести войска даже на севере Ладожского озера, тем более что задача прорыва кольца блокады, окружения, стала очевидной любому офицеру, командиру, а нам — гидрографам — тем более было ясно, что нужно все свои знания использовать на это. Данные валаамских монахов, а потом данные — по тем же участкам — Северо-западного пароходства удалось сопоставить и удалось уловить характер изменения ледовых образований».

Лед на Ладоге, зима 1941/42-го не спешит, хотя те, кто обдумывает и готовит «Дорогу жизни», хотели бы подогнать, подстегнуть само время — таким оно казалось медленным и безжалостным. Не спешат и союзники со вторым фронтом.

Про будущую ледяную трассу через Ладогу Юра ничего не знает, потому и не думает, не пишет о ней. А вот о союзниках записывает что слышал, знает.

«6, 7 ноября. На фронтах положение мне неизвестно. Говорят, что выступал Сталин и в своей речи объяснил причины нашего отступления, резко, как замечают, задел США и Англию, сказав, что их помощь в настоящую минуту малозффективна и фактически воюем одни мы против Германии. Надо было бы познакомиться с этой речью подробнее.

Занятия в школе продолжают, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из «Мертвых душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые души»...

Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит — 3 дня буду сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жив-здоров. Опять перешел на воду. Распухну, ну да что же... Мама заболела. И не на шутку, раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, головная боль...

Я тоже, наверное, заболел. Тоже жар, головная боль, насморк. Все из-за того, по всей вероятности, что, бывши на школьном дежур-

стве, мне пришлось пройти через три двора без пальто и шапки. А дело было в полночь, мороз...

Учеба мне почему-то сейчас в голову не лезет. Совершенно нет желания учиться. Голова одними мыслями о еде да о бомбежках, снарядах занята. Вчера поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на свой 2 этаж взобрался. Устал так, словно 2 пуда волок целых полчаса, как кажется, сел и еле отдышался. Сейчас тревога. Зенитки бьют вовсю. Бомб несколько также было. На часах — без пяти 5 вечера. Мама приходит в начале 7-го.

9 и 10 ноября. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба... Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего, с сахаром чая, по полтарелки супа в день. Не больше. Да еще что тарелку супа вечером. Все же мне (...). Ира, например, вечером даже отказывается от лишней порции супа. А мне они обе твердят, что я питаюсь, как рабочий, мотивируя тем, что я ем 2 тарелки супа в столовых да побольше, чем они; хлеба. Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый, пишу, а рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость, кажется — шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь».

Именно в эти самые дни заведующий отделом торговли Ленгорсовета докладывает секретарю горкома партии А. А. Кузнецову, что по самым жестким нормам выдачи муки осталось на восемь дней, крупы на девять.

К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал железную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда 9 ноября в Москве Государственный Комитет Обороны принимает решение, крайнее в тех условиях, — выделить еще дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 24 транспортных самолета и 10 тяжелых бомбардировщиков.

Пределы человеческие

Постепенно помыслы Юры сужаются, сосредоточиваются на еде, тепле, физиологии. Это испытали на себе и другие голодающие блокадники — и это тоже черта. Еще и еще черта, а за какой-то чертой может наступить тяжелый распад психики. Но некоторым удается до конца сохранить себя человеком, сохранить в себе чувство долга, чести, благодарности, милосердия, вопреки всем обстоятельствам — удержаться. Одним удается, другим — нет.

Жили блокадники по-разному, голодали тоже по-разному. И умирали неодинаково. Одни умирали как люди, и вспоминают о них и поныне с жалостью и сочувствием, вспоминают тогдашние мальчишки, девчонки. А были такие, о которых по-другому вспоминают: о ком с презрением, а о ком и с ужасом. Но всегда — с болью за образ человеческий. Может, это и есть страшный суд, который творится на земле памятью людской.

Да, были и такие (и это даже неизбежно в многомиллионном голодном городе), что переступали последнюю черту, за которой — животный эгоизм, жестокость, голодное безумие.

Конечно, легче, удобнее всего об этом не вспоминать. Но тогда мы не поймем ценности и человеческой высоты тех людей — а их было большинство, — кто устоял, кто не перешел за последнюю черту. И не увидим, не поймем, в какой тяжкой борьбе с самим собой человек побеждает нестерпимый голод, холод, смерть, безнадежность.

О. Ф. Берггольц сделала выписку из дневника М. М. Кракова, главного инженера завода № 10 (Володарский район):

«Около мельницы им. Ленина я наблюдал следующую сцену.

Шедший передо мной мужчина вел за руку маленькую, 3—4 лет, девочку. Внезапно эта девочка упала. Заплакала, сквозь рыдания было слышно:

— Папочка, кушать хочу. Дай мне что-нибудь. Папочка!

Мужчина растерянно смотрел на нее, бессвязно бормотал слова утешения. Попро- бовал взять ее на руки. Но усилия были тщетны. Он сам ослабел. Я заглянул ему в лицо. Оно было опухшим, прозрачным.

Рядом остановилась женщина. Она к груди прижимала маленький сверток. В таких свертках люди сейчас носят хлеб.

Женщина тоже попробовала уговорить девочку. Когда из этого ничего не вышло, кто-то из прохожих бросил на ходу: «Дай ей хлеба — и все пройдет».

Женщина задумалась. Это продолжалось, может быть, с минуту. Затем решитель- ным движением развернула сверток, отломала от небольшого куска немного хлеба и дала девочке. Сразу же после этого она ушла.

Я догнал ее через несколько минут. Обернувшись, увидел слезы на ее глазах. Это были не слезы жалости к ребенку — они были слезами жалости к себе.

Может быть, у нее дома был оставлен голодный ребенок... Пожалуй, даже навер- няка...»

По-разному перебарывали жесточайшие обстоятельства, сохраня- ли и даже укрепили в себе лучшее, человеческое и Г. А. Князёв, и Юра Рябинкин, и Лидия Охалкина, и Фаина Прусова, и старая жен- щина, дневник которой отыскался в Ярославле...

Общее у всех них было, пожалуй, вот что: каждый имел или искал (и находил) точку опоры не только в самом себе, но и еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда — это держало прежде все- го. У каждого были свои непосредственные обязанности, долг, ответ- ственность. У Фаины Прусовой — перед ранеными в госпитале и пе- ред собственными детьми; у Юры Рябинкина — перед матерью и сестренкой; у Лидии Георгиевны — перед своими маленькими деть- ми; у Георгия Алексеевича Князева — перед Ломоносовым, Менде- леевым, которые «отдали» ему на сохранение свои рукописи...

Человек, может быть, и отчаялся бы, руки уже опустились бы, когда б забота была лишь о себе. Но есть что-то большее. Вот запись Фаины Прусовой:

«Иду с работы, и сердце замирает, ну, думаю, а вдруг?.. Прихожу, еще тянут- ся — живы, я скорей погрею водички, подниму их, вымою им лицо. На Неву схожу с бидончиком, попьем тепленькой водички с корочкой хлеба (Фаина Александровна Прусова даже нарисовала в дневнике эту «корочку» — квадратный сантиметр! — А. А., Д. Г.). И вру им без конца, как немца окружили, благо верят. Чего-либо подкину в печурку — книги или тряпки... Наденька говорит: «Мамусенька, я если буду умирать, то тихо-тихо, чтобы тебя не испугать». Ой, я завопила: «Живи, моя снегурочка!» Она холодная вся, как льдинка...

Дома я соблюдаю чистоту. Думаю, что это нас поддержит. Подаю все на тарел- лочке. Согрею воды.

Да! Люди едят кошек, собак, вернее съели.

Я только радуюсь, что Боря и Наденька не теряют человеческого образа».

Мы уже приводили в первой части выдержки из дневника Алек- сея Васильевича Белякова. Казалось бы, человек о том лишь думает, что он съел, сколько чего дали в магазине, что наливают в тарелку в столовой. Цифры, тарелки, «граммики» да еще какие-то рукавицы, которые никак ему не пошьют... Но нет, не одно это его интересует и держит, не хлебом единым спасается и этот человек. По количеству доставшегося ему «хлеба единого» он, может быть, уже умер бы...

«13 января. Купил Гынянова «Сочинения» за 8 руб. и Киселева «Геометрия» за 20 руб.

16 января. Вчера купил Соллогуба за 3 руб. на Мальцевском рынке.

2.II.42 г. Купил книгу под редакцией проф. Зелинского «Эллинская культура» (40 руб.) и «Хрестоматию по истории западного театра на рубеже XIX—XX веков» (15 руб.)».

А сам он уже дистрофик. Лицо у него опухло, живет без воды, без света. Зачем ему сейчас книги, почему, отрывая от рта хлеб — самое необходимое и такое желанное, — человек ищет, покупает книги? И книги довольно случайные, которые если и понадобятся, то в неблизком будущем.

Но именно теперь, на пороге гибели, человеку видится жизнь более содержательная, чем та, которая (судя по дневнику) была у него прежде.

«Моя библиотека заполняется превосходными книгами. Придется ею пользоваться или нет? Как охота разумно устроить жизнь, отдать свои оставшиеся силы (авось можно еще накопить потерянные силы, или уже амба?)».

Вот в чем он ищет точку опоры, чтобы удержаться, не соскользнуть в бездну — от физической дистрофии к моральной.

Обращаясь в дневнике к уехавшей дочери, предупреждая ее, что, может, увидеться больше не придется, он — как напутствие — просит выкупить тома «Истории русской литературы». Он сам был бы счастлив ее дочитать, так, видно, не придется, но пусть у дочери она будет...

Ну а у старой женщины, которая умерла в эвакуации в Ярославле, опора в дни блокады была простая, извечная — вера. Имя этой женщины нам неизвестно, нам принесли ее дневник, найденный в Ярославле. — большую конторскую книгу. Женщина была верующая. Кроме бога, она верила в хороших, отзывчивых людей: верила, что помогут, что придут на помощь в самую трудную минуту. И, судя по дневнику, именно так получилось, что у нее, у доброго человека, на пути всегда оказывались тоже добрые люди. В ряду добрых также и бог, которому она время от времени подсказывает, как дальше распорядиться ее судьбой: «Думаю, что если хранил меня среди стольких ужасов, то, очевидно, моя жизнь еще для чего-то и для кого-то нужна».

Помогают ей люди, помогает бог, даже сны у старой доброй женщины полезные, нужные, добрые...

А рядом с ней живет обезумевшая от голода молодая женщина — страшное напоминание о бездне. Человек не выдержал навалившихся на него испытаний, сломился, обрушился. С безумными глазами выхватывает хлеб у собственного ребенка. Но нет, что-то происходит там, во тьме сознания, какими-то внутренними усилиями зажигается свет. И вдруг восстанавливается человек, и старая женщина записывает:

«18.III. Сегодня о радости! Вдруг ночью. Наташа будит меня и радостно говорит: «М. Е., дорогая, ведь я совсем здорова, я все понимаю, какое счастье». Я даже плакала от радости. Слава богу, она пришла в себя. Оказывается, она ничего не помнит из того, что было: ни как она отнимала у ребенка и у меня хлеб и продукты, ни что мы говорили, ни кто ее навещал. «Мне все казалось, что это во сне, а не наяву, и все казалось, что это я сплю». Господи, какие необычайные бывают эти психические расстройства! От радости она не смогла спать и все время говорила, вспоминая свою болезнь. Говорила совершенно нормально, как прежняя Наташа...»

Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет вида его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, которая была не то чтобы рядом, на окраинах, а

забиралась внутрь города, и быта — городского быта с очередями, «толкучкой», заводской работой...

Все знаменитые петербургские архитектурные ансамбли на месте, так же прекрасны и мосты, и набережные, и дворцы с той только разницей, что, как точно определил один ленинградец, они теперь не возвышают душу, а отягощают ее своей призрачностью, «обнаружилась в них способность не только принять смертное запустение, но и стать его принадлежностью вместе с знаменитой землей и коробками сгоревших домов».

Блокада не уходит вместе с иными событиями в тихие заводы прошлого, куда заглядывают лишь от случая к случаю. Особенность блокады — она как бы остается поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. Время от времени с ней сопоставляешь и других и самого себя.

Трупы были на улицах, в квартирах, они стали частью блокадного пейзажа. Массовость смерти, обыденность ее рождали чувство брэнности, ничтожества человеческой жизни, разрушали смысл любой вещи, любого желания. Человек открывался в своем несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим. Сколько людей не выдерживали испытаний, теряли себя!

Рослый этот красивый человек, умеющий вдумчиво слушать и так же вдумчиво произносить только собственное, выношенное, просил не называть его имени. Он говорил сильно и убежденно о себе, но и о других, потому что он употреблял местоимение «мы». Он считал, что в первую очередь погибали физически слабые по здоровью, по возрасту, затем погибали честные, великодушные, не способные примениться к обстановке, где ожесточение и окаменелость души были необходимым условием выживания.

«После блокады мир рисовался мне затаившимся зверем. Я ведь встретил блокаду одиннадцатилетним. В таком возрасте трудно противостоять натиску чрезвычайных обстоятельств. Они навязывали свои критерии и ценности как единственно возможные. Я стал подозрителен, ожесточен, несправедлив к людям, как и они ко мне. Глядя на них, я думал: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть что, отними от вас хлеб, тепло, свет — в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь». Именно в первые послеблокадные годы я совершил несколько сквернейших поступков, до сих пор отягчающих мою совесть. Мое выздоровление затянулось почти на десятилетие. Лет до двадцати я чувствовал в себе что-то безнадежно старческое, взирал на мир взглядом надломленного и искушенного человека. Лишь в студенческие годы молодость взяла свое и жажда полезной людям деятельности позволила стряхнуть с себя ипохондрию. Однако прежняя детская вера в безусловное всеиле и совершенство человека, раздавленная блокадой, уже никогда не возродилась».

Обстоятельства блокадной жизни этого человека сложились так, что он казался себе брошенным на произвол судьбы, никому не нужным. В таких случаях нравственный смысл испытываемых лишений терялся, от этого иссякал запас духовной прочности, падала сопротивляемость голоду. Его слова, его крайнее мнение представляют ту противоположную точку зрения, которая существует, хотя, может быть, выраженная не в такой острой форме. Истории и Юры Рябинкина, и Князева, и большинства героев нашей книги спорят с ней. Но для того чтобы полемизировать, эта точка зрения должна быть сформулирована. Ее нельзя опровергнуть, ей можно противостоять. Откровенность этого человека была для нас поэтому ценной.

Блокада была крайностью, утверждал он, она была выходом, вернее выбросом, за границы обычной усредненной житейской сферы, где человек ограничен в своем низком и в своем высоком. Расширилась амплитуда его чувств и поступков, его душевных колебаний между крайностями взлета к подвигу и падения к низости, бесчеловечности.

Но интересно, что и он, наш полемист, приходит в конце концов к выводу о приоритете духовного начала. Блокада, которая как бы открыла человека в его самых отталкивающих и самых прекрасных проявлениях, помогла понять решающее значение во всем этом морального, нравственного наполнения человеческой души.

Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки: начиная писать, он как бы исповедовался перед неким слушателем, обращая через дневник к самому себе упреки, осуждение. Дневник становился как бы совестью, которая его словами, но отчужденными, обращалась к нему, Юре. Его честная, размышляющая натура тревожно следит за собою.

Вспомним, как метался он, когда выигрывал в карты деньги. Ни во что не ставил свое геройство на крышах и благодарность за то, что ловко тушит зажигалки. Как выстаивает он, больной, слабый, в бесконечных и безнадежных очередях, добывая для всей семьи паек. А потом эти жалкие «печеньица» и «конфеты» из заменителей надо еще донести до дома, донести и не съесть. Как сложно, как невообразимо трудно: держать в руках то, что можно съесть и не съесть,— это знают лишь по-настоящему голодавшие люди.

Клавдия Петровна Дубровина и сегодня, рассказывая, не перестает сама себе удивляться — тому, что она сделала, когда в руках у нее оказалось сладкое и съедобное лекарство, много лекарства.

«— У нас в нашем ОГБ¹⁴ все пристрастились: покупали пурген и пили с кипятком по таблеточке.

— Сладкий он, что ли?

— Да, сладенький, там сахарин, мы пили. И вот наши меня попросили, помню, как сейчас, купить семьдесят таблеток (потому что нас семь человек, всем по пакетике, а в пакетике десять таблеточек было). И вот семь человек дали мне деньги (копейки они стоили) и говорят: «Купи нам». Купила, значит, иду оттуда и не могу удержаться. Путь далекий: это с Большого проспекта, от улицы Связи с Петроградской стороны до площади Льва Толстого — вы знаете! А наша казарма находилась вот здесь, где завод «Электрик»... И вот пока я оттуда шла, я это все — по таблеточке — съела! Еще мне хочется, еще, не удержаться, еще...»

Не могла удержаться, не сумела себя остановить, хотя это не хлеб, не сахар, а просто сладковатые пилюли, иллюзия пищи. Потом врач ее еле выходил, попрекал: культурный человек — и 30 таблеток принять! (Это она преуменьшила, не решилась правды сказать.)

Рассказ К. П. Дубровиной — пример того, что и взрослому сознанию не всегда удается остановить себя. А Юре Рябинкину, мальчику, надо, простояв в очереди много часов, донести «печеньица» домой, донести и не съесть ничего. Дневник его постепенно становится свидетелем мучительной борьбы — не знаем, чему равной,— с самим собой, со стыдом перед матерью. Свидетелем и отчетом. Дневник делается союзником Юры в неравной схватке с инстинктом, с пожирающим внутренности голодом.

«9 и 10 ноября... И все же я могу твердо сказать, что не будь рядом со мной сытых, я к этому всему привык бы. Но когда каждый звук, почти (...) задевает чем-то веселым, сытным. Перед собою, сидя в кухне, я вижу на плите кастрюлю с недоеденными обедами, ужинами и завтраками, что оставляет после себя Анфиса Николаевна, я не могу больше... Разрываюсь на части, буквально, конечно, нет, но кажется... И запах хлеба, блинов, каши щекочет ноздри, как бы гово-

¹⁴ Отдельный городской батальон

ря: «Вот видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе нельзя...» Я привык к обстрелу, привык к бомбежке, но к этому я не могу привыкнуть — не могу!

На фронтах положение не изменено. Только на калининском направлении наши части выступили на несколько км. Свои позиции под Ленинградом враг упорно не желает сдавать.

И опять сейчас мне в уши бьет веселый смех Анфисы Николаевны... Мама вчера одолжила кусочек сахара у Анфисы Николаевны, сегодня хочет одолжить у Катинских. Но сегодня — последний день декады. Завтра — будет свой сахар, хлеб... и хлеб!! Через ночь...

У нас не выкуплено на эту декаду 400 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки... а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят (...) чего-нибудь в этом роде человек на 80—100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не поможешь. Сейчас тревога. Она уже длится часа два. Нужда, голод заставляют идти в магазины, на мороз, в длинную очередь, в людскую давку... Провести так недели, а затем уже никаких желаний не останется у тебя. Останется тупое, холодное безразличие ко всему происходящему. Недоедаешь, недосыпаешь, холодаешь и еще к тому же — учишься. Не могу. Пусть мама решает вопрос: «Как быть?» Не в силах решить — сам попробую за нее. И вечер... что он мне готовит? Приходит мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые... Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет... И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицо и говорит как стонет: «Ну а я тоже занята, работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратиться к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет... И каждая очередь приближает меня к плевриту, к болезни... Я решил: лучше водянка. Буду пить сколько могу. Сейчас опухшие щеки. Еще неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки — опухну.

Я сижу и плачу... Мне ведь только шестнадцать лет! Сволочи, кто накликал всю эту войну...

Прощай, детские мечты! Никогда вам ко мне не вернуться. Я буду сторониться вас как бешеных, как язвы. Сгинуло бы все прошлое в тартарары, чтобы я не знал, что такое хлеб, что такое колбаса! Чтобы меня не одурманивали мысли о прошлом счастье! Счастье!! Только таким можно было назвать мою прежнюю жизнь... Спокойствие за свое будущее! Какое чувство! Никогда больше не испытать...

Как я хотел бы, чтобы Тина взяла и прочла дневник у себя в комнате в Шлиссельбурге за чаем с бутербродом! Того, что переживаем мы в Ленинграде, ей еще вовек не приходилось переживать.

Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной свалке, в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослые люди, удалось ценой невероятных физических усилий протиснуться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 г. сливочного масла и 500 г. колбасы из конины с соей. Когда я пришел домой, почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испытывал два года тому назад. У меня и так действительно сухой плеврит. Боли сильные, ну точь-в-точь такие, как прежде. Что за мучение! Завтра непременно пойду в тубдиспансер. В конце концов, я не хочу сейчас помирать от плеврита. Что я могу сделать? Что? Я бессилён... Против плеврита есть только два сильных средства: 1) отличное питание с обилием жиров и 2) воздух сухой, чистый, теплый. И оба средства отсутствуют...

Мама с Ирой «позавтракали» и идут на работу. Я пойду в тубдиспансер. Впрочем, перед этим позавтракаю в «комфорте и уюте». Почитаю.

...Сегодня достал 4 литра пива по карточкам, отдал их Анфисе Николаевне. И из них она мне дала выпить пол-литра. Мне понравилось. Право, будь это в былые времена, я стал бы добросовестным алкоголиком».

Он хозяйственно — в граммах — подсчитывает, сколько осталось неотоваренных талончиков на крупу, картофельную муку, помнит, что дома в запасе 50 граммов шоколада... Если бы где-то можно было отоварить карточки!

«Да, забыл сказать самое главное. У мамы распухли ноги и стали твердыми, как камень. Вот дела-то!

В тубдиспансер мне надо было бы идти завтра, в тот, в который ходит Анфиса Николаевна. Это у Мальцевского рынка, где каждый день идет обстрел.

...Приказ Гитлера, цитированный в «Ленинградской правде»: «Учитывая важность назревающих событий, особенно зиме, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей большевиков Москвой».

...К 5 часам утра надо идти в очередь (...) обязательно. Все мы издерганы. У мамы я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснется в разговоре — ругань, крик или истерика, что-то в этом роде. Причина... Причин много — и голод, и вечный страх перед обстрелом и бомбежкой. В нашей семье — всего-то 3 человека — постоянный раздор, крупные ссоры... Мама что-то делит, Ира и я зорко следим — точно ли... Просто как-то не по себе, когда пишешь такие слова».

Юра, конечно, винит мать, кого ж еще может винить ребенок, но тут же спохватывается, оправдывает ее, заставляет себя понять причины ее раздражения. Великое это дело — заставить себя понять другого человека. Особенно в обстановке, казалось бы, иступленного голодного эгоизма. Терзает его и то, что мать свою он по-другому стал видеть — жесткой, недоброй. И то, что сам он жадно и недоверчиво следит, как она делит хлеб. Моральные требования его не снижаются. Вот он с товарищем поймал и съел одичалого кота и мучается, он уже как бы не прежний, что-то потерял навсегда.

Между тем на Ладоге идет усиленная ледовая разведка. Лед пробуют каждый день. Наконец 17 ноября на лед можно ступить. Озеро не полностью, но затянулось, замерзло. Это счастье, что так рано. Разведчики осторожно идут по первому тонкому льду, он еще гнется под ногами. На плечах у них спасательные круги, в руках жерди. Они благополучно доходят до Кобоны. На следующее утро, 18 ноября, вновь выходят на лед, размечая трассу дороги на Большую землю. Навигация прекратилась и, как назло, и погода нелетная, самолеты не могут доставлять в город ту малую долю продуктов, которые поднимала на себе авиация. Разведчики и дорожники 19-го готовят ледовую трассу, надо расчистить ее от снега, торосов, перекрыть трещины. Здесь рады морозу, который проклинали ленинградцы, ударил бы он еще сильнее, скорее бы вырос лед. К 20-му он достигает местами уже 18 сантиметров, и 300 с лишним саней, запряженных лошадьми, спускаются на озеро и начинают двигаться на Большую землю за мукой.

«24 ноября. Как томительно тянется время! Как оно однообразно. Все мысли заняты едой и желанием вырваться из тисков голода, холода, страха... Все надежды на эвакуацию отложились в долгий ящик. На фронтах и под Ленинградом инициатива опять у немцев. Они, на-

верное, продвинулись еще ближе, раз их снаряды разрываются на нашей улице, перед нашим домом.

Сегодня с половины седьмого в очередях. Бесконечные ленты, вереницы голодных людей... навсегда мне врежутся в память! Ничего не достал, ни в одном магазине не было масла, крупы или мяса. Ни в одном. А простоял я в очереди в магазинах целых 4 часа... И надо опять в очередь.

Мама говорит, что, во-первых, железная Северная дорога уже очищена (по словам Тураносовой), а сейчас ведется ее постройка (она была разобрана). Во-вторых, из Ленинграда, по многим признакам, эвакуируются все государственные учреждения и т. д.

Насчет эвакуации мама что-то бормочет невнятное, но, по всему видно, дело не пойдет.

25 ноября. Ходил к главному. Тот прописал мне очки, указывая на то, что у меня один глаз 0, а другой 30% зрения. Думаю, мне надо будет сходить в частную поликлинику.

Какие-то части на Южном фронте перешли в наступление и погнались немцев на 60 км. назад, разгромили (...) стрелковый корпус...

Под Уфой хлеб стоит 2 р. 50 коп., сколько угодно и без карточек, а там это считается дорого. Ничего себе, а? Ведь это же рай...

26 ноября. Сегодня с утра ожесточенные артобстрелы города, и особенно района Сенной площади и нашего квартала. В дом № 30 еще попало 2 снаряда. Много убитых и раненых.

Меня сегодня мать Штакельберга назвала круглым дураком, что я не ворую у И. «Я бы,— говорит,— и не посмотрела».

Вместо растительного масла дают повидло. Очереди. Эх, достать бы где кокосового жиру! Где-нибудь...

Мама написала заявление на предоставление ей места в самолете для вылета из Ленинграда. Чувствую, что дело провалится, хотя какая-то тайная надежда есть на освобождение, но я все-таки угнетен разными плохими мыслями.

У меня мама потребовала Ирину карточку, хлебную. Хотят лишить меня печенья. Ну что ж... Раз только стоит Ире получить печенье, и она уже за него так уцепится, что не выдать мне его больше... Опять пойдут гнусные, грязные сцены с дележкой, ей меньше, ей больше... Ну, положим, завтра я еще печенье получу, а с послезавтра начиная кончайся моя и без того непривлекательная жизнь. Какая же жизнь, когда и печенье меня лишат... Вот теперь иди в магазин, доставай картофельной муки да кокосового масла или повидла, а они каждый день будут жаловаться, что они устали и т. д. Ирка обеими руками уцепится за печенье...

(...) положение ничуть не изменилось. Наступление на Москву продолжается. Пала Тула... В районе Тихвина идут ожесточенные бои. Ходят упорные слухи, что как только армия прорвет, она сразу же эвакуируется из Ленинграда и будет брошена под Москву, а Ленинград будет сдан, жители смогут отступить с армией пешком. (...) наступление! Какие думы!»

Подобные слухи омрачали и без того мрачную жизнь блокадников.

Тем временем армия и Балтийский флот делали все, чтобы оснастить, обеспечить связью, транспортом, ремонтом ледовую дорогу через Ладогу. К озеру подтянуты были специальные части — зенитная артиллерия, истребительная авиация, дорожные полки, мостовые батальоны, санитарные службы. 22 ноября 1941 года ледовая трасса была опробована. Впоследствии ее назовут «Дорогой жизни». Первые недели жизнь ее еле разгоралась. По слабому льду осторожно тянулись лишь санные обозы. Позже двинулись первые машины, но они быстро выходили из строя... Да и подвозить грузы было трудно к озеру: 8 ноября немцы заняли Тихвин и последняя железная дорога че-

рез Вологду, Череповец, Тихвин и Волхов была отрезана. Только в декабре, когда войска Волховского фронта освободили Тихвин, можно было восстановить железную дорогу и подвести ее непосредственно к восточному берегу Ладожского озера. Теперь можно было везти грузы прямо к ледовой дороге.

До этого, сентябрь и октябрь 1941 года, крохотный ладожский флот (несколько буксиров, катеров и баржи) решал непосильную задачу — доставлять в Ленинград продовольствие, снаряды, боеприпасы, горючее, смазочные масла, эвакуировать людей. Осень выдалась штормовая, перевозки часто приостанавливались, а в двадцатых числах октября поднялась такая волна, что навигация полностью прекратилась. До 20 ноября 1941 года только отдельные суда прорывались в Ленинград. Доставка продовольствия самолетами также была прервана: все самолеты по указанию Председателя Государственного Комитета Обороны использовались для боевых заданий — шло сражение за Москву. Об этом пишет в своих воспоминаниях А. И. Микоян. Воспоминания его, опубликованные в «Военно-историческом журнале», рассказывают, как организовывалось снабжение Ленинграда продуктами из глубины страны, как доставляли продукты к «Дороге жизни». А. И. Микоян приводит одну из причин тяжелого продовольственного положения Ленинграда:

«В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И. В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.

Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.

Я объяснил, чем это вызвано, добавив, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия»¹⁵.

Дневник Юры Рябкина:

«28 ноября. Был в тубдиспансере. Меня отправили на рентген и на анализы. Что будет дальше — не знаю.

Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ирину карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет... Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги. Сегодня дневная тревога опять продолжается что-то около трех часов. Магазины закрыты, а где мне достать картофельной муки и повидла? Пойду по окончании тревоги порыскаю. Насчет эвакуации я потерял надежду. Все это одни лишь разговоры... В школе учиться брошу — не идет учеба в голову. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые И. Каждый день так удивительно похож на предыдущий однообразностью, мыслями, голодом, бомбежкой, артобстрелами. Сейчас выключилось электричество, где-то, я слышу, жужжит самолет, бьют зенитки, а вот дом содрогнулся от взрывной волны разорвавшейся

¹⁵ «Военно-исторический журнал», 1977, № 2, стр. 45—46.

неподалеку бомбы... Тусклая, серая погода, белые, мутные, низкие облака, снег на дворе, а на душе такие же невзрачные серые мысли. Мысли о еде, о тепле, об уюте... Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г. в день), но ни одной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод, стынут руки, замерзают ноги...

Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку — ну ладно, пожертвую ею для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской (...), а я уж как-нибудь... Лишь бы вырваться отсюда... Лишь бы вырваться... Какой я эгоист! Я очерствел, я... Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел, как мама делит кусочек конфетки (...) и Ирой, поднимаю ругань из-за каждого кусочка, крошки съестного... Кем я стал? Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, хватило бы для меня, но это не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы. Только до одного я бы не дошел — не изменил бы. Это я знаю твердо. А до всего остального... Больше не могу писать — застыла рука».

Ирина карточки

Читать подряд дневник Юры Рябинкина тяжело. Не хватает воздуха. Пространство слишком замкнуто, он и сам это чувствует. Блокада отрезала не только город от страны, она блокировала многие семьи, прервались обычные связи — с работой, с друзьями, с миром. По Юре видно, как он переставал ощущать общий ход войны, ярость борьбы, которая нарастала, помогала забывать о лишениях. По мере того как погружаешься в чтение Юриного дневника, времени вместе с ним теряешь ощущение той силы самопожертвования и ненависти, которая владела тогда народом. Бесполезно искать на страницах дневника хотя бы слабое отражение того глубочайшего перелома, что произошел на всех фронтах после разгрома немцев под Москвой в декабре 1941 года.

Один из нас воевал в эти зимние месяцы 1941/42 года на Ленинградском фронте и помнит огромное моральное впечатление от той первой нашей победы.

Мы сидели под Пушкином. Отдельный наш артиллерийско-пулеметный батальон занимал участок за железной дорогой, на голой заснеженной низине. Участок был слишком велик для батальона. Пополнение почти не поступало. Порой во взводах оставалось пять — семь человек. Не хватало людей стоять на постах, боевое охранение не удавалось подменять. А надо было каждый день чистить от снега ходы сообщения. И окопы. И расчищать сектор обстрела. Надо было где-то добывать дровишки, таскать их в землянки, топить печи, чистить оружие, поскольку мы еще к тому же стреляли, стояли на постах, волочили раненых за насыпь железной дороги... Кроме всего этого, мы ползали на рассвете на нейтралку добывать из-под снега капусту, потому что были голодны. Каждый день кого-нибудь отправляли в госпиталь — или обморожение, или отечность.

Теперь уже не понять, как мы могли держать оборону, и ходить в разведку, и даже пытаться отвоевать высоту. В сущности, мы тоже жили в очень ограниченном пространстве — взводная землянка, боевое охранение, слева подбитая, горелая, занесенная снегом полуторка, невеста как оказавшаяся посреди поля, справа вдали Пулковская гора, а ближе — кусты. Впереди же, прямо перед нами — Пушкинский вокзал, а в бинокль виден дворец. Вот и весь наш пейзаж, наш фронт, наше поле боя. Мы мало знали о том, что происходит на соседних

участках. Но зато совсем рядом сидели немцы, уж их-то мы изучали, их знали и видели, местами окопы наши так сближались, что слышно было, как они разговаривают, как звякают термосы. Когда нашим снайперам удавалось подстрелить какого-нибудь фрица, мы слышали их крик и ругательства.

Впереди были немцы, а позади был виден Ленинград. В чистом воздухе силуэт города проступал четко со всеми шпилями, куполами, трубами, словно вырезанный старым мастером по краю земли между белыми ее полями и синим небом. Ночами багровые отсветы пожаров выедали город. Днем над нами с мягким шелестом пролетали снаряды. Небо было чисто, но мы слышали их невидимый ход, и затем с запозданием до нас долетали глухие ахи разрывов. Немцы обстреливали город по расписанию, и по расписанию на город летели бомбардировщики. Они возвращались над нами. Когда-то мы от бессильной ярости палили в них из винтовок, стреляли бронебойными, били из противотанковых ружей в надежде попасть в какую-нибудь незащищенную, уязвимую точку. Это было давно. Теперь мы поуменьли, да и берегли патроны для дела. Мы просто следили, как над городом начинали хлопать зенитки и как шла бомбежка. Черные столбы дыма медленно поднимались, искажая чистый профиль. Мы пытались угадать, какой район города бомбили.

Мы ничего не могли поделать, единственное, что мы могли, это не смотреть назад, на Ленинград. И в город мы не стремились. Хотя нас и не очень пускали. Я, например, был там в ту зиму один раз, и мне этого хватило. Но все равно мы постоянно ощущали за нашими спинами присутствие, неровное, еле слышное дыхание этого города.

Ни на каком другом фронте такого не было.

С того дня как мы узнали про разгром немцев под Москвой, у нас все переменялось. Воевали мы еще плохо, здесь, на Ленинградском фронте, в декабре — январе наступление срывалось, из всех попыток мало что выходило, мы еще не могли вести наступательные бои. Но зато мы почему-то точно уверились в том, что Ленинград немцам не взять. Не потому, что у них не хватает сил, а потому, что мы им не дадим. Странная эта, казалось, ни на чем не основанная уверенность охватила нас в декабрьские дни, дни нашей слабости, голода и малолюдья. Может, это как-то было связано и с тем, что в двадцатых числах декабря к нам в части, на передний край, приехала делегация ленинградских работниц вручить подарки. Может быть, начальство решило, что наш боевой дух поможет ленинградцам, а может, командование хотело воодушевить нас — не знаю. Делегация дошла до нашей роты в виде трех женщин. Все три были замотаны платками, шарфами, подпоясаны ремнями, шнурками. Когда в землянке они наконец освободились от своих одежек, то стали тоненькими девицами, можно сказать даже костлявыми, судя по торчавшим ключицам и скулам. Землянка была жарко натоплена, мы входили и получали из их рук носки, кисеты, рукавицы. Платица на их иссохших плечиках свободно болтались, были слишком просторны, но каждая казалась нам милой. Они появились у нас вечером, когда стемнело. Через час старшина принес нашу кашу. Котелок каши с солониной и кусок сахара — это был наш обед, он же и ужин, из него кто мог оставлял себе завтрак, был еще хлеб и сухарь. В тот вечер кашу мы разделили с гостями, то есть фактически скормили им, так что каждой досталось почти по две порции. Потом Володя сыграл им на гитаре, они рассказали нам про то, как шьют на фабрике белье, и потом они улеглись спать. На самом деле они стали клевать носом сразу как поели. Они устали от дороги, а главное, их сморило от еды и тепла. Спали они на наших нарах. Приходили из соседних взводов, заглядывали в нашу землянку — удостовериться. Казалось, годы миновали с тех пор, как мы видели женщин в платьицах. Но какие, это были женщины — худые, изможденные, подурневшие! Теснясь в дверях

землянки, солдаты смотрели на спящих с чувством, в котором не было ничего мужского, а была лишь жалость. Но, может, в этом и было мужское чувство. Эти три женщины были для нас как Ленинград...

Их разбудили под утро, чтобы затемно они могли выбраться. Они еще хотели спать, уверяли, что никогда еще за эти месяцы не спали так спокойно, как у нас на передовой.

Вместе с лейтенантом я провожал их до КП. Мы шли, ориентируясь на багрово-золотые пятна пожаров. Одинокий прожектор шарил по низкому небу. Лейтенант приглашал их следующей зимой в ЦПКО на каток. «Узнаете меня по вашим рукавичкам», — шутил он. Я смеялся вместе с ними и вдруг понял: немцам в город не войти, а теперь все дело в том, когда мы сможем их отбросить.

Юре Рябинкину неоткуда было почерпнуть это ощущение. В том-то и заключалась мука, постигшая многих ленинградцев в ту зиму среди их разрушенного существования.

Он умоляет, чтобы ему отдали Ирину карточку. Всего лишь поменяли бы на его карточку, чтобы вместо липких 150 граммов хлеба получать 100 граммов сухого, называвшегося печеньем (его иногда выдавали детям). Юре кажется, что это «печенье» его спасет.

Но при всем при том ясно высвечивается кардиограмма его терзаний: страшно лишиться карточки, понимает, что не имеет права на карточку, но отдать не хочет, будет на коленях просить — это при его-то самолюбии! — умолять отдать карточку, через несколько строк опомнился, усомнился в себе (отдам, пусть хоть Ира останется жива) и, опомнясь, вдруг увидел себя, и ужаснулся (кем я стал!), и кается, кается: оказывается, все же не удержался, потихоньку тащит чужое — лазал ложкой в кастрюлю, таскал масло, капусту, — он признается, называет все свои поступки, малые, но ужасающие его, он грызет себя, боится себя, боится потерять все моральные преграды — стать вором, грабителем, — воспаленная совесть предчувствует бездну, мечется в тоске и страхе оттого, что не хватает сил удержаться, остановиться...

А назавтра все же просит Ирину карточку. И, может быть, умоляет, требует, может быть, в стыде унижений, потому что сцена была бурная: непросто матери выбрать между двумя своими детьми. Карточку ему дали, а в карточке-то на два дня хлеба, потому что конец месяца, а через два дня новая карточка, декабрьская, и снова мучение, дадут ему или нет.

Все это прочитывается в дневнике, может, и нет нужды комментировать, вмешиваться, подсказывать читателю, но это одно из тех мест, где у нас не хватает сил промолчать.

«29 ноября. Две вчерашних новости. Первая — письмо от Тины, написанное ею по дороге в Сибирь из г. Буя, где в гражданскую войну умер от тифа мой дед. Пишет, что состояние удовлетворительное (значит, хорошее), едет далеко, далеко. Письмо было написано в конце октября. Вторая новость — это то, что мама решила во что бы то ни стало эвакуироваться из Ленинграда. Хоть пешком. Но это только еще словесное решение. Мне надо опять ходить в школу, т. к. из Ленинграда разрешается эвакуироваться только учащимся. Заодно мне придется заплатить за учебу 100 рублей.

Положение Ленинграда я лично считаю крайне тяжелым. Отсутствие продуктов, беспрестанная орудийная стрельба по всем районам города, да мало ли чего еще... Но, в общем, я считаю, что положение с эвакуацией начинает более-менее проясняться, хотя на это прояснение понадобится еще месяц-полтора.

Подбираю, подбираю, это взять с собой. Я твердо решил захватить с собой, поскольку это будет возможно, портфель со всяким моим «хламом» — 2 книги по шахматам, английской немного литературы, «Историю дипломатии», несколько исторических карт, лучшие

открытки из коллекции, два-три учебника 9-го класса (например, «Основы дарвинизма», «Литература», «История», «География» или даже без последней).

Как хорошо забыться в таких сладостных мечтах, как эвакуация, но холод вернет к действительности.

Меня поражает перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, вчера она дала нам тарелку пшеничной каши и блюде сухарей, не взяв за это ничего. Часто приносила из столовой треста какао, теперь оно исчезло. Сегодня я ей достал повидла, она дала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствую ее помощь. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружились с нею. Впрочем, кто ее знает?.. Ведь факт остается фактом, что на днях ее в Ленинграде уже не будет. Время позднее. Вечер. Покушали киселя из картофельной муки с повидлом, что я сегодня достал, и сухарей, что дала Анфиса Николаевна, тоже с повидлом.

Завтра Ира получает по карточке 250 г. печенья. Сколько, а! Ну что ж, пусть поест их. Пусть...

Сегодня мама сказала, что подано заявление ею на разрешение о вылете. Что выйдет — неизвестно. Надеюсь на лучшее...

В комнате Анфисы Николаевны разыгралась бурная сцена. И, ругался со своей женой о том, что она хлеб меняет для себя на водку и т. д.

Итак, сегодня 29 ноября. Вечером написал мало, хочется спать и не хочется идти в холодный коридор. И так хочется есть... Еще неделька — и я не потяну ног.

30 ноября. У мамы настроение явно эвакуационное. Вчера она много толковала об эвакуации с Анфисой Николаевной. Та ей дала, вернее, пообещала дать адрес своих родителей, живущих у Златоуста. Хоть это и не хлебный район, но голод там, вероятно, все же не такой, как здесь. Но все зависит от резолюции, которую поставят на мамино заявление. Это ясно. Ответ должен быть самое позднее через неделю.

Анфиса Николаевна дает нам каждый день штук восемь сухарей, сегодня дала кусок конины и бутылку растительного масла. Спасибо ей за это все.

Аккуратно в 12 дня и в 00 минут немцы начали опять налет. Опять и бомбят с воздуха и одновременно обстреливают с батарей город.

Я начинаю припасать деньги. Сейчас у меня 30 рублей, из которых легально я имею 10.

Итак, до решения нашей судьбы остаются считанные дни. В случае невылета пойдем пешком. Идти километров сто, но как-нибудь пройдем.

Мечта мамина сейчас — это порвать с шумной городской жизнью, поселиться в каком-нибудь районном селе, где была бы десятилетка для меня, обзавестись хозяйством, избой, дать мне сельскохозяйственный уклон и дожить свою жизнь в тишине и уюте, как Тина. Мама устала от жизни. Ее тянет к себе такая, например, жизнь, какую вела Тина в Шлиссельбурге, мирная, спокойная жизнь без всяких передряг и бурных переживаний... Но, быть может, я ошибаюсь и это лишь временный порыв у моей матери. Впрочем, такие же мечты, я помню, она имела в Сестрорецке, имела на Всеволожской. Жизнь среди природы, но эта жизнь требует... Но ладно, сейчас не до того. За окном бьют зенитки, взрываются бомбы, не до таких мыслей мне теперь.

Сегодня, между прочим, мама мне говорила, что голод, который мы переживаем, хуже того голода, какой был в 1918 году... В 1918 году — по словам мамы — было в высшей степени развито так называемое «мешочничество». Люди ездили в дальние деревни, там доставали хлеб, муку, масло, возвращались в Петроград и продавали из меш-

ков все эти продукты, разумеется за баснословные деньги. Но имевший тогда деньги был сыт, а сейчас может человек обладать миллионными, но, потеряв продовольственные и хлебные карточки на месяц, он неминуемо умрет с голоду, если только он уж не какой-нибудь феноменально предприимчивый человек.

На фронтах лучше... Немецкие войска в беспорядке отступают к Таганрогу. Мы преследуем их.

Итак, начинается разгром Германии. И под Москвой, и под Ростовом, и под Ленинградом. Чтобы поскорее лопнула бы эта фашистская свинья, черт бы ее побрал! Но когда она лопнет, то от нее повеет такой смрадный дым, что никого в живых не останется.

Завтра надо идти в школу. Обязательно. Если дело коснется эвакуации, то меня выпустят из города лишь в случае, если я буду учащимся. Поэтому необходимо посещать школу.

Как бы я сейчас поел хлеба... Хлеба... Хлеба...

1 декабря. Наступил новый месяц. Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе в 8 ч. утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без двадцати 10. Я пошел домой. Зашел в столовку треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 г. кондитерских изделий. Пошел домой. В половине десятого хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается, 10 часов уже, наверное, было.

Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые, тяжело подняться со стула, во всем теле слабость. И часов до 6—7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала, я его поискал и не нашел, а сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще часа 2, в школу не пойду. Какой смысл? А впрочем, следовало бы. Захватчу с собой лишь часть учебников.

Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10 часов утра, вернее с половины десятого. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть?

Хочу все же подытожить, чему научили меня ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. Прежде всего в ноябре началась учеба в школе, которая разбила все мои стремления к знаниям из-за той обстановки, в которой велась. И вот я покончил, казалось, со школой. Перешел в каждодневные мытарства стоянки по очередям. Сразу все мои идеалистические воззрения заменились материалистическими. Основное требование жизни за месяц осталось то же — еда

Надо сказать, что продовольственное положение в день 30 октября у нас было хуже, чем 30 ноября. Но вместе с тем безусловно требования к еде остались прежними. «Что только есть съедобного — все в рот». Вот лозунг, к которому скоро можно будет прибавить частичку «не» к слову «съедобного». Надежды остались прежними, подкрепилось, правда, несколько теперь их материальное обоснование. Если эвакуация 30 октября казалась чем-то отвлеченным мне, то сейчас это вопрос недели... Итак, за истекший месяц можно сказать, что этот месяц, месяц страданий и слез, семейных ссор и голода, вымогал из меня половину тех сил, которые были у меня перед ним. Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийских обстрелов, не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь.

Произошло 2 положительных явления за ноябрь. Переменились отношения с Анфисой Николаевной, которая, думая эвакуироваться на днях, дает нам немало по нынешнему положению продуктов бесплатно и не в обмен. Другое положительное явление, это эвакуация Тины в Сибирь с ее эвакуопунктом из Бокситогорска. Последнее пись-

мо ее, полученное нами на днях, говорило, что она едет в поезде через г. Буй, который находится в Ярославской области.

Все мои надежды поставлены как будто бы на кончик ножа и держатся в некотором колебании. Какой-то будет ответ на заявление мамы о вылете? На всякий случай следует подготовиться к эвакуации пешком. Хотя и ходят слухи о подобной эвакуации, она сейчас идет стихийно и неорганизованно. Толков об этой эвакуации много. Говорят о каких-то питательных пунктах в дороге, о подвозе детей на грузовиках и т. п. Но чего не выдумают люди! Интересный факт. Позавчера в очередях появились толки, что на 11-разовый детский талон дадут 250 грамм печенья. Вчера, пока я стоял в булочной, десятки людей засыпали продавцов вопросами: «Дают ли на 11-й талон печенье?» — и, разумеется, получали отрицательный ответ».

Начиная с сентября, когда доставка продовольствия в город сократилась, пришлось выпекать хлеб с примесями. Добавляли овсяную муку, ячменную, отруби, жмыхи. Но и эти продукты кончались. Ученые искали заменители, которые можно было добавлять в муку и увеличить припек хлеба. Припек, то есть та прибавка в весе хлеба, какая происходит после выпечки. Под руководством В. И. Шаркова, профессора Лесотехнической академии, ученые предложили использовать целлюлозу, ту самую, что шла как сырье для изготовления бумаги. Они создали установку для переработки этой целлюлозы в пищевую. С конца ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель.

«Мы получали массу немного серого цвета. После того как отпрессуешь ее на фильтрах, получится пласт такого вещества с влажностью сорок процентов. Хлебозаводы брали этот материал, разбавляли муку, делали хлеб,— рассказывает Дмитрий Иванович Сорокин, завпроизводством завода. — Мы, командный состав предприятия, тогда в снабжении ничем не отличались от рабочих. Я получал только одну рабочую хлебную карточку, ничего больше. Единственный был случай, когда у подшефных минометчиков убило лошадей, они прислали нам кусок, и наша завхоз, полторы недели экономя, давала нам вечером тарелку супа. Нам четверым — директору завода, профессору Шаркову Василию Ивановичу, главному инженеру Мельникову и мне. А других добавок не было».

Хлеб получался сырой, глинистый, с горьким травяным вкусом, но как радовались ему хлебопеки, тот же Василий Иванович Шарков, его сотрудники — они-то знали, каких мук, усилий ума стоило создать этот хлеб. Все же это был хлеб! Декабрьский, январский хлеб — горе и счастье Ленинграда...

Спаси детей

Тяжелее, чем Г. А. Князеву, тяжелее даже, чем Юре Рябинкину, приходилось в эти дни Лидии Охалкиной. Она боролась не за себя. Сына и дочь, двоих маленьких беспомощных детей, надо было отстоять от голода и мороза. Чем? Как? Что она могла в декабре, в январе, когда ничего уже не оставалось, ни крошки, все, все было подобрано, по всем углам высмотрено, по всем щелям исползано, выскоблено, изглодано, изгрызено. Но то, на что способна мать, невозможно предугадать, невозможно предвидеть. Материнская любовь, самопожертвование — эти чувства, казалось бы, хорошо известны еще по библейским притчам, сказкам, легендам разных народов. Трудно тут чем-либо поразить воображение. Тем более что героиня нашего повествования Лидия Охалкина ничем специально не отмечена и выбрана была нами прежде всего потому, что все записала добросовестно, правдиво, только в этом ее отличие от других женщин, которые с не меньшим чувством и силой сражались за жизнь своих детей. Записки Лидии Охалкиной — та щель, через которую мы можем заглянуть в сокровенный мир материнской любви и самоотдачи. Эта любовь побуждала на отчаянные поиски спасительного выхода.

«По квартире бегали и пищали голодные крысы. Они грызли обои, которые раньше ведь клеились клеем, сделанным из муки, т. е. жидким тестом. В комнате у меня никакой обстановки не было. Стояли только две узкие железные кровати, на одной спал Толик, на другой я с дочкой. Да еще кухонный стол, который мне разрешила взять с кухни хозяйка. Ведь вся наша обстановка осталась там, в Волковой деревне. В квартире жила девушка Роза 17-ти лет и ее тетя. Муж этой старой женщины был профессор, и он эвакуировался с институтом, где работал, а она не поехала, боялась бросить свое добро. В комнате у них было богато. Ковры, пианино и хорошая мебель. Потом, в январе месяце 1942 года, она умерла от голода. Сколько раз она приходила ко мне и жаловалась на Розу, что та ей почти не давала хлеба. За хлебом ходила Роза, а она боялась выходить на улицу. Мне ее было жалко, но что я могла сделать? Мне своих забот хватало. От мужа я давно не получала никаких писем и не знала, где он, что с ним. Да и он не знал нашего адреса на Васильевском острове. Мне думалось, что мы уже никогда не увидимся. Но думала я как-то об этом без особой щемящей боли, так как думала — все равно уже скоро умрем от голода.

...Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми, так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут дико плакать, звать: «Мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате. Ниночка моя все время плакала, долго, протяжно и никак не могла уснуть. Этот плач, как стон, сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях молока давно не было, да и грудей совсем уже не было, все куда-то делось. Поэтому я прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала. А я долго не могла заснуть, начинала считать цифры, сбивалась. Вспоминала, когда читала Л. Толстого «Война и мир», там Пьер Безухов тоже считал до тысячи, чтобы уснуть. А я сбивалась, все думала, где бы достать еды, хоть что-нибудь. Мне все мерещились то буханки хлеба, то я собираю в поле картошку. Наберу целый мешок, а унести не могу. Один раз на рынке-толкучке мне удалось с рук купить столярного клея. Из него тогда варили студень. Вот я тоже варила и ела. Давала Толику. Ниночке боялась. Но от клея у нас стали запоры, и я перестала его варить. Другой раз мне удалось купить кожу свиную. Она была по-вкусу, но ее надо было варить долго, чтобы она размякла, а я жалела керосин, его у меня оставалось немного.

...В квартире был страшный холод, на стенах иней, как бывает в сараях зимой. Когда мне нужно было перевернуть Ниночку, чтобы ее не простудить, я подлезала под одеяло и подсовывала сухую пеленку, а ту бросала на пол, и она вскоре замерзала, как замерзает белье мокрое на улице. У меня не было градусника, но температура воздуха была определенно минусовая. Я уже настолько похудела, что на ногах совершенно не было тела. Грудь, как у мужчины, одни соски. Скулы на лице обтянулись, глаза ввалились. Дети тоже были очень худые, и у меня замирало сердце, когда я видела их худенькие ножки и ручки и маленькие прозрачные лица с большими глазами. Не было совершенно дров. Не на чем было разогреть воду или что-нибудь сварить. Роза мне сказала, что у них в подвале имеется немного угля, но ходить туда страшно, так как туда сваливают покойников. Я сказала — ничего, надо все равно сходить. Мы взяли ведра и пошли. Там действительно лежало несколько трупов. Мы старались на них не смотреть. Скорей накладывали, прямо руками, и, торопясь, вышли. Света электрического тоже не было, и мы зажигали коптилки. У меня был сделан в пузырьке фитилек из ваты на машинном масле, которое я выменяла на что-то. Он плохо освещал, в комнате было темно. На стенах образовывались большие тени, а копать

тянулась тонкой нитью кверху. Воды в водопроводе тоже не было, и надо было ходить за ней на Неву. Я ездила туда с детскими санками, с ведром и кастрюлей. Воды было нужно много, так как помимо для еды нужно было еще стирать пеленки...

Я стала совершенно безразлична к воздушным тревогам, они были редкими, а обстрелы улиц производились чаще. Один раз во время такого обстрела я вышла за хлебом, потому что в это время меньше были очереди, и попала под сильный обстрел. Я хотела добежать до ворот одного дома, но как раз шла около длинного забора. Снаряды летели и разрывались совсем близко. Мне кто-то крикнул с другой стороны: «Дура! Ложись скорей, ложись!» Я упала и прижалась к стене. Потом оглянулась, встала и опять упала прямо в снег лицом. Полежала несколько секунд, сердце стучало. Я стала ползти. В общем, передвигалась, как солдаты на передовой.

...Зима 41/42 года была очень холодной. Морозы доходили до 30—40°. Я все время думала, где бы достать дров. Когда я уезжала из Волковой деревни, то шкаф для одежды я набила колотыми дровами, а под дровами спрятала патефон. Мне хотелось туда сходить, но ведь транспорт, т. е. трамвай, тогда не ходил и надо идти пешком туда и обратно, очень далеко. Я все откладывала, но как-то собралась. покормила детей, заперла их и с утра пошла. Представляете мой путь с Васильевского острова до Волковой деревни? Неву перешла по протоптанной тропинке, вышла на Литейный и все смотрела на дома, которые стояли хмурые. Многие с разбитыми окнами, темными, как глазницы. У других снарядом отбит или угол, или часть дома. А в другой жили люди. Мне попадались пешеходы. Шли все тихо, еле передвигали ноги. Все укутанные, с серыми худыми лицами, некоторые мужчины поверх шапок тоже повязывали платки.

...Да, город был ранен, как человек, побывавший в бою. Но был жив и жил трудной жизнью и не умирал, у людей была какая-то надежда, и упорство не покидало их. Ведь должен же кончиться когда-нибудь этот кошмар, этот ужас. Когда я дошла до Невского, у меня от волнения стеснило сердце, он был почти пустынным, весь завален снегом. Дома многие были полуразрушены. Окна заколочены фанерой. Стояли трамваи и троллейбусы, покрытые тоже снегом. Гостиный двор был обгорелый. На Аничковом мосту коней не было.

...На углу Лиговки и Разъезжей стоял раньше пятиэтажный дом. Он горел, но странным огнем. Горели на каждом этаже рамы и полы, огонь потихоньку вылезал из окон, как бы лизал рамы, подоконники, двигаясь так неторопливо. Ветра не было, и он синеньким огоньком не спеша ползал по дому. Люди говорили, что этот дом загорелся от буржук и горит уже третий день. У дома было набросано много разной мебели, кровати, сломанные шкафы, сундуки и т. п. Никто этот хлам уже не брал и никто его не охранял.

...Когда я наконец пришла к себе домой, увидела, что верхний этаж дома почти был сломан. Крыша его сгорела, когда я еще там жила. На первом этаже жили еще семьи, я тоже жила раньше на первом. Рядом со мной жила Мария Николаевна со своей взрослой дочерью. Они обе были очень худые, но все же выглядели лучше тех, что жили в центре. Я спросила: «Как вы живете? Значит, не уехали отсюда?» А она говорит: «Куда же? Здесь теперь лучше. Я вот накопала немного картошки за железной дорогой. Да дров здесь полно. От деревянных домов, наполовину сгоревших, можно ломать доски, бревна и топить печку и готовить. А бомбежки ведь почти прекратились». Я говорю: «Вот у меня совсем нет дров». «Так приезжайте сюда», — говорит она. А я: «На чем приезжать? Ведь нет никакого транспорта, я пришла пешком». И вспомнив это, с ней попрощалась и вошла в свою комнату. Окна — два окна — были кем-то забиты досками. Сквозь их щели пробивался снег. Снег лежал повсюду — на столе,

на кровати, диване и на полу. Сердце сжалось при виде своих вещей, и воспоминание о мирной жизни с болью нахлынуло на меня. Но некогда было вздыхать, и я стала торопиться. Взяла патефон, я хотела его потом обменять на хлеб, подобрала с пола несколько игрушек для Толика. Помню, заводного слоника и мишку, для дочки целлулоидного попугая, все связала, положила на санки, а в них немного дров. Да сняла застывший жир со стенки кухонного стола, куда мы вешали сковородку и он тогда стекал, и сразу его съела. Об этом маленьком кусочке жира я вспоминала не раз по ночам, когда очень хотелось есть и немного уснуть. Как я доехала обратно, не помню. Выбывалась из последних сил, по пути выкупила хлеб и почти весь его съела. По сторонам уже не смотрела, а тащила санки, как измученная лошадь, думая только, что меня ждут дети. Приехала, когда было совсем темно.

...Я все время ходила в валенках мужа и надевала два пальто: свое и на него еще пальто мужа. Да и все так кутались. Некоторые люди поверх пальто набрасывали на плечи какие-то стариковские шапки и даже ватные одеяла.

Когда я уходила, моя дочка всегда плакала. Чтоб она не плакала, я ей давала маленький ржаной сухарик, и она его долго сосала. И на этот раз я дала ей. Но уже запирая дверь, я услышала, что она заплакала. Это Толик отнял у нее сухарик, так как я ему не дала, потому что у меня больше не было. Я вернулась и его побила первый раз. Он громко плакал, и мне его тоже стало очень жалко. Я сказала, что если ты будешь у Ниночки отнимать, я тебя выкину на улицу. Он говорит: «Не надо, мамочка, я больше не буду». Я его поцеловала, укутала в одеяло и пошла. В этот день нам отоваривали, так раньше говорили, продукты, и на мою карточку я получила 200 грамм пшена. Детские продуктовые карточки я отдавала — прикрепляла к детской столовой, — и это нас очень поддерживало. Там я получала на двоих детей. Утром — завтрак. Очень жиденькую кашку, конечно, в мизерных порциях. А на обед какой-нибудь супик и что-нибудь на второе. Картофельное пюре или опять кашу. Если б не это, не столовские обеды, мы голодали бы еще больше. Сын все время сидел и смотрел на будильник. Я ему объяснила: вот когда будет большая стрелка на 12, а маленькая на 10, мы будем завтракать, а когда большая будет опять на 12, а маленькая на 3 часах — обедать. И он все время смотрел на часы. То пшено, что я получила по своей карточке, я разделила примерно на две части и на ужин два раза варила жидкую кашу. Один раз прихожу домой, ходила за хлебом. Смотрю, Толик сидит на полу и что-то спичкой там выковыривает. Я говорю: что ты делаешь? Он отвечает, что выковыривает пшенинки из щелей пола. Это я немного просыпала, когда варила, было темно, и вот он их доставал и вместе с грязью ел.

Я подумала: «Боже мой, какой он голодный, но что делать, чем его накормить?» Он настолько был худенький, что уже редко вставал с кровати, и все мне говорил: «Мама! Я каши бы съел целое ведро а картошки целый мешок». Я старалась его отвлекать. Пробовала рассказывать сказки, но он плохо слушал и все перебивал меня: «Знаешь, мама, я хлеба съел бы вот такую буханку, большую» — и показывал на круглый таз. Я говорила: «Нет, не съел бы, у тебя бы он не поместился в животике». А он возражал: «Съел бы, мама, съел бы. Я не спал бы, а все бы ел и ел». Выглядел он как галчонок, один рот и большие карие глаза, и такие грустные. А ножки такие тонкие, только коленная чашечка отчетливо выделялась. Волосы, давно не стриженные, отросли, он все время был лохматый. Один раз на мою карточку дали 200 грамм гороха. Я решила сварить жиденький супик. Сварила в печке и закутала его одеялом, чтобы попарился и лучше разварился. А сама вышла к соседке. Она умирала... Я постояла немного и ушла. Прихожу, смотрю, кастрюлька открытая. Я сказала Толику: «Ты

уже лазил». Он: «Я только одну ложечку, мама, только одну попробовал». Я говорю: «Ну ладно, давайте есть». И почерпнула ложкой и вынула оттуда тряпочку, которой у него были завязаны руки. Чесотка у него почти прошла, и болячки уже отваливались. Но я ему все завязывала, чтобы он не заразил ни меня, ни Ниночку, так вот он ее и обронил. Что делать? Он сразу захныкал: «Я нечаянно, мама, она сама упала». Что делать? Суп выплескивать было жалко. Так и ели... До сих пор не забуду этого случая, да и он тоже долго помнил».

В тряпочке этой натурализм, физиология, читать про нее невыносимо, и не раз поднималась рука вычеркнуть ее, удалить, как удаляли мы некоторые подробности, ужасные в своей бесчеловечности, детали и эпизоды кошмарные, которые и придумать нельзя и знать про них не хочется, ничего, кроме ужаса и тоски, они не вызывают. Но эта тряпочка при всей ее тошнотности помнилась. Она отмечала как бы уровень человеческих страданий. Нет, не уровень падения. Они не переступали нравственных понятий — переступали брезгливость, отодвинули ее, это запомнилось как отметка (вот докуда дошли), и вспоминали о тряпочке не стыдясь, не укоряя себя. До того мы голодные были, до этой тряпочки! Человек часто хранит в себе, в памяти своей, такую отметку страдания, муки, предела чувств своих, такую «тряпочку», то ли помогает она, то ли служит какой-то точкой отсчета...

С начала января 1942 года Московский горком партии и Мосгорисполком готовили колонну автобусов и грузовых машин для ледовой дороги на Ладоге. Надо было подобрать к ним опытных шоферов и ремонтников. 40 автобусов было выделено, чтобы вывозить ленинградцев, и 200 грузовых машин. Уполномоченный ГКО А. Н. Косыгин договорился, чтобы все машины шли загруженные сгущенным молоком, концентратами, маслом, сахаром, жирами. Предусмотрел и то, чтобы обеспечить эти машины запчастями, придать им ремонтные летучки. Москва давала что могла, но этого было мало. А. Н. Косыгин связался с Ярославским обкомом партии и с Горьковским. Попросил, чтобы оттуда направили в Ленинград грузовые машины с ремонтниками и шоферами. Машины следовало подвести к Ладожскому озеру по железной дороге, что тоже надо было обговорить с тогдашним наркомом путей сообщения.

«Подходили грузовые машины из Москвы, Ярославля, Горького, надо было создавать автоколонны, ремонтные службы, принимать продукты, налаживать эвакуацию,— рассказывал А. С. Богдырев.— На подходе были еще 250 грузовиков, прибыли молодые здоровые шоферы с Большой земли, по двое на машину. Автобусы оставили в Жихарева, на восточном берегу озера...»

Путь для эвакуации был один — и для станков, и для приборов, и для металлов, необходимых оборонной промышленности, и для людей: по железной дороге от Финляндского вокзала, затем автомобилями через Ладогу.

Заводы, эвакуированные на восток, нуждались в оборудовании, дефицитных материалах. Замершая промышленность Ленинграда обладала огромным потенциалом. Ежедневно А. Н. Косыгину докладывали о выявленном на парализованных ленинградских заводах: вольфрам, молибден, никель, хром, уникальные станки... Готовилась опись того, что можно было вывезти без ущерба для ленинградской промышленности.

Людей вывозить или оборудование вывозить? Так вопрос не стоял, надо было одновременно решать эти задачи, обе не откладываемые ни на час, и выбора между ними не могло быть и предпочтения не было, а возможности дороги были еще так малы...

«Мы разъехались по предприятиям,— вспоминает А. С. Болдырев,— которые были намечены к срочной эвакуации, и туда, где еще шло производство оборонной продукции — «коборонки». Часть товарищей вместе с работниками горисполкома поехали по автобусным паркам, автобазам, чтобы выявить, где есть машины, водители, определить, как использовать их для массовой эвакуации населения.

Вместе с А. Н. Косыгиным мы поехали на Кировский завод, затем на «Электро-силу», потом на Финляндский вокзал.

Мы поднялись на чердак одного цеха, где был устроен НП. Отсюда в полевой бинокль можно было рассмотреть немецкие укрепления и самих немцев. У них было тихо. Наши тоже не стреляли. Однако на территории завода следовало передвигаться осторожно. Заводской двор простреливался снайперами. Зашли в профилакторий. Там лежали рабочие, пораженные дистрофией. Это было единственное место, где было тепло. Большим давали усиленный паек. Разговор пошел об эвакуации. Пожилой бригадир сборочного цеха сказал: «Вывозите лучше детей, женщин. Мы здесь, как вы видите, на фронте. Нам одно надо — чтобы скорее нас на ноги поставили, чтобы могли воевать».

Из докладов побывавших на предприятиях картина складывалась невеселая — автомобильный транспорт не был подготовлен к массовой эвакуации людей. На железнодорожном транспорте не были готовы паровозы. Не было угля. Не было воды. Машинисты, да и остальные работники дороги из тех, кто остался жив, были истощены, многие не могли работать».

21 января Алексей Николаевич Косыгин доложил Военному совету фронта свои соображения о массовой эвакуации. Вечером он позвонил в Москву Сталину, сообщил, что Военный совет согласился с предложением эвакуировать в ближайшие три месяца полмиллиона человек. На следующий же день ГКО принял решение об эвакуации 500 тысяч человек из Ленинграда.

А. С. Болдырев вспоминает:

«Мы с А. Г. Карповым стали готовить первую колонну автобусов. Вместе с ней мы должны были поехать через озеро. Задумано было провести пробный рейс с эвакуированными сразу из Ленинграда до Борисовой Гривы. Это было бы удобно и людям — для пересадки, перегрузки. Но мы убедились, что массовая отправка людей таким способом нереальна — слишком плохая дорога, автобусы изношены, люди в таком состоянии, что не выдержат».

Оставалась железная дорога. Военный совет разрешил выдать усиленное питание машинистам, поезднему составу, стрелочникам, ремонтникам. Нужно было в сверхсжатые сроки отремонтировать паровозы и вагоны

Немедленно стали подвозить топливо к Финляндскому вокзалу — уголь, дрова для паровозов и печурок, чтобы отапливать вагоны. Надо было организовать заправку паровозов. Водопровод не работал. Решили использовать пожарные цистерны. В них набирать воду из Невы и подвозить к паровозам. Все это добывали, организовывали, налаживали не то что неделями, а сутками, счет шел на часы. Все понимали, что каждый день уносит жизни тысяч ленинградцев. Буквально за ночь был разработан график подвоза эвакуированных на вокзал, порядок посадки. Создали систему питания в пути, медицинской помощи. Договорились с наркомом путей сообщения срочно доставить самолетом в Ленинград четыре бригады машинистов, составителей поездов и ремонтников».

В Москве действовал Совет по эвакуации. Этому Совету поручено было заняться размещением эвакуированных в городах, в частности в Вологде...

Лидия Охапкина:

«Вскоре как привезла патефон, я повесила у булочной объявление, что продаю патефон на хлеб. На следующий день пришел один военный и принес целую буханку хлеба. Я просила еще хоть немного. Он сказал: «С удовольствием, но, к сожалению, у меня нет». Я отдала ему еще несколько пластинок, что у меня были. Вскоре я повесила объявление, что продаю ручную швейную машинку. Я ее еще

привезла, когда нас перевозили в сентябре месяце. Вскоре пришла женщина и предложила мне не целую буханку, а чуть побольше половины. Мне очень было жаль машинку, но что делать, я отдала. Эта женщина выглядела не очень изморенной. Я спросила, где она работает. Она ответила: «А вам какое дело?» Вот как дорого ценился хлеб. А на одежду хлеба не меняли. Она никому не нужна была. Мне менять больше было нечего.

В конце декабря 41 года я встретилась с одной молодой женщиной, когда мы стояли в очереди за хлебом, она вызвала меня из очереди и попросила, чтоб я ей выкупила хлеб, так как она стояла далеко, а я ближе. У нее тоже были три карточки — две детские и иждивенческая, как у меня. Сделать это надо было одним весом, так как два веса в одни руки не давали. Я согласилась, выкупила, хлеб разделили пополам. Потом мы разговорились. Она жила тоже на 14-й линии Васильевского острова, муж у нее тоже был на фронте. Она сказала, что у нее есть еще дрова (а у меня уже не было), и предложила к ней переехать. Я согласилась и в этот же день перетащила ребят и необходимые вещи. Она была очень нетерпеливая и, когда получала хлеб, сразу его съедала. А я делила на три части, чтобы есть его утром, днем и вечером. В столовую за обедом мы ходили вместе, а за хлебом по очереди. День она, день я. Один раз я схватилась к вечеру, смотрю, моего хлеба нет. Хлеб я свой клала в маленький портфельчик и высоко его вешала над диваном, на котором мы спали все трое. Толя достать не мог. А вешала я его туда, потому что крысы где угодно могли его найти и съесть. Я спросила: зачем ты взяла мой хлеб? Она отказалась.

Вскоре один ее ребенок — девочка — умер. В конце января месяца, 27-го числа, до сих пор помню это число. Женя, так ее звали, пошла за хлебом, а я осталась с детьми и на железной печке, которую мы купили в обмен на хлеб, кипятила воду. Часа через два она приходит и говорит, что потеряла мои карточки. Я даже побледнела от расстройства и говорю: так как же мы теперь будем делить хлеб? А она сказала, что никак. Ты меня прости, говорит, но из-за тебя умирать я не собираюсь. У меня, правда, осталась одна детская, так как мы хлеб брали вперед и я оставила на 31 января хоть одну карточку. Я говорю: «Дай мне хоть одну. Ведь это же нечестно, что ты будешь жить на три вдвоем, а я на одной втроем». Она отказалась. Тогда я сказала, что ухожу от нее. Она: «Ну и уходи!» И вот я снова перетащила ребят и свои вещи в свою холодную комнатушку, узкую как гроб. В квартире никого не было. Роза, как я уехала к этой женщине, тоже куда-то ушла. В комнате у нас был невыносимый холод. На стенках иней, на подоконнике снег. Боже, думала я, как жить в таком холоде, да еще пять дней почти без хлеба. Я вошла в комнату к бывшей профессорше, взяла у нее два стула, сломала их и затопила печку. Потом побежала в подвал и нагребла еще немного угля. Сбежала в столовую за обедом. Ночью я не могла уснуть. Тяжелые мысли о смерти меня преследовали. Я чуть с ума не сошла от дум и горя. Пять дней без хлеба. Когда и так его не хватает. Я встала и бросилась на колени и стала молиться, молиться со слезами. Иконы не было, да я и не знала ни одной молитвы. Дети мои были некрещеные, да и сама я не верила в бога. Правда, во время тревоги я иногда мысленно шептала: «Господи, спаси, не дай погибнуть». Но в этот раз я к богу обращалась с другой просьбой и с другими словами. Я горячо шептала: «Господи, ты видишь, как я страдаю, как голодна и как голодны мои маленькие дети. Нет больше сил. Господи, я прошу, пошли нам смерть, только чтоб мы умерли сразу все. Я не могу больше жить. Ты видишь, как я мучаюсь. Господи, пожалей ни в чем не повинных детей» — и тому подобные слова.

...На следующий день во входную дверь кто-то стал стучать. За хлебом я не пошла и была как раз дома. Я побежала и спросила кто.

Мужской голос спросил, здесь ли живет Лидия Георгиевна Охупкина. Я впустила его. Это был посланец с фронта, от мужа. Он передал мне небольшую посылочку и письмо. Вася писал: «Милая Лида...»; прочитав только это, я заплакала и сказала: видел бы, какая стала его Лида. Дальше он писал, что посылает один килограмм манной крупы, один килограмм риса и две пачки печенья. Я почему-то читала вслух. Толик после слова «риса» жалобно пропищал: «Мама, свари кашку, только погуще». Это дословно его слова. Военный, он был лейтенант, вдруг стал громко сморкаться и вытирать слезы, которые у него показались, глядя на всех нас. Он сказал: «Это ужасно, когда так голодают дети. Мы вас вывезем, потерпите еще немного. Я расскажу вашему мужу о вас. А они, т. е. фашисты, за все заплатят. За все ваши слезы, за то, что вы так голодаете, за все».

Я только один раз сварила кашку погуще, как просил Толя, а потом опять стала экономить. Но как ни тянула, все скоро съели. Да к тому же не было дров и мы просто замерзали. Дома я была в пальто и валенках. Дети тоже одеты в зимних пальтишках и укрыты ватными одеялами.

Как-то пришла Роза и сказала, что в райисполкоме дают ордера на дрова. И в первую очередь тем, у кого есть дети. Я сразу пошла, и мне дали ордер на один кубометр дров. На другой день попросили у дворника санки, и мы с Розой поехали. Дрова где-то были за Смоленским кладбищем.

Мы с большим трудом, по полену, втащили дрова на кухню. Они были метровой длины. Сразу же растопили печку. Она топилась из коридора, как раз выходила в нашу комнату и в Розину. Она еще мне дала для растопки несколько книг из профессорской библиотеки. Первый раз у нас было так тепло. Я очень устала и хотела спать. Трубу закрыла немного раньше, отдушину в комнате открыла. Мы все страшно угорели. Я проснулась оттого, что дочка заплакала. Голова трещала. Я встала, покачиваясь, и упала. Но, падая, я как-то открыла дверь. Из коридора пошел прохладный воздух. Я лежала без сознания, сколько минут — не помню. Затем как будто кто-то меня толкнул. Дети, как они? Я, шатаясь, схватила дочку, она молчала и чуть дышала. Отнесла ее на кухню, затем взяла Толика, из последних сил перетащила его и сама села возле них. Мы все чуть не умерли от угара. Толя долго был без сознания. Мы опять стали голодать, кончался уже февраль 1942 года. Посылочку мы давно уже съели. Мне Толик предлагал не раз: «Мама,— говорил он,— давай сделаем опять угар и умрем. Будет вначале больно головке, а потом и уснем». Слышать это от ребенка невыносимо. Уже который раз он мне предлагает, чтобы его или убили, или уморили угаром».

Лидия Охупкина продолжала бороться за жизнь своих детей. Она даже мысли не допускала, что имеет право выбирать, кого из детей спасти, кем пожертвовать, а подобные случаи тоже бывали; такой вопрос она отвергала, хотя понимала, что могла погибнуть сама и тогда погибнут оба ребенка, что двоих ей не вытянуть, не отстоять. Все понимала и продолжала бороться. Материнское чувство было сильнее логики.

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, рассказывал о людях, которые теряли карточки и погибали на глазах у всех. И логически поведение окружающих было объяснимо, оправданно, так как каждый сам находился на грани смерти. Но вот подобная же история с потерянными карточками произошла в Радиокomitee, о чем рассказал Георгий Пантелеймонович Макого nenko. Ольга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи — работника радио, потерявшего карточки, — не выдержала и отдала ему свою, хотя сама уже страдала дистрофией. То есть человек взял и отдал другому, малознакомому и даже мало-

интересному ему человеку свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реальность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей помогать продержаться до конца месяца. И помогли...

И это тоже правда блокады. Не отменяющая ничего другого, но всему придающая иное звучание — возвышенно-трагическое. Человек способен на многое, на очень многое, но как это горько, что жизнь снова и снова требует от него немислимых жертв.

На что опиралась душа

Ольга Федоровна Берггольц никак не мотивировала свой поступок. Благородство не нуждается в обоснованиях. Обоснования нужны подлости, низости, даже слабость часто драпируется под необходимость, а уж всякая корысть, эгоизм и тем более бесчестье — все они убедительно красноречивы, у них множество причин, они привлекают в оправдание и психологию, и экономику, и историю.

Удивительно, как блокада срывала все драпировки, раздевала человека, беспощадно высвечивала в каждом все в нем заложенное.

Стоит продолжить рассказ Г. П. Макогоненко, активного тогда работника ленинградского Радиокомитета. Рассказ этот интересен и значителен и по тем событиям, о которых в нем говорится, и по отношению автора к происходящему.

«— Радиокомитет эпохи блокады — это сотни людей, которые своей работой обеспечивали духовную пищу города. Это учреждение, которое непрерывно работало, оно не знало остановки. Там были разные люди. Среди них был один очень хороший человек, мой старый друг, мы вместе с ним учились, человек ясного ума, честнейший, образованный, обаятельный. В нем было сочетание университетского образования с хорошей рабочей закалкой. Это рубаха-парень, это рабочий парень и это очень тонкий философ, это изящный ум, это обаятельный человек. Он сделал очень много для ленинградского радио. Я не буду говорить более конкретно о нем только потому, что, если буду называть его реальные дела, станет известна его фамилия, а мне бы не хотелось, чтобы она связывалась с данной историей. Я хочу использовать случай с ним лишь как пример того, что делала блокада, какие устраивала испытания, проверки людям. Еще и еще раз я хочу сказать, чтобы поняли вы и все, кто будет думать об этом, что это был редкостный, кристальной честности человек. Он, помимо всех прочих своих качеств, был влюблен в Ольгу Федоровну Берггольц — без какой-либо надежды. Знал, что у нее муж, которого она любит, который болен, но он просто любил ее, ничего не требуя. Эта любовь проявлялась в его необыкновенной нежности в отношении к ней, деликатности, в его внимании, которое так подкупало Ольгу Федоровну. И вот — роковое испытание!

Четвертого декабря сорок первого года я простился со своими товарищами, ибо рано утром пятого уезжал на ту сторону кольца по приказу политуправления. Я простился со всеми. Но так случилось, что документы, предписывавшие мне выезжать пятого, я получил только в десять часов вечера в Смольном и вернулся оттуда только в одиннадцать. А на всякий случай с Ольгой Федоровной я простился раньше. Она уже ушла (она тогда еще не жила в Доме радио). У меня срок командировки — две недели, но у меня карточки и эти карточки нужно отдать Ольге Федоровне, потому что она последнее из своего пайка носила мужу в больницу. Но я не знал, где она. Ночевать у себя на улице Рубинштейна она не могла — там холодно, — она ходила к разным подругам. Поэтому где ее искать, я не знал. К кому обратиться? К председателю нашего Радиокомитета Ходоренко Виктору Антоновичу? Но мне показалось, что, может, это будет не очень тактично: я, сотрудник радио, уезжаю, карточки не отдаю в коллектив, а хочу отдать «на сторону» (хотя Ольга Федоровна и сотрудничала с нами). Я решил, что лучше всего отдать их вот этому моему другу, человеку, влюбленному в нее. Кому же еще? И я ему отдал, с тем чтобы он завтра же утром передал их Ольге Федоровне (она должна была прийти сдавать свое выступление, она каждый день у нас бывала). На всякий случай я еще спросил у него: «Честное слово ты отдашь?» Он сказал: «Ну как тебе не стыдно даже спрашивать?!»

Вернулся я через две недели. Я был в той гвардейской дивизии, которая вела бои в месте прорыва, бои, к сожалению, безрезультатные. Это была дивизия Краснова. Когда я уезжал из дивизии — все ведь знали, что я возвращаюсь в Ленинград, — меня снабдили двумя вещевыми мешками с продовольствием: концентратами, хлебом. Правда, хлеба было мало, ибо гвардейская дивизия ела не чёрный хлеб, а ела калачи — пышные, высокие! Я помню такие только в детстве на Волге. Я сказал: «Братцы! Ведь я же не могу только один калач везти!» (Столько он занимал места.) «А хлеба нет. Вот калачи — пожалуйста». Пришлось мне эти калачи в лепешки превращать, тогда больше входило...

Как я возвращался — это целая история. Поразительная ситуация сама по себе. Скажу только несколько слов. Ехать озером я, признаюсь, не осмелился, хотя уже ходили машины. Поскольку я уже раз искупался, мне ужасно не хотелось это делать вторично. Тогда я поехал в летное соединение и выяснил, какие машины и откуда летят на Ленинград. Мне дали адрес. Я прибыл туда и встретил поразительную вещь! Вот что такое ленинградское и всероссийское братство! Я был в помещении, которое отвели для эвакуированных семей летчиков, работающих на разных участках фронта. Эти летчики слали такие письма: «Волховский фронт. Летной части. Братцы! У меня жена (у меня отец, у меня семья) в Ленинграде. Вывезите! Адрес...» И эта воинская часть посылала самолеты в Ленинград искать людей. Часто находили трупы. Живых вывозили. И целый дом им отвели, чтобы перебрасывать потом в тыл (правда, неизвестно куда!). Они появлялись в Ленинграде как добрые духи, эти ангелы! Добирались к семье военнослужащего, даже не зная, где находится муж или отец, стучались в дверь, говорили: «Я за вами» — и везли на машине, потом самолетом отправляли! Это вообще удивительная страница в жизни города! Я сутки пробыл среди этих вывезенных из Ленинграда женщин, детей, стариков. Они меня спрашивали, особенно женщины: «А ты-то куда?» Я говорю: «В Ленинград». И было что-то такое пронзительное, родное, человеческое в том, как они уговаривали меня: «Куда ты, ты же молодой, зачем ты на смерть туда? Не лети ты туда!» И это с плачем, со слезами, хоть впервые видели меня. И когда я говорил, что я там был, я же оттуда, я возвращаюсь, они говорили: «Нет, ты неправду говоришь! Если бы ты видел, что там, ты бы никогда не поехал!» Но это деталь.

И вот я вернулся. И когда я прежде всего принес еду Ольге Федоровне, то в первый раз увидел что-то изменившееся в ней — не худобу (в ней не было худобы, она начинала пухнуть), но какую-то непривычную, несвойственную ей жадность к еде. Я говорю: «Оля, что с тобой? Тебе же легче было!» Она говорит: «Отчего?» «Ну карточка, рабочая же моя карточка!» Она сказала: «Ты жестокий человек. Ты же знал, как мне трудно. Ты уехал и не отдал мне карточку». «Как не отдал? Я отдал ему!» «Не может быть! Он бы мне передал». «Но я же с собой не увозил карточки! Ну вот завтра, — говорю (я приехал поздно вечером), — мы пойдем к нему и...» «Нет, нет! — сказала она. — Ты плохо поступил и не надо говорить гадости о таком человеке!» Я сказал: «Мы не будем спорить. Завтра поговорим».

И вот наступил этот страшный судный день нашего разговора. Он не отпирался. И в том, что он не отпирался, и в том, как он мотивировал, — вот в чем было самое страшное!.. Маленькое отступление. Он действительно был одержимым человеком в хорошем смысле. Но в нем уже тогда было то, что я называл робеспьеризмом. Я ему говорил: «Дорогой мой, это тебя к хорошему не приведет!» А идея у него была такая. Много дурного вокруг. И все дело в том, что так складываются обстоятельства, что нет возможности выявить настоящих людей и случайные попадают на нужные и важные места. Война, блокада — квинтэссенция всех трудностей, самое тягчайшее испытание. Всем будет ясно: тот, кто пройдет это испытание, должен руководить! И вот была его идея: «Я пользуюсь глубочайшим уважением интеллигенции. Я прохожу через это испытание, и — естественно, другого выхода нет — меня делают руководителем идей!» Вот почему он сказал: «Извини, родная Оля, но то, что я должен сделать, важнее. И потому я не отдал карточку. Я взвешивал, взвешивал — нет, не личное, общественное: я нужнее!»

— А талант Ольги Берггольц?

— К этому времени Ольга Федоровна еще не была тем поэтом, которым она стала потом. В это время, в декабре, она была одним из рядовых деятелей, очень хорошо выполнявших поручения Радиокomiteта.

— А он был пишущий или только администратор?

— Вообще он мог писать. Но он всего себя отдавал другой цели, о которой я говорил. Ольга Федоровна ему сказала: «Я тебя понимаю, но ты глубоко ошибаешься. Ты заблуждаешься, и мне тебя жалко». Вот такой был эпизод, такой характер. А вот второй случай и второй человек.— *продолжал Георгий Понтелеймонович Макогоненко.*— Тот же Радиокomitee. Председатель Радиокomitee — Виктор Антонович Ходоренко. Это человек для меня поначалу необычного, неожиданного склада. Была в нем какая-то солдатская, офицерская повадка (хотя он никогда не служил в армии): такая в нем была собранность, решительность, необыкновенная оперативность, мгновенность реакции. Но больше всего он меня покорила своей сердечностью, пониманием людей, доверием. Он много доброго, хорошего сделал для Радиокomitee, а значит, для радиовещания, а значит, для того, чтобы ленинградцы слушали и поистине чувствовали этот пульс радиовещания. Но я хочу сказать не столько о нем, сколько о моменте испытания его характера. Где-то в ноябре — не сразу, а только в ноябре — он был причислен соответствующими организациями к числу работников, наверное, среднего звена, которые питались в Смольном, в столовой номер двенадцать. Питание было там трехразовое. Ну, ходить три раза он не мог — и работа не позволяла да и сил не было, а ездить было не на чем. Он ходил туда один раз, сам безумно отошавший к тому времени, ибо был на общем пайке. Наверное, дня три он все съедал, что там давали. И затем — испытание! Я помню, как он пришел в десять часов, вызвал меня и этого моего товарища и сказал: «Положение такое: я хожу туда, меня кормят, вот такое меню. Я не могу все это есть сам, не считаю возможным, тем более что я могу там есть хлеб. Мне запретили (это предупреждение всем!) выносить хлеб, но эти вещи можно». Вынимает из портфеля завернутые два куса сахара, две котлеты, гарнир, пирожок. «Вот у меня есть предложение: от себя лично давать — это унижительно. Вы руководите отделом. Давайте составим список, я каждый день буду что-то приносить, и мы будем выдавать одному сахар, другому то, третьему другое».

— А семья у него была?

— У него была возлюбленная, но это не мешало ему... Думаю, что и чисто практически, материально, если представить себе наш паек (до весны большинство работников не имели даже рабочей карточки, а имели служащие, а это сто пятьдесят, а потом и сто двадцать пять граммов хлеба), получить в неделю кусок сахара, или котлетку, или две ложки хорошей каши — это такая помощь для организма, что ни с чем сравнить нельзя. Но какое огромное значение это имело нравственно, трудно даже передать!»

Русские понятия «интеллигент», «интеллигентность» определить трудно, толкования этих слов всегда кажутся недостаточными. Так же как понятие «порядочность»; оно вроде бы и изменчиво и в то же время совершенно исторически определено, оно узнаваемо, то есть всегда, если сказать: он порядочный человек, — то все довольно точно понимают, что за этим стоит. Интеллигентность тоже безошибочно различима. В блокаду она проявлялась по-разному, но в дневниках и воспоминаниях ее можно было распознать по особому свету мысли, духовной работы, по совестливости, по тому, наконец, как личность с помощью всего этого отстаивает себя в борьбе с голодом, отчаянием.

Александр Григорьевич Дымов, режиссер театральной студии при Дворце культуры, в самое безнадежное время заставлял себя думать, вглядываться, осмысливать.

«12 января. 12 часов дня. Мороз усилился, в комнате стужа. Мила ушла в магазин, надеется получить что-нибудь по карточкам, давно ничего не получали. Больно на нее смотреть, так она похудела, бедная.

Чувствую себя плохо. Вещество из подозрительной смеси, которую употребляю я под псевдонимом «хлеб», желудок мой категорически отказывается переваривать.

Люди иногда улыбаются. И тогда становятся необычными их лица: улыбки их приобрели новый и странный ракурс, туго обтягивая кожей кости лица. Кстати, об улыбке. Чудесная вещь — юмор. Его осталось мало. Как и смех, он отпускается скупно, как другие продукты — по карточкам. Но он существует еще. Вчера в столовой пожилая женщина сказала официантке, подавая крупяной талон: «Вот вам крупозный талон». И много сидевших неподалеку от нее людей беззвучно заулыбались. Несколько

месяцев назад у них получился бы смех, вероятно, громкий, в разнообразной тональности. Теперь смех их беззвучен и так же скуп, как пища, которую едят эти люди: в микроскопической дозе.

У всех мечта: эвакуироваться. Уехать из Ленинграда. Куда угодно, только бы получить кусок настоящего хлеба. Эвакуация давно прекращена: нет пути, по которому можно увозить людей, — но люди сладко мечтают об этом, сидя во тьме своих морозных комнат, шагая пошатываящейся походкой по мертвым, заснеженным улицам города, стоя в очередях у пустых полок магазинов, на работе, в столовых.

Удивительная вещь — чувство голода. К нему можно привыкнуть, как привыкают к хронической головной боли. С тупой покорностью по двое суток я ожидаю кусочка клейкого хлеба, не ощущая жгучего голода. Это значит, что болезнь (т. е. голод) перешла из острой в хроническую форму.

...Темно. Не выдержал — вытащил заветный огарок свечи, спрятанный на крайний случай. Темнота угнетает ужасно. Мила дремлет на диване. Она улыбается во сне, вероятно, ей снится бутерброд с полтавской колбасой или перловый суп. Она каждую ночь видит вкусные сны, поэтому пробуждение для нее особенно мучительно.

...Во всей квартире страшный мороз, все замерзло, выходить в коридор — значит надевать пальто, калоши, шапку. Мерзость запустения. Водопровод умер, воду надо носить за три версты. Канализация — в далеком прошлом: весь двор полон нечистотами. Это какой-то другой город — не Ленинград, всегда гордый своим европейским, щеголеватым видом. Он напоминает сейчас человека, которого вы всю жизнь привыкли видеть в шикарном коверкотовом пальто, в свежих перчатках, в чистом воротничке, в добротных американских ботинках. И вдруг вы встречаете этого человека в совершенно другом облике: рваного и загаженного, небритого, с дурным запахом изо рта, в опорках вместо ботинок, с грязной шеей.

...Во вчерашнем номере «Ленинградской правды» помещена беседа председателя Ленсовета т. Попкова «О продовольственном положении Ленинграда». После призыва граждан к мужеству и терпению т. Попков говорит о фактах воровства и злоупотреблений в системе продовольственного снабжения Ленинграда.

...Огарок почти догорел. Сейчас погрузусь во тьму — до утра...

17 января. Старость. Старость — это усталость изношенных деталей человеческой машины, истощение внутренних ресурсов. Не греет кровь, не ходят ноги, не гнется спина, слабеет мозг, тускнеет память. Ритм старости — медлительный, как ритм горения почти догоревших дров в печи: все тише и бледнее пламя, вот рассыпалось на золотые куски одно полено, другое — и вот уже последние синие огоньки: скоро закрывать трубу.

Сейчас все мы старики. Независимо от возраста. Наши тела и чувства живут ритмом старости... Я видел вчера на рынке девочку лет девяти в огромных дырявых валенках. Она меняла кусок подозрительного студня — вероятно, собачьего — на 100 граммов хлеба. У нее были смертельно усталые глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, согнутая спина, медленная, шаркающая походка, морщинистое, с опущенными углами рта лицо. Лицо усталой пожилой женщины. Разве, можно это забыть когда-нибудь? Разве можно это простить?..

...То, что я записываю, — жвачка. Тяжелая и однообразная. Но для меня эти записи — отдушина, вентилятор для растущего в душе отчаяния, для томительных дней голода. Хотел записывать только простые, суровые факты, но не вышло. Сие от меня не зависит. Чем убить время, отвлечь себя от страшной повседнежности?..

23 января, 11 часов утра. Медленно, тяжело, как истощенные люди в гору, ползут дни. Однообразные, замкнутые в себе, большие дни замолкшего города. Сердце Ленинграда, заведовавшее его кровообращением, дававшее ему жизнь — электростанция, — перестало работать, остановилось. И все члены огромного тела города похолодели, омертвели, стали неподвижными. Не горит свет, не ходят трамваи и троллейбусы, не работают фабрики, кино, театры. В пустых магазинах, аптеках, столовых, где с осени забиты досками окна (от осколков снарядов), кромешная тьма. Лишь слабеньким, чахоточным огоньком мерцает на прилавке копилка... Над улицами застыли трамвайные и троллейбусные кабели, радиопровода, густо заросшие снегом. Они висят над головой сплошной белой сетью и не осыпаются, потому что их ничто не заставляет осыпаться...

Остановилось сердце великого города. Но мы знаем — это не смерть, а летаргический сон. Придет час — и погруженный в летаргию великан сначала слегка вздохнет, потом очнется...»

Бросается в глаза литературная отделанность записей Дымова. Как будто он впоследствии тщательно обрабатывал их. Местами дневник похож на рассказ, написанный много лет спустя. Мы проверили это у вдовы покойного Людмилы Владимировны Шенгелидзе. Оказалось, что дневник подлинный, без поправок и переделок. Именно так писал Александр Дымов при свете коптилки зимой 1942 года, пока его не увезли в больницу. Мы, очевидно, имеем тот редкий случай, когда автор с самого начала писал с установкой на художественность, он подбирал краски, сравнения, оттачивал фразы. Этим он занимал себя, сохранял свою духовность, питал ее. Работа духа у каждого проявлялась по-своему: в дневниках Князева — через историю, философию, у Рябинкина — через самоанализ, у Дымова — через литературное творчество.

«24 января, 12 ч. дня. Сегодня день радости. Радиосводка сообщила веселым голосом диктора, что наши войска отбили Ржев, Холм, Старую Руссу. Может быть, это сообщение поддержит сломленный дух Милы Она теряет способность бороться — это самое скверное. Мне тяжело смотреть на нее — молчаливую, прозрачно-бледную, смотреть в ее смертельно усталые глаза...

25 января, 11 ч. утра. Первобытная жизнь. Без воды, без света, без тепла. Блокада, как фантастическая Машина Времени, отбросила нас далеко назад: к началу 18 века — в смысле уровня культуры. Но ведь в начале 18 столетия было несравненно лучше. Жители Санкт-Петербурга не знали центрального парового отопления, но у них было много дров и они жарко топили свои патриархальные изразцовые печи. Жители Санкт-Петербурга не знали, что такое электрическое освещение. Но — у них ярко горели в горницах масляные плошки и были в избытке сальные толстые свечи. У нас — нет ни электричества, ни масла, ни свечей. Петровский «Питербурх» не имел водопровода, но в каждом квартале были колодцы, были оборудованы водоемы и проруби на Неве, Фонтанке, Мойке. Воды хватало всем. Мы же забыли, что такое водопровод, но у нас нет и колодцев, нет водоемов, нет коромысел. Сотни людей уныло стоят в длинной очереди за водой с кувшинами, чайниками у какого-нибудь крана в уцелевшей прачечной за три квартала от дома. Стоят часами.

Жители Петербурга 200 лет назад понятия не имели о трамвае и троллейбусе. Но у них были лошади, сани, возки, теплые куньи и лисьи шубы. Город был мал — и пройти его вдоль и поперек тепло одетому человеку было нетрудно.

Мы забыли, что такое трамвай и троллейбус, а об извозчиках забыли 15 лет назад. Но у нас нет ни лошадей, ни саней, ни возков. Мы плохо одеты. Мы голодны, но вынуждены ходить пешком огромные расстояния: город за 200 лет вырос неузнаваемо и средний его диаметр — 30 километров.

25 января, 8 ч. вечера. Черт его знает до какой степени повысилось значение в эти дни такого до сих пор скромного, малоуважаемого органа, как обыкновенный человеческий желудок. Вследствие безработицы и частых простоев из-за отсутствия сырья этот пищеварительный орган взял на себя несвойственные ему функции: все мысли и чувства выходят под его редакцией. Во всяком случае, качество чувств и мыслей сейчас у меня явно желудочного происхождения. И не только у меня. Действительно, грубое вмешательство желудка в мою интеллектуально-чувственную сферу я ощущаю постоянно. Я не желаю его опеки. Ведь кроме пищеварения существуют мировая литература, философия, искусство, техническое изобретательство. Берешь книгу. Перелистываешь страницу. Роман. «Брантон равнодушным жестом пригласил их к столу. На белом пятне скатерти...» Нет, дальше читать мне запрещено. Противопоказано. Это случай прямого воздействия идеологической надстройки (литература) на базис (желудок). Берешь другую книгу. «Твое поведение, моя милая, дает пищу для всевозможных толков...» Дальше читать нельзя. «Пищу!» Многоуважаемый редактор моих ощущений (мой желудок) немедленно направил их по пути съедобных ассоциаций, хотя в книге слово «пища» употреблено как явная метафора. «Меня пожирает тоска» — написано на 35-й странице. Это тоже метафора. Но моему неумному редактору нет никакого дела до этого. Ему важно вызвать в моем представлении пожирание жирных кусков жареного мяса. Может быть, с давно забытой румяной картошкой. Это — случай ассоциативного воздействия надстройки на базис.

«Многоуважаемый гражданин редактор! Товарищ Желудок! Я слаб и немощен. Я с великим трудом передвигаю ноги, и лицо мое давно разучилось улыбаться. Я голоден давно, застарелым, хроническим, как ревматизм, голодом. Но я борюсь, чтобы не упасть, потому что упавшего очень скоро затопчет смерть. Я держусь пока и даже пишу записки — «Записки из мертвого города». Все это так. Но я не разучился еще мыслить, читать книги, я хочу пофилософствовать. Вы мешаєте мне, гражданин редактор, заниматься всем этим. Я ежеминутно ощущаю вашу власть, ваш гнет, ваше вмешательство в мои внутренние дела. Давайте будем друзьями, не надо меня мучить. Вы хотите, чтобы я смотрел на все окружающее вашими глазами. Вы на этом настаиваете. И в большинстве случаев вам это удастся. Но это ненормально, я протестую, я требую, чтобы вы снова работали по своей основной специальности, освободив от своей опеки и прямого влияния сферы, вам недоступные. Я хочу читать книги и воспринимать их содержание так же, как прежде, а не в вашей интерпретации и не с вашей узкотенденциозной точки зрения. Я хочу думать не только о жратве, а о многом другом, не имеющем к ней никакого отношения. Я хочу мечтать о будущем. Прекрасном будущем. Но прекрасным не потому, что оно доверху переполнено картошкой, хлебом и подсолнечным маслом. Вы понимаете — я хочу быть человеком. Не мешайте мне в этом. Поверьте, и вам будет легче. Иначе и вам и мне будет стыдно за эти дни.

Откажитесь от своей роли диктатора. Делайте добросовестно свое скромное дело, отдыхайте — ведь у вас сейчас так мало работы. Будьте же здоровы. Примите мое искреннее уважение. Ваш покорный слуга А. Дымов».

Приблизительно такого содержания «Письмо в редакцию» мысленно сложилось у меня в мозгу. Но я не отправил его по адресу. Бесполезно. Господин желудок — хам и мещанин. Он не поймет и не откажется от своей власти надо мной...

Много болтаю. Это скверно. Но так хочется заполнить чем-нибудь зияющую пустоту этих бесконечных вечеров.

Сейчас тоже вечер. Такой же, как и десятки других, — ледяной, молчаливый, медленный. За окном тьма и стужа. Гремят дальнобойные орудия — враг не забыл о нас. Блокада. Передо мной — крохотная коптилка, она дает мне иногда возможность писать, иногда не хочет гореть и, подергав хитрым желтеньким глазком фитиля, гаснет. Тогда я погружаюсь во тьму».

Надо было обладать глубоким чувством юмора, самоиронии, чтобы в таком мерцающем состоянии сочинить это обращение к своему желудку. Чувство юмора в ту пору сохранялось редко, правильнее, пожалуй, считать, что у Дымова был природный талант юмора. Как в каждой трагедии, в блокадном Ленинграде то и дело возникали ситуации смешные, их просто не замечали, не отмечали и только потом иногда, задним числом, понимали. Так, один майор ПВО, демобилизованный по ранению, рассказывал о своей женильбе:

«Взял я ее из мартовского блокадного Ленинграда старушкой — серой, сухонькой, скрюченной. Еле ходила. Кости, обтянутые кожей. Взял с собой на Большую землю. А там через полгода она окрепла, выправилась, стала месяц за месяцем молодеть. Глаза заблестели, поднялись из впадин, волосы тоже ожили, погустели. Кожа натянулась. Потом и румянец появился. Помолодела. Превратилась из старухи в приятную женщину и чем дальше, тем больше все молодела, превратилась в девушку такую молодую и красивую, что мне стало неудобно на ней жениться».

Остатки давнего смущения кое-где еще сквозили в его рассказе, но все это давно превратилось в занятную историю, анекдот, который он рассказывал со смехом...

Круг сужается

С начала декабря Юра Рябинкин перестает встречаться с друзьями, нет уже ни сил, ни возможностей для общения, в школу, конечно, он тоже не ходит, да и наверняка она закрыта, остается семья — мама с Ирой — и соседи по квартире. И он, слабея, временами соскальзывая в полубредовое состояние, устремляет свое пытлиное внимание на этих людей. Мир сузился, но все равно он бесконечно

интересен для него в любой своей малости, каждый человек — вселенная, каждый человек — загадка, тайна, достойная размышления. Все настойчивей пробует он вникнуть в характер Анфисы Николаевны, понять его. Стоит матери заболеть — и все претензии к ней отпадают, юношеский эгоизм отбрасывается, чтобы вновь проявиться спустя день, два. Но в эти «отливы» как бы обнажается основная порода Юры Рябинкина: совестливость, требовательность к себе и, что более всего поражает, отчаянная борьба его души за то, чтобы сохранить себя, не поддаться, устоять... Для этого он хочет понять — кто же он, какой он?

«2 декабря. Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест нарочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для того, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят на нее голодными глазами. Мама съедает всегда первой и затем понемножку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижусь утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сторона... Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две, и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить...

Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сытный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сейчас я удовлетворяюсь 100 г. печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.

А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти Мама боится уже ехать. «Приедешь,— говорит она,— в незнакомый край...» — и т. д. и т. п.».

Эвакуация! Слово это повторяли не только Рябинкины. Тысячи семей стремились уехать, старались попасть в первые эшелоны отъезжающих, чтобы спастись от голода. Сами добивались, хлопотали. Но были и другие, которым надо было сказать — эвакуируйтесь! Надо было выявить тех, кто нуждался в этом срочно, немедленно. Кроме того, что делалось по устройству «Дороги жизни», райкомы проводили еще малоизвестную, но огромную работу внутри города: коммунисты обходили дом за домом, квартиру за квартирой.

«Я была внештатным инструктором Выборгского райкома,— рассказывает Екатерина Павловна Янишевская,— и с уполномоченным Воробьевым помогала зимой 1942 года эвакуировать людей на Финской улице. Пришли в один дом вместе с дворником. Темно. В одном углу тусклое пламя коптилки. Лежит гражданка. Осветила ее бледное лицо. Она молчала, смотрела безжизненными глазами, махнула рукой в угол. Там лежала девочка. Как скелет. Обессиленная. У Воробьева было с собой немного спирта. Дали несколько капель. Эти капли сразу же согрели. Обе ожили, повеселели. Глаза вспыхнули. Их, конечно, везти эвакуировать было нельзя. Отправили в спецбольницу... Когда в апреле «Дорога жизни» перестала работать, меня вызвали в райком и предложили поехать директором подсобного хозяйства в Коломяги и провести там сев».

А дела у Юры Рябинкина все хуже.

«3 декабря. Заболела мама. Сегодня она не вышла и на работу. Температура, ломит кости, тяжесть в ногах... Не водянка ли? И так тяжело, а... Больше ничего не могу писать. Такое упадочное настро-

ние. Сажу в кухне, трещат дрова в печке, а на сундуке рядом лежит больная мать... Боже мой!

По сводке Тихвин взят немцами. Севастополь продолжает обороняться.

Мама больна, Ира — ребенок, от Тины неизвестен и ее адрес, я изнемогаю, изнурен, еле держусь на ногах... Что-то будет дальше?..

4 декабря. Весь день в работе. Встал рано, обегал булочные, достал сахарного печенья, затем ходил на ул. Правды в поликлинику, хотел вызвать врача для мамы — не тот участок, к которому мы принадлежим. Пришлось съездить еще на пер. Матянина, в другую поликлинику. Затем опять очередь, колка дров, страдания.

Мама уволена из обкома (в связи с ожидавшейся эвакуацией. — А. А., Д. Г.). Насчет ее эвакуации и теплой одежды (...). Лежит больная. Врач, приходивший к ней, нашел у мамы грипп, сердечную слабость, откуда опухоль на ногах, боли в боках и т. д. Лечение — питание. А его нет. И так, мама слегла, у нее тяжелая болезнь, она лишена работы; возможно, что эвакуация пешком будет, но маме с ее опухшими ногами и болезнью, Ире с ее малой силой, мне со всеми остальными заботами о них и о себе, людям с 60-килограммовым, если не больше, багажом, не пройти далекого трехсоткилометрового снежного пути, не пробыть месяца в дороге... И вот финиш всей нашей жизни: замерзшие в дороге и оставшиеся больными в какой-нибудь захолустной больнице или истощенные ежедневным голодом, опухшие, еле влачащие свое ставшее жалким существование...

Вот и все, что сегодня я могу сказать, вернее, смог написать. Остаюсь равнодушен к вестям на фронте, удачные они или нет, безразличен ко всем событиям в политике. Что делается вокруг нас здесь, в квартире? Соседи 6 декабря улетают, 5 и 6 улетают Тураносовы, на днях эвакуируется с семьей Громов, выезжает в Ташкент семья Кацуры... А мама больна, ей необходимо питание, которого негде взять, необходим покой, я изнурен, истощен, Ира измучена также. Что делать?

5 декабря. Мама права, надо верить всегда в лучшее. Сейчас надо верить, что мы эвакуируемся. Так должно быть. И будет. Хотя мама еле ходит — она поправится, хотя Ира жалуется на боли в левом боку — пройдет. Хотя я и мама не обуты, у нас нет валенок и теплых вещей — мы вырвемся из этого голодного плена — Ленинграда. Но сейчас уже вечер, идет тревога, бьют зенитки, рвутся бомбы... Разыгрывается жутчайшая лотерея, где выигрыш для человека — жизнь, а проигрыш — смерть. Такова жизнь. И, завтра не уезжают. Они уедут на днях. Счастливые люди...

Голод. Жестокий голод!

Понемногу, мало-помалу передо мной встает образ Анфисы Николаевны. Из ее ссор с мужем, во время которых оба раскрывают часть своей жизни, из разговоров с ними, а теперь из глубины души исколывшего горестного рассказа И. несколько встал из тумана передо мной этот образ.

Анфисе Николаевне 27 лет. 14-ти лет она уже любила, вернее, была любовницей какого-то грубого человека, который силой и грубостью приучил ее еще тогда к алкоголю. С тех пор она уже не могла оторваться от вина, водки и т. д. С ней были горячки, она валялась пьяная под забором... Но она была дьявольски красива и обворожительна в трезвом виде. Такой, по всей видимости, встречает ее И. Он бросает для нее свою прежнюю жену и дочь, получая письмо, в котором она умоляет его под влиянием какого-то обновления «вырвать ее из этой грязной ямы», жениться на ней. И вот жизнь для нее наступает новая. Муж получает 2000 в месяц, жена тратит по 40 р. в день. Езда по санаториям, всевозможные попытки отучить жену от пьянства, ссоры из-за денег... И. сам по себе человек немного неуравновешенный, ког-

да-то он был даже в психиатрической больнице. А жена часто оставляла его перед зарплатой совершенно без денег, пропивая их. Но вместе с тем Анфиса несомненно человек, который в трезвом виде изумителен по характеру. Возможно, что это, конечно, притворство, но все-таки... Во всяком случае, Анфиса Николаевна — это очень трудный по раскрытию характера человек.

6 декабря. Одиннадцать часов утра. И. не уехали. Отъезд их отложили на 2—3 дня. Мама с Ирой отправились в обком. Маме теперь нужно хлопотать о многом. Разрешение на выезд, вылет на самолете или присоединение к партии И., теплая одежда для мамы и бурки мне, приделывать замок на дверь. Но у мамы уже совсем мало энергии. Для энергии нужна еда. Еда прежде всего. Она — источник единственной энергии в организме.

Конечный пункт эвакуации у мамы намечен. Это Барнаул, его окрестности. Все дело лишь сводится вообще-то к двум вещам: как ехать и в чем ехать. Тураносова должна была вылететь сегодня утром. Ответ из Смольного, наверное, еще не получен. Это плохо. Хорошо бы, если б нас приписали к группе И.

Маме еще предстоят две трудности. Первая — это обеспечить финансовое наше положение за счет обкома и продажи некоторых вещей, а вторая — договориться насчет увольнения, что гораздо проще.

Итак, задержка из-за теплых вещей — раз, и из-за способа эвакуации — два.

Но еще главный вопрос — это еда. Без нее нам не двинуть ног... Мы можем продержаться лишь до числа 13, 14, не позже, или до числа 9, 10...

Анфиса Николаевна дала нам вчера грамм 300 гороха, думая, что сегодня уедет. Вот дала бы грамм 800—900!

Мне предстоят еще очень большие трудности. Очиститься от вшей, сходить в баню, в парикмахерскую, убрать книги, достать дрова, выкупить продукты, свести концы со школой. Чувствую, что уже очень недолго осталось мне до того дня, когда я надорвусь и слягу. Но если я слягу, то уж слягу.

Вчера газет не читал, ничего не знаю, не ведаю о событиях. На нашем-то Ленинградском фронте дела плохи, это-то и я хорошо знаю. Даже слышал вчера в какой-то очереди, что запрещена пешая эвакуация, которая производилась по льду Ладожского озера. Людям давали белые маскировочные халаты, и они проходили в них сквозь пургу, по льду, без остановки, без еды 80 километров. Многие не выдерживали и погибали.

Известна песенка: «Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет». Попробую ей следовать.

От Тины нам, разумеется, помощи никакой ждать нечего. Ей есть теперь куда тратить свою зарплату. Самый счастливый из нашей семьи человек. В последнем письме из Кирова она писала, что состояние у нее удовлетворительное. А два или три месяца в письме из Бокситогорска жаловалась на нехватку сладкого. Значит, сейчас насчет еды у нее все в порядке. Выбор всех лакомств перед нею, на хлеб и внимания не обращает. А думает ли она о нас? Думает ли? И как думает? Знает ли о голоде в Ленинграде, о бомбежке, артобстрелах? А то, быть может, предалась чревоугодию сейчас?.. Все возможно. Я так оголодал, что не могу заставить себя поделиться крошкой хлеба с мамой. Просто больно, так тяжело за сегодняшнее утро у меня на душе, и я знаю, что так и впредь будет, если я не остановлю себя сейчас... Но как остановить. Больно, больно...»

Вот и любимице семьи, тетке Тине, досталось от бедного, мечущегося в голодной безнадежности Юры! Он и сам знает, что несправедлив. Не могла она «забыть» про то, как им плохо, не похоже это

на нее. Тетка Тина всегда им помогала, Юре было даже неловко (судя по прежним записям), что они так широко пользовались щедростью и добротой тетки. (А нам известно и то, чего Юра уже не узнал: как эта женщина после войны отыскала в далеком детском доме под Вологодой осиротевшую Иру, привезла в Ленинград, заменила ей родителей, выучила ее.)

Но сейчас Юре так плохо, так плохо, и все вокруг ему кажется (и он сам себе тоже) такими эгоистами, что ему не хочется делать исключение и для далекой Тины. О ней он пишет даже слова особенно обидные («предалась чревоугодию»), потому что и надежда на нее была особенная, даже, может быть, единственная... И еще: мать больна, а Юра не в силах («...не могу заставить себя») поделиться с ней крошкой хлеба. И он ищет, кого еще — но сытого, но благополучного! — уличить в этом же грехе. И находит любимую тетку!..

Есть, конечно, страдания, которые смягчают душу, помогают видеть чужое горе, более того, понять его, отозваться ему, на что ранее упоенный своим благополучием человек не способен был. Но есть страдания иные, ожесточающие: за что, почему я должен их нести, почему другие не несут, а я (или мы) мучаемся? Подобные вопросы восстанавливают против других людей, а не против зла.

Сколько обвинений возводил Юра на соседку Анфису Николаевну. Но стоит вдуматься в факты, отбросив Юрины эмоции,— и оказывается, что Анфиса делится с Рябинкиными едой, подкармливает мальчика, несмотря на его колкости, до поры до времени не хочет замечать, как он таскает еду из кастрюли.

Время от времени Юра старается восстановить справедливость, признает доброту и даже щедрость этой женщины, интересуется ее судьбой. Видимо, и она рассказывает о себе достаточно самокритично... Стараясь понять Юру, мы не можем не заметить, как порой поддается душа его темному и жесткому.

«7 декабря. Вчера произошло несколько интересных событий. Мама незаконным образом, договорившись с Громовым, взяла служащую карточку Сухарева, которого отчислили из списков обкома. Вчера мы купили по этой карточке 200 г. макарон, 350 г. конфет и 125 г. хлеба. Все это за исключением макарон вчера и съели. Маме еще дали записку к председателю райсовета об отпуске ей жмыхов. Ну да из этого-то ничего не выйдет. Тураносова обещала сегодня приготовить для мамы старые валенки, но я не смог за ними утром сходить — такой сильный мороз. Вчера еще заходила без мамы Бушуева, собирается завтра эвакуироваться пешком, обещала зайти сегодня к 6 вечера.

Эта декада будет решающей для нашей судьбы... Главнейшие задачи, которые следует разрешить, это в чем ехать и с кем ехать. Эх, если бы я хоть раза два подряд покушал досыта! А то откуда мне взять энергию и силу для всех тех трудностей, что предстоят впереди... Мама опять больна. Сегодня спала всего-навсего три часа, с трех до шести утра. Мне просто было бы необходимо сейчас съездить к Тураносовой за обещанной теплой одеждой. Но такой мороз на улице, такая усталость в теле, что я боюсь даже выйти из дома.

Начал вести я дневник в начале лета, а уже зима. Ну разве я ожидал, что из моего дневника выйдет что-либо подобное?

А я начинаю поднакоплять деньжонки. Сейчас уже обладаю 56 рублями наличности, о наличии которых у меня ведаю один лишь я. Плита затухла, и в кухне мало-помалу воцаряется холод. Надо надевать пальто, чтобы не замерзнуть. А еще хочу ехать в Сибирь! Но я чувствую, что дай мне поесть — и с меня сойдет вся меланхолия, все уныние, слетит усталость, развяжется язык и я стану человеком, а не подобием его...

Каждый вечер к нам приходит Игорь, брат Анфисы Николаевны. Анфиса Николаевна его тут кормит как на убой, отдала ему весь запас сухарей. Теперь, если она куда-нибудь поедет, так нам ровным счетом ничего не оставит. Может быть, еще оставит пропуск получать по пол-литра молока каждый день в тубдиспансере за себя у Клинского рынка, месте, которое каждый день подвергается обстрелу, так что идти туда не только далеко, но и опасно для жизни.

Сейчас я похудел примерно килограммов на 10—15, не больше. Быть может, еще меньше, но тогда уже за счет чрезмерного потребления воды. Когда-то раньше мне хватало полтора стакана чая утром, но сейчас не хватает шести.

8 декабря. А сегодня... сегодня я потерял карточку на масло Сухарева, ту самую, которую мама нелегально себе присвоила на первую декаду. И вот... что теперь делать? Боюсь, смертельно боюсь, что вся эта история с присвоением карточки Сухарева всплывет, и тогда... Жизнь моя обрушится, так же как и жизни мамы и Иры... Я ее потерял — точно знаю — в столовке треста. Быть может, оставил в руках у буфетчицы. Только бы дело не пошло дальше... Только бы... Не знаю, говорить ли с мамой на эту тему. Если у мамы хорошее будет настроение — это малоочевидно, — то поговорю, если нет — об утере умолчу.

Боль, жестокая боль во мне от этой карточки!.. Больше ни о чем не могу и думать.

И еще финал (возможный. — А. А., Д. Г.): карточка оказывается потерянной дома и ее находит Анфиса Николаевна. У нее становится ясный вопрос: как к нам (больше не к кому) могла попасть эта карточка? Обращает внимание на печать — обком союза!.. А эта печать хранилась до последних чисел у мамы. Доводит обо всем до сведения Николая Матвеевича, тот дознается, кто такой Сухарев, — и вот мама идет в трибунал, а там изгнание из партии, расстрел и т. п.

Сейчас три часа дня, а мама ушла на работу в девять утра. Чем-то она занята? Неужели ни на шаг этот день не подвинет к нам эвакуацию? Ехать, ехать, ехать! Насущный вопрос. Теплая одежда, без теплой одежды никуда не выедешь.

9 декабря. Карточка нашлась у мамы. Я по ней вчера выкупил 200 г. сметаны. Вчера и съели. Да, сегодня еще вот подъели вчерашние 100 г. жира да дай бог, чтобы 15 г. осталось.

Вчера мама достала и принесла два ватника и теплых штанов. Очередь за валенками.

С самолетом вопрос не решен. Но я имею надежду, что мы полетим. Правда, вот И. с женой отказали в вылете, но Кацуре, жене, разрешили лететь до самой Вологды. Во всяком случае, это дело весьма спорное. Одно время отправка производилась, но сейчас, как мне сказал И., дело замолкло. Списки эвакуируемых резко сокращаются, желающие эвакуироваться — почти все, кому ни скажешь, так что дело становится серьезнее, чем раньше. По словам И., раньше эвакуировали на грузовиках-трехтонках, а теперь идут только полутонки».

За «Дорогу жизни» кипело сражение и на Волховском фронте и на Ленинградском, за нее бились зенитчики, и водители, и железнодорожники, никто не жалел себя.

Саму ладожскую трассу все время бомбили, машины гибли, горели, уходили под лед, опускались в воду, и оттуда, из глубины, еще светили зажженные фары, пока мороз не затягивал полянью. Сто с лишним машин потеряно было за эти дни. Беды ледовой трассы происходили не только от нехватки водителей, ремонтников, от плохого льда, от организационной неурядицы. Шла война, где противник тоже наблюдал, думал, и придумывал, и обманывал, и мог перехитрить и превзойти. Фашисты воевали не только с армиями, они воева-

ли и с «Дорогой жизни». Они все интенсивнее бомбили и обстреливали ладожские трассы. А там к тому же задувал сиверик — ветер, который окутывал озеро непроницаемой белой мглой. Ветер морозил машины, срывал вешки, фонари. Что такое трасса? Это пункты обогрева, это медицинские палатки, пункты питания, это склады, это связь, это ремонтные летучки, мостостроители. Все это на льду, на берегах...

Теперь шоссе от Ленинграда до Осиновца асфальтировано. Вместо километровых столбов стоят обелиски с надписью: «Дорога жизни». Ныне они мелькают один за другим за стеклом машины, тогда каждый километр был огромным расстоянием. Это был путь к спасению, но путь, обозначенный горелыми машинами, выкинутыми вещами, санитарными землянками, могилами...

Недалеко от Всеволожской на этом шоссе стоит памятник «Дороге жизни» и рядом посажена березовая роща: девятьсот берез — девятьсот блокадных дней. А в Осиновце — большой музей «Дорога жизни», где на постамент поставлены полуторка и маленький автобус, в котором отправляли через Ладогу детей и женщин.

Эта полуторка на постаменте как будто прямоком перенесена из дневника Юры Рябинкина, так напряженно думающего о возможности выехать из города. Продолжим его записи.

«Обком выдал маме на эвакуацию денег. Вчера мы считали деньги, у нас наличностью было 1300 с лишним рублей. С 10 декабря мама лишается работы. Я думаю, что если бы был положительный ответ из Смольного, то я бы был так счастлив, как никогда. Этот ответ должен быть, обязан быть, он будет, потому что... да и как ему не быть?! «Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!»

Хорошо бы улететь 12-го. 11 выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел кота, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право пойти и получить 100 г. масла... Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии от истощения, чтобы встать со стула — это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов... Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый эгоистичный характер. «Горбатого одна могила исправит» — говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера?»

Редкое свойство у этого мальчика — он умеет видеть себя со стороны. В записи от 9 декабря он обличает себя, прямо по-толстовски, ничего не опуская, ничего не обходя. Он из той породы русских мальчиков, из какой был толстовский Николинка Иртенев. Да и раньше: и карточка потеряна — это он виноват, и стыд оттого, что карточка незаконная, чужая. Он наворачивает на себя страхи, ужасы, казнит себя, придумывает наказания себе и матери. Это совесть раскачивает фантазию, это как бы бред совести.

В начале декабря «Дорога жизни» еще не стала дорогой жизни для Ленинграда. Она всего лишь ледовая дорога, и лед на ней плохой, устает, ломается; грузить как следует машины нельзя. Немецкая авиация бомбит дорогу, в воздухе все время идут бои, наши части ПВО пытаются отбивать атаки, несмотря на нехватку истребителей. Машины на Ладоге из-за воронок идут под воду. Доставлять продукты к Ладоге тоже стало трудно, потому что дорога на Тихвин перерезана и надо везти машинами по бездорожью. В результате пока что

по ледовой дороге город получает ничтожно мало, всего около 1200 тонн. Но части 54-й армии наступают в направлении от Войбоколова, на юг. 9 декабря наши освободят Тихвин. Теперь можно будет наладить подвоз продуктов к Ладогe и эвакуацию населения. Ледовую дорогу через озеро надо будет еще обеспечить надежным прикрытием с воздуха, зенитными частями, прикрыть ее с берегов армейскими частями. Предстояло наладить движение машин, эксплуатацию их, машины быстро выходили из строя, не хватало бензина, смазки, ремонт не был обеспечен. Дорога не справлялась с перевозками, не оправдывала надежд. И только с двадцатых чисел декабря она начнет доставлять в город по 700—800 тонн грузов ежедневно. 25 декабря наши войска овладеют районом Войбоколово, и тогда начнутся восстановительные работы на железной дороге и можно будет продолжить везти к Ладогe поездами и людей эвакуировать. Совсем немного остается Юре дотянуть до этих дней. Вот это ощущение быстро тающих сил ленинградцев и вело бойцов 54-й армии в наступление на Тихвин, а водителей автобатальонов и отдельной автобригады заставляло совершать на своих хлипких полуторках, сквозь пургу, за носы, по два, а то и по три рейса в день.

После войны один из авторов работал в Ленэнерго. В кабельной сети. Однажды, было это уже году в сорок седьмом, произошла авария в начале Лиговской улицы. Прорвало кабель, и целый квартал остался без света, без энергии. Искали место повреждения до вечера — не нашли. Стояла зима, мерзлый грунт били ломами, успели проверить одну муфту, она была в порядке. Стемнело. Работы продолжались, потому что без света сидели детская больница и фабрика.

Вел работы мастер Акимов. Это был низкорослый неразговорчивый человек, отличный знаток всего подземного хозяйства. Он, как и другие мастера, работал еще в блокаду. Каждый знал, где на его участке что происходило, где бомбили, как, когда дом завалило. И на синьках у них все было отмечено. Дело в том, что бомбы и снаряды, падая даже в стороне от кабеля, могли взрывной волной нарушить изоляцию, могли сдвинуть грунты так, что постепенно начинало кабель тянуть, рвало его из муфт. Несколько лет после блокады продолжались такого рода аварии. Убраны были развалины, заделаны все пробоины, отремонтированы фасады домов, а под землей как бы продолжался обстрел, падали снаряды и бомбы и в огромные воронки, давно засыпанные, залитые асфальтом, вдруг рушился электрический ток. Давний взрыв снаряда пробивал кабель. И термин был — пробой, как пробоины на корабле.

Помимо отметок на синьке, хороший мастер должен был держать в памяти все подробности случившегося. Что за воронка была, был ли тогда мороз или оттепель, и как снаряд разорвался, и если кабель уже ремонтировали, то кто его ремонтировал, потому что у каждого кабельщика своя манера, своя степень добросовестности. Я не знал, как они жили в блокаду, как работали, как питались. Я пришел в район с фронта, демобилизованный, да они и не очень-то рассказывали, это теперь вспоминают, а тогда поскорее забыть старались. Мастеров было несколько. В 1943—1944 годах, когда город стал оживать, им, чтобы дать энергию, свет, приходилось наспех под обстрелом латать перебитую осколками сеть, подкидывать временки. Да и позже, после войны, кабельщикам еще долго доставалось от всех. Мощностей не хватало, трансформаторы выходили из строя, за время блокады они пострадали так же, как страдали дома и люди, подстанции были в ужасном состоянии, все требовало света — магазины, конторы, школы, гостиницы. Сети перегружались, кабели пробивало один за другим. Приборы определяли место повреждения весьма приблизительно, и все решало чутье мастера, умение видеть, что происходит там, под землей.

У Полякова, у Косолапова, у Полежаева — у каждого из мастеров были свои методы, свои приметы, которые ни передать, ни определить словами нельзя. Никто из них не мог помочь Акимову хотя бы потому, что никто из них не знал его участка, истории этого кабеля, его ремонтов, не знал капризов этой трассы с ее пересечками. И главный диспетчер Кирсанов, который знал весь район, который работал здесь чуть ли не с двадцатых годов, тоже ничего не мог посоветовать. Подвижный его висячий нос на мятом лице приплюснулся, мы ходили по трассе взад-вперед, но глаза Кирсанова оставались грустными. Метров сто, а то и полтора ста были под подозрением. Это значило копать, резать, прозванивать, снова копать, резать... Это значило еще два, три дня работы.

И Акимов и Кирсанов сходились на том, что авария блокадного происхождения. Горел костер на мостовой, кабельщики грелись и грели массу, чтобы заливать муфту. Кругом было темно, дома стояли темные, без света, и уличные фонари не горели, только проезжие машины включали фары. Над котлованом горел фонарь «летучая мышь» с красным стеклом. От этой холодной темноты, от скрипучего снега что-то всколыхнулось в моей памяти. Я почему-то перешел на другую сторону улицы, стал в подворотню, потом пошел в следующую подворотню. Пожалуй, это было здесь. Только наискосок. на пустыре, стоял тогда небольшой дом. Он развалился на глазах. Как же это все было? Меня, наверное, загнала сюда бомбежка. До этого я шел по Невскому. А еще раньше по бесконечному Московскому проспекту. До штаба армии меня подвез старшина. У Обводного из черного репродуктора звучал женский голос, чуть хрипловатый, неповторимый голос, который с того дня запомнился навсегда. Это Ольга Берггольц читала стихи. Впервые слышал ее. Я постоял у железного столба. Было безлюдно, солнечно. Угловой дом, снесенный бомбой, дымился, пахло паленым. Две женщины сидели на обугленной балке, в ногах у них на санках лежали обломки стульев и золоченая рама от картины. Значит, потом я очутился на Садовой, в квартире Гали, школьной нашей подруги. Комнаты ее были занесены снегом. Оттуда я пошел к Боре Абрамову. Соседи сказали, что он умер. Тогда я отнес продукты матери Вадима... И тогда я очутился у Суворовского. Все правильно, я восстановил в памяти тот день, это было не так уж сложно; тогда я впервые получил увольнительную в город. Блокада преобразила город неузнаваемо, поэтому все поражало и отпечатывалось в памяти прочно.

Когда началась бомбежка, вернее когда она приблизилась, я укрылся сперва в одной подворотне, потом перебежал в следующую. Зенитки захлопали рядом, прожектора шарили по небу. Все, что на передовой мы обычно наблюдали издали, сейчас происходило над головой. Неподалеку упала бомба, следом завывала следующая, на этот раз ближе, громче. Вой ее нарастал. В подворотню вбежала женщина с каким-то большим свертком. «Ложись!» — крикнул я, толкнул ее в снег и сам упал рядом на что-то мягкое. Раздался удар, грохот. Дом наискосок стал разваливаться. Женщина закричала. Она кричала от страха. Судя по взрыву, бомба была небольшая; я хотел подняться и вдруг увидел под собой человека — румяное лицо старика. Это был так неожиданно, что я вскочил на ноги, потом нагнулся, потрогал завернутую в простыню фигуру, тронул лицо, волосы — я не сразу сообразил, что в свертке был большой елочный дед-мороз. Женщина, глядя на мой испуг, стала смеяться громко, истерически. освобождаясь от собственного страха. Я тоже рассмеялся. Этого деда-мороза она несла для большой елки в Дом пионеров.

— Здесь падала бомба, — сказал я Акимову.

Мы посмотрели синьку. Там напротив этого дома не было никакой отметки.

— Это было в конце декабря,— сказал я.

В конце декабря Акимов лежал. Он пролежал до середины января, и этот промежуток времени у него на карте остался без отметок.

Бомба упала как раз на той стороне, влево от подворотни. Осколками пробило створку железных ворот. Это я запомнил хорошо. У меня отпечатались этот момент с фотографической точностью. Наверное, из-за деда-мороза. Авария извлекла его из глубин памяти, где он хранился вместе с прочими подробностями того блокадного дня. Повседневное стирается в памяти: если б я часто бывал в городе, все позабылось бы.

Мы проверили с Акимовым — в створке ворот сохранилась рваная дыра от осколка. Тогда мы стали копать и работали до утра. Я оказался прав. Кабель пробило точно по кратчайшему расстоянию до центра взрыва. Очевидно, тогда появилась волосяная трещина в свинце, и помаленьку туда проникла сырость. Шесть лет она пробиралась. Вот как долго летят осколки блокадных бомб.

Пока копали и ремонтировали, мне вспомнилось, как я проводил женщину с дедом-морозом до Таврического. Я нес ее деда-мороза стоймя, при виде его краснощекого лица и шубы в блестящих прохаживающих удивленно останавливались. У некоторых появлялась слабая улыбка. Так что нести его было приятно. Время от времени я вспоминал свой испуг и смеялся.

Эта история несколько исправила мое тяжелое впечатление от прихода в город. Когда я рассказывал в батальоне о своем путешествии, дед-мороз тоже поразил всех и приободрил. «Дед-мороз!» — повторяли все со значением. Меня упрекали за то, что я не зашел к пионерам, не увидел елки и не мог ничего рассказать, как радовались дети и что был у них за праздник, хотя бы как это выглядело. Но зато я запомнил стихи Ольги Берггольц. Тогда у меня была хорошая память на стихи. Я запомнил и прочитал их.

Конечно, я жалел, что не увидел елки. Особенно я жалею об этом сейчас. Ничего нельзя исправить в том блокадном вечере, ничего больше не удастся увидеть, рассмотреть в нем. Впрочем, он все же пригодился тогда, в сорок седьмом году, когда мы ликвидировали аварию на Лиговской улице.

В конце декабря, а точнее 25-го, будет объявлена прибавка: рабочим по 100 граммов хлеба, служащим, иждивенцам и детям по 75 — им теперь не по 125, а по 200 граммов хлеба в сутки!

В начале января будет построена дорога, которая позволит машинам прямо от железнодорожной станции ехать на Ладогу без перегрузки. А в начале марта в городе пойдет первый трамвай: очистят пути, восстановят сети — и по рельсам, звеня, покатаются красные вагоны. Люди будут кричать «ура».

Будет выдаваться клюква.

Суп станут давать в столовых без вырезки талонов.

А затем каждому горожанину дадут дополнительно полтора ста граммов жиров.

Весь январь идет огромная работа по налаживанию дороги через Ладогу.

Однако в январе она работала еще плохо. График не выполнялся. Много машин ломалось. Ремонтировали медленно, доставало запчастей.

Задача была вывезти из Ленинграда в феврале 100 тысяч человек, в марте — 200 тысяч. Это против 11 тысяч фактически эвакуированных в январе.

А Юра Рябинкин живет еще в декабре. Ему дотянуть бы до конца года, а потом как-нибудь до февраля, до марта! Но для него теперь день — за месяц, неделя — за год...

Последние страницы

«9 декабря (продолжение). Сколько еще чистых страниц осталось в дневнике? Раз, два, три... Тридцать шесть... А было... было двести. Через полмесяца уже полгода этому дневнику, полгода войны. Много я писал в этом дневнике. Сперва мои записи носили описательный характер, затем сменились лирическими. Каждый прожитый мною день дает еще одну страницу, а то и две. И сколько раз запись дня начиналась о голоде, о голоде и холоде? Сейчас, когда я вижу перед собой перспективу эвакуации, я как-то замалчиваю эти мысли. Но вот исчезни эта надежда... Что будет? Чем я буду жить? А сейчас опять не то обстрел, не то тревога. Что-то где-то бьет, слышно. Мама во Дворце труда. Там, под обстрелом... Ей надо опечатать имущество обкома, фонд. Разрешится ли сегодня наша надежда о вылете? Или нет?..

Пора кончать. И без того целый лист перемарал без толку своими «лирическими» отступлениями. Вернусь-ка к реализму. Что нам сегодня поесть придется? Хорошо, если в столовке отпустят по талонам за II декаду. А то без ничего будем сидеть весь день. Весь день... Сутки...

10 декабря. Декада к концу. А дела наши с эвакуацией... Вопрос все еще остается открытым. Как это мучительно! Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше, и дорога к смерти, голодной смерти, идет параболой с обратного ее конца, что чем дальше, тем быстрее становится этот процесс медленного умирания... Вчера в очереди в столовой рассказывала одна гражданка, что у нас в доме уже пять человек умерло с голода... А самолеты летят до Вологды... Каждому прибывающему дается целых 800 г. хлеба и еще сколько угодно по коммерческой цене. И масло, и суп, и каша, и обед... Обед, состоящий не из жидкости, а из твердых тел, именуемых: каша, хлеб, картофель, овощи... Какой это контраст с нашим Ленинградом! Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы... забыть пережитые страдания... Вот она, моя мечта на сегодня.

«Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!» Но когда Лебедев-Кумач составил слова к этой песенке, не думал он... Правильна народная мудрость: «Человек закаляется в несчастье», «Весь характер человека проявляется у него полностью лишь в несчастье». Таков и я. Несчастья не закалили, а только ослабили меня, а сам характер у меня оказался эгоистичным. Но я чувствую, что сломать мне сейчас свой характер не под силу. Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю и хотя бы четверть пряника да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж если я скачусь к голодной смерти, к опухолям, к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не брать ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка! Если эвакуации не будет — у меня живет-таки надежда на эвакуацию, — я должен буду суметь продержаться маму и Иру. Выход будет один — идти санитаром в госпиталь. Впрочем, у меня уже созрел план. Мама идет в какой-нибудь организуемый госпиталь библиотекарем, а я ей в помощники или как культработник. Ира будет при нас.

Дневник для Юры все более становится средством, помогающим во что бы то ни стало удержать себя от сползания, которое уже началось! Стыдом удержать себя! Нет у Юры другого оружия

в борьбе с голодом, в борьбе с тем, что, как утверждали многие, «правит миром». И чтобы заострить свое оружие, Юра заостряет свою вину. Мало того: специально записывает в дневник все, за что будет и после смерти стыдно. Мать (или кто-то еще) прочтут ведь! А смерть — вот она, рядом. И она отдаст дневник в руки матери. Саму мысль о смерти Юра использует, чтобы укрепить себя, свою волю. Теснимый, обгладываемый голодом, Юра сдает позицию за позицией. А дневник — как последнее средство! — становится все более откровенным, страшным. Вот что ты делаешь, вот что будет читать мама, люди будут читать, узнают о тебе... Он и маму начинает любить больше, чем в мирное время. Совесть одолела страдания, раскрыла его сердце, сделала его еще более отзывчивым.

«Сегодняшний вечер даст мне лишь одни слезы. Я это знаю. Мама голодная, холодная. Дров у нас мало, почти нет, теплого она ничего не достанет, съестного также, измучается, издержается... Из Смольного придет отрицательный ответ, или вопрос все еще останется открытым. Жмыха и дуранды не достанет. Утром, перед ее уходом, плакала Ира — плохая примета, неужели и я стал верить в приметы? Наверное, так. Какие мрачные мысли лезут мне в голову? Все горько, все уныло, голодно, холодно стало на этом свете. Все мысли стремятся к одной еде да еще к теплу. На улице мороз — 20—25 градусов. В комнате, хотя и топилась печка, холод такой, что у меня замерзли ноги и по спине бегают дрожь. И ведь дай мне съесть буханку хлеба!.. Я оживу, я засмеюсь, я запою песни, я... что говорить...

На часах одиннадцать утра... А впереди — день, вечер, ночь. А там... там новый день, новая порция хлеба в 125 г. Новая декада. Конфеты... Медленно угаснет во мне жизнь, как медленно перевортываются страницы этого дневника... Но медленно и верно!

...У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфеты... Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь... И кусочек маленький-маленький шоколада тоже съел... Ну что я за человек! У мамы вчера сильно распухла нога, с эвакуацией вопрос открытый, в списки треста № 16 маму включить нельзя, одна надежда на Смольный. Смольный даст нам троим, маме, мне и Ирине, жизнь или смерть. У нас после сегодняшнего дня осталось только 200—300 грамм крупы на вторую декаду да 300 грамм мяса. Конфет тоже всего 650 грамм, правда еще сахара Ирине 200 грамм должны получить. У мамы ее карточка уже полуиспользована на 2-ю декаду, в запасе лишь Ирина (150 г.) да моя — 180 грамм... А внешне мы готовимся к эвакуации, собираем вещи, готовимся...

Меня уже не радует начавшееся по всему фронту наше наступление, отбит Тихвин, Елец, немцы бегут на ростовском направлении к Мариуполю и Таганрогу, на московском направлении наши части начинают гнать немцев с завоеванных ими областей, из-за отсутствия антиобледенителей сотни немецких самолетов бездействуют, почему немцы и не бомбят Ленинград эти дни, разворачивается все шире партизанская война в Югославии, немецкие части несут большой урон от англичан в Ливии, лишь Япония продолжает бить США, нанося чрезвычайно эффективные удары, но ее постигнет участь та же, что получит и Германия от нас. Эх, если бы только разрешили вылет на самолете! Только перенесший большое горе, большие страдания может ощутить в полной мере счастье, какое только существует на земле. Через две декады Новый год. Где-то будем мы, что будет с нами? В эту новогоднюю ночь осиротеют новогодние игрушки в диване, не

будет для них елки, негде им будет показаться во всем своем блеске и наряде. Не до елки будет каждому человеку в Ленинграде в эту ночь. Как сон мы вспомним, если будем живы, прошлогодние рождественские вечера, елки с горящими свечами, обильный пряностями, закусками и другими сладостями ужин, какой всегда имел место на 1 января... Может быть, а впрочем, что загадывать наперед, что с тобой может случиться?.. Как проведет эту ночь Тина? Где будет ее мысли ровно в 12 часов ночи 31 декабря 1941 года, когда сорвется последний листок календаря и откроется новый чистый свежий календарь 1942 года?.. Время летит, летит...»

Юра не понимает, какое значение для Ленинграда имел Тихвин. Освобождение Тихвина сразу сокращало маршрут подвозки продуктов к Ладоге, сам Тихвин становился главной перевалочной базой...

Но все равно Ладога еще не справлялась с заданием, не хватало дорожных частей. Количество машин сократилось из-за потерь, много было разбито, ушло под воду, ждало ремонта. А ремонтников не хватало. На железной дороге от Тихвина до Войбоколова надо было восстановить разрушенные мосты.

«Сейчас мама ушла в трест № 2 к Тураносовой осведомиться насчет отправки из Ленинграда и валенок.

Анфиса Николаевна ходит злая и угрюмая. Понятно отчего. Запасы сухарей и крупы у нее кончились, послезавтра она последний раз получает молоко в тубдиспансере, а об эвакуации ее вопрос также остается открытым. Вот и бесится, боится, что будет недоедать. Ну что ж, смеяться над чужим несчастьем не нужно, дай бог чтобы наступило на всем земном шаре такое время, когда ни один человек не знал бы, что такое голод.

Страницы моего дневника подходят к концу. Кажется, что сам дневник определяет мне время своего ведения...

12 декабря. Сейчас мама ушла в карточное бюро. От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь. Если история эта всплывет наружу, я могу даже покончить с собой. Впрочем, что так бы и вышло. Мне тогда, выросшему в почти беззаботной, счастливой, райской, как мне кажется, обстановке, жить мне тогда — значит вечно мучаться, пока голод или немецкая пуля не прекратят мое жалкое влачение. Что-то будет тогда с Ирой, с мамой... Выехать из Ленинграда, даже вылететь, если бы ответ из Смольного был бы положительен, удалось бы только в январе месяце. А опухнуть и умереть от водянки можно в неделю, а отправиться на тот свет от шального осколка или грядущих быть ОВ и в одно мгновение.

Но наружно я должен не унывать. Иначе — все. Все не для меня (для меня все уже настанет, быть может, через... ну, время назвать не могу — в любое мгновение), но все для мамы, Ирины. Пролет Тина слезы на дальней стороне, вспомнит всю нашу прошлую жизнь, пожалеет кое о чем, да и через полгода станет опять такая ж... Пройдет полгода, год, война кончится, настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Истлеют наши трупы, в пыль рассыплются кости, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы гордый и недоступный врагу.

Сколько людей каждый день умирает в Ленинграде! Сколько голодных смертей! Только сейчас я представляю себе город, осажденный врагом. Голод несет смерть всему живому. Только на себе испытывавшие голод могут понять его. Вообразить же его неиспытавшему человеку невозможно.

Но зачем такие грустные мысли, столько меланхолии? Вспомнень, бывало, оду Державина «На смерть кн. Мещерского», да и задумываешься над концом. Раз нам дали жизнь, этот бесценный дар природы, так зачем же думать о плохом в ней? Думай лишь о хо-

рошем, бери от жизни все те удовольствия, какие она может дать. Что терять?

Все это так, но какой-то тайный червь грызет втайне мою душу. Человек никогда не удовлетворится настоящим. Ему надо еще хоть самое мизерное улучшение, что-то новое в будущем. Можно впрямь сказать, что «надежды юношей питают», внося еще одну поправку, а именно: под юношами подразумевать всех людей.

Третий час ночи. Ира спит, я пишу дневник».

Странно, он вспомнил стихотворение, которое в русской поэзии, может, с наибольшей силой раскрывает философию смерти:

...Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечет...
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

Ему, Юре, хотелось бы проникнуться этим высоким отношением к жизни и смерти. Но и взрослому это трудно, а уж юноше тем более.

Подступили вплотную дни отчаянной борьбы, самого тяжелого испытания, которое Юра Рябинкин успеет еще пройти. Неокрепшая душа его стала ареной борьбы между совестью и голодом. Это просто сказать — борьбы. Но надо представить себе все реально. Конечно, долг, любовь к маме и сестре, стыд, воспитанная порядочность, честность — все это противостояло голоду, но голод — он рос с каждым днем, он не считался ни с чем, и какие бы запреты ни воздвигал себе Юра, голод не подчинялся. Заставлял брать, запихивать в рот довесок хлеба — чужой! Ничего Юра не мог поделывать с собой. Как мучается он, корчится от стыда и отвращения к себе, клянется и снова не выдерживает, нарушает клятву, он падает, низвергается и все же не сдается, он продолжает казнить себя, следит за собою... Вот эта борьба, почти безнадежная, но которую Юра вел до конца, — самое дорогое в истории его короткой жизни.

«12 декабря (продолжение). Мамы нет дома. Через полчаса, а то и немного раньше надо сходить в столовку треста. И так, сегодня уже 12 декабря. Кстати, это, кажется, уже IV годовщина дня выборов в Верховный Совет СССР. Сегодня я прямо заявляю, что больше месяца мы в Ленинграде не проживем. Это как $2 \times 2 = 4$. Сейчас стук в дверь — бегу отворять, сердце тревожно забилося в груди, отворяю... не мама, а Анфиса Николаевна...

5 часов вечера, а мамы нет. Значит, это что-то плохое. Либо дело с карточкой всплыло, маму, быть может, даже задержали в бюро, либо с мамой произошел какой-нибудь несчастный случай, быть может, она сейчас уже в больнице или даже морге... Чем не играет судьба?..

И все это из-за карточки. А почему мама взяла эту карточку? Из-за меня, из-за моего голодного вида. Это я толкнул ее на преступление, я виновник смерти, быть может, или же будущей нищенской жизни мамы и Иры, горя Тины, не говоря уж о зле, причиненном самому себе. Я виновник всего этого! Если бы я не впадал в меланхолию, уныние, было бы не то. Под моим влиянием мама пошла на преступление, я должен перенять кару с нее на себя. Если и это не выйдет, если я погубил все наши жизни, я лишу себя жизни, я должен и могу это сделать. Пойти добровольцем в ополчение и хоть на фронте сделать доброе дело, погибнуть за родину. Погибнуть, не забыть

отдать свой долг. «Любишь кататься — люби и саночки возить», «Что посеешь, то и пожнешь».

Если история с карточкой вышла, то я отправлю Тине следующую телеграмму-молнию: «При смерти. Помощь не нужна. Забудь нас. Юра». Но я так писал бы, коли был один. А ведь Ира. Наконец, мало ведь как можно испортить всю их жизнь? Умереть-то легко, а вот поставить Иру на истинный путь!.. Пишешь и чуть не плачешь. Вчера мама говорит: «У меня вся надежда на бога. Вот я и коммунистка, а в бога верую. И Ира тоже». Но на бога надейся, а сам не плошай. И все-таки я чувствую, что, пожалуй, я тоже становлюсь религиозен, смотрю на икону и молю бога, чтобы отвлек от нас это несчастье.

А мамы нет и нет... Шестой ведь уже час вечера, ушла и вот до сих пор нету... А сегодня как раз артобстрел был где-то...

Единственный человек, которому мы дороги, который не покинул бы нас в минуту несчастья, Тина — далеко-далеко, в Канске, в Красноярском крае, за блокадой, за фронтом, за Уралом, за Енисеем, в самой глуши Сибири...

Еще подожду полчаса или час, а затем пойду в трест № 2. Я должен знать, где мама. А если ее там после часу не видели, придется завтра наводить справки по больницам, съездить в морги».

И сползшей вниз по странице рукой: «Что за ужас я пишу, я не могу больше. Боже мой, боже».

«13, 14 декабря. Пишу за два дня, что редко со мной теперь случается. Полдня провалялся в постели, вечером сходил в магазин и купил 6 плиток какао с сахаром из сои по 30 р. (пачка — 100 г.) да еще 300 г. сыру по 19 р. кг. По дороге домой случилось несчастье; так что я вернулся домой, имея при себе лишь 350 г. какао да сыр. Была сцена с мамой и Ирой. Мама, вернувшись из райкома, сообщила, что мы занесены в список эвакуирующихся на автомашинах в колонну Наркомстроя, которая по обещанию райкома да райсовета пойдет 15—20 декабря. Завтра как будто еще решится о самолете. Дома еды нет никакой, кроме 100 г. хлеба, которые мама выменяла на пачку табаку. Болит зуб, общее недомогание. в отъезд из Ленинграда как-то не верится, все думы о еде, еле держусь на ногах, так что, несмотря на вести об эвакуации и хорошие новости с фронта (разгром немецкой армии под Москвой. Ростовом, Тихвином), настроение упадочное. Если бы только чем-нибудь подкрепиться, что-нибудь поесть! Как бы я ожил...

15 декабря. Каждый прожитый мною здесь день приближает меня к самоубийству. Действительно, выхода нет. Тупик, я не могу дальше продолжать так жить. Голод. Страшный голод. Опять замолкло все об эвакуации. Становится тяжело жить. Жить, не зная для чего, жить, влачить свою жизнь в голоде и холоде. Морозы до 25—30° пробирают в 10 минут и валенки. Не могу... Рядом мама с Ирой. Я не могу отбирать от них их последний кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что такое сейчас даже хлебная крошка. Но я вижу, что они делятся со мной, и я, сволочь, тяну у них исподтишка последнее. А до чего они доведены, если мама вчера со слезами на глазах говорила мне, что она искренне желала бы мне подавиться уворованным у нее с Ирой довеском хлеба в 10—15 грамм. Какой страшный голод! Я чувствую, знаю, что вот предложи мне кто-нибудь смертельный яд, смерть от которого приходит без мучений, во сне, я взял и принял бы его. Я хочу жить, но так жить я не могу! Но я хочу жить! Так что же?»

И снова через всю страницу детское, незащищенное: «Где мама? Где она?»

«Ну вот и все... Я потерял свою честность, веру в нее, я постиг

свой удел. Два дня тому назад я был послан за конфетами. Мало того что я вместо конфет купил какао с сахаром (расчет на то, что Ира его есть не станет и увеличится моя доля), я еще половину «всего» — каких-то 600 г. полагалось нам на всю декаду — присвоил, выдумал рассказ, как у меня три пачки какао выхватили из рук, разыграл дома комедию со слезами и дал маме честное пионерское слово, что ни одной пачки какао себе я не брал... А затем, смотря зачерствелым сердцем на мамины слезы и горе, что она лишена сладкого, я потихоньку ел какао. Сегодня, возвращаясь из булочной, я отнял, взял довесок хлеба от мамы и Иры грамм в 25 и также укромно съел. Сейчас в столовой я съел тарелку супа с крабами, биточки с гарниром и полторы порции киселя, а домой маме и Ире принес только полторы порции киселя и из них еще часть взял себе дома.

Я скатился в пропасть, названную распущенностью, полнейшим отсутствием совести, бесчестьем и позором. Я недостойный сын своей матери и недостойный брат своей сестры. Я эгоист, человек, в тяжкую минуту забывающий всех своих близких и родных. И в то же время, когда я делаю так, мама выбивается из сил. С опухшими ногами, с больным сердцем, в легкой обуви по морозу, без кусочка хлеба за день она бегаёт по учреждениям, делает самые жалкие потуги, стараясь вырвать нас отсюда. Я потерял веру в эвакуацию. Она исцела для меня. Весь мир для меня заменился едой. Все остальное создано для еды, для ее добывания, получения...

Я погибший человек. Жизнь для меня кончена. То, что предстоит мне впереди, то не жизнь, я хотел бы сейчас две вещи: умереть самому, сейчас, а этот дневник пусть прочла бы мама. Пусть она прокляла бы меня, грязное, бесчувственное и лицемерное животное, пусть бы отреклась от меня — я слишком пал, слишком...

Что будет дальше? Неужели смерть не возьмет меня? Но я хотел бы быстрой, не мучительной смерти, не голодной, что стала кровавым призраком так близко впереди.

Такая тоска, совестно, жалко смотреть на Иру...

Неужели я покончу с собой, неужели?

Есть! Еды!

24 декабря. Не писал я уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Целых 8 дней рука не брала в руку перо.

Со мной произошли перемены. Появилось что-то хорошее, как мне кажется, в моем характере. Поворот этому дала потеря мною Ириной карточки на сахар. О, как я тогда подло поступил с мамой и Ирой. Зазевался в магазине и потерял 200 г. сахару, 100 г. шоколада для Иры и мамы и 150 г. конфет. Я хочу перемениться, хочу выковырять из себя иной характер, но я чувствую, что без поддержки мамы и Иры мне не протянуть на моей честной новой жизни. Пусть бы они как-нибудь сглаживали, ну, дальше я не могу просто выразиться. Сегодня я в первый раз за много уже дней принес домой полностью все конфеты, выкупленные в столовой, делюсь с Ирой и мамой хлебом, хотя иной раз еще украдкой стяну крошку. Но сегодня я почувствовал к себе такое теплое обращение от мамы и Иры, когда они взяли и отделили мне от своих конфеток: мама — четверть конфетки (впрочем, потом опять взяла себе), а Ира — половину конфетки за то, что я ходил за пряниками и за конфетами и лепешками из дуранды в столовую, что я чуть было не расплакался. Это люди, те люди, которых я так обманывал раньше и которые знают теперь про мои прошлые обманы! Да, чего только не может сделать хорошее обращение! Но затем... та же мама у меня взяла пряник, пообещав лишнюю конфету (а лишнюю конфетку получила сама), а та же Ира плакала, что мама дала и ей и мне одинаково по конфетке, а я потом

еще Ире от своей конфетки дал, так что конфеток-то Ира съела больше. Правда, сегодня мой грех: утаил от мамы и Иры один пряник... Ну... это вот плохо.

Маме что-то обещают в райкоме, что ее эвакуируют 28/XII... Сейчас мама пошла в райком насчет этого дела, если эвакуация будет отложена на 1 января, мы погибли, т. к. у нас осталось только талонов на два дня, еле-еле на три. Не больше. Мамино здоровье все более ухудшается. Опухоль у нее идет уже к бедру. Я завшивел окончательно... Я и Ира немного опухли на лицо. Сегодня кончили конфеты. Завтра — крупу. Послезавтра — мясо и масло. А затем, затем...»

Реальность такова, что человеку порой хочется ущипнуть себя, проверить: я ли это, не сплю ли я, со мной ли это происходит? Но это ты, ты — и деваться некуда от правды. Твоя, а не чья-то жизнь оканчивается, почти окончилась в шестнадцать, в каких-то шестнадцать лет! Юра то уклоняется, прячется от этих мыслей, от очевидности, то вдруг бросается навстречу правде, всей правде — с горечью, с жалобой, с отчаянием.

И — с благодарностью. За то небольшое, что он успел, познал, за все, что совсем не ценил вчера, благодарит Юра жизнь, которая так безжалостно от него отвернулась...

Пройти ее из конца в конец — такую недолгую — совсем не сложно. Это как по квартире пройтись. И Юра, завершая свой дневник, свой крестный блокадный путь, ощутил эту потребность — еще раз, может быть, в последний раз обойти страшную, стылую, блокадную квартиру, в каждом уголке которой теплится воспоминание о совсем другой поре, когда жизнь была бесконечной.

Это последний Новый год Юры Рябкина...

«Тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и тяжкая безотрадная скорбь. Может быть, и еще что. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политическая карта Европы на стене, домашняя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится... Но мне хочется обойти опять всю квартиру. Надеваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Из рта идут густые клубы пара, холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. Один на другом стоят поставленные Анфисой Николаевной четыре стула ее да у стенки поставлены доски от расколотого на дрова шкафа. У нас было 3 комнаты. Сейчас вправе назвать себя владельцами лишь двух из них. Крайняя к кухне занята И. О них нечего говорить. Весело топится у них в комнате буржуйка, вкусный запах идет из-под их дверей, счастьем, чувством сытости светятся лица жильцов этой квартиры. И рядом... пустая комната, оклеенная коричневыми обоями; окно разбито, гуляет холодный ветер с улицы, голый дубовый стол у стены и голая этажерка в углу. Пыль и паутина по стенам... Что это? Это бывшая столовая, место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то (это кажется давным-давно) стояли диван, буфет, стулья, на столе стоял недоеденный обед, на этажерке книги, а я лежал на диване и читал «Трех мушкетеров», закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я, «всегда довольный сам собой, своим обедом и...», последнего у меня не было, но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино... а я переживал, что не пошел в театр или еще что-нибудь, как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей... И наконец, каково вспоминать ленинградский Дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерт в его столовой, концерты, балы... Это

было счастье, которое я даже не подозревал, — счастье жить в СССР, в мирное время, счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю, знать, что будущего у тебя никто не отымет. Это — счастье. И следующая комната — мрачная, унылая полутемная клеть, загруженная всяким добром, что осталось у нас. Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола один на другом, диван, все в пыли, все закрыто, упаковано, лежать тут хоть тысячу лет...

Холод, холод выгоняет нас и из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка, на ней жарился омлет, сосиски, варился суп, за столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы... Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех, ставилась огромная, до потолка елка, зажигались свечи, приезжала Тина, приходил Мишка, на столе лежали груды бутербродов (с чем их только не было!), на елке висели десятки конфет, пряников (никто их не ел), чего только не было! А ныне здесь пусто (кажется, что так), холодно, темно, и незачем мне заглядывать в эту комнату.

Кухня, одна кухня — место, где протекает наша домашняя жизнь. Здесь мы едим (если есть что положить на язык), здесь мы согреваемся (если есть чем топить плиту), здесь мы спим (когда немного меньше покусывают вши), здесь — наш уголок.

Квартира запустела. Жизнь в ней совсем затихла. Она как бы застыла, превратилась в сосульку, а таять ей только по весне...»

После этой записи в общей тетради с черным корешком — дневнике Юры Рябинкина — еще три страницы.

«3 января. Чуть ли не последняя запись в дневнике. Боюсь, что и она-то... и дневник-то этот не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Уже кто-нибудь другой запишет его словами «смерть». А я хочу так страстно жить, верить, чувствовать! Но... эвакуация будет лишь весной, когда пойдут поезда по Северной дороге, а до весны мне не дожить. Я опух, каждая клетка моей ткани содержит воды больше чем нужно. Распухли все, следовательно, внутренние органы. Мне лень передвинуться, лень встать со стула, пройти. Но это все от избытка воды, недостатка еды. Все жидкое, жидкое, жидкое... И опух. Мама порвала со мной с Ирой. Они оставят меня, у мамы уж такая сейчас стала нервная система, что она готова позабыться, и тогда... Как это уже бывало, как она мне каждый день говорит, тогда она с Ирой как-нибудь выберутся отсюда, но не выбраться мне. Какой из меня работник? Какой из меня ученик? Ну проработаю я, проучусь неделю, а там и протяну ноги... Неужели это так и будет? Смерть, смерть прямо в глаза. И деться от нее некуда. В больницу идти — я весь обовшивел... что мне делать, о господи? Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!.. Но, быть может, хоть останется жить Ира. Ох, как нехорошо на сердце... Мама сейчас такая грубая, бьет порой меня, и ругань от нее я слышу на каждом шагу. Но я не сержусь на нее за это, я — паразит, висящий на ее и Ириной шее. Да, смерть, смерть впереди. И нет никакой надежды, лишь только страх, что заставишь погибнуть с собой и родную мать и родную сестру.

4 января... А впереди еще целый месяц до улучшения с продовольствием и отъездом. Что с нами будет к концу этого месяца, в каких нищих мы превратимся, если только нас не вырвет отсюда какой-то наисчастливейший дар фортуны, милость бога, небесное спасение даст нам эвакуацию завтра, послезавтра, до середины 2-й декады... Только какой-то именно, только бог, если такой есть, может дать нам избавление. Пусть он спасет нас теперь, никогда, никогда не придется мне уж обманывать мать, никогда не придется мне порочить свое чистое имя, оно опять станет у меня священным, о, только бы нам была дарована эвакуация, сейчас! А я клянусь всею своей

жизнью, что навечно покончу со своей гнусной обманщицкой жизнью, начну честную и трудовую жизнь в какой-нибудь деревне, подарю маме счастливую золотую старость. Только вера в бога, только вера в то, что удача не оставит меня и нас троих завтра, вера на ответ Пашина в райкоме — «ехать» — только это ставит меня на ноги. Если бы не это, я погиб. Но я хочу остаться, вернее хотел бы, да не могу... Только завтрашний отъезд... Я сумею отплатить хорошим по отношению к Ире и к маме. Господи, только спаси меня, даруй мне эвакуацию, спаси всех нас троих, и маму, и Иру, и меня!..

6 января... Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы (...) из меня уходят, уходят, плывут... А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. ☹ господи, что со мной происходит?

И сейчас я, я, я...»

Нам легче читать не про сами страдания, а про их преодоление, в этом мы признаем смысл — в борьбе, которая выиграна, в гибели, которая оправдана. Но жизнь не всегда дарит такие оправдания. Юре оно не было дано. Мы ничем не можем помочь Юре, мы можем только сострадать ему. И оттого, что помочь нечем, и оттого, что самому Юре не найти выхода и нам не в чем упрекнуть его, — от этого страдание сильнее.

Мы следим за его борьбой с собственными слабостями, его победами, а ему плохо, ему очень плохо. Ему так нужно, чтобы его кто-нибудь пожалел. Просто пожалел. Мать издергалась до предела — на грани голодного безумия; Ира — истощенный замученный ребенок; ну а соседям И. не до него... Кому же во всем, во всем мире он нужен, кому до него дело? Юра уже и сам не верит, что кому-то он нужен вот такой — сонно-вялый от водянки, обовшивевший, со всем его «преступным» прошлым (тайком съеденные кусочки хлеба, ложка каши из кастрюли Анфисы Николаевны вырастают в его сознании до проступков непростительно тяжелых). И этот мальчик всем, всему миру (даже богу, «если он есть») обещает искренне, трогательно, что всегда будет честен, добр, заботлив, «скромно жить в деревне», а мать будет иметь счастливую спокойную старость... Это не хитрость погибающего существа, чтобы только задобрить кого-то (неизвестно кого), разжалобить, вымолить у судьбы эвакуацию, спасение, жизнь. Он искренне мучится сознанием, что его слабость, бессилие (а мы уже знаем, что он в этом действительно неповинен: мужчины раньше женщин соскальзывали к подобному состоянию) погубит и мать и сестренку, и готов собственной жизнью заплатить за их спасение. Но виноват ли он, что ему так хочется жить, жить?..

Юра, как и все его сверстники, никогда не считал, что надо чем-то доказать, заслужить право на высокие мечты, надежду на счастливое, содержательное будущее, а тем более право на жизнь. Что может быть естественнее этого права? Мечты — пусть, надежды — ладно, но чтобы и право на жизнь, просто жизнь, нужно было доказать, заслужить!.. Но именно такое время пришло, такой момент подступил: смерть, смерть на каждом шагу. Все отнято у него: тепло, пища, даже любовь матери, которая (как Юре кажется) все больше сживается со страшной мыслью, что если еще и можно спасти хотя бы Иру, то лишь задавив в себе жалость к налитому водянкой, обессилевшему сыну, который уже неспособен даже выйти, выехать из города, если они и получают разрешение на эвакуацию... (Повторим,

так кажется Юре, так зафиксировано в его дневнике, а как и что на самом деле чувствовала мать, как узнаешь об этом?)

На что, на кого ему, обессилевшему, опереться, как уйти от смерти, вырваться туда, где жизнь, где какое-то будущее?.. И не какое-то, а выверенное страданиями немислимыми, муками тяжелейшими! Это будущее, жизнь свою — если ему ее подарят — Юра видит как служение другим, честность, скромность, доброту. Он и сейчас готов — хотя так хочется жить, жить! — пожертвовать собой, только бы не помешать матери и Ире спастись...

Тем, кто рядом с ним (и Юре самому), кажется, что он опустился, потерял себя, а он поднялся как никогда прежде, обрел себя высшего...

Что же до обращения к богу, то чувство это не церковное — откуда оно могло взяться у Юры? Скорее это обращение к судьбе, моляба к провидению, надежда на случай и на какого-то вполне реального Пашина из райкома. Конечно, тут есть своя сложность. Признаемся, в дни войны были такие страшные, отчаянные минуты, когда невольно обращаешься к чуду; ребенок, тот твердит: «Мама!» — а мы, уже солдаты, правда еще необстрелянные, мы ведь тоже как бы взывали к судьбе, к надежде, к провидению... Было это, никуда от этого не денешься.

И вот наступил этот момент — день эвакуации. То немного, что нужно в дорогу и что можно увезти, уложено на саночки. Юра тоже приподнялся с кровати, поискал свою палочку (дневник при нем?), попытался встать, не смог, не сумел, упал на кровать...

Остаться человеком

Блокада была противоборством, противостоянием на всех уровнях и по всем возможным направлениям: от Ставки в Москве до малого радиуса Г. А. Князева или Юры Рябинкина.

Тот немецкий офицер, который навестившую его невесту «угостил Петербургом» — несколькими орудийными выстрелами, сделанными любопытной и боязливой ручкой патриотки фройляйн (факт, записанный Ольгой Берггольц), — и бывший работник Публичной библиотеки артиллерист Сергей Миляев¹⁶, у которого в этом «Петербурге» умирающие от голода дети, — оба офицеры-артиллеристы, но один на стороне бесчеловечности, второй — защитник человека и человеческой культуры во второй мировой войне.

Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей, люди, добывавшие топливо, тепло, оберегавшие детские жизни, культурные и научные ценности, — их вклад в героическое противостояние Ленинграда фашизму, может быть, был не столь очевидным, как залпы Кронштадта. Но это тоже было противостояние, и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта.

Работник Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина «неисправимый интеллигент» С. Г. Миляев стал опытным артиллеристом; профессор лесотехнической академии В. И. Шарков создает пищевые дрожжи и прочие заменители, спасшие жизнь тысячам людей; рядовой техник Б. И. Шелищ, понуждаемый самой обстановкой (не стало бензина, электроэнергии), изобретает «водородный двигатель» из подручных материалов, с помощью которого поднимались и опускались аэростаты заграждения.

А врачи! Им приходилось многое открывать заново. Обнаружилось, что мировая медицина поразительно мало знает о голоде, о дистрофии. Порой начинает казаться, что человечество совершенно по-

¹⁶ Его записки о посещении семьи, своей ленинградской квартиры мы приводили в Блокадной книге, вышедшей в «Советском писателе» в 1979 году.

детски спешит забывать неприятные переживания, обидные, унижительные, к которым относится и массовый голод.

В письме-отклике на первую часть Блокадной книги один из ленинградцев рассказал, как он попал в стационар, лежал десять дней и удивил врача тем, что сильно потерял в весе. Он терял воду (был опухший), приходя в норму, но тогда об этом не сразу догадались. Или трагические случаи в Кобоне, когда вывезенные за Ладогу дистрофики набрасывались на пищу и погибали... На одной из станций, мимо которой проезжали эвакуированные, они прочли плакат: «Горький привет ленинградцам-дистрофикам!» Люди, это написавшие, на чисто забыли даже значение самого слова «дистрофия». Будто и не было 1921 или 1933 годов!..

Жозуэ де Кастро сообщает в книге «География голода», что при освобождении заключенных из фашистских концлагерей обнаружилась все та же поразительная забывчивость людей, даже медиков, в отношении болезни, именуемой дистрофией. Заново и не сразу открыли, вспомнили, что наилучшее и первое средство — снятое молоко. А пока вспоминали, освобожденные дистрофики продолжали погибать, несмотря на весь уход и старания врачей.

«До самого последнего времени, — утверждает автор книги «География голода», — вопрос этот, поскольку он затрагивает проблемы социального и политического характера, был одним из табу нашей цивилизации. Это была наша в высшей степени уязвимая ахиллесова пята — тема, которую небезопасно было обсуждать публично...

Для организованного заговора молчания имелось несколько причин. На первом месте стояли соображения морального порядка; голод относится к числу примитивных инстинктов, и на рационалистическую культуру, пытавшуюся всеми средствами утвердить в поведении человека господство разума над инстинктом, сама постановка подобного вопроса действовала шокирующе...»

Блокадные ленинградцы многое изобретали заново — в условиях самых стесненных. С чем только не приходилось сталкиваться, бороться рядовому блокаднику, которого Г. А. Князев называет пассивным героическим защитником Ленинграда! Голодному, среди трупов, во тьме кромешной...

И он тоже стал специалистом, этот небооруженный защитник Ленинграда, — и не только в деле, к которому его приставил фронтовой город.

О том, как бывшие блокадники относятся к хлебу, об этом писали. Но вот как они по-особому понимают, ощущают человека — об этом сказать стоит. Люди такое пережили, такое видели, узнали о себе и о других, что почти каждый задумывался о человеке, его возможностях, о его пределах и выскажет вам свое суждение об этом. Г. А. Князев судит о человеке со стороны прежде всего духовной. Для него это естественный, «профессиональный», если хотите, угол зрения. От медика вы услышите и о физических возможностях, пределах человеческого организма.

Но чаще, нежели о физических возможностях, блокадники свидетельствуют о духовных проявлениях, потенциях человеческих, как это им открылось в те дни и месяцы.

Людмила Николаевна Бокшицкая вспоминает:

«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в декабре 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги, не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете: «У каждого был свой спаситель»... В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, так как в квартире, где было много жильцов, живых уже не было... Увидев, что и мы уже «залегли», что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со слова-

ми, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни наша угловая комната первого этажа так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе одного метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, последняя, наверное, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.

8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой, две дочери, во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама как бы с испугом задала вопрос: какое сегодня число? И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что в этот счастливый для нее день мы не должны умирать, сегодня же день рождения Люсены, т. е. мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышала по радио, что требовались рабочие... И теперь эту дату я считаю своим вторым днем рождения, но и днем рождения общим, для мамы и сестры. Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству... Сначала мы делали по три шага и останавливались, но ненадолго, затем по десять шагов... Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы останавливались, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть»...

Когда слушаешь иные рассказы блокадников, кажется порой: как будто все ленинградцы начитались Достоевского! Тут и «бездна», тут и «небо» души человеческой — все одновременно.

Конечно же, не из книг взято это знание пределов человеческих, понимание человека, его взлетов и падений. Знание, понимание, которому блокадник ничуть не радуется: слишком дорогой ценой оно куплено, с очень горькой памятью оно связано. Такое всезнание и Достоевского мучило, терзало, так ему, писателю, оно хотя бы нужно было...

Блокадник порой даже не соглашается с литературой — великой, бесспорной для нас. Прожив под обстрелами, бомбежкой почти три года, учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец в своем дневнике спорит «с самим Львом Толстым» о психологии человеческой.

«Я иду пешком до вокзала Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день... И никогда не приходит мысль — а может быть, я не дойду? Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой не прав, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся; что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью»... Мы именно привыкли. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилий, от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит».

В любом другом случае мы взяли бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчим. Бывший блокадник знает о себе порой такое, что человеку лучше бы не знать. О себе и о человеке такое, что мучит, как осколки в теле.

Эти «осколки» — в памяти.

Но блокадники, такое испытавшие, в массе своей сохранили глубочайшую веру в человека, в человечность. Память их удерживает всю правду обстоятельств, которые бывали порой сильнее конкретно человека. А потому редко какой блокадник будет говорить с пренебрежением, а не с жалостью о людях, испытавших моральное поражение. Даже о тех, кто у него выхватывал хлеб в магазине. Слишком жестокими были муки голода, и не каждый в силах был их выдерживать. Особенно снисходительны женщины и особенно к мужской части населения, которая вымирала в первую очередь.

«Да, бывало, что выхватывали хлеб (у меня в том числе), но ведь это больные голодом, безумные люди,— пишет нам Екатерина Васильевна Вовчар.— Ни тогда, ни теперь у меня нет сил обвинять их. Я тоже однажды хотела отнять хлеб, когда у меня дома все умирали и я никак не могла раздобыть хлеба на два дня вперед. Вдруг увидела в булочной женщину карликового роста с целой буханкой хлеба и начала ее преследовать, искать удобный момент, но все-таки опомнилась и пришла в ужас от своих намерений. Очевидно, я была еще не совсем безумная...»

Да, не только о других, но и о себе такое, и очень откровенно, рассказывают некоторые блокадники: память мучит. Это не то знание, которому рады, не то открытие, которым захочешь хвастаться. Но люди рассказывают: их сегодняшний взгляд назад, на себя вчерашнего, на свои вчерашние поступки, переживания выражает и боль и горестное удивление, недоумение. Неужели я, неужели мы могли так думать, так чувствовать?! Вот отец ушел и нет его долго — сначала о нем беспокойство, тревога, мать послала дочку по его маршруту искать — не встретила, не нашла, теперь только сожаление о карточке: пропала, кто-то заберет!.. Да и когда посылала, сказала: «Приведи, а если не сможешь — забери карточку».

Или: муж упал на улице, жена с горечью, с болью вспоминает, что первое чувство было не сожаление, что умрет, а испуг — как я его, мертвого, буду тащить, как доведу?

Многое способен вынести человек и остаться человеком. Об этом говорит большинство блокадных рассказов, дневников. Нужно только учитывать всю сложность проявления человеческого... В семьях, где отношения между людьми и до войны были ясные, определенные, высота поведения человеческого достигалась проще и легче, с меньшими потерями. Вот еще одна ленинградская семья, судьба — Светлана Александровна Тихомировой.

«...25 марта сорок второго года мне хотелось маме какой-то подарок сделать, в свои 14 лет что-то купить ей. Кускового сахара не было, пшено не было, был сахарный песок. Не помню, по какой норме мы получали. Утром, когда пили чай, мама насыпала сахарный песок в блюдечко отцу, мне и себе. И надо было как-то незаметно от этой порции отделить какую-то часть, ссыпать ее иногда в кулак, иногда оставить в блюдечке, иногда переложить в карман и потом куда-то ссыпать. У меня была такая старинная вазочка. Я собирала сахарный песок в нее. Месяца два, наверное, ушло на это — не всегда удавалось. Отец делал вид, что не замечает, а мама когда шла к буржуйке чай налить — вот в это время я ссыпала. У нас всегда в это время отмокал клей в тарелках на окне — такой, в виде плитки из шоколада, отмокал несколько дней. И этот клей был на завтрак, на обед. Прятала я этот сахарный песок. Когда он мне попался на глаза, то мне все хотелось палец в него обмакнуть и попробовать. Был случай, когда мне хотелось ночью встать и босиком дойти до этой вазочки.

Когда наступил этот день, я, помню, очень волновалась, и даже ладони были мокрые. Хотелось встать раньше мамы. Я поставила на стол полную вазочку с сахарным песком: накопилось, наверное, грамм 300! Ну, конечно, были слезы. Тут же разделили опять сахарный песок. Так праздновали день рождения.

А отцу еще до этого, в день Красной Армии, я подарила полсухаря. Не помню, как я его сэкономила».

И сегодня поучительно, как блокадник открывал, познавал свои духовные человеческие возможности. И их также использовал — взамен сил физических, хлеба насущного. Последнее не фраза, не слова только. Записи Г. А. Князева, чем дальше, тем больше раскрывают, как это практически происходило. И самое удивительное, что такая замена хлеба насущного хлебом духовным, компенсация такая — возможна. До определенного, конечно, рубежа, предела...

«1942.1.3. Сто девяносто шестой день войны. Поднимаюсь медленно. Бьется сердце. На каждую ступеньку отвожу до десяти секунд.

Наконец и наши двери на площадке третьего этажа. Даю условные звонки: три резких отрывистых. С замиранием сердца прислушиваюсь к шагам М. Ф. Она дома и ждет. Она — моя героическая женщина, безропотно и стойко переносящая все испытания, и прежде всего голод. Как она похудела!словно не 51 года женщина, а хрупкая тоненькая девушка. Целую ее, чувствую ее, свою родную, близкую жену-друга. Она не потеряла своей женственности и своей исключительной женской опрятности; Светятся ее темные глаза на похудевшем лице. И я гляжу на нее с большим волнением, чем влюбленный юноша на свою возлюбленную. Каким героем показала она себя. Я знал ее 24 с половиной года как жену-друга, но не подозревал в ней такого запаса духовной энергии, воли к преодолению всех трудностей. Она не потеряла ни расположения к людям, ни бодрого веселого тона, ни улыбки, ни светлых внутренней глубиной темных чарующих глаз... Русская дивная женщина; точнее, русская по культуре, а по рождению, по натуре, по честности, исключительной правдивости и честности — зырянка: мать и отец ее были зырянами. Этот замечательный народ под напором более воинственных, жестоких, грубых народов был отодвинут в тайгу и тундру, чуть не к самому берегу бескрайнего студеного моря. Я еще в детстве читал в учебнике географии: «Зыряне отличаются особой честностью». Это оказалось правдой. Родная, честная, чистая моя жена-друг!.. Как я счастлив, что мы вместе, дома.

В передней, где мы живем, мигает лампочка. Топится плита. Начинаем обедать... Тарелка воды с какой-то крупкой и катышками из черной муки, смешанной с дурандой. Два-три по 10—15 грамм кусочка подсушенного хлеба, в покупном виде подобие замазки. И сегодня больше ничего. М. Ф. мечтает, что получу же я наконец как директор Архива Академии наук СССР и зампреда комиссии по истории Академии наук и ученого совета академических научных архивов карточку первой категории, т. е. рабочего, о которой мы хлопчем, и тем буду сравнен ну хотя бы с нашей уборщицей — истопницей Урманчевой.

Особенно не останавливаемся на трудностях питания, говорим с М. Ф. о том, что Шахматова и ее сын Алеша совсем ослабели и погибают, что у нас во дворе около Архива целую ночь у окна пролегал какой-то несчастный, умерший от истощения, и с него уже успели стащить сапоги, что некоторые продукты за декабрь так и не удалось получить в лавке... М. Ф. бодрится мыслью, что наконец-то при Академии открывается свой распределитель... Но, несмотря на все усилия, она не может больше есть катышки из смешанной с дурандой черной муки, полученной нами в декабре вместо крупы. И я додеаю с трудом, больше потому, чтобы не волновать ее... Так кончается наша трапеза.

1942.1.5. Сто девяносто восьмой день войны. Погибли от истощения и испытаний С. А. Шахматова-Каплан и ее шестнадцатилетний сын Алеша, внук академика Шахматова, мальчик особенно одаренный и большой любитель астрономии, несомненно проявивший бы себя в излюбленной области и, вероятно, в будущем был бы выдающимся ученым, а может быть, даже и академиком. На меня и всех наших сотрудников эта весть произвела потрясающее впечатление.

Отца погибшего мальчика — ученого и мужа С. А. — нет с ними. Чтобы разыскать его, отнести ему еды, мать и сын тратили все свои выходные дни и отдавали свои последние крохи. Потом силы их ослабли и оба они слегли беспомощными и обреченными.

1942.1.6. Сто девяносто девятый день войны. В научном заседании комиссии по истории Академии наук я сделал доклад «К истории замещения академических кафедр за все время существования Академии (1925—1941)». Заседание происходило под председательст-

вом академика И. Ю. Крачковского. Присутствовали А. И. Андреев, Л. Б. Модзалевский, П. М. Стулов, М. В. Крутикова и другие.

«Может быть, это мой последний научный доклад».

Да, жестокую, но и высокую правду узнали люди, пережившие ленинградскую блокаду. Правду о человеке, о его пределах.

«Даже не веришь, что это было с тобой...» — писали нам после публикации первых глав Блокадной книги. Не верится самим блокадникам, что могли такое вынести. И знание — на всю оставшуюся жизнь: да, все превозмогли ленинградцы!.. Удивление это и знание это хорошо передает, выражает случай, рассказанный Евдокией Николаевной Глебовой — о ней мы уже упоминали. Евдокия Николаевна, сестра талантливого советского художника Павла Николаевича Филонова, вспоминает, как она спасала его картины:

«Осенью 1941 года, в конце октября, неожиданно пришел к нам брат. Пришел и принес четыре картошечки. Принес в то время, когда они буквально на вес золота. Оторвав их от Екатерины Александровны¹⁷, от себя, когда все голодали. Запасов у них не было никаких.

Когда 22 июня 1941 года Молотов по радио произнес свою речь о войне, я позволила брату и просила сделать какие-нибудь запасы. Он с возмущением сказал: «Если такие люди, как вы и мы, будут делать запасы, это будет преступление». А может быть, думай он иначе, он и не умер бы так рано, через полгода после объявления войны.

Было очень холодно, на нем была его куртка, теплая шапка и Петины лыжные брюки (наверное, Екатерина Александровна настояла, заставила его надеть эти брюки поверх своих, бумажных, которые он носил и летом и зимой).

Как мы ни отказывались от картошечек, как ни просили взять обратно, он не хотел и слушать нас, он заставил взять их. Что мы говорили тогда, к сожалению, теперь я уже не вспомню. Дома у нас было очень холодно. Он не разделся, оставался у нас недолго. Может быть, он думал, что это его последний приход к нам, но мы никак не предполагали, что видим его последний раз. И сейчас я не могу понять, не могу простить себе, что мы не отнесли эти картошечки к ним обратно, а оставили себе. Закрыв за ним дверь, мы подошли к окну, ожидая, что он, как всегда бывало, остановится, помашет нам на прощанье рукой, улыбнется, но на этот раз этого не случилось... Шел он по двору своим широким шагом, но медленно, низко опустив голову. Когда он зашел под ворота, мы так и остались у окна, растерянно глядя друг на друга.

Что он думал тогда, что чувствовал?

Это был последний его приход к нам.

Во время войны брат добровольно охранял дом, в котором жил, от зажигательных бомб. Голодный, как должен был он мерзнуть в своей куртке, которую из-за холода нельзя было снять и дома.

Однажды в темноте он упал с лестницы. К врачу не обратился, полагаясь, как всегда, на свои силы. А сил-то уже не было... Не знаю, как в этот раз, но обыкновенно, заболевая (болел он очень редко), он садился в кресло и дремал, но не ложился в постель. Правда что и здоровому-то на этой «постели» было бы трудно, не то что больному (матраца на его кровати не было). Ни врачей, ни лекарств он не признавал.

3 декабря 1941 года утром нам дали знать, что брату очень плохо. Мы сразу же бросились к нему. Трамваи еще ходили. Войдя в комнату, мы увидели брата, лежавшего на постели, стоявшей не на своем обычном месте. Он лежал в куртке, теплой шапке, на левой руке была белая шерстяная варежка, на правой варежки не было, она была зажата в кулаке. Он был как будто без сознания, глаза полузакрыты, ни на что не реагировал. Лицо его, до неузнаваемости изменившееся, было спокойно. Около брата была его жена Екатерина Александровна и ее невестка М. Н. Серебрякова. Мне трудно объяснить почему, но эта правая рука с зажатой в ней варежкой так поразила меня, что я и сейчас, более чем через тридцать лет, вижу ее. Если бы я могла рисовать, я нарисовала бы ее — и стало, может быть, ясно, чем так поразила меня эта рука. Написать же об этом очень трудно. Но все же я постараюсь сделать это. В правой руке

¹⁷ Жена П. Н. Филонова.

была зажата варежка, рука немного откинута в сторону и вверх, эта варежка казалась не варежкой... Нет, это непередаваемо. Рука большого мастера, не знавшая при жизни покоя, теперь успокоилась. Дыхания его не было слышно. В глубокой тишине, не разговаривая, мы ждали прихода доктора, каких-то уколов. Но еще до его прихода мы поняли, что все кончено. Он так тихо и так медленно дышал, что его последнего вдоха мы не заметили. Так тихо он ушел от нас...

Плакали мы или нет — не помню, кажется, так и остались сидеть в каком-то оцепенении, не в силах осознать, что произошло, что его нет! Что все, созданное им, осталось — стоит его мольберт, лежит палитра, краски, висят на стенах его картины, висят его часы-ходики, а его нет.

Только приход писателя Николая Аркадьевича Тощакова, жившего в том же коридоре, зашедшего узнать о здоровье брата, вывел нас из какого-то странного состояния оцепенелости. С помощью Николая Аркадьевича мы начали готовить его в последний путь. Николай Аркадьевич один перенес его с постели на стол. Лежал он в сером костюме, единственным за всю его жизнь. Но он был такой худой, такой неузнаваемо другой, что его бывший ученик скульптор Суворов, пришедший проститься и снять маску, должен был отказаться от этой мысли. В это страшное время, когда нельзя было найти гроб, когда хоронили в простынях, мы решили во что бы то ни стало найти доски, заказать гроб. Нам это удалось, правда после целой недели поисков. Помог нам в этом Союз художников. На девятый день после смерти мы хоронили его...

В день похорон мы — сестра и я — достали и привезли двое саней: большие и детские, для Екатерины Александровны, так как идти за гробом она не могла. Везли брата на кладбище без меня, так как я должна была позаботиться о месте, куда через несколько часов должны были опустить тело брата. Придя на Серафимовское кладбище, я нашла человека, который за хлеб и какую-то сумму денег согласился приготовить место. Какой это был нечеловеческий труд! Стояли сильные морозы, земля была как камень. Но еще больше, чем мороз, затрудняли работу корни акации, около которой он должен был рыть землю. И, как я помню, и забыть это невозможно, он больше рубил корни топором, чем работал лопатой. Наконец я не выдержала и сказала, что буду ему помогать, но минут через пять он взял лопату от меня и сказал: «Вам не под силу». Как я боялась, что он бросит работу или, продолжая работу, станет ругаться! Но он только сказал: «За это время я вырыл бы три могилы». Добавить что-то к сумме, о которой мы договорились, я не могла, с собой у меня было только то, что я должна была отдать ему за работу, и я сказала ему: «Если бы вы знали, для какого человека вы трудитесь!» И на его вопрос: «А кто он такой?» — рассказала ему о жизни брата, как он трудился для других, учил людей, ничего не получая за свой очень большой труд. Продолжая работать, он очень внимательно слушал меня. Человека этого я вижу и сейчас очень ясно, кажется, если бы я встретила его, узнала бы. Он не был кладбищенским работником, но чтобы прокормить семью, он пошел на эту тяжелую работу. И как я благодарна ему за его труд, за то, что он терпеливо, а главное, без брани проделал эту страшную работу.

Когда привезли тело брата, все было готово.

Везли его так. Сестра Мария Николаевна, невестка Екатерины Александровны и ее племянница Рая попеременно: две — тело брата и кто-то один саночки с Екатериной Александровной.

Опускали тело брата не совсем обычно, так как половина могилы была подрыта внутри, а верхняя часть оставалась нетронутой.

Что было после того, как могила была зарыта и остался холмик, на котором не было ни венка, ни хотя бы одного цветочка, я как-то не помню. Екатерину Александровну мы довели до дома. С ней остались ее невестка и Рая. Зашли мы к ней или нет — не помню. Кажется, не заходя к ней, повезли сани их владельцу. Но помню, что когда совершенно заочневшие пришли домой и хотели затопить печку, чтобы согреться, дров на месте не оказалось, кто-то за время нашего девятидневного отсутствия их унес.

После смерти брата Екатерина Александровна осталась жить в той же комнате, где они жили когда-то вместе. Через комнату от нее, в том же коридоре, жила невестка, жена старшего умершего сына, со своей племянницей Раяй. Они обе ухаживали за Екатериной Александровной, помогали ей, насколько это можно было в то страшное время. С Екатериной Александровной мы встречались — сестра и я — не часто. Мы обе работали, очень уставали и, понятно, голодали.

Все картины оставались у Екатерины Александровны. Сказать ей, что лучше было бы перенести их к нам, где они были бы сохраннее, так как у нас тогда была еще отдельная квартира, мы не решались, а Екатерина Александровна ничего по этому поводу не говорила, так они и оставались у нее. Единственное, что я могла в этих условиях сделать, это с большим трудом снять их со шкафа, где они лежали, и в присутствии Екатерины Александровны пронумеровать все картины.

Когда я по возвращении из эвакуации стала составлять каталог, зная, что картин было 400 с чем-то, я в тетради-каталоге проставила цифры от 1-й до 400-й, но когда начала заполнять, а заполняла не по порядку, чтобы не беспокоить картины, а так, как они лежали у брата, я обнаружила, что несколько номеров остались незаполненными...

Прошло около пяти месяцев со дня смерти брата, не меньше. Однажды к нам позвонили. Открыв дверь, мы увидели двух девушек, державших под руки Екатерину Александровну. Она была в своей старенькой меховой шубке, опоясанная белым вышитым полотенцем, на котором висела алюминиевая кружка. Екатерина Александровна еле держалась на ногах. Девушки, приведшие ее к нам, объяснили, что увидели ее совершенно обессиленную на Аничковом мосту и предложили проводить ее. Надо сказать, что после болезни она очень плохо говорила. Правда, брату удалось восстановить ее речь, но после его смерти, голода, одиночества ей опять стало трудно говорить. Поэтому трудно стало и понимать ее. Но все же она смогла объяснить этим добрым девушкам свой путь, и они довели ее до нас. Оказалось, что она ушла из дома еще накануне, не сказав никому ни слова о своем намерении уйти; где она провела почти сутки, осталось неизвестно, она не могла это объяснить нам. Екатерина Александровна осталась у нас, и я начала хлопотать, чтобы устроить ее куда-то.

...После смерти брата 3 декабря 1941 года, после того как я отвезла в конце апреля 1942 года жену брата в Дом хроников — это все, что мне удалось после долгих усилий сделать, — мы, сестра и я, перевезли все работы брата к себе на Невский проспект.

Голод все больше давал себя знать. Уехать из Ленинграда мы не могли, имея у себя все картины, все рукописи брата и не имея сил отдать их на хранение.

Работали мы это время в госпитале, где сейчас помещается Институт Герцена, на Мойке. Устроила сестру на работу Анжела Францевна (фамилию ее я не знала), жившая в одном с нами доме. Сделав это, она буквально спасла нас. Вскоре сестре удалось и меня устроить туда же. Мы получили две рабочие карточки! Это было настоящее счастье! Но это было уже поздно, так как, немного подкрепившись, вскоре мы почувствовали, что и этого мало. К тому же у сестры украли талоны на хлеб, к счастью, только те, которые давали право получать часть хлеба на работе. Сестра ничего об этом мне не сказала, чтобы я не стала делиться с ней своим хлебом. Сестра была удивительный человек, отдавший всю свою жизнь сестрам. А мне она была и сестра, и мать, и друг. Понятно, кража карточки сразу сказалась на ее состоянии. А я, не понимая причины, не знала, что делать. Да и что можно было тогда делать? Только эвакуироваться. Но как, если у нас на руках все наследие брата?

И вдруг неожиданно с фронта приехал Виктор Васильевич — муж нашей племянницы. Семья его была уже эвакуирована, и он зашел узнать, живы ли мы. Увидев нас, он сразу же спросил: «Почему же вы не уехали, почему до сих пор в Ленинграде?» Мы сказали, что уехать не можем, так как у нас на руках картины и рукописи брата. Когда же из дальнейшего разговора он узнал, что у нас нет сил донести картины до музея и нет никого, кто бы помог нам, и в этом весь вопрос, он сказал, что может помочь нам. Он приехал с фронта в командировку, и сделать это надо тотчас же.

Работы брата, давно уже упакованные, лежали в этой же комнате, где шел этот незабываемый разговор. Упакованы они были так: один пакет с 379 работами и рукописями и второй — вал, на нем накатано 21 полотно. Когда мы поняли, что это может быть отнесено в музей, и сейчас же, счастью нашему, радости не было границ. Он взял и понес вал, а я, оказывается, пакет, в котором лежало 379 работ! Узнала я о том, что несла пакет, через двадцать пять лет. А в течение этих лет я была уверена, что пакет нес кто-то, а я только шла с ними.

Узнала об этом зимой 1967/68 г. Вот каким образом. Я собираю все, что могу собрать о брате, чтобы все это, собранное мною, присоединить к тому, что сдано в ЦГАЛИ в Москве... Но предварительно я сделала фото со всех этих рукописей, а с этих фото микрофильм. Я как-то попросила Виктора Васильевича написать о том, как это все тогда, в блокаду, происходило. Он исполнил мою просьбу и передал мне написанное им. Каково же было мое недоумение, когда я прочитала, что «второй, легкий

пакет, несла Евдокия Николаевна». Сейчас же я позвонила ему и переспросила, уверенная, что он ошибся, но ошибки не было. Откуда же взялись силы?! Он пишет: «Второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». В этом «легком» пакете лежало 379 работ, три из них на подрамниках, и рукописи!

До сих пор я не могу представить себя той поры, несущую эту тяжесть. Я не поверила ему, долго расспрашивала, но все было так, как он написал... Что же произошло? Неужели радость, что все сделанное будет спасено, будет в музее, и мы можем наконец эвакуироваться, так как сестре становилось все хуже, дала мне силы, но отняла память?..»

Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами же ленинградцы. Верящие и не верящие, что все это было, что могло быть. И познавшие цену жизни и тепла, хлеба и человеческой солидарности, всего, что человек не умеет как следует ценить, пока это есть у него...

Обязанности историка

Дневник Г. А. Князева где-то на четырехсотых страницах (а всего их 1200 машинописных) начинает превращаться в мартиролог: жизнеописание тех, кто на его малом радиусе умер, замученный голодом, блокадой. Но это одна сторона его записей. Чем больше и подробнее о мертвых, тем радостнее записи о живом, о красоте и богатстве жизни, спрессованной в остающиеся блокаднику недели, дни. И в то же время растянутой — каждая секунда нагружается ощущением: а все-таки живу, живем, что-то получаем от жизни, гораздо больше, чем в обычное, обыкновенное время, когда и месяцы и годы не ценили, ни во что не ставили! Именно в это время в «Февральском дневнике» Ольга Берггольц писала: «...такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали».

Чем больше обесценивает голод, блокада человеческую жизнь, тем важнее и дороже она для гуманиста Князева. В первые дни, недели войны он в своих записках не всегда бывал справедлив, не всегда щадил окружающих: слишком давали знать себя сложные отношения в ученой среде. Сейчас о тех же людях, о тех же фактах судит мудрее, человечнее, различая вину и беду человека. Это не всепрощение. Это понимание. Что значат вчерашние страсти, порой мелочные, низменные, если всех по очереди забирает «первый миллион» умерших?! В каком, в первом или втором, окажешься ты сам?

«1942.1.13 и 14. Двести шестой и двести седьмой дни войны. Вчера и сегодня передают по радио речь Попкова: «Все худшее позади. Впереди освобождение Ленинграда и спасение ленинградцев от голодной смерти». Так передают из уст в уста содержание этой речи. Сам я ее не слышал: радио у нас не работает.

Люди живут последней надеждой... Январь, дескать, может быть, дотянем, но февраль, если не будет улучшения, не пережить. Ослабевшие гибнут и гибнут».

Верный своему «заданию»: не позволять блокадной мгле (хотя бы на его малом радиусе) сразу же стирать память о погибающих, — Г. А. Князев рассказывает о всех умерших, близких и дальних знакомых, людях, которых и имени никто и никогда не вспомнит. Ни один из них не попал ни в список 607 награжденных, ни в список «геройски погибших». Он готовится и свое имя занести в поминальник, пока еще в состоянии это сделать. С той же добросовестностью и объективностью записывает плюсы и минусы Князева Георгия Алексеевича.

«1942.1.18. Двести одиннадцатый день войны. Раз кругом валяются люди, стал и я приводить свои дела и бумаги в порядок на всякий

случай. Сегодня я закончил систематизацию всех моих материалов сперва на бумаге; по этой схеме подберу все мои папки.

Главная цель и значение моего архива — материалы для истории быта среднего русского интеллигента в дни войн и революций первой половины XX века. Среди этих материалов на первом месте должны быть поставлены: «К истории моего времени», записки и приложения к ним, как рукописные, так и печатные...

1942.1.19. Двести двенадцатый день войны. В Ленинградском отделе Института истории гибнут один за другим научные сотрудники. Умер мой товарищ по университету Лавров. Он так же, как и я, служил в Центрархиве (в областном ленинградском Архиве), потом перешел на работу в Академию наук. Заведовал одно время Историческим архивом в Институте истории АН в Ленинграде. Много поработал над последним академическим изданием «Русской правды», был исключительно скромно и как-то мало приспособлен к жизни. За страшную черту перешел в начале января. Ослабевши, лежал беспомощным полумертвецом, покада жизнь не оборвалась окончательно.

...Вчера М. Ф. призналась, что она устаёт. Действительно, она очень похудела, а за последние дни и побледнела. Только еще темные глаза горят светлым огнем.

Сколько мы потеряли сил, на какой грани находимся, где черта, та страшная черта, переступив которую человек уже не возвращается назад. Взяли за нормальное состояние 100%, провели страшную черту — 50% жизненной энергии, и М. Ф. определяет свое место между 40 и 50 процентами, т. е. где-то около страшной черты.

После потери 50% сил начинается быстрое затухание и после 60—70 процентов утраты их — агония и смерть.

— Надо как-нибудь выжить, — настойчиво говорит М. Ф., — не перейти за роковую черту.

«1942.1.21 и 1.22. Двести четырнадцатый и двести пятнадцатый дни войны... Второй день из-за морозов не езжу на службу; не идет коляска, масло стынет. М. Ф. проводить меня не может туда и обратно, силы ее заметно слабеют, бодр только духом.

...Неужели не доживем до весны? Кругом слишком много умирают, и не где-нибудь, а около, в нашем доме, на службе. Каждый из нас слышит лязг косаря. Поднять глаза к потолку не хотелось: там крюк, такой добротный, обративший мое внимание еще при входе в первый раз в комнату, лет 12 тому назад. Страшная мысль промелькнула тогда в мозгу: неужели он пригодится? Если что случится с М. Ф., может быть, да, пригодится.

Но кто знает, как повернется судьба. Никто не знает, что будет не только завтра, но и сегодня, вот сейчас...

Разбирая свои бумаги, ненапечатанные, законченные и начатые работы, с любовью раскрывал и прочитывал из любимых книг».

И у Охупкиной и у Рябинкина все надежды были связаны с эвакуацией, с «Дорогой жизни». Так было с большинством. Еще недавно эвакуация воспринималась как несчастье, теперь она стала спасением. Труднее всех свыкались с необходимостью уехать Князевы: для самого Георгия Алексеевича расстаться с Архивом было невыносимо, он не представлял свою жизнь вне стен Архива.

«Дороге жизни» помогали воины Ленинградского фронта, медики, шоферы, моряки, ремонтники, тысячи людей отдавали ей свои силы. Из многих наших записей приведем лишь рассказ старого питерского врача М и х а и л а М и х а й л о в и ч а К о в а л ь ч у к а. Когда он рассказывал нам, ему было уже девяносто три года. Трудился он с утра до вечера в своем саду, растил там великолепную смородину, крыжовник, цветы и все это раздавал детям и соседям. Человек он был редкого бескорыстия и трудолюбия.

В 1942 году горздрав направил его на восточный берег Ладоги, в Жихарево, в эвакуопункт наладить медицинское обслуживание переправляемых через озеро горожан. Несмотря на усиленное питание, смертность среди эвакуированных была высокая.

«Начал я принимать и сортировать больных. Вижу — многих надо оставлять, нельзя им ехать.

Тогда я сделал стационар. Где мог ставил койки, оклеивал, забивал фанерой разбитые потолки. Что делать дальше? Такое питание, какое выдавали, я больным давать не мог. Желудки у людей были страшно истощенные, а эта еда была, по-моему, опасна для них. Смертность среди вывезенных была очень большая. Я стал просить горздрав дать мне разрешение вскрыть несколько трупов, чтобы понять, что творится с людьми. Они мне разрешили, поскольку я кончил Военно-медицинскую академию. Меня же учили и Иван Петрович Павлов и лейб-хирург Федоров. Я был их любимцем, потому что я точил ножи для хирургов.

Я вскрыл несколько трупов. И что я увидел? У одного желудок лопнул и все содержимое вывалилось, весь сухой паек, который там давали: кусок колбасы твердокопченой, кусок сала и хлеба кусок. После обедов он еще это съедал! И вот с тех пор я стал просить, умолять отменить сухой паек. Был там Ханин, уполномоченный Совнаркома. Я к нему:

— Помогите, будьте сознательны! Смертность высока. Надо ее хоть как-то снизить. Дайте мне разрешение не давать этот паек.

Но не шли мне навстречу, потому что были такие, которые говорили:

— Как же? Без сухого пайка людям нельзя. Ведь отправляем их в эшелон. Дорога разбита немцами, и, может быть, они должны будут где-то ждать. Чем же им питаться, может, три, а может, четыре дня?

Ну, конечно, на эту их глупость я не молчал. Но никто меня не слушал. Я им показывал:

— Смотрите, не только ваша колбаса лежит, но человек и веревочку глотает. Он даже не успевает ничего выкинуть, очистить. Все оказывается в желудке.

Я самовольно сокращал питание. И через некоторое время вижу, что у меня процент смертности падает. И на все слезы, когда меня окружали голодные и просили, требовали добавки, я не отзывался, потому что знал результат.

Так вот, приходит один раз в санчасть начальство — представители Государственного Комитета Обороны. Спрашивают у меня:

— В чем дело? Люди в Ленинграде голодные, немые, но ползают, а приезжают к вам — и умирают! В чем дело?

Я молчу. Мне говорят:

— Такая у вас прекрасная пища! Непонятно, что у вас происходит.

Я говорю, что эта прекрасная пища и есть причина их смерти. И рассказываю, что у них в желудке делается. Меня выслушали, собрали совещание и попросили все повторить. Я все рассказал на этом совещании. Со мной согласились, сказали, что эвакуированные ленинградцы — люди больные. Надо лечить их питанием. Кто этим занимается? Главный врач обязан дать лекарство и пищу, какая полагается, от которой бы они не умирали. Здесь есть врач, и он отвечает за питание. Он пусть лечит лекарствами и питает так, как считает нужным.

Но тут выступил начальник эвакуопункта и говорит:

— Он ведь хочет отменить сухой паек. Не доехав до Тихвина, люди могут трое суток сидеть в эшелоне, и чем им тогда питаться?

Я говорю:

— Паровозы запасные у вас есть? Есть. Котел на каждом паровозе есть? Есть. Пусть будут кормить их похлебкой. Наварят в котлах и покормят.

— Не подступиться, — говорят, — к этому эшелону.

Я говорю:

— Это другое дело. Можно вернуть часть людей, но этот сухой паек не еда. Все равно этот сухой паек не доходит у эвакуированных до эшелона: они его сразу съедают. И, кстати говоря, вот идет посадка тут же, рядом с павильоном, где мы заседаем. Пошлите кого хотите, посмотрите, что у них в мешках: есть ли у них сухой паек сейчас, когда они садятся в эшелон уезжать? Я ручаюсь, что ни у кого уже нет этого сухого пайка.

Ну, надо сказать, что послали. Проверили. И оказалось, что ни у кого сухого пайка не было: он уже весь был съеден! Я говорю тут:

— Самая легкая пища, какая у меня есть, это пшено. А мне нужна манная крупа для маленьких, потому что у меня дети такого-то и такого-то возраста и даже грудные.

— Вопрос правильный, существенный и очень трудный,— говорят мне,— но постарайся достать вместо пшена манную.

Через восемь дней пришел вагон манки.

Оставили со мной товарища Андреева, одного из этих уполномоченных, чтобы помочь мне. И действительно, на следующий день приходит ко мне Андреев и говорит:

— Товарищ начальник, прибыл в ваше распоряжение!

А я думаю: это при тех полномочиях, которые ты имеешь, когда можешь расстрелять любого, ты позволяешь себе надо мной смеяться? Я говорю:

— Товарищ Андреев, если это не ирония, то садитесь, а если это ирония, то ваша помощь мне не нужна.

— Какая тут ирония? — говорит он.

Первое, что мне было нужно, это какое-то помещение, куда можно было положить трупы умерших до захоронения,— нужно же было списки составить, справки давать. А рядом был огромный барак. Часовой стоит там. Никто не входит, не выходит, что там находится — не видно. Я говорю:

— Я не знаю, что там такое, но мне нужен этот барак.

Он спрашивает:

— А где начальник?

Приходим к начальнику. Я в полушубке, а Андреев в штатском. Выходит дежурный солдат. Спрашиваем, где начальник. Андреев говорит:

— Попросите его сюда, чтобы он пришел. Пришли поговорить с ним.

Дежурный идет за перегородку:

— Товарищ начальник, пришел военврач.

Тот кричит:

— Передайте, что приема нет!

Я испугался, думаю — что будет?! А Андреев тихо дежурному:

— Пойдите еще раз и попросите. Мы не уйдем, пока он не выйдет.

Дежурный снова идет к начальнику, говорит:

— Не уходят.

А тот говорит:

— Приказ получил? За шиворот их и вон.

Я боюсь страшно за этого дурака, что его еще убьют сейчас. Придется умолять, просить за него... В общем, испугался. Через некоторое время начальник выходит в мыле: половина бороды выбрита, половина нет.

— Слыхали приказ?

— Слыхали и не выполним,— говорит Андреев.

— Так вот еще раз вам говорю — приема не будет!

Андреев говорит:

— Нет будет! Вы же не спросили, зачем мы пришли. Вы думаете, что если пришли штатские, то с ними можно и не разговаривать? А если мы пришли доложить, что шпиона поймали,— неужели вас это не интересует?!

Затем Андреев вынимает свою книжечку и показывает ему. Ну, что тут было! Он сразу побледнел, испугался, стал извиняться. Андреев говорит:

— Пойдемте к этому помещению.

Пришли. Часовой стоит. Огромный сарай. Думаю: «Господи, если бы мне дали трупы положить культурно!» А начальник сразу начал говорить, что там, в сарае, хранится военное снаряжение, военные припасы. Андреев говорит:

— Откройте!

Открыли. Смотрим: одна куча белая — не то известь, не то мел, пять штук равных противогазов и штук 200 винтовочных патронов. И сам этот начальник смутился. Андреев спрашивает:

— А почему это называется военным снаряжением, военными припасами? Зачем же человек мерзнет и караулит это на таком морозе? Приказываю и даю три часа сроку: все вынести, закопать и принести ключи этому военврачу.

Я ушел. Через час приносят мне ключи. Я пошел и занял весь этот барак. Так я вышел и из этого положения.

«Лихорадочно тороплюсь жить...»

Трудное досталось время Г. А. Князеву. И послевоенное было не легким, а все ж его время — довоенное и военное — покруче да потяжелее. Особенно же для его специальности — историка. Наверное, подошел момент и место кое-что досказать о личности Георгия Алексеевича. Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1913 году и начал работать в архиве морского министерства по изданию документов времен Петра Первого, времен Северной войны со шведами. Эта работа и свела его с Марией Федоровной. И после революции он занимался архивным делом. Он создал за свою жизнь два архива. Один в 1917—1926 годах — исторический отдел Морского архива, и другой в 1929—1941 годах — Архив Академии наук. От первого ничего не осталось. В 1927—1928 годах его постепенно как «неактуальный» свертывали и в конце концов ликвидировали. С 1929 года Князева назначают заведовать Архивом Академии наук, в котором он проработал сорок лет, отдавая ему все силы, всю энергию вплоть до своей кончины 30 июня 1969 года. Читал он лекции по архивному делу, слыл крупнейшим авторитетом не только у нас, но и за рубежом, был награжден орденами Ленина. Трудового Красного Знамени. Собирал еще с мальчишества, со времен революции 1905 года, листовки воззвания, плакаты, собрал большую интересную коллекцию. Была у него склонность к философскому мышлению, впрочем, о своих склонностях, сокровенных своих призваниях лучше всего написал он сам с нелегкой откровенностью исповеди.

Мария Федоровна вспоминает о днях блокады:

«Георгию Алексеевичу было очень трудно в те дни писать свой дневник. Делал он это обычно вечером а освещения почти никакого не было. Самодельный светильник с ниточным фитильком, заполненный какой-то горючей смесью, скудно освещал небольшой кусочек письменного стола. Но Георгий Алексеевич считал, что дневник писать он обязан. Каждый день он посещал академический Архив. Он ездил на своей коляске-самокате. Часто камеры колес прокальвались, ехать становилось почти невозможно, а дорога — сплошные сугробы снега... А ведь у Георгия Алексеевича ко всему был паралич правой ноги. Но он был очень крепок духом... Мужественное поведение Г. А. в блокадном Ленинграде было отмечено в докладе академика И. Ю. Крачковского, представителя Президиума Академии наук СССР в Ленинграде, сделанном им на сессии АН в 1942 году в Свердловске».

Г. А. Князев сожалел, что не стал писателем. Он надеялся на дневник и был прав: это произведение стоит иных романов и повестей. Сколько их с тех пор бесследно кануло в Лету! Дневник же Г. А. Князева в силу подробности, методичности, честности сберег полноту картины блокадной жизни и останется необходимым для понимания психологии ленинградца тех лет. Он насыщен фактами, точен, воссоздает внутренний мир советского интеллигента времен Великой Отечественной войны, процесс изменения его мировосприятия. Конечно, от Г. А. Князева в его возрасте нельзя ожидать той безоглядной распахнутости души, какая была у Юры Рябинкина. Князев сдерживает себя, не все договаривает, он знает, что можно и чего нельзя даже в дневнике.

Напряжение духовной жизни позволило ему подавлять чувство голода. В обширном его дневнике почти нет записей о том, как хочется ему есть, как он голодает: то ли он заставляет себя думать о другом, то ли ощущение голода побеждают рассуждения о смысле прожитых лет, о смысле происходящего.

У Лидии Охапкиной чувство собственного голода отступает перед более острым чувством: она мать и ощущает голод своих детей сильнее, чем собственный.

Князев умеет переключать всего себя на духовную работу — уплотнение жизненных планов и растягивание мгновений, чтобы в минуту прожить часы, а за день — месяцы. Не всегда, не сразу это удается и Князеву. Слишком давит реальность, муки голода, мысли о происходящем в Ленинграде и в мире, о завтрашнем дне. Но он упрямо возвращается к этому дню, данному мгновению, снова и снова убеждая себя: у родины, народа, человечества будущее есть, у меня — лишь эти мгновения и надо ими жить! Жить мгновениями для Князева — это увлеченно заниматься своей работой, незаконченными делами, неосуществленными планами, жадно впитывая сознанием и чувством человеческую историю, ее драмы и богатства, культуру. Это не избавляет его от повседневных горьких и горестных чувств. Да он и не хотел бы отрешенности от всеобщей беды.

«1942.I.31. Двести двадцать четвертый день войны. Последний день тяжелого месяца... Живу тем, что есть мысль, планы. Читать в полутьме невозможно, и я осмысливаю в уме свой курс истории культуры. Если переживу войну, обязательно объявлю в университете это чтение... Как при плохой игре делают хорошую мину, так и я при других людях стараюсь улыбаться, говорю только бодрые слова, поднимаю дух. Недаром меня академик Алексеев называл «великий оптимист». И только тут, на этих страницах, я позволю себе не сдерживать себя. Я весь тут как есть.

...Встретил Свикуль, у которой только что погиб пятнадцатилетний сын, скромный юноша Вова. Безутешное горе, отчаяние — все это жалкие слова в сравнении с тем, что выражают ее глаза, впалые щеки, дрожащий подбородок. Обнял ее, прижал ее к себе, вот и все, что я мог сделать.

1942.II.3. Двести двадцать седьмой день войны М. Ф. вернулась из распределителя ни с чем. Выдач нет и сегодня.

...Уйдем от нашего кошмарного настоящего куда-нибудь в сторону. Вчера вечером я хорошо занимался изучением прошлого Передней Азии и хеттской культуры, перемежая эти занятия с историей Академии наук. Уйдем и сегодня...

Но еще несколько слов для будущего читателя этих строк. Есть и такие «персонажи» даже на моем «малом радиусе». У соседей на кухне, где все они живут, сидит «оборонная дама», то есть жена инженера по оборонным работам. Она имеет возможность приобретать вещи за хлеб, крупу, масло, свиную кожу. Ей нужны самые изысканные вещи: белье, туфли, скатерти, полотенца; и за них она дает: kilo хлеба за большой, хорошо сохранившийся ковер, горсточку пшена и несколько кусочков сахара за лампу, за туфли — 500 грамм рису... Голодные соседи только этим и держатся. Дама же себя не обижает... Значит, есть среди нас, голодных, в Ленинграде и сытые!..

А вот кусочек нашего быта. В Архиве сегодня только двое «присутствуют», дневные дежурные (ночные дежурства, как я уже отмечал, пришлось отменить из-за слабости сотрудников и отсутствия топлива): доктор истории А. И. Андреев и Фаина, истопница и рабочая Архива, жена кочегара, взятого на войну. Сидят они в 12-й комнате около плиты. Андреев читает диссертацию докторанта Бауэра и готовится к диспуту. Фаня топит плиту и скучает. Тогда Андреев пытается ее чем-нибудь рассмешить и опять продолжает свое чтение. Фаина, или Фаня, как ее зовут у нас, мать троих детей, татарка, до сих пор, до середины января, не сдавалась. Я уже отмечал ее выдержанность и стойкость. Она давно не имеет никаких известий о муже и писем от него. Ни разу она не пожаловалась на свою судьбу. Теперь она постарела, потемнела, подурнела, а ей еще нет и тридцати. По-видимому, она была недурна в молодости. Гибкая, тонкая, с природным умом и тактом, она в 17—20-летнем возрасте, вероятно, была красивой и приятной девушкой. А еще помоложе, наверное, напоминала неза-

бываемый образ девочки-татарки, нарисованный Львом Толстым в «Кавказском пленнике». Жизнь у Фани сложилась и без того нелегкая с тремя детьми, а сейчас и совсем сделалась тяжелой; едва она справляется с семьей и службой. С ней живет старуха, мать мужа, сама как дитя, требующая за собой ухода. Фаня мечтает эвакуироваться, уехать с детьми к себе на родину, в Пензенскую область. Ни одна эвакуация начиная с августа не удалась. Сейчас Фаня, как и все мы, переживает особенно тяжелые дни. Покуда ее крепкая натура выдерживала, выдержит ли теперь?

Андреев, тоже постаревший и потемневший, находит в себе силы и волю преодолевать все затруднения. Когда М. Ф. по моему поручению пришлось навестить Архив, она и нашла эту бытовую картинку новой архивной жизни.

У М. Ф. и Андреева неожиданно разговор перешел на общественные уборные.

— За килограмм хлеба пошел бы чистить уборные,— говорит Андреев,— а сейчас достаточно и того, что выношу все это добро утром и вечером из квартиры.

— А мы не все выносим,— вставляет М. Ф.

— То есть как же, разве у вас действуют уборные?

— Нет, ведь топят на юге кизяком, вот и мы сжигаем.

Самый современный разговор, правда не салонный.

1942. II. 4. Двести двадцать восьмой день войны. Еще один день войны. Ничего не знаю, что делается на земном шаре. Те крохи сведений, что сообщают в газетах, по радио, собственно, ничего не дают для уяснения происходящего в мире. «Мы заняли пункт Л., отдали пункт В. ...Трофеи такие-то...» ничего действительно не говорят.

Куда идет человечество? Чем кончится эта жесточайшая бойня? Когда кончится? Страшные вопросы... И, быть может, сейчас ненужные еще вследствие полной невозможности их как-нибудь разрешить, предусмотреть хоть отчасти их разрешение заранее. Несомненно то, что война продлится еще несколько лет, а мы в Ленинграде не выдержали и полгода!

Продолжать ли мне свои записи, раз ограничился еще более мой радиус? Решаюсь продолжать. Мой дальний друг, читая эти листки, выкинет или пропустит, что ему будет неинтересно, не нужно. А я в точности не знаю, что нужно и что не нужно.

Вот, например, стоимость сейчас мужского костюма полтора-два килограмма хлеба. Кстати, соседка, променяв таким образом костюм на одну четвертую часть хлебной карточки, чтобы не делиться ни с сыном, ни с теткой объявила, что карточку потеряла.

Если удастся покойника похоронить на кладбище, то не все удаиваются «индивидуального захоронения», то есть своей отдельной могилы, а зарываются в «траншеи», так что теперь часто говорят: «Как бы не попасть в траншею» или «Смотри, угодишь в траншею».

Это для языковеда. А вот для режиссера. Толпа на улице. Все одеты очень плохо, но зато некоторые женщины «шикают», выпустив из-под юбки легализованные штаны в виде шаровар красного, коричневого и даже голубого цвета. А другие просто без юбки остались в нижних штанах. Вместо головных уборов носят часто косынки. И мужчины и женщины часто закрывают платком или белой повязкой рот и нос. На ногах чаще всего валенки, иногда до чрезвычайности стоптанные. Остались еще «дамы» в обношенных каракулях или потрепанных беличьих пальто, так распространенных в последние годы. Много ходит по набережной «сухопутных моряков», самых настоящих штатских, одетых в военно-морскую форму. Некоторые и из женщин ходят в морской форме, и к ним она чрезвычайно идет. Надо еще добавить для общего колорита, что, например, Евгения Александровна Толмачева-Карпинская ходит в длинной, до пят юбке, как хо-

дили женщины лет сорок тому назад, так что подол волочился по земле. И на голове у нее неизменная шляпа-берет почти той же давности.

1942.11.8. Двести тридцать второй день войны. Лихорадочно то-роплюсь жить... Дивный, редкостный около меня человек, жена-друг М. Ф. Сегодня она именинница...

Сегодня ночью, как всегда, проснулся в кромешной тьме и обдумывал свою любимейшую тему о Христе, этом удивительном учителе любви и милосердия из дальней Галилеи. Мы, собственно, ничего не знаем о нем, кроме красивой волнующей легенды о погибшем мечтателе. Всю жизнь я был связан с этим образом-мечтой о счастье человечества, о любви, прощении. Жизнь вносила все время поправки, рвала мечту и наконец снова, еще раз жестоко распяла ее...

Г. А. Князев не просто подводит итоги работам, мыслям своим и не всего лишь тоскует над неосуществленными своими планами. И не в том дело, что он, рассчитывая в глубине души, что «бумага живучее человека», эти планы вносит в свои записки (там есть и подробные расчеты, как преобразовать архивное дело, как рациональнее переоборудовать хранилище Архива и т. п.). Дневники Князева зафиксировали не только духовную работу одного из ленинградцев-блокадников, рассчитанную на будущее, но и тот факт, что такая работа (завтрашняя) ленинградцу необходима была ради того, чтобы остаться человеком сегодня.

Самые дорогие ему, в трудах выношенные мысли: о трагических попытках спасти мир любовью, о «простой» любви, любви мужчины и женщины, и, наконец, о смысле человеческого существования — все, все идет в работу, чтобы противостоять обидной, оскорбительной ситуации, когда от каких-то «граммиков» хлеба зависит столь многое...

«...М. Ф. не хватает пищи. Она собирает вещи, идет на рынок «отоваривать» их. Опять «вспылила». Покрылась вся красными пятнами, когда посомневался, что при ее слабости и простуде вряд ли целесообразно — по моей теории «разумной экономии» — ей будет стоять на ветру на рынке. Хлеб-то или крупу она, может быть, и добудет, но зато и совсем съяжет. Говорили друг с другом в нервном напряжении, все силы напрягая, чтобы сдержаться...

Так люди сходят с ума. Умно или безумно они тогда поступают, поди разбирайся! Вот М. Ф. ушла на рынок, а я снял с себя пояс, давно припасенный, и примерил его... Так, на всякий случай...

М. Ф. вернулась. Принесла 100 грамм ($\frac{1}{4}$ фунта) хлеба за платёж. И счастлива. Глаза повеселели... А мне легче, что ей лучше стало, и еще большее, грустнее от сознания, от чего мы, наше состояние, настроение, отношения зависят!.. От четверти фунта хлеба!..

Вчера я и М. Ф. были выбиты из колеи. К нам явилась Валя, которую мы хотели сделать своей воспитанницей. Мы были на службе, и она прошла к соседям. Там объяснила, что голодна, ослабла, у ней нет сил и пришла ночевать к нам. Мы живем в передней, и у нас даже метра нет свободного, на котором можно было бы положить человека. Сама Валя опустилась, не мылась несколько месяцев, черна от грязи, волосы слиплись в комки, завшивела, глаза помутившиеся, лицо отекло от большого употребления воды. Покуда сидела у них, свалилась со стула.

Что нам было делать? М. Ф. твердо объявила, что у нас ночевать негде. Тогда она объявила, что у ней нет сил идти домой. Она пришла по делу. Они с матерью эвакуируются и им нужны деньги, вещи, продукты!.. С собой она хлебной карточки не принесла. Пришлось накормить ее, дать денег, не столько, сколько просила она (600—700 руб.). Сперва М. Ф. дала 50 р., но та выпросила еще 20. М. Ф. предлагала свезти ее на санках домой, но оказалось, что

мать ее куда-то должна была уйти и Вале все равно нельзя было бы попасть домой. Она осталась на ночь у соседней. Рассказывала, что все вещи продала или променяла, а то, что еще оставалось, погорело. К сожалению, пальто, которое ей подарила М. Ф., не было на ней, несмотря на мороз. Пальто не сгорело, но и неизвестно, что с ним стало...

Ужасная тоска и раздвоенность овладели мною и М. Ф. Что мы могли бы сделать? Взять ее — это значит ускорить свой конец и ничего, в сущности, не устроить. Отдать ей последний кусок, деньги... Совесть, со-весть, то, что вместе ведает, со-ве-дает, требовала ясного и честного решения. Мы ничего не могли сделать, кроме того, что дали ей. И сегодня утром она ушла. Я так и не видел ее».

Эта ситуация мучит Князева не меньше голода. Да, обстоятельства, да, блокадная реальность. Это все способно заглушать и сомнения и муки совести. Но этого он тоже не желает — даже в облегчение себе. Накормить человека, даже если только кусочком хлеба и стаканом кипятка, в те дни значило много. Нам, читающим это сегодня, хотелось бы, чтобы он сделал еще больше, чтобы, рискуя своей жизнью, оставил у себя Валю. Но не было этого, не было, и кто решится осудить за это Князева? К тому же оставить Валю у себя значило возложить новую заботу на гаснущую от дистрофии М. Ф.: сам-то он был беспомощен.

«Никогда я не мог примириться с мыслью о простом существовании, быть только существователем, как не мог принять и другую крайность — быть навозом для будущего. Тут много еще нерешенного, в особенности в наши дни, когда десятки миллионов человеческих жизней должны погибнуть, чтобы жили их народы, к которым они принадлежат по рождению. Всю жизнь я решал вопрос о боге, о природе. Признаюсь все эти вопросы так и остались открытыми. Правда, я неверующий. Но правильнее — я, отстранивший от себя решение этих вопросов. Они выше меня. Я знаю только, что бога, управляющего миром согласно законам любви, нет. А другого бога я не знаю и знать не хочу. Я сам себе бог... Бог же как тождество с природой, самотворчество природы для меня непостижим. Слишком грандиозна вселенная, велики и сложны ее законы, загадочно начало жизни, так замысловато устройство животного тела и страшна иррациональность природы. Часто природа и мой человеческий разум несовместимы. Природа непонятна мне. В особенности теперь, в эти страшные годы и дни человеческой бойни разумных существ. Я преклоняюсь перед величием и красотой природы, но и содрогаюсь от ее жестокости, от ее слепоты, от ее иррациональности.

Природа диалектична и, повторяю, иррациональна. Может быть, это только на земле случилось, что человек — произведение природы — осознал эту самую природу и содрогнулся в страхе и ужасе перед неизведанными тайнами ее.

И тут мне непонятны те мысли, которые звали от разума к природе, к отказу от культуры. Вся моя жизнь — служение ей и весь смысл жизни в созидании ее, в исправлении, в обработке культуры.

Будущее человечества — это культурное будущее, расцвет культуры. Человечество достигнет этой степени своего развития и поистине станет культурным человечеством.

Вот что бодрит меня в тяжелые мрачные дни, переживаемые человечеством. Вот что поднимает меня на борьбу с теми вместе, кто борется за это будущее культурное человечество. «Наша эра», ведущая счет от «рождения Христа», или должна оправдать себя (а она не оправдала и не может оправдать!), или должна смениться новой «нашей эрой», рождением нового культурного (поистине культурного) и гуманного человечества. Многим, и мне в том числе, казалось,

что такая эра началась 25 октября (7 ноября) 1917 года. Будущее покажет, так ли это.

Во всяком случае, для меня другой эры пока нет. С этой же эрой у меня есть будущее, я говорю смело «у меня», пусть я даже завтра погибну: тут «у меня» и «у нас» сливается.

1942.11.10. Двести тридцать четвертый день войны. Февральский снежный день. Редкие орудийные залпы. Прохожие. Саночки. Покойники. Бурные пятна на снегу. Обвалившиеся упоры у дверей магазинов; фанерные листы вместо стекол в домах. Развороченный кузов грузового автомобиля против сфинксов. Столб со старыми афишами, оставшимися от лета. Стекланная витрина на университетской решетке с последним сообщением Информбюро от 1 ноября и очень устаревшими карикатурами. Часы, показывающие фантастическое время... Вот и весь мой путь.

На днях должна состояться вторая эвакуация академических сотрудников. Уезжают все кто может! «Петербургу быть пусту»... Неужели исполнится старое и страшное пророчество!

...Я тороплюсь жить. Мысли наполняют мой мозг: вот, например, вчера и сегодня я набрасывал мысли о Монелле — Мгновении. Есть такая поэма у Марселя Швоба, поразившая меня еще лет 35 назад своей оригинальностью и изощренностью самого изысканного упадочничества. Читал я ее, помнится, в изложении А. Амфитеатрова. И мне почему-то захотелось изложить эту поэму по-своему...

Сейчас ночь; где-то, и, по-видимому, не так далеко от нас, падают тяжелые снаряды. Ахнет, вздохнет где-то земля от удара, и заходят, дрогнут стены дома. Потом опять напряженная тишина. Выстрелов мне не слышно в том коридоре-передней без окон, где мы живем.

И вот в эти напряженные минуты, когда достаточно одного такого случайного попадания, чтобы ни от этих листков, ни от нашего жилища, может быть, от нашего дома ничего не осталось, я пишу поэму о Монелле. Увлекаюсь, я не вслушиваюсь в жуткую ночную тишину, прерываемую глухими ударами и вздрагиванием стен дома. Вот почему дорога мне сейчас эта совсем как будто не к месту здесь, в записках о войне, такая далекая тема.

Мы живем нервно. Многие от голодного или полуголодного состояния отупели или поглупели. Другие опустились, нервничают, ругаются. Надо же как-то жить, подавать признаки жизни. Уж лучше сочинять поэму о Монелле, чем проклинать всех и вся и мучиться от бессилия что-либо исправить кругом, изменить в своей жизни.

Умереть не трудно, умирать очень тяжело...»

*Уезжают 900 тысяч*¹⁸

В дневнике Г. А. Князева уже двести сорок четвертый день войны.

«1942.11.20. Пятница. Жители нашего злополучного города бросают все свое имущество, жилище, где они все-таки имели крышу, близких, если они слабы, оставляя их умирать, и покидают Ленинград. К Финляндскому вокзалу идут и идут молодые, старые, мужчины и женщины, везя на саночках захваченный скарб, по несколько пакетов на человека. Великое выселение. А тот, кто остается, сжимает губы и молчит. В глазах затаенная тоска и тревога. А у других, наоборот, полное равнодушие. Будь что будет!

Я исполняю свой долг бытописателя. Я в каждое лицо, в каждые глаза встретившегося мне человека заглядываю. Силюсь все заметить, все записать, что вижу на моем малом радиусе. А сейчас предо мною задача — подготовить к сдаче в Архив Академии наук мои рукописные и печатные материалы. Хочется и записать некоторые свои давно

¹⁸ Приблизительно столько жителей было эвакуировано из Ленинграда в 1942 году — в тяжелейших условиях.

задуманные литературные произведения, отрывки воспоминаний, освещающих прошлое. Словом, подвести итоги.

...«Покуда Архив Академии наук будет цел, и ваши рукописи будут в полной сохранности»,— успокаивал я эвакуирующегося с университетом доцента.

Надо и мне торопиться приводить в порядок свои рукописи и бумаги. Холод мешает работать в моем кабинете, а в той дыре, где я сейчас живу, не повернешься. Мои рукописи за малым исключением никому не известный материал, никогда не печатавшийся. Теперь, когда много погибает материальных и культурных памятников особой ценности, имеют значение и менее важные документы. Мои рукописи, пожалуй, тоже заслуживают в таком случае охранения и сохранения. В них вся моя жизнь. В январе я создал окончательную схему для приведения всех моих бумаг в порядок и принял решение сдать их на временное, а в случае моей смерти на постоянное хранение в Архив Академии наук. Сохранится ли только и он?

Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, как бы сохранить потухающую жизнь в Архиве Академии, которым я ведаю, и сохранить его как один из самых замечательных архивов по истории русской культуры и в особенности науки за два с лишним века.

А сил становится и у меня и у сотрудников все меньше...

1942.11.22. Двести сорок шестой день войны. Худеет не по дням, а по часам М. Ф. Сейчас она в распределителе, где должны дать кусок мяса. Ушла с утра, не евши. Вчера с утра до вечера работала, бегала на рынок менять, в столовую за кашей. Боюсь, не хватит у нее сил. А у меня хватит? Креплюсь. Но порою совершенно теряю силы.

Зашла студентка А. В. Нехорошева-Карпинская. У нее осталось всего три экзамена — и университет был бы закончен. Она не эвакуируется, и ее отчисляют. В университете очень много волнений: ехать, не ехать? Нехорошева не едет из-за матери, которой трудно была бы дорога сама по себе. Там не лучше будет, здесь не хуже. «Там мы беженцы, здесь у нас есть крыша, кое-какие вещи, которые мы можем менять». Две ее тетки, мать и она борются цепко и крепко за жизнь. Дед их, Александр Петрович Карпинский, вложил в них большую волю к жизни, жизнеспособность.

«Мой прежний ужас сменился злостью,— сказала она мне.— Если я переживу войну и мне будет лет 50, я напишу воспоминания. Я все напишу, что люди забудут. Или не захотят вспоминать. Ведь сейчас никто ничего не записывает: не время, а те, которые бегут из Ленинграда, будут только о себе рассказывать. Поэтому я все стараюсь запомнить, чтобы потом записать».

Я ни словом конечно, не обмолвился, что именно сейчас пишу все, что вижу, что думаю что переживаю. Сейчас, непосредственно, не боясь противоречий, длиннот, повторений. Ибо такова жизнь. А то, что будет писаться потом в виде воспоминаний, будет далеко не то, что мы переживаем сейчас.

...Наискосок от нашего дома, у самого моста поставлены три тяжелых морских артиллерийских орудия. На набережной опять все оживление, напоминающее сентябрь. Все время, покуда ехал на службу, стреляли. Снаряды разрывались где-то в районе Невского, Садовой.

Впечатление все виденное оставило очень тяжелое. Предстоят нам большие впереди испытания... И надорванный организм М. Ф., напряженная нервная воля ее не выдержали сегодня: заплакала... Я гляжу на нее с тихим затаенным страхом — почернела, осунулась, вчера пожаловалась на нижнюю десну... Сегодня она и утром встала весьма слабой, а сейчас работает: принесла дров из подвала в наш третий этаж, затопила печку, буржуйку, поставила варить менее полфунта гороху на двоих на два дня, все, что мы имеем по карточкам до конца первой декады. «Пожалуй, я не выдержу»,— говорит М. Ф.

тихо и кротко. И слезы, крупные, катятся по маленькому сморщенному, старушечьему (!) лицу моей исключительно стойкой жены-друга.

Возможно, что и не выдержим! Спрашивал сегодня на службе, чем мы можем помочь Л. В. Модзалевскому. Оказалось, ничем!.. Жена его вряд ли выживет, возможно, что и он обреченный. Страшно об этом подумать вчуже!

Жизнь наша осложняется с каждым часом. Из города спешат уехать все кто может. А впереди?.. «Впереди,— говорит моя М. Ф.,— полная безнадежность». Я ее успокаиваю. Беру себя в руки. Достāju книжки стихов. Упиваюсь ими. «Ты философски смотришь на жизнь,— говорит мне М. Ф.,— а я ее люблю просто... Понимаешь, люблю жизнь»...

После полудня ослепительно сияет солнце над белой пеленой Невы и ее бережных, покрытых только что выпавшим свежим снегом. Ехал, закрывая лицо от слепящего солнца, и думал: у меня есть вот это еще — н а с т о я щ е е м г н о в е н и е. Оно есть! А о будущем не нужно думать!

Но на службе я и виду не показал... Был бодр, оживлен; беседовал с доктором истории Андреевым, что-то стряпавшим у плиты. Пытался организовывать возобновление работ в Архиве. Из плиты от горевших «дел», как всегда, летела зола, предо мной сидели угрюмые, усталые, голодные люди вроде полуумирающей Цветниковой, пришедшей после болезни, и больно сжималось мое сердце.

Дома — и холод и развал; и самое страшное — безнадежность нашего существования. Но я еще не сдаюсь!

...Так много передумано за это время. Записывалось мною многое, но не все. Конечно, мои записи за январь—март требуют тщательной редакции. Но куда мне хотелось успеть записать хоть часть своих мыслей, переживаний, пусть без достаточной системы и выдержанности стиля... Моя торопливость оправданна.

Сегодня на тротуаре мне нужно было пропустить встретившиеся двоянные саночки. На них лежал чей-то труп, бережно и любовно зашитый в голубое плюшевое одеяло. И сам не знаю почему, я как-то вздрогнул. Почему? Ведь это такая привычная картина в Ленинграде наших дней. Другие из проходивших и «глазом не моргнули! Излишняя нервозность, чувствительность? Ну, как хотите называйте. Вздрогнул. Именно от этого голубого плюшевого одеяла. На многие трупы смотрел равнодушно, завернутые в холстину или тряпье. А вот голубой цвет одеяла на морозном солнце был так ярок, что запечатлелся в глазах, как и тот голубой цвет, который слепил глаза за солнцем.

Встретились мы около университета, опустевшего, оставленного родного моего старого здания... Так я и доехал в задумчивости до Академии художеств, тоже опустевшей и оставленной... Около главного входа, запертого, снег, и кто-то на нем оставил темно-бурые следы испражнений. Напротив сфинксы, мои неизменные спутники в течение этих двенадцати с половиной лет моей жизни. Кругом них кучи снега. И сами они в снегу. Но стоят, куда стоят. И мне делается спокойно. О 3500-летней предыстории человечества говорят они мне. Настоящая история человечества впереди!»

Как работали на «Дороге жизни», написано немало, да и нам рассказывали об этом многие. Ольга Ивановна Москвичева тоже работала на трассе, но дочь ее оставалась в Ленинграде. При первой возможности Ольга Ивановна поехала за ней. Девочке было тринадцать лет. Ольга Ивановна попросила у своего начальника вперед, в долг, «буханочки две хлеба», капусты, не черной, какой им давали, а —

«беленькой капусты, потому что девочка слабая, больная, поднять ее надо. И селедочки. Ну, в долг мне свои рабочие дали кусочки. Я набрала тарелочку и при-

везла ей. А она меня выгнала: не надо мне этого хлеба, я лучше буду умирать. Ты где взяла две буханки? Ты украла! Я говорю, я не украла, я командированная, вот документы и на хлеб документы... Я ее забрала. Она не могла ходить. Ее в машину отнесли, мне помогли. Везем через Ладогу — смотрим, жива она или нет? Потом стала немного похаживать. Я ее водила на кухню. Она стригла там хвою. Для витаминов. Мы железную дорогу строили к Ладоге...»

Хотя и в первой части Блокадной книги и во второй встречаются рассказы, воспоминания, дневниковые записи об эвакуации детей, населения Ленинграда, мы не имели возможности осветить все стороны напряженнейшей работы самых различных организаций — партийных и военных — по созданию «Дороги жизни» через Ладогу. Те факты, события, которые мы здесь приводим, были лишь частью общей трудной работы по спасению ленинградцев.

Пачка пожелтелых листов, прихваченных заржавелой скрепкой. Докладные от одного бытового отряда. Все они про М. Лазарева, двадцати одного года, живущего по Международному проспекту, 18. Девушки комсомольского отряда, судя по первой докладной, обнаружили его одинокого, лежащего в беспомощном состоянии.

«У него истощение, родных никого нет, присмотра нет. В настоящее время он лежит в чужой комнате, но и эта семья эвакуируется 31/III 1942 года. Тов. Лазарев должен остаться во всей квартире один. Дров у него нет. Сам он работает на заводе Марти, цех 22. У него нет денег, некому сходить за карточками. После смерти матери остались в ломбарде вещи. Он просит как можно быстрее отправить его в больницу».

Докладная подписана членом бытового отряда по обследованию трудящихся Крыловой 29 марта 1942 года.

Секретарь райкома пишет: «Связаться с Октябрьским райкомом, с тем чтобы последний оказал содействие т. Лазареву лечь в заводской стационар».

Пока же члены отряда продолжали посещать Лазарева. Каждый день они отмечают в рапортичках:

1 апреля: «Больному Лазареву получили заборные книжки, прикрепили их, выкупили хлеб, принесли обед из столовой, накормили. Командир звена К. Швецова».

3 апреля: «Получили деньги на заводе Марти за больничный. Принесли обед из столовой, накормили».

4 апреля Швецова и Кирюшкина выкупают хлеб, приносят обед, кормят и моют больного. И так продолжается каждый день до 9 апреля. Последняя запись: «...по его просьбе ходили в поликлинику № 28 Фрунзенского района, вызвали врача. Командир звена К. Швецова, боец Кирюшкина».

Больше рапортичек нет.

Эти отряды — чем они только не занимались! Боец Алексей Шитов просит в письме с фронта зайти в его квартиру на проспекте Маклина посмотреть, «в каком она положении, а если заселена, то кто живет в ней чтобы я мог списаться с тем товарищем. Дело в том, что я жду писем от родных а они, может, валяются там без ответа, ибо никто в доме моего адреса не знает».

Партком оборонного завода благодарит председателя бытовой комиссии Сидорову М. за помощь бригаде, приехавшей из тыла за семьями работников завода. Насколько можно понять из текста записки бригада должна была разыскать 190 семей. Многие из-за обстрела, пожаров переселились, переехали, кто умер, кто лежал в больнице. Их положение и состояние сумели выяснить девушки этого бытового отряда. Объем их работы можно представить себе хотя бы по тому, что в городе транспорт не работал, надо было ходить пешком по бесчисленным адресам, посещать госпитали, жакты, детские дома. «Мы, эвакубригада, получили от вас полностью ясный и

точный ответ по всем семьям. Еще раз благодарим весь коллектив бытового отряда».

Невозможно подсчитать и учесть вклад в победу Ленинграда сражающегося, Ленинграда работающего. Конечно, можно назвать количество разгромленных дивизий и частей врага, отремонтированных на Кировском заводе танков «КВ», выточенных снарядов, мин. А вот как учесть вклад тех, кого Князев называет пассивными защитниками Ленинграда, кто просто жил и старался не дать смерти в блокадном городе, спасти детей, как Лидия Охупкина и тысячи других женщин? Или таких, как Юра Рябинкин? Не будем подсчитывать погашенные им зажигалки — если бы их даже не было, Юра все равно оставался бы частью Ленинграда живущего.

Каков вклад в победу таких вот ленинградцев, которые сегодня даже не считаются участниками Отечественной войны, ее ветеранами? Поэт Сергей Наровчатов, воевавший в Синявинских болотах, сказал нам: «А ведь мы не смогли бы столько держаться там, голодные и обессиленные, если бы рядом не было живого города, огромного и живого Ленинграда! Просто лес, просто болото так защищать невозможно было бы».

И Лидия Охупкина и Юра Рябинкин — живые, не дающиеся голоду, отчаянию, — тоже были необходимой частью Ленинградского фронта. Да и только ли одного Ленинградского?

«Москва держится, Ленинград не сдается!» — как это важно было слышать, знать в лесах Белоруссии. Не задним числом, а именно оттуда, из военного времени, память одного из авторов извлекает чувства и факты, подтверждающие, как много значило для белорусских подпольщиков и партизан то, что Ленинград держится. Для нас важно было, что Ленинград не просто стоял несокрушимо, а то, что он как бы обесценивал силы и самоуверенность врага. Мы тогда не знали, не могли знать, какой ценой, какими усилиями это дается. Важно было, что он держался — после того, как мы собственными глазами видели ошеломительное начало немецкого марша на восток. Ленинград остановил этот марш и указал на предел немецкой силы. Он был очерчен, этот предел, разгромом немецкой армии под Москвой. Город на Неве демонстрировал бессилье врага, оно тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилье сделать хотя бы шаг вперед.

Тогда мы не знали, кому поклониться за эту казавшуюся нам издали, из Белоруссии, железной стойкостью ленинградцев. Участие в работе над Блокадной книгой автора-белоруса будет таким поклонном, хотя и запоздалым, всем, кто сражался в городе. Теперь мы видим, что они не были из железа, реальные ленинградцы, но тем большего уважения заслуживают они.

«...зачем-то шапку снял»

Надежду на выезд Лидия Охупкина уже потеряла, когда 4 марта к ней пришел тот же лейтенант, что приносил посылку от мужа, и попросил срочно готовиться к отъезду.

«Поедем мы через Ладожское озеро на машине. Для этого мне надо оформить проездные документы через райисполком, а потом заехать на Чайковскую улицу за посылкой. Я была так рада, так рада. В этот же день я пошла в райисполком Васильевского района, оформила там документы. Они меня предупредили, что дорога опасна. Что были случаи, что машины проваливались через лед. А главное, добавили, что мы за это не несем ответственности. Мне было смешно это слушать, и я сказала: а если мы здесь умрем от голода, вы несете ответственность? Нет, я поеду, что бы там ни случилось, и пошла на следующее утро за посылкой, накормив своих детей и поцеловав их. Я взяла санки и пошла сначала к старшему брату му-

жа за чемоданом, где у меня были кое-какие вещи, как, например, костюм мужа, мое осеннее пальто. Жил он на Первой Красноармейской улице, путь опять дальний. Дошла туда без особых событий. Город по-прежнему был мрачный и седой, весь в сугробах. Но солнце уже заглядывало как на дома, так и в лица людей, и мне казалось, как будто у них стали чуть повеселее глаза. К тому же с 1 марта прибавили хлеба на детей и меня на 150 грамм. Забрав у них свой чемодан, я попросила их проводить меня. Пообещала поделиться тем, что будет в посылке. Я ее еще не получила. Они отказались. Вид у них тоже был истощенный. Я поехала опять через весь город на Чайковскую улицу, чтобы взять посылку. По дороге опять зашла за хлебом и весь его съела, так как надеялась, что детей накормлю тем, что будет в посылке. Все время беспокоилась о детях. Как там они одни, некормленные, наверное, лежат и плачут. Стало уже темнеть, время было 8 часов вечера. Когда я оформила все документы и взяла посылку, я поехала домой. Верней, повезла...»

Трудное, мучительное путешествие ее через весь город мы приводили в первой части и здесь позволим себе исключить из рассказа.

«Доехала наконец до дома, когда время уже было три часа ночи. Я не могла перетащить санки через высокий порог ворот. Оставила все на улице и чуть ли не ползком добралась по лестнице до двери. Открыла ее и стала звать Розу, на миг заглянула к себе. Дети, услышав мой голос, заплакали в два голоса. Ах, милые вы мои, живы, сейчас я вас накормлю. Мы с Розой скорей спустились по лестнице. Я ей говорю: беги скорей, там у ворот санки стоят, скорей! Там много еды, я накормлю тебя досыта. С большим трудом мы втащили весь багаж. Я разделась и упала на кровать обессиленная. Дети плакали, я минут двадцать не в состоянии была к ним подойти. Потом открыла посылку, в ней оказались почти одни ржаные сухари и только две пачки пшена. Скорей растопили печку, поставили варить кашу. Накормила детей и Розу. Всю ночь собирались. Я была не в состоянии двинуть рукой. Роза позвала двух женщин, и они мне помогли, а я им дала сухарей.

На следующий день, 6 марта 1942 года, с багажом и детьми я двинулась снова на Чайковскую. Там был сборный пункт. Одна женщина мне взялась везти вещи, а я детей. Ей я уже отдала полкило пшена и четыре ржаных сухаря. Время было 11 часов, а сбор назначен на 12 часов. Она, как и я, была слабая и с трудом тащила санки. Мы обе еле передвигались. У обеих не было сил, я очень нервничала, боялась опоздать. По улице мела метель с большим ветром. Время было уже половина второго, а мы только добрались до Литейного моста. Днем там разрешалось ходить. Что, если мы опоздаем? Все мои мучения, трата последних сил будут напрасны. Я уже раздала почти все сухари, крупу тоже. Значит, опять голодать. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. В висках стучало. Я опять взмокла. В дорогу на себя я надела чистое белье, два шерстяных платя и еще поверх костюм мужа для тепла и сохранности. Мне стало жарко. Я расстегнула пальто; ветер обжигал мое лицо, но я ничего не чувствовала. Одно последнее напряжение, еще шаг, еще. Опять считаю шаги. От этой дороги, ветра я потом простудилась, и у меня был гнойный плеврит с высокой температурой, но об этом после.

Наконец, мы доехали, было три часа. Машина стояла, не уехала. Оказывается, не только я, а другие тоже опаздывали. Когда я садилась в машину, меня еще раз предупредили, что дорога опасная. Обстреливается и тому подобное. Я сказала, что знаю и все равно еду. Проезжая по городу, мысленно с ним прощалась. Прощай, мой многострадальный город, думала я, прощайте, люди.

По озеру тоже мела небольшая метель. Вначале ехали быстро, потом совсем тихо. Впереди шел человек, осматривая дорогу, и лыжей разгребал снег, так как боялись ям, которые были от снарядов, и лед там был некрепкий.

Об этой дороге я написала стихотворение:

Дороги, дороги, вас много кругом:
Широких, веселых и гулких, как гром.
Пронесятся ветры, весенние грозы,
На кромках растут тополя и березы.
Я помню и знаю дорогу и н у ю,
Дорогу по Ладоге, всю ледяную,
По ней вывозили людей из блокады...

По этой дороге в метель, на машине я ехала с маленькой дочкой и сыном.

...Нас ехало человек 10—12. Только женщины и дети. Шофер был военный, и с ним сидел в кабине тоже мужчина.

Я была самая слабая. Мне казалось, что мы едем долго, долго. Машина была обнесена фанерой, в нее набирался немного отработанный газ. У меня голова кружилась и болела. Я и дети находились в полуобморочном состоянии. Меня тошнило, несколько раз рвало, знобило. Я чувствовала, что поднялась высокая температура. Я вся горела. Мне кто-то давал какое-то лекарство. Клали на голову мокрое полотенце. Я сделалась безразлична ко всему, теряла сознание. Когда приходила в себя, спрашивала, где мы, где дети. Мне отвечали: здесь, в машине, живые дети. Их кто-то кормил, кто-то сажал на горшок. Я не могу себе представить, как я могла выдержать эту дорогу. Обессиленная от голода, от напряженных перевозок, вдобавок простудилась, с высокой температурой. Наверно, инстинкт матери боролся за жизнь детей, как говорят, до последнего вдоха.

...Первая остановка. Первый эвакуационный пункт. Нас встретили добрые, хорошие люди. Помогли сойти с машины, перенесли детей. Меня положили на лавку. Был построен большой, из новых досок сарай. По краям скамейки. В середине две или три железные печки, которые беспрерывно топились. Нам принесли еду. Детей кормили манной кашей на сгущенном молоке. Мне принесли мясной суп с лапшой. Но я ничего не могла есть. Весь рот и горло чем-то были обложены, были шершавые. Я не могла глотать, да и аппетит пропал. Свой обед я отдала шоферу. На другой день мы снова поехали. Мы должны доехать до города Череповца. Там временно стояла войсковая часть мужа. В пути мы еще останавливались в одной деревне Ленинградской области. Почти вся деревня была сожжена немцами. В одном из уцелевших домов мы все переночевали. Я чувствовала себя очень плохо и страшно кашляла. Жар все время держался. Но мне давали аспирин, который был у одной женщины. Затем была еще одна остановка в городе Тихвине. Этот город был дважды у немцев, и дважды наши его отбивали. Он почти весь был разбит.

...Наконец мы доехали до города Череповца, это было 11 марта 1942 года. Когда машина остановилась у одного дома, мой муж сразу вскочил в машину. Посмотрел кругом и выпрыгнул. Он нас не узнал, а я его, конечно, сразу. У меня от волнения перехватило дыхание, и я не смогла окликнуть. Дети его не узнали. Он был одет по-военному. Я слышу, он спрашивает, приехала ли я или нет. Ему отвечают, что она с детьми находится в машине. Он снова вскочил и стал смотреть. Стал узнавать, узнавать и хриплым голосом: «Вы, вы?!» — снова выпрыгнул из машины. Он заплакал и за чем-то шапку снял. Потом, наконец совладав с собой, сказал: «Лида! Толя!» — и снова из глаз показались слезы. Я ничего не могла ему ответить. Смотрю и молчу. В горле словно ком. Хочу сказать, а язык как онемел. Машина была завалена тюками, и я сидела в самом углу. Тогда он позвал: «Толя, ну иди же ко мне скорей». Я как не своим го-

лосом: «Он не ходит». Весь этот разговор был, как я его описываю. Встреча была радостная и горькая. Она на всю жизнь у меня останется в памяти. Потом по очереди он нас вытащил и перенес в какой-то дом. Нам на четыре семьи дали пустую комнату. Каждая семья заняла угол.

...В комнате было темно. Город Череповец на ночь тоже затемняли. Мужья здоровые, а жены истощенные. Жены с мужьями тихо перешептываются, всхлипывают. Я не могла говорить. Мне мешал кашель. У меня был жар, болела голова, грудь. Хозяйка где-то достала молока и горячего дала пить мне и детям. Она сказала, что завтра можно достать еще молока и картошки. Я была очень рада. Мне не верилось. Молоко, картошка — какое счастье! Я решила сменить белье. Когда я разделась, показала себя голой мужу. Смотри, говорю, какая я стала. А была я скелет, обтянутый кожей. Особенно была страшна грудь — ребра. А я была кормящая мать, когда началась война. Ноги тонкие, чуть потолще поллитровых бутылок. Вася взглянул, опять заморгал глазами. Ничего, сказал он, когда кости целы, будет и тело. Никакой близости между нами не было, и не могло быть об этом даже речи, хотя не виделись мы десять месяцев. В этой комнате мы прожили пять дней. Потом решили ехать в Саратов. Мужу дали отпуск на десять дней. В Саратове у меня родные — мать и две сестры. Мы сели в эшелон, который ехал из Ленинграда. Вагоны были товарные. Ехать было опять холодно и неудобно. Пассажиры были эвакуированные из Ленинграда, такие же худые и истощенные, как и я. С нами поехали жена и сын того лейтенанта, что приходил к нам в Ленинграде. И он сам. Они хотели со мной в Саратов. Во время пути истощенные и больные люди умирали.

На каждой остановке нас кормили, и муж с кастрюлькой бежал на вокзал. Приносил кашу или суп, я почти ничего не ела. Мне все больше и больше нездоровилось. На одной остановке я тоже вышла подышать свежим воздухом. Муж в это время кормил детей. Вдруг поезд без всякого свистка и предупреждения тронулся. Я побежала, задыхаясь, к своему вагону, это было недалеко, и я успела схватиться за скобку. Поезд набирал скорость, и мои ноги, пока снег был у платформы разгребен, не касались колес. Кто-то закричал: «Лида на улице!» У меня перед глазами мелькнуло лицо мужа, лица детей и мысль как молния: «Вот где я должна умереть! Не от голода, не от бомбежки, а вот сейчас». И я потеряла сознание. Вася успел схватить меня за воротник пальто. Ему тот лейтенант помог меня втащить в вагон. Когда я очнулась, то носки у моих валенок были отрезаны. Один большой палец правой ноги был придавлен, из него сочилась кровь. Если бы валенки мне были не велики — они были большого размера, не мои, а мужа, — то, возможно, я лишилась бы ног — по ступни, а то и выше. Если б муж хоть на секунду позже схватил меня за воротник и не оттянул от колес, меня поезд задавил бы насмерть.

После такого переживания и болезни я совсем свалилась. Бесперывный кашель с высокой температурой меня измучил, и я думала, что умру в дороге. Поезд ехал медленно. На одной остановке вошли санитары. Врач бегло осматривал людей и приказывал слабым, особо больных выносить на носилках. Когда взглянул на меня, тоже велел забрать, сказал: «Эту в больницу — сыпной тиф». Я сказала, что сыпняком болела еще в двадцать втором году, девочкой, и что у меня, наверное, воспаление легких. Он: «В больнице разберемся».

Кожа на теле у меня была сухая, шелушилась от истощения, и на ней была как бы сыпь, как у ощипанной от перьев курицы. Вот врач и подумал, что у меня тиф. Муж мой испугался. Если меня в больницу, то куда же денутся дети? Мы решили, пока врач и санитары ушли, скорей выйти на другую сторону поезда, прямо в снег. Та

женщина с мужем и сыном вышла вместе с нами. Поезд тронулся, мы остались сидеть на своих вещах на снегу. Мужья наши пошли узнать, что за станция, и достать лошадей с санями, чтоб нас довезти до вокзала. Когда они вернулись на санях, муж сказал, что это станция Семибратово Ярославской области. Мы погрузились, подъехали к вокзалу. Меня положили на лавку, я не могла ни идти, ни стоять. Нас окружили люди, смотрели на меня. По-видимому, мой вид их особо интересовал и пугал: «Какая худая и страшная и имеет грудного ребенка», «Да это, наверное, не ее», «Это, может, бабка ребенка».

В одной из деревень Ярославской области мы остановились. Нас долго никто не решался пускать, боялись меня, думали, что я заразная больная. Потом одна женщина пустила. Муж на следующий день уехал. Купил для нас мешок картошки. Достал с полкилограмма деревенского сливочного масла и молока. На прощание он меня поцеловал в лоб. Я ему сказала, что ты меня целуешь, как покойника. Он тогда поцеловал в губы. Я долго болела. Приходил деревенский врач, который тоже определил, что у меня тиф. Хозяйка испугалась, и меня вынесли в чулан, холодный и грязный. Там я пролежала два дня. Потом, когда снова пришел врач, как следует меня прослушал, то определил легочное заболевание. Я попросила, чтобы он ставил мне банки. Он стал приходить и ставить. Я болела больше месяца. Потом стала поправляться. Когда поправилась, стала работать в колхозе колхозницей. Из сил выбивалась, чтобы что-то заработать. Все, что я привезла из одежды, меняла на молоко для детей. Я в жизни не была в деревне и не знала крестьянской работы, но жизнь научила. В деревне я прожила три года».

Такова история Лидии Охупкиной. Это история матери, которая спасала своих детей. Могут сказать — тут ничего исключительного, героического, так и должно быть... Наверное. Исключительным было только счастье матери, спасшей своих детей и победившей, казалось, саму смерть. Лидия Охупкина еще не знала, что ее Ниночка все-таки умрет от туберкулеза и тяжелого желудочного заболевания, которое привезла из Ленинграда. Умрет уже в эвакуации, как и тысячи, тысячи других ленинградцев, которым казалось, что они вырвались из ледяных объятий блокадной смерти.

Когда читаешь записки Лидии Охупкиной, думаешь о том, как столкнулись здесь любовь и голод. Говорят — «любовь и голод правят миром». В этом выражении предполагается два решающих чувства: то одно из них перевешивает, то другое. Здесь же они столкнулись в открытой лютой схватке, а поле битвы — сердце женщины-матери. Конечно, трое Охупкиных могли умереть в Ленинграде от голода, но и это не было бы поражением любви. Материнская любовь Лидии Охупкиной устояла. Ничто не могло ее сломить.

Думая о Лидии Охупкиной, мы невольно сопоставляли ее с Юрой Рябинкиным и Г. А. Князевым. Если определить главное, что происходило в каждом из них, то, наверное, это будет: работа совести — у Юры Рябинкина, работа разума, духа — у Георгия Алексеевича Князева и работа любви — у Лидии Охупкиной. Это, конечно, упрощение, в нем многое теряется, но именно эти три начала прежде всего представлены в их дневниках, записках. Так получилось — трое наших героев воплотили три решающие опоры человеческого бытия.

Праведные и неправедные

Г. А. Князев:

«1942.IV.9. Двести девяносто второй день войны. Горюплюсь жить. Проснулся сегодня рано утром, и заработала мысль. Надо сделать

это, кончить то, успеть в несколько месяцев хоть частично выполнить, на что и трех лет было бы мало!

И записать многое хочется... О женщине, жене-друге хотелось бы писать гимны, поэмы. О женах борющихся и спасающих, но все же в большинстве потерявших своих мужей — астронома Берга, археолога Чаева и многих других, — вплоть до той простой женщины, которая мне рассказывала о последних часах своего мужа — вахтера Центрархива Блохина.

Будущий поэт, которому, быть может, попадутся на глаза эти мои исписанные листки, вдохновится и напишет такой гимн или поэму жене, беззаветно и самоотверженно переносящей все тяготы и отстаивающей всеми своими силами своего мужа... Тем, что я покуда жив, всецело обязан М. Ф. Какая она у меня без всяких красных слов самоотверженная труженица и скромная героиня!..

1942.IV.13. Двести девяносто шестой день войны. Кто-то сказал: «Слишком широк человек, не мешало бы его сузить...» Всю эту зиму я живу лишь настоящим мгновением; но в то же время живу в прошлых веках, тысячелетиях, создавая хронологическую канву для истории культуры: «По культурным векам и кровавым провалам». Какая необъятная широта в возможностях человека: взлеты, падения, гении, подобные космическим звездам первой величины, и изверги, негодяи; чьи имена знает история и миллиарды тех безвестных, никому не ведомых, которых никто никогда не может вспомнить, потому что ничего не знает о них, но которые жили и умирали, которые, в сущности, и есть человечество!..

Вот жизнь как она есть; вот люди как они есть... И жутко, жутко делается: что они сделали с дарованной для их жизни землей, во что они превратили ее!.. Кровь, слезы, пожарища, насилия, виселицы, расстрелы, грабежи и страдания, страдания во всем мире!.. И сделали это те люди, те, которые имели среди себя и Христа, и Сократа, и блаженного Августина, и Конфуция, и Лао-Тая, и Будду, и Толстого!..

1942.V.12. Триста двадцать пятый день войны. Оказывается, у меня есть современник, который записывает слухи. Я, как уже отмечал, не записывал их, я брал лишь факты; и только тогда записывал слух, когда он касался какого-нибудь факта, который я не мог проверить. Этот мой современник — Е. Г. Ольденбург.

Сегодня она мне помогала снять со стены дома плакат с надписью о защите родного города. Плакат этот провисел всю зиму под дождем, снегом, метелями, обстрелом: «Не сдадим родного города!» Ленинградцы отстояли свой город. Через несколько лет, через 50—100 плакат этот будет музейной редкостью. Пред ним потомки наши преклонят свои головы. Этот лоскут бумаги, бережно сохраненный, будет рассказывать о пережитом в Ленинграде больше, чем сотни написанных страниц. Он живой документ своего времени...

И вот когда Е. Г. Ольденбург помогала снимать со стены этот плакат, то и сказала, что она исписала несколько тетрадок, записывая все свои впечатления день за днем и все, что она слышит, слухи.

Итак, не один я пишу. Но так, как я пишу, другой не пишет. Мы видим и переживаем все ведь по-своему, неодинаково...

Ромашевский с начала войны вел регулярную запись тревог (таковых он насчитал до мая 1942 г. — 359), а во время дежурств — всех случаев. То же, оказывается, записывал и В. А. Петров. Кое-что записывал я. Значит, материалы у нас выявляются, и их немало! Надо только зарегистрировать бы их, сохранить, изучить...

Узнал, что в нашем доме в течение зимних месяцев из 200 жильцов умерло 65, т. е. около 35%».

А это читаем в другом дневнике:

«26.IV.42. Мне рассказывали, что умер один старик, он был до некоторой степени причастен к искусству. Среди его вещей нашли им сделанную медаль с надписью «Я жил в Ленинграде в 1942 году». Быть может, после войны и следовало бы такую медаль дать всем ленинградцам.

И еще: я бы на каком-либо красивом месте в городе или в одном из парков поставила бы памятник всем тем, кто умер во время блокады, и на камне высекла бы цифру смертности. Это будет звучать еще более величественно, чем Люцернский лев» (К. В. Ползикова-Рубец).

Вот о чем они думали в апреле 1942 года, чуть ожив на первом теплом солнце. Они находились еще в физической немощи, умирали от истощения, по-прежнему на улицах рвались снаряды, рушились дома, но вот уже подросток Саша Нестеров подходит к зеркалу: «...дистрофик — я увидел это слово в зеркале».

Люди стали смотреть, и оглядываться, и видеть. Среди горя, любви, подвигов самопожертвования и долга узрелось и другое.

Происходила поляризация, хорошее выявлялось, обнажалось в своей красоте, плохое — во всей безобразности. Тут было разное: и мародерство и спекуляция, кто-то наживался на голоде, воровали продукты, выменивали на золото, на драгоценности, картины, меха, были и такие, что пьянствовали, кутили («Однаво живем!»), — всякое было в многомиллионном городе. Странно, однако, что в дневниках эти случаи приводят редко, их надо выискивать, о них писали меньше и вспоминают о них неохотно, хотя и соглашаются, что если избегать этих фактов, картина получится неполной.

Побывали мы в своих обходах у одного известного коллекционера. В его рассказе прежде всего прорывалась гордость тем, как удавалось ему во время блокады пополнять свою коллекцию. Как выменивал вещи у других коллекционеров, умирающих, на какие-то крохи хлеба. Может быть, выпрашивал у тех, кто эвакуировался и не мог забрать с собою. В его рассказе, разумеется, все выглядело пристойно. Он не выпрашивал — он «помогал», он «сохранял» то, что могло вообще погибнуть в разбомбленных домах, он «спасал» у тех, кто умер с голода, бесценные собрания, которые соседи могли стопить в печках. Его ни в чем нельзя было уличить, поэтому мы не имеем никакого права называть его фамилию, но ощущение от его рассказа возникло вполне определенное и неприятное. Конечно, как истый коллекционер, он был фанатичен. Коллекционеры бывают корыстны, жадны, настырны, они готовы унижаться, клянчить, даже обманывать. Но здесь было нечто иное. В этой большой квартире в закуске умерли от голода его отец, потом мать, а он все выменивал, добывал, пополнял свою бесценную коллекцию. Он показывал нам огромные шкафы, украшенные бронзовыми бюстами древних писателей, редкие монографии, гравюры, свою знаменитую картотеку. То были действительно уникальные вещи, но они уже не вызывали у нас восторга. Мы не могли ими любоваться. Слишком явно виделась за всем этим трагедия блокады. Бессовестно и беспощадно пользовался он этой трагедией, собирая попутно не только предметы своей страсти, но, очевидно, и прочие художественные ценности.

Признаться, мы в своих розысках ни разу не встретились с блокадником — спекулянтом, хапугой, с тем, кто нажил на бедствиях войны, брал за буханку хлеба золото, картины, кто скупал меха, мебель, бронзу, фарфор — за хлеб, за крупу. Не встретились с теми, кто обирал в больницах больных, кто воровал продукты в столовых, в детских садах... Они, конечно, были, но никто ведь не признается, не скажет это про себя. Наверное, они были среди тех, кто уклонялся от разговора с нами, кто отказывался принять у себя дома.

После войны немало было случаев, когда блокадники обнаруживали на ком-то свои вещи, у кого-то семейную реликвию.

«И вот такой случай... У меня была маленькая брошечка в виде кортика. Муж моей тетки был морским офицером, и как-то он сделал ей на заказ такую брошечку — кортик золотой, ножны черные и слоновая кость. Это осталось у мамы с другими вещами тети...

Прошло много лет. Как-то пришла я в парикмахерскую. Сижу. И вдруг входит девушка, а у нее приколот этот кортик. Я растерялась — такое совпадение! Я не могла ошибиться, потому что это была на заказ сделанная вещь. Я очень растерялась. И все. Больше я ее не встречала. Так и пропало, конечно» (Нина Вячеславовна Сезеневская).

В те блокадные дни на здоровых и сытых лицом смотрели подозрительно, недружелюбно, заранее причисляя к жуликам. Иван Алексеевич Савинков в сентябре сорок второго года уже замечает в своем дневнике «нுவоришей», или, как он их называет, «новую аристократию», тех, кто жульничал, наживался, расхищая продукты, — он отличает их сытый вид, самоуверенность, наряды.

Но вот Г. А. Князев под фашистскими бомбами самозабвенно читал стихи Иоганна Вольфганга Гёте:

Мою ты землю не пошатнешь
И хижину мою:
Не ты ее построил...

Ни корысть, ни эгоизм, ни соблазн как-то уцелеть за счет других не поколебали таких, как Князев, не пошатнули их «землю» — их совесть.

Тяжесть книг

«1942.III.14. Ничего особенного. День как день... Ночь как ночь в осажденном городе, — такими представляются двести шестьдесят шесть суток войны Г. А. Князеву. — Блокада не разорвана, и отсюда все качества... Давно решено у меня — о будущем не думать. Теперь вопрос ставится снова — что будем делать. У нас было бесповоротное решение — оставаться в Ленинграде и никуда не уезжать. Теперь сама жизнь ставит вопрос о выезде из Ленинграда. Следующей зимой, если мы и дожили бы до нее, в разрушенном городе, без дров мы не проживем. Нынешней зимой десятки, если не сотни тысяч истощенных голодом людей просто заволодели и замерзли в своих нетопленных комнатах. Ждать такой перспективы с «философским спокойствием» бессмысленно. Значит, надо решать вопрос о выезде из Ленинграда. Но куда? А с Архивом как?

И встало вдруг серой стеной это грядущее, пришлось задуматься о будущем...

На службу сегодня не смог поехать из-за неисправностей моего ручного самоката и слабости М. Ф., которой было бы не справиться сегодня со своими обязанностями и слесаря и шофера.

И я целый день читал стихи Бодлера, Верлена, Верхарна и других...

1942.III.15. Двести шестьдесят седьмой день войны. Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 55 лет... Я устал, истощен от голода и холода, измучен нравственно, смят вихрем событий, но я не старик, я не «отсталый». Я еще достаточно чувствую в себе сил, чтобы бороться, а если будет нужно — умереть... Что ж делать! Жизнь прожита. Не удалось, правда, три — пять лет прожить на покое, заняться своими книгами, коллекциями, неоконченными замыслами... Пришли лихие времена. Весь мир, вся наша планета в пламени огня.

Встал рано. Одевался у печки. Какое счастье греться в холодной

комнате у теплой печки. Она была истоплена на ночь и к утру еще не остыла. Сажу сейчас за столом. Правда, в комнате развал; от затопленной буржуйки идет едкий дым и ест глаза... Но какое счастье, что еще около меня М. Ф. Она бодрится. Сейчас готовит кофе. Пусть у меня стынут руки и она и я в зимних пальто (на дворе опять мороз — 19°!), но мы живем. И она и я любим друг друга...

— Дорогая моя Кичи (так я зову своего верного друга и жену М. Ф.), подойди ко мне...

И я целую ее, такую худенькую, состарившуюся... А она улыбается мне своими все еще лучистыми глазами, чистыми, нежными, ласковыми.

— Радость моя, оплот мой, друг мой, верная радостная жена моя...

Я не кончаю. Я про себя думаю: «Неужели кончилась наша жизнь, все кончилось?..» И гоню, гоню эти мысли. Не надо их.

Мы садимся пить кофе. Я грею руки М. Ф. На столе у меня Петрарка, Верхарн, Ал. Блок... Сколько мыслей, образов!..

Мы еще живем!»

Книга много значила и много делала в ленинградской блокаде. Ленинград — город, насыщенный книгой, книжными собраниями: государственными, институтскими, частными. Может, по количеству книг на жителя это был первый город в стране. Причем книги скопились первоклассные, редкостные, антикварные. Ленинград славился своими букинистами. Перед войной на Литейном проспекте большая часть нижних этажей была занята книжными магазинами. Вдоль садовых оград стояли развалы букинистов. И ближние улицы — Белинского, например, — тоже были заняты книгами. Здесь можно было найти все или почти все — старый французский роман, брошюры первых лет революции, церковную книгу, немецкие технические справочники. Букинисты в валенках, в шубах, похлопывая рукавицами, ходили вдоль лотков, заваленных книгами, где рылись любители.

От блокады книга сильно страдала. Ее жгли пожары, она гибла при бомбежке, ею, наконец, топили буржуйки, плиты, ею разжигали, ею обогревались, и за это невозможно осуждать людей. Но книгу и защищали, ее спасали. Есть замечательные рассказы работников Публичной библиотеки, которые в самое голодное, отчаянное время перетаскивали в хранилища частные библиотеки умерших собирателей, ученых, библиофилов, те собрания, которые остались бесхозными, спасали книги из разбомбленных домов. Тащили их на санках, на тележках, на себе через весь город в книгохранилища Публички. Никто не заставлял их, не было на то указаний, ничем эта работа не поощрялась. Они любили книгу, они служили книге, поэтому они ее спасали.

Но это профессионалы-книжники. А были просто ленинградцы, питерцы, потомственные питерские интеллигенты.

Вот что рассказала нам Зинаида Александровна Игнатович, работавшая в научно-исследовательской лаборатории пищевой гигиены. Зинаида Александровна заведовала там отделом. До революции она прошла путь, довольно типичный для девушек, добивавшихся осмысленной трудовой деятельности на пользу людям: издавала приехала в Петербург, поступила в Женский медицинский институт, уехала работать на холеру, потом на тиф... Скромная, но по-настоящему идейная, интеллигентная труженица. Рассказанный ею эпизод — типично ленинградский.

«— В блокаду мы остались вдвоем с мужем. Он худой был. Он перестал работать уже в сорок втором году, не смог работать. Но он был невероятный книголюб. Двоюродная сестра моя была профессором, и ее удалось каким-то образом буквально в

октябре уже, с трудом, но все-таки эвакуировать на Большую землю. Уезжая, она мне сказала: «Все вещи я бросила. Если будет возможность, когда-нибудь посмотрите, что там есть, потому что я с собой ничего не могла взять». Ну, весна в Ленинграде в сорок втором году задержалась, еще в апреле был снег очень долго. Наконец дни стали больше, и я говорю своему мужу: «Давай все-таки съездим к Верочке, посмотрим». У нас квартира осталась пустая, все эвакуировались. Сосед-инженер умер, жена его была на фронте. Пять комнат, а мы жили только вдвоем, больше никого не было. Мы связали двое санок и повезли их. Сестра жила у Марсова поля, нам нужно было пройти, наверное километра два, через Неву, мимо Биржи. Ну, мы потихоньку пошли, подошли к Бирже. И тут начался страшный обстрел: снаряды падали то в воду, то возле Биржи. Я говорю: «Давай кругом Биржи обойдем, там все-таки тише».

Пришли мы в квартиру Верочки. Ну, квартира вся раскрыта, никаких вещей, конечно, нету, но шкафы с книгами целы. «О-о! — муж обрадовался.— Книги, книги-то целы! Я книги возьму!» Я, зная уже его слабость, говорю: «Знаешь что? Только бери самые интересные, потому что мы с пустыми санками еле-еле доехали». Но когда он все отобрал, я вижу — полные санки, двое санок, вот сколько книг навязано. Я говорю: «Столько книг?» А муж сказал: «Как можно бросить Достоевского? Если бросить, их ведь сожгут!» Поехали с этими санками. Перешли опять Неву у Биржи, и опять начался обстрел. Я говорю: «Давай опять завернем сюда». Когда мы начали заворачивать, я смотрю: вдруг он побледнел, хоп — упал! А я, главное, как сейчас помню, мы ведь долго прожили, прожили дружно, а я, представляете, думала не о том, что он умер, а как я его теперь до дому дотащу?! Вот я и теперь помню это чувство! Не то, что он умер, что я потеряла его, а как я его мертвого дотащу?! Вот я его потихоньку под руки на ступени этой Биржи втащила. Положила. Начала смотреть пульс, потихоньку появился пульс. Понимаете!!! Он там посидел час, пришел в себя. Ну, конечно, чтобы он вез санки, уже не могло быть и речи. Бросить книги тоже нельзя. Пошли мы. Я его веду под руку и тащу вот эти самые санки, полные книг. Наверное, мы шли часа три до своей квартиры. Лифта не было, подниматься наверх не было уже никакой возможности. Мы оставили санки внизу. А его я еле дотащила до квартиры. На второй день утром он с постели встать не мог. Я ему оставила кое-какую еду, а сама пошла в институт.

— А санки с книгами там, внизу, остались?

— Да, так и остались. Прихожу с работы, вижу: санки пустые! Вот ужас, думаю, человек чуть не умер из-за книг, а кто-то на растопку взял! Стала подниматься к себе наверх, на пятый этаж. Когда я дошла до четвертого этажа, слышу странный такой звук, как будто собака идет на четырех лапах, вот так вот шлепает! Я думаю: откуда в сорок втором году собака? Давно ведь всех собак съели. Когда я поднялась на площадку четвертого этажа, вижу такую картину: муж, у него сзади торба с книгами, и он на четвереньках несет эти книги!!! Увидел меня, сел и говорит: «Вот не успел! Думал до тебя перенести». Идти он уже не мог. Я его целый этаж волокла, притащила в комнату и уложила. Он встать уже не мог. Так он на четвереньках, как собака, перетаскал все книги».

Понять, даже разделить такую любовь к книгам вроде бы нетрудно из нашего благополучно-сытого времени. Кто не бросится тащить внезапно свалившееся книжное наследство сегодня! Но чтобы понять и разделить ту любовь к книгам и те чувства, надо действительно представить себя на месте блокадника-ленинградца — ощутить, хотя бы вообразить то состояние предельной истощенности, когда, казалось, все мысли, кроме главной — о хлебе насущном, высосаны голодом.

Ленинградская интеллигенция... русская интеллигенция... Часто пытаются эти понятия свести к образованию, к воспитанности. Но это нечто иное...

Человек умирает в самом прямом и грубом значении этого слова — и все равно идет за книгами! Как много может человек! Потому-то так важны для всех нас блокадные воспоминания — в них открываются запредельные силы человеческой души, состояния, о которых никто не знал, возможности, которые в обычной жизни остаются неосуществленными.

Приближается весна. Она приходит медленно, слишком медленно. На «Дороге жизни» ее не торопят, наоборот, там боятся, не хотят теплого солнца, спешат, пока лед прочный, скорее, скорее завезти в Ленинград побольше продуктов, эвакуировать людей.

Первыми оживали дети.

А. П. Гришкевич записал 13 марта в своем дневнике:

«В одном из детских домов Куйбышевского района произошел следующий случай. 12 марта весь персонал собрался в комнате мальчиков, чтобы посмотреть драку двух детей. Как затем выяснилось, она была затеяна ими по «принципиальному мальчишескому вопросу». И до этого были «схватки», но только словесные и из-за хлеба.

Зав. домом тов. Васильева говорит: «Это самый отрадный факт в течение последних шести месяцев. Сначала дети лежали, затем стали спорить, после встали с кроватей, а сейчас — невиданное дело — дерутся. Раньше бы меня за подобный случай сняли с работы, сейчас же мы, воспитатели, стояли, глядя на драку, и радовались. Ожил, значит, наш маленький народ».

В эти же мартовские дни 1942 года Г. А. Князев записывает:

«Похлебка, дымящаяся похлебка на столе. И мы жадно хлебаем, лакаем, как голодные псы... Но рядом у меня книга, полная мыслей искристых, сочных, порою парадоксальных и спорных — «О поэзии в Библии» В. В. и карандаш для записок. Я беру из нее, что мне нужно, живое и непоблекшее до сих пор, а остальное, как шлак, оставляю... Похлебка из... — я даже не знаю из чего! — кажется нам «пищей богов». Пожалуй, самое поэтичное в ней — это идущий пар, тепло.

М. Ф. принесла лишний кусок хлеба, который обменяла на рынке на рубашку. Какое счастье еще жить так! И буржуйка сегодня не дымит. М. Ф. вычистила от сажи трубы.

Что еще нужно? Одно: хоть какая-нибудь уверенность в завтрашнем дне или даже ближе — в сегодняшнем вечере. Нельзя же так жить, на самом деле, — настоящим моментом, мгновением, без всякого будущего (я, конечно, говорю о личном будущем).

1942.III.18. Двести семидесятый день войны. Сегодня неожиданно во втором часу дня наш Васильевский остров подвергся жестокому обстрелу.

Я возвращался из Архива по набережной со своими думами... Вдруг воздух над Невой стал рваться, как шелк. И сразу где-то загрохотало. Впереди меня прохожие уже лежали на снегу. Все это было ошеломляюще неожиданно... Еще утром, открывая парадную и проходя в нее, куда М. Ф. приготавливала самокат под порталом нашего академического дома, я думал — какая благодать, тишина, не ухают пушки!...

И вдруг... Один свистящий снаряд через головы, другой, третий... И трах-тах-тах! Разрывы где-то близко. Кто не лежал, бежали, пригибаясь к земле, вдоль домов. Оставаться на открытом месте было слишком рискованно, и я заехал под ворота б. Кадетского корпуса со стороны набережной. Конвойный пропустил меня. Там я и простоял минут 30—40, куда длился обстрел. Но я, еще не дожидаясь полного спокойствия, выехал на набережную. Академик Крачковский стоял под подъездом б. меншиковского дворца. Бледный, нервно-напряженный, молчаливый и гордый... Опять усилился обстрел. Он сделал несколько шагов со мною молча, сосредоточенно и опять остановился, но уже теперь за углом дома.

В это время М. Ф. сидела в столовой в подвале под Зоологическим музеем. Я был относительно спокоен за нее... Но, оказалось, напрасно. Один из снарядов упал как раз между больницей Отто и академической столовой. Оглушительным ударом взрывной волны выбил в ней все стекла... А у одного из окон сидела М. Ф., и, по счастью, шрапнельные пули или куски снаряда и осколки стекла проле-

тели над ее головой, не поранив, только страшный взрывной удар оглушил правое ухо. Кругом поднялась суматоха... Первая мысль М. Ф.: а что со мной? Ведь я еду по набережной, под самым обстрелом... Но, к счастью, не выскочила, осталась выжидать и получить все же обед, который во время суматохи перестали давать...

1942.III.31. Двести восемьдесят третий день войны. С какой любовью, нежностью глядел я сегодня на свои художественные собрания, на выписки из истории культуры, на начатые или только задуманные литературные произведения... Не хватило, не хватило нескольких лет, ну годика три, что ли!..

М. Ф. подошла ко мне и, улыбнувшись, спросила: все пишешь? Напомнила мне чей-то рассказ, как один счастливый человек в восторге водил пером по бумаге, воодушевленный удачей, что он все написал что хотел и как хотел... А когда посмотрели, что он пишет, оказалось — ничего: одни линии из крючков и петелек, не походивших ни на одну букву, или просто прочеркнутые линии. «Счастливец» же блаженствовал, что он все успел написать...

Мы расхохотались.

— Ты следи за мной, — сказал я М. Ф.

И мы опять рассмеялись. Редко теперь смеются люди!

— Проживем? — спрашивает М. Ф.

— Продержимся апрель, май, а в июне... В июне, июле уедем.

— А если не удастся уехать?

Молчим оба.

А вот еще один рассказ о книгах читаем мы в дневнике Г. А. Князева. Научная сотрудница Пулковской обсерватории рассказала ему о Викторе Рудольфовиче Берге.

«Он, между прочим, ездил в Пулково на грузовике зимою раздобывать из подвалов оставленные там книги и между ними ценнейшие инкунабулы. Делалось это под самым носом неприятеля, в полутора километрах от него. Во время пути пришлось все-таки спастись, бросившись из автомобиля в канаву. Но, к счастью, снаряды рвались по другую сторону дороги. Подвалы, в которых хранилась ценнейшая библиотека Пулковской обсерватории, были сводчатые и настолько крепкие, что они считались совершенно не поддающимися какому-либо разрушению. В одном помещении был даже двойной изолированный подвал для службы времени. И все это было разрушено!.. Книги перемешались. Берг, добравшийся все-таки до Пулково с риском для жизни на военных грузовиках, в темноте откладывал наиболее ценные, известные ему книги, которые и были оттуда вывезены. По спасению другой части библиотеки работал сотрудник Циммерман...

Когда над нами в Архиве Академии бушевала гроза, я беседовал с Шафрановским, старшим библиотекарем библиотеки АН. Дым от пожарища, наблюдаемый нами из окна, оказался левее, чем библиотека. «Надеюсь, что не дом, где я живу, горит», — сказал он задумчиво. «А дома кто-нибудь у вас есть?» — «Дочь, пятнадцатилетняя девочка». — «А еще кто?» — «Никого больше... Ведь когда я вернулся с военной службы, я не нашел дома жены и матери. Они умерли в начале этого года... Встретила меня одна дочка. Сейчас и живем с ней, но она ведь еще девочка и бытовые условия вследствие этого очень тяжелы...» Я не удержался: «Так как же вы не сказали мне этого, когда были у меня?» «Зачем же? Не у одного меня такое горе...» Над нами гремел «гром», раздавались дальние и близкие разрывы бомб. Я предложил пойти в одну из наших комнат в башне. Он улыбнулся и просто сказал: «Зачем?..» Мы стали продолжать деловую беседу о дальнейшем плане обследования академических хранилищ...»

Мария Васильевна Мошкова, работник Публичной библиотеки, в блокаду тоже спасала книги. Вместе с другими сотрудниками тащила на себе, на санках, в мешках остатки разбомбленных книжных собраний. Они ходили по известным библиофилам, ученым — по тем адресам, которые знали или о которых сообщали родные, близкие, карабкались по этажам, собирали книги и везли в книгохранилище Публички. Потом уже им выделили машину, а в самые тяжкие месяцы эти медленнодвигающиеся от слабости женщины волочили через город тяжелые связки книг.

Блокадники вспоминают о том, как печатались и выходили книги, вспоминают о спектаклях Музкомедии, о выставках, об исполнении Седьмой симфонии Д. Шостаковича в филармонии. О последнем рассказывает музыкант Нил Николаевич Беляев:

«Это был совсем особый случай с этой симфонией. Шостакович был свидетелем колоссальных народных бедствий, всех лишений и страданий народа. И не только он, но и исполнители оркестра, и дирижер, и слушатели, находящиеся в зале, все были участниками и свидетелями трагедии. И все это воспринималось совершенно необычно, как говорится, живым сердцем. Понимаете? Потом уже мне приходилось слушать эту симфонию в отличном исполнении, с хорошим составом оркестра, с прекрасным дирижером, но такого впечатления от этой музыки, такого личного восприятия уже никогда не было — тогдашнего, свойственного только тому дню, тому времени, когда знаешь, что в оркестре сидят мои полугодные товарищи и Карл Ильич Элиасберг тоже не ахти какой сытый человек. Причем с этими товарищами мы провели всю сложнейшую зиму, а немного позже, со следующего года, когда мы немножко встали на ноги, все мы были зачислены в рабочие батальоны. И до конца войны мы состояли в тех подразделениях, защищали как могли Ленинград. В частности, я и известный виолончелист Сафонов были сначала пожарниками, потом мы были в отделении связи».

Писатель Геннадий Гор рассказывал:

«Накануне войны я купил книгу Зиммеля о философии личности Гёте, написанную абстрактно, одну из самых трудных книг, какая мне попадалась. Пытался ее прочесть, ничего не понял. А в блокаду при свете плашки уяснил ее и получил огромное духовное удовольствие. Позже, когда совсем плохо было, духовная жизнь, конечно, замерла. Люди стали уже жить моментом. Прошлое как бы исчезло. Осталось только настоящее, это облегчало жизнь. Жили как бы частями — обогреться, попить, съесть, дожидаться обеда...»

Зоркий наблюдатель, Геннадий Гор тонко замечал смещения в духовной структуре человека того времени. Например, как изменились расстояния:

«— Все стало далеко. Улицы расширились, даже зрительно, все обрело большую протяженность. Наверное, из-за слабости, а еще из-за пустынности улиц.

— В чем, по-вашему, проявлялась духовность ленинградцев того времени?

— Не паниковали, не психовали. Было мало истерики, криков. Я вообще против слова «героизм» в этих условиях. Была выдержка, было достоинство, даже в смерти. Был оптимизм, не надежда личная, а оптимизм общества. Вообще в Ленинграде народность соединилась с интеллигентностью...»

Происходили вещи и впрямь удивительные. Даже день рождения Пушкина отмечался! В 1943 году! Совершенно случайно выплыл этот эпизод в разговоре с Верой Петровной Безобразовой.

Она и в войну жила на Мойке, рядом с музеем-квартирой А. С. Пушкина. Музей, конечно, был закрыт, но вот кто-то, кто — она не помнит, стал обходить дом и приглашать людей прийти на праздник.

«— Нас пригласили предварительно такими билетиками прийти. Нас было человек восемь жильцов.

— Наверно, было трудно собрать людей из города и просто пригласили тех, кто здесь жил?

— Да, тех, кто здесь жил. Пришли и сказали: вот придите, будет завтра день рождения Пушкина. Это сорок третий год, шестое июня. Кто там был? Был Всеволод Вишневский, который очень хорошо сказал речь, что мы победим и что этот голод уйдет от нас и все будет по-старому, все будет хорошо. Были еще Николай Тихонов и Вера Инбер. Если я не ошибаюсь, она прочла нам свое стихотворение «Памяти Пушкина»¹⁹. Мы все стояли. На бюсте Пушкина был свитый веночек. Мы все почтили его дату.

— Вы были в самом музее?

— Да, да. Было торжественно, знаете. Всеволод Вишневский с таким энтузиазмом говорил: вы поверьте, мы победим!

— Вам, восьми человекам?

— Нам, восьми человекам. А что говорил Николай Тихонов, я не помню.

— Как тут все выглядело тогда?

— Как выглядело? Все окна были забиты фанерой. Во двор, где стоит памятник Пушкину, упала бомба: там была громадная яма. А у нас тогда только прыгнула посуда, мы все остались вроде на местах.

— Памятник не стоял еще тогда?

— Нет. Памятник поставили много позже, после победы. А конюшни уцелели. Один гражданин позже спрашивал меня: «А это что за здание?» Я говорю: «Это конюшни Бирона — фаворита Анны Иоанновны». Он говорит: «Вот как интересно: это стоит, а мой гараж упал». А в основном дом-то пушкинский уцелел почти весь. А вы видите — напротив упало. Большущая бомба — в Мойку. И не разорвалась».

Происходили истории иного порядка, но столь же характерные, удивительные, свидетельствующие о творческих возможностях человека. Борис Исаакович Шелищ служил техником-лейтенантом в полку аэростатов заграждения. Он рассказывает:

«У нас не было топлива. Чтобы выбрать аэростаты, то есть опустить их из воздуха для перезарядки, надо было включать автомобильные моторы, а бензина не было. Ведь сотни аэростатов висели над городом, они не давали фашистским самолетам снижаться, мешали пикировать, вести прицельное бомбометание. Попробовали мы вручную выбирать (мужчины еще были в сентябре 1941 года), но десять человек расчета не смогли их выбирать. Таким образом, боевые операции данного вида оружия прекратились: со временем водород тяжелеет, аэростат снижается, вместо трех-четырёх тысяч метров висит низко и преграды для самолета не представляет. Встал вопрос — как быть? Мне пришло в голову выбирать аэростаты лифтовой лебедкой. Раздобыл я такую лебедку, привез, но к этому дню не стало электрической энергии. И тогда я вспомнил «Таинственный остров» Жюль Верна. С детства запомнилась мне глава «Топливо будущего». Достал эту книгу. Перечитал. Там было прямо написано: что заменит уголь, когда его не станет? Вода. Как вода? А так — вода, разложенная на составные части, водород плюс кислород. Я думаю — не пришло ли это время? Ведь мы что делали — выдавливали оболочку аэростата, выпускали так называемый грязный водород, а это все равно что выливать на землю бочку бензина. Думаю: сейчас, когда у меня есть под руками грязный водород, это же топливо. То самое, про которое Жюль Верн писал...

Я договорился с командиром. Сделал просто: шланг от аэростатной оболочки сунул во всасывающую трубу двигателя. Чувствую, двигатель работает. Даю обороты, он обороты принимает. И вдруг ЧП! Выхлоп! Обратная вспышка, взрыв, газгольдер сгорел. У меня контузия. Руки опустелись. Но бензина-то нет! И тут я понял, что надо сделать затвор. Разрывать цепь автоматически. Для этого ничего лучше воды быть не может. Взял я огнетушитель и сделал в нем гидрозатвор. Двигатель сосет водород через воду. Обратная же вспышка через воду не доходит. Дали разрешение испытать. Приехали генералы. Посмотрели. Все хорошо. Приказали за 10 дней перевести все аэростатные лебедки на новый вид топлива. Собрали по городу огнетушители. Шестьсот штук понадобилось. Достали шланги. Короче говоря — все аэростаты выбирать стали на новом топливе, на водороде. Лучше работали, чем на бензине. Я вам скажу, почему лучше. Пото-

¹⁹ Вероятно, В. П. Безобразова имеет в виду стихотворение В. Инбер «Пушкин жив», написанное 5 июня 1943 года.

му что в холод двигателя на бензине плохо заводятся. Надо их прогревать. На водороде же и при морозе с пол-оборота заводятся».

Двигатели на водородном топливе демонстрировали на выставке Ленфронта, потом Б. Шелища отправили с ними в Москву. Он совершенствовал свою конструкцию, отвечал на вопросы специалистов.

«Если б был бензин, я бы не довел свою идею до конца. И вообще, я скажу вам, мне многое в голову не пришло бы, если бы не блокада. А тут приходило. Знаете, я тогда перечитал про эпопею челюскинцев. Как они высадились на лед, как жили в таких условиях. Может, извлечь что можно... Мы ведь тоже были как на льду. Не помню, чтобы в нормальных, мирных условиях я работал с такой энергией и так соображал бы. А вообще я думал, что никогда уже не смогу быть сытым».

А по радио, может быть, в это самое время звучали такие странные и такие понятные блокадникам слова:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам...

У Князева радио, мы помним, все время испорчено, молчит. Как эти слова из «Февральского дневника» Ольги Берггольц воспринимал бы он? Насколько они выражали все то, что испытывал и о чем писал в дневнике Князев,— эту голодную возбужденность, которую пережили и помнят многие (состояние, которое у других затем переходило — а Князев все не поддавался! — в апатию, безразличие ко всему), это упоение всем, что способна еще подарить жизнь (даже в блокаду) человеку, истово преданному культуре, а сейчас начинающему с новой силой любить и ценить Ленинград, поэзию, понимать людей, которым выпала тяжелейшая судьба, отстояв, спасти гуманистическое прошлое и будущее человечества?..

Из дневника Г. А. Князева:

«Разговорились с В. А. Петровым, сотрудником ИИМК²⁰. Он говорил мне: «В конце января, когда я потерял жену и дочь, когда квартира была разбомблена, книги (у меня специальная библиотека до 6000 томов) лежали, выкинутые взрывной волной из шкафов, на полу, мебель, одежда, платье, белье погубили, и я стоял в морозной разрушенной комнате в оцепенении, с начинающимся воспалением легких,— я сам не знаю, откуда найдя силы в себе, приказал себе: жить и кончить свои начатые труды. И погибающий, с похеренной жизнью я вдруг начинаю оживать. И живу. Все поборол, все превозмог. Сейчас я одинок, у меня никого нет. И у меня ничего нет. Только то, в чем остался в январе,— вот в этом пальто, шапке, пиджаке и белье. И ничего больше. Правда, когда я перешел жить в библиотеку, покупка она окончательно не замерзла, у меня там оказался запас чистых воротничков».

Сейчас он пишет, заканчивает свои труды.

«Смеяться,— говорит он,— я действительно разучился, но не плакал и не плачу»...»

Мою ты землю не пошатнешь

Дни войны, они для ленинградцев были к тому же днями блокады, а еще днями обстрела, днями бомбежек. Двести девяностый, трехсотый, триста десятый, двадцатый, тридцатый... Неукоснительно вел им счет Г. А. Князев. И учительница К. В. Ползикова-Рубец. И партийный работник Гришкевич. И еще десятки людей, чьи дневни-

²⁰ Институт истории материальной культуры.

ки дошли до нас. Весна, а затем лето 1942 года принесли заметное облегчение горожанам. Появилось прежде всего тепло — солнце. Исчез лютый враг — мороз. Можно было согреться, не думать о дровах, можно было немножко помыться.

Снимали с окон одеяла, ковры, матрацы — все, чем затыкали, завешивали их, защищаясь от холода, — открывали забитые фанерой форточки. Солнечный свет врывается в страшные, закопченные блокадные квартиры. Паркет был выворочен, мебель изрублена, все было загажено, но свет, солнце, оно было как ласка для истрадававшихся людей. Долгая зимняя гнетуще-копотная тьма кончилась для тех, кто выжил. Люди подходили к зеркалу, вглядывались в свои неузнаваемые отражения, ужасались, и этот ужас, страх, отвращение были тоже живительным чувством пробуждения. Об этом написано у всех.

И сразу же навалилась настойчивая, требовательная забота на всех горожан без исключения, без снисхождения к слабости, к дистрофии: надо было чистить город, вынести трупы из опустелых квартир, убрать завалы нечистот, улицы убрать, дворы, лестницы.

Уже в ноябре 1942 года, вспоминая о весенних работах, К. В. Ползикова-Рубец изумлена: как мы смогли? как сумели? От удивления она пишет в третьем лице, как бы со стороны:

«Невероятным было то, что они очистили эти кучи нечистот, которыми был покрыт Ленинград (я тоже участвовала в этом). Покрыли его ковром огородов, трудясь с восхода солнца до работы на заводах и учреждениях, трудясь после окончания работы. И это без водопровода, без канализации, без прачечных, почти без бань, на полуголодном пайке и под свист вражеских снарядов. Эти ленинградцы охраняли свои огороды, дежурили по ночам. И это у них воровали из-под носа или попросту грабили эти овощи, выращенные с таким трудом, тоже ленинградцы...»

Анатолий Сергеевич Болдырев продолжал свой рассказ об эвакуации из Ленинграда уже в весенних условиях:

«Подготовка к навигации 1942 года была не менее сложная задача, чем организация ледовой дороги. В распоряжении ленинградцев были жалкие остатки флота. Не было барж, причалов, буксирных судов, все было разбито. Надо было делать 600-тонные металлические баржи. Все работники горкома партии занимались организацией этого дела. На заводах готовили секции, перевозили по железной дороге до бухты. За Ладогой в заповедном лесу заготавливали лес для деревянных барж совсем как в петровские времена. На временно сооруженной верфи построили 33 баржи... Ремонтировали оставшийся флот. Страшная работа, потому что непрерывно бомбили все подходы к верфям, к причалам, к пирсам. Люди гибли десятками. Но благодаря упорству ленинградцев, непрерывным подкреплениям программу удалось выполнить... Всего в навигацию сорок второго года (туда и обратно) было перевезено более миллиона тонн различных грузов».

А на малом радиусе Г. А. Князева тоже пригрело, зазеленело, расцвело:

«1942.V.18. Триста тридцать первый день войны. Дивный день сегодня. Вдоль набережной разрыхляют грядку для цветов, ту самую, о которой я с такой безнадежной грустью писал осенью. Я не думал, что доживу до того времени, когда на этой грядке снова зацветут цветы. Как взволновала меня длинная полоска черной, подготовленной для посадки цветов земли.

В Румянцевском сквере василеостровцы устроили огород. Разбили сад на участки. К сожалению, много места занимают траншеи.

На солнце жарко. Сидеть бы и греться, наслаждаться жизнью! Мне сейчас очень хочется жить, мыслить, творить...

Сегодня, после 6-месячного перерыва, снова работал в своей комнате, за своим письменным столом — и не верилось этому...»

К июлю стало ясно, что Князевым надо уезжать. Но Георгий Алексеевич всячески отодвигает от себя эту мысль:

«1942.VII.6. Триста восьмидесятый день войны. Город полон слухов. Они всех волнуют. Все ожидают наступления немцев на Ленинград, полного его окружения и всех ужасов новой, насмерть удушью ленинградцев блокады.

По улицам везут на детских колясках поклажу и идут женщины с детьми. Это выселяются в принудительном порядке. Врач, живущий на нашем дворе, отправил в Башкирию свою жену с двумя ребятишками. Весь потный, красно-багровый, катил на мальпосте тук с вещами, а мать с ребенком на руках и с другим около ее подола шла неровным, усталым шагом.

В учреждениях составляются списки эвакуирующихся. К нам в Архив ученые несут свои рукописи.

Собрался с силами и насколько могу спокойно гляжу в глаза будущему...

Мне сообщили о полученной телеграмме жены нашего кочегара Урманчеева, матери троих детей. уборщицы Фани, что она доехала домой, но из троих ребят довезла только одного: двое умерли в дороге.

...Мой родный любимый город, где не только улицы, площади, дома, но и каждый камешек мне знаком! И что с ним случилось!

«Вот Невский... вот Морская» — писал я в дни первой блокады во время гражданской войны, пораженный разрухой города и пустотой. Лишь стаи псов иногда можно было видеть тогда на улицах, куда-то стремительно мчавшихся даже по Невскому, когда он затихал от транзитных пешеходов к вечеру. Теперь нет ни одной собаки на улицах...

И вот снова Невский, Морская... Страшный срез бомбой целого угла с крыши до основания на б. Малой Морской, теперь улице Гоголя... Неторгующие магазины с забитыми витринами, нежилые этажи или целые дома, пострадавшие от артиллерийского обстрела. Город снова в разрухе. Я второй раз переживаю то же самое. И сегодня, как 20 с лишним лет, я был в оцепенении, почти отчаянии... И успокаивал себя — ведь оправился город от той разрухи, оправится и теперь! Будет жить и процветать мой родной город. Дни страшной войны пройдут, а город останется... Мы умрем, а город останется. Город Петра и Ленина, двух гениев русского народа, никогда не погибнет. Петр приобщил через Петербург Россию к Европе, Ленин привлек Европу и весь мир к советской России.

Через десять лет после своего стихотворения о разрушенном Ленинграде мне пришлось написать другое: «И стыдно мне...» Да, мне стало стыдно потом за маловерие. Ленинград тогда воскрес. Воскреснет он и теперь, когда кончится эта война... Но эти мысли я записываю сейчас дома, а там, на Невском, на Морской, на бульваре Профсоюзов, я, признаюсь, по-другому думал, неумная тоска вдруг овладела мной, и много надо было разума и воли, чтобы совладать с ней...»

«Все время один предо мною вопрос,— записывает Князев,— имею ли я право покидать Архив, или свой «корабль», как я его называю.

Мне хотелось, если уж суждено погибать, то вместе с ним. Выходит так, что я оставляю Архив.

— Вам приказывают так поступить,— говорит мне т. Федосеев,— и вы обязаны подчиниться.

Я попросил разрешения на обдумывание ответа до понедельника. Что мне ответить? Мучительный вопрос. Я обратился к М. Ф. Она мне ответила письменно... Она искренна и ясна. Значит, уезжать! Хо-

дил по Архиву, словно кто мне по голове обухом ударил. Имею я право покидать Архив, не являюсь ли я дезертиром?

...Родной мой город, и я принужден покинуть тебя. Сегодня мне надо было бы собираться, а я с карандашом в руках исписываю страницу за страницей. Я не хочу получить упрека, что я не выполнил своего долга — не записал того, что видел, слышал, читал, пережил в дни осады моего замечательного города. Посильно я свой долг исполняю. Везу с собой целый портфель записок о днях войны в Ленинграде...

1942.VIII.11. Четыреста шестнадцатый день войны. Последний день в Ленинграде.

Прощался с городом. Прощался со сфинксами... Пустынно на набережной. Утром от нашего дома до Академии навстречу мне попалось не больше трех человек — военный и две женщины на плечах пронесли гроб... На службе обходил хранилища с глубоким волнующим чувством. На время или навсегда их оставляю?.. Дома суматоха. Как всегда, еще много не собрано. 4 часа. А в 7 часов придет автобус за вещами и за нами!»

Этим заканчиваются подневные записки Георгия Алексеевича Князева «В осажденном Ленинграде». Потом была трудная эвакуация обезножевшего и ослабшего блокадника и его преданной жены и снова возвращение в Ленинград — к своей работе в Архиве.

Князев завершил свой жизненный путь в том же доме с окнами на Неву и сфинксов, на стенах которого 27 мемориальных досок с именами выдающихся петербуржцев, петроградцев, ленинградцев.

Среди фотографий в семейных альбомах Марии Федоровны Князевой мы увидели групповую: работники послевоенного Архива Академии наук СССР. Новые и прежние (кто выжил) сотрудники Георгия Алексеевича. «Старых», переживших блокаду, не выделишь по каким-то особенным признакам. Угадываешь, но не наверняка. А, казалось бы, должно сразу на лицах, в выражении глаз читаться: эти пережили, эти узнали, эти — блокадники! Когда Александр Митрофанович Черников называл нам фамилии, знакомые по записям Князева, многое никак не совпадало: этот, такой уверенный, уравновешенный с виду, «все время плакал»? а эта красивая, полная могла напомять «взъерошенную голодную кошку»? а эта женщина, такая щупленькая, и еще вот эта, на нее и внимания не обратил бы,— это они, сами полутрупы, волокни на саночках через весь город этого благополучного с виду мужчину, который тогда был «безнадежным дистрофиком»?

Они, бывшие блокадники, невидимками ходят по городу: мы их не узнаем (разве что по возрасту и облику иногда догадываемся), а они нас видят...

Среди наших магнитофонных записей хранится и этот вот живой голос — один из сотен:

«У меня домик есть под Новгородом, старый, купленный. Вот какая я богатая! Пока я работала, купили домик старенький... Утром встаю. Никого никогда не осуждаю. За рукав никто не тянет. Иду куда хочу. Куда сегодня пошла? Вышла из церкви на Марсово поле, потом в церковь Спаса на крови, на канал Грибоедова. Постояла у больницы где погиб мальчик. Стояла у Казанского собора, где умерла моя сестра, оставив ребенка. И пешком пошла по Невскому. И смотрела всем в глаза — не встречу ли я кого-нибудь? Нет. А только видела, что несут громадные сетки апельсин. Иду дальше...»

Она идет дальше в толпе прохожих. Ее уже не узнать, не выделить. Блокадник... блокадница... Их все меньше. Все реже они вспоминают, рассказывают. Внуки — и те уже взрослые. Они родились спустя много лет после войны. Они не застали ни одного разрушен-

ного дома. Все восстановлено, доты давно разобраны, выбоины от осколков замазаны, заштукатурены. Чтобы ознакомить с войной, блокадой, школьников водят в музей города. Там выделено два зала: блокада вошла в число прочих исторических событий — народовольцы, революция, гражданская война, прокладка метро, застройка окраин.

Дочери, сыновья — те еще помнят. Хотя часто и не знают подробностей, как все было с ними, как они живы остались...

Живому — жить

Книга эта была уже написана, когда мы наконец добрались до подлинного дневника Юры Рябинкина. До того мы пользовались перепечатанным текстом, который дала нам А. Белякова.

Мы увидели эту тетрадь в черной матерчатой обложке — красивый беглый почерк. Лиловые чернила. Записи становятся все плотнее, без абзацев. Кое-где подклеены были фотографии, продовольственные карточки — они оторваны. Или отклеились. Остались пустые места, обрывки. Слишком долго дневник ходил по рукам. Часть его внутри обгорела. Расстояние между строками уменьшается, автор выгадывает под конец каждый кусочек страницы, как будто боится закончить эту тетрадь... Общая тетрадь начата 22 июня 1941 года, последняя запись — 6 января 1942 года. Странно, последняя страница, последняя запись — и кончилась жизнь Юры Рябинкина. Такое совпадение. Предчувствие его сбылось.

Дневник Ю. Рябинкина завершен, дневник Князева тоже. Записки Л. Охалкиной о блокаде кончены.

Работа наша над второй частью Блокадной книги пришла к концу, но мы тянули и медлили. Нам хотелось что-то еще узнать о Юре Рябинкине. Что именно — мы не знали. Ровный, аккуратный до последних дней почерк... Каким же он был сам не изнутри, а снаружи, этот мальчик, к которому мы успели привязаться?..

Мы обратились к началу истории. Впервые «открыла» этот дневник редактор газеты Алла Белякова в 1970 году. Тетрадь принесла в редакцию ленинградской молодежной газеты «Смена» женщина, которая хранила дневник много лет. Чутьем опытного журналиста Алла Белякова поняла значительность этого документа, она опубликовала в «Смене» большой отрывок из дневника Юры Рябинкина. Более того, она разыскала и собрала его одноклассников в надежде узнать какие-либо подробности о судьбе мальчика.

После выхода первой части нашей Блокадной книги Алла Белякова передала нам машинописный текст дневника (не до конца прочитанного, расшифрованного). Дневник породил немало вопросов: что стало с Юрой, с его мамой, с его сестрой Ирой? Дом, где он жил, давно был занят под учреждение; так что ничего из жильцов там не сохранилось. Было неясно, каким образом уцелел дневник. Может быть, есть продолжение его? К сожалению, адрес и фамилия женщины, которая принесла этот дневник в газету, затерялись.

Мы обратились по радио с просьбой откликнуться — кто знает что-либо о Юре Рябинкине? Среди нескольких писем пришло письмо от Татьяны Улановой. Девичья фамилия ее была Трифонова. В семье Трифоновых и хранился дневник Юры Рябинкина. Она писала нам:

«Родители мои не хотели отдавать дневник — боялись, что он просто потеряется, а для них он много значил: папа воевал на Волховском фронте, мама сама пережила блокаду, ей было только на два года больше, чем Юре. От голода умерли мамыны отец, сестра, племянники... Позтому Юрин дневник был очень дорог моим родителям. Но я убедила их, и вот дневник начал новую жизнь... Может, это смешно, но я была счастлива, слушая ваше выступление. Но, с другой стороны, мне было неловко: я, не желая того, ввела корреспондента, который приезжал к нам в школу, в заблуждение.

Я точно не помнила и сказала, что дневник попал к нам от Юры. На самом деле было несколько иначе. Моя бабушка Трифонова Ревекка Исаковна работала в туберкулезной больнице патронажной сестрой, и однажды ей пришлось везти в больницу (это было на Вологодчине в 1942 году.— А. А., Д. Г.) умирающего учителя из деревни Клипуново Лежского района, и жена этого учителя дала ей этот дневник почитать в дороге, чтобы не скучно было. Учитель уже не мог говорить и в больнице умер. Дневник остался у бабушки. Как он попал к учителю, жена его не знала. Бабушка думает, что Юру, наверное, вывезли из Ленинграда и он попал в какой-нибудь детприемник в Лежском районе и скорее всего там и умер, ведь многие приезжали из Ленинграда на грани жизни и смерти. Может быть, такое уточнение и мелочь, но лучше исправить ошибку, которую я внесла в историю дневника.

Помню, папа говорил, что было две тетрадки, но вторая давно куда-то делась. То ли ее «зачитали» (мои родители много раз перечитывали сами и давали читать другим), то ли потеряли при переездах. Сначала дневник был у бабушки в Вологде, потом в нашей семье в Ленинграде... Вот все, что мне известно».

Написали мы в Вологду Трифоновым. Оттуда пришло письмо, где повторялась вся история, рассказанная Татьяной Улановой,— про самого Юру ничего Трифонови не знали, достались им лишь тетрадки его дневника. Естественно, нас очень интересовало, что было во второй тетрадке. В письме из Вологды сообщали:

«Теперь о второй тетради. Это была обыкновенная школьная тетрадь в шесть листов, тоже немного обгорелая и чем-то залитая. Но она не была непосредственным продолжением первой. Записи занимали 2—3 страницы. Это были бессвязные предложения и многократно повторяющиеся слова «хочу есть, хочу есть, хочу есть, умираю», написанные крупными буквами уже не по линейкам. Дат в этой тетради не было. Не могу объяснить, как потерялась эта тетрадка... Вот и все, что мама может вам рассказать».

И эти подробности были важны. Заметим, что дневник этот в семье Трифоновых п е р е ч и т ы в а л с я. К нему возвращались. Он был как бы семейной реликвией, этот дневник незнакомого ленинградского мальчика. Значит, сразу почувствовали, оценили его духовную значимость. Может, оттого и сохраняли, сберегали все эти годы.

Но более дневника нас интересовал сам Юра: что с ним произошло? Никто из друзей его не откликнулся, да и вряд ли они что-нибудь могли знать. По некоторым сведениям сестра Юры была жива. Мы стали разыскивать ее. Нам помогла Алла Алексеевна Белякова, и вскоре выяснилось, что Ира Рябинкина живет в Ленинграде, она учительница, преподает в школе литературу, фамилия у нее другая, по мужу... Мы списались, созвонились и не без некоторого душевно-го стеснения отпразднили на эту встречу.

Мы столько вчитывались в Юрин дневник, так сжились с Юрой, с его семьей, что теперь опасались... Чего? Разочарования? Забвения? Несоответствия? Да мало ли! Было странно и даже удивительно, что вот спустя почти сорок лет можно что-то различить и высмотреть среди братских могил блокады, трупов, сваленных штабелями. Что еще есть люди, и в Вологде и здесь, которые помнят, которым все это важно... Остается все же след. Какой-то след от каждой жизни. И от этой короткой, шестнадцатилетней, несостоявшейся... Впрочем, что значит н е с о с т о я в ш е й с я? Как судить, состоялась жизнь или нет? Не по количеству же прожитых лет...

Оказалось, что Ира, ныне Ирина Ивановна, волновалась больше нашего. Маленькая тоненькая женщина, хрупкая на вид, встретила нас с непонятным напряжением, почти испугом, хотя при этом было видно, что нас ждали, в этой уютной квартирке к нашему приходу был накрыт стол, приготовлены угощения. И муж Ирины Ивановны и дочь-студентка смотрели настороженно, словно ожидая от нас неприятностей. Все это было странно. Кроме волнения, которое

обычно вызывают блокадные воспоминания, присутствовало тут нечто иное.

Поначалу Ирина Ивановна не хотела ничего рассказывать, ссылаясь на то, что тяжело вспоминать и не хочется, чтобы писали о ней, да и о брате тоже.

Мы доказывали, что жизнь Юры Рябинкина и его дневник как бы принадлежат истории, что публикация дневника в какой-то мере памятник брату, а главное, что для молодых читателей важно понять, почувствовать жизнь подростка в блокаде... Все доводы она понимала не хуже нас и уступила не потому, что мы ее убедили, а с какой-то иной, неизвестной нам мыслью. Она стала рассказывать:

«— От улицы Дзержинского до Адмиралтейства — все это мой район. И Банковский и Юсуповский садики. Это мои родные места по детству. Если есть возможность, я всегда старуюсь сейчас проходить мимо... Мы жили на улице Третьего июля, дом тридцать четыре, квартира два. У нас была все-таки разница в восемь лет с братом, и близости поэтому не было, не успела возникнуть... но сестренкой я была единственной, хотя и маленькой. Он, конечно, меня не нянчил. Была у нас до войны домработница, приходившая, дома всегда суп был, всегда варили суп, каждый день. Даже сейчас мы этого не успеваем, а для меня детство — это суп каждый день. Война меня застала в Юсуповском саду. Мы катались там с горки, и вот я услышала крики: «Война!» Все побежали... Был солнечный день. «Молотов выступает!» Я не знала, что это за Молотов, который выступает. Толпа у громкоговорителей. Это я помню. А дома никого не было. Потом пришла мама. А Юра был всегда в кругу ребят, его часто не было дома. У него была отдельная комната. У нас была квартира: вход со двора, коридор, кухня, столовая, спальня, Юрина комната.

— Вы помните И., своих соседей?

— В войну И. был управляющим трестом. Анфиса, его жена, умерла после войны. Это мне сказала соседка Мария Васильевна. И. не эвакуировались. Она умерла. А его дома никогда не было. Ее я помню, яркую молодую женщину. Остался ли Юра с ними или нет, не знаю. Я написала письмо в этот дом, чтобы узнать, как все это случилось... Дело в том, что последние дни он лежал, не мог вставать. Я не скажу, что мне все отдавали. Мама делила паек, но Юре не хватало. Он правильно пишет, что мама съедала первая свой кусок, а я — может быть, потому, что была мала, мне надолше хватало. Я помню, как он лежал, отвернувшись, на диване. Разговор постоянно шел об эвакуации. Зимой, особенно в декабре, январе, все надежды были на эвакуацию: «Если обком... Если нам разрешат...» И вот, помню, мама уже принесла теплую одежду: стеганые штаны, стеганую фуфайку для Юры, кроме того, давали типа летного шлема стеганые шапки, принесла две шапки — для себя и для него. Я помню, облаченная во все это мама помогла ему встать. Мне и в голову не приходило... Я и не смотрела... Вот он встал. Мы жили тогда на кухне. Кухня была большая — плита с медными перильцами и сбоку в таком кулечке стеклянном вода, которая при топке плиты согревалась. А рядом был большой сундук, у которого крышка поднималась, образуя деревянную спинку. Я больше таких не видела. Туда все можно было класть... Юра встал, прислонившись к этому сундуку, опираясь на палку, но идти не мог, не мог оторваться и стоял вот так, согнувшись, изможденный... Я помню это точно... Я все время чувствую себя виноватой, потому что я-то живу, я же понимаю это... У нас были саночки, на них положили чемодан, в нем было столовое серебро, помню Юрин набор открыток из Третьяковки (их было у него много, чуть ли не сотня), их мы тоже с собой взяли (потом в детприемнике у меня их выпросили), затем какие-то одежды — все это взяли с собой. И вот я сзади санки толкала. А Юра остался дома: мама не могла его посадить, видимо, не могла, а идти он не мог. Не свезти было, видимо, его, я не знаю... Это был январь сорок второго. Ехали мы в эшелоне долго. Я помню эту товарную теплушку. Да, а когда мы к Московскому вокзалу добирались пешком по Невскому, мама порывалась все назад, за ним: «Там Юрка остался! Там Юрка остался!» Я плакала, конечно. Как только сели, теплушка почти сразу дернулась, и мы поехали. Поехали мы к Ладоге. Я отчетливо помню, как мы переезжали Ладогу.

— А как дневник Юры попал в Вологду?

— Вот в том-то и дело! Я получила из Морозовки телеграмму от тети: «Ира, прочти

обязательно «Смену»...» Я разговаривала с этой женщиной из Вологды, я ведь поехала в Вологду узнать...

— Если бы Юра остался в Ленинграде, то и дневник бы ведь остался здесь?

— Видите ли, Вологда была перевалочным пунктом... Читаешь дневник, особенно последние страницы: «Я хочу жить, хочу хлеба...» Я помню его темперамент. Мне кажется, его вывезли. Если бы он почувствовал, что может жить, то выжила бы. Мы добрались до Вологды. И вот я на вокзале... Столько лет прошло, а я помню: диванчик, маму и себя на этих узлах. Я когда теперь приехала в Вологду, увидела это место, столько лет спустя... Когда мы тогда приехали, нам дали по глубокой тарелке пшенной каши с кусками мяса, нарезанного кубиками. Целые две тарелки! Затем выдали талоны, и вот мама несет целую буханку хлеба, которую у нее ночью утащили из-под головы. А часов в шесть утра она лежала уже с пеной, с закрытыми глазами. Она умерла на этой скамейке. Мама умерла двадцать шестого января. Тетя Тина говорила, что опухоль дошла до сердца — и мама умерла. «Антонина Михайловна, сорок лет. Причина смерти — истощение» — сказано в справке. Значит, до двадцать шестого января мы все ехали, ехали. Мы останавливались, но нигде не жили. Меня отправили в детприемник, потом в детский дом, в котором я находилась с одиннадцатого февраля сорок второго года по сорок пятый год, а потом вернулась в Ленинград. Это меня тетя Тина везла. Детский дом находился в поселке Ожига, сейчас это в четырех часах езды от Вологды, а тогда надо было двадцать один километр идти лесом. И вот тетя Тина в сорок пятом году в шинели, с вещевым мешком за плечами пешком шла двадцать один километр за мной! Она вывезла меня в Ленинград. А эвакуировались мы примерно восьмого января из Ленинграда и двадцать шестого прибыли в Вологду».

Примерно таков был первый сбивчивый нервный рассказ Ирины Ивановны, временами слезы мешали ей, прерывали речь, кроме того, присутствовало в нем какое-то беспокойство добавочное, уже сегодняшнее, какая-то тревога болезненно-сосушная.

Мы полагали, что Ирина Ивановна боялась за мать, как бы мы не подумали про нее плохо... «Я понимаю, я вас понимаю», — предупреждая наши вопросы, говорила она. Но какие могли быть вопросы? Если мать, Антонина Михайловна, умерла как приехала в Вологду, в ту же ночь, и никакое питание уже не могло ей помочь, то, значит, она ехала умирающей, значит, процесс дистрофии — истощения — был необратим, значит, уезжала она из Ленинграда уже без сил, смертельно пораженная голодом, с сознанием, затянутым пеленой, и лишь чувство материнства, эта нечеловеческая сила двигала ею, тревога о дочери раздувала гаснущую жизнь, раздувала до тех пор, пока ехали, а как доехали до пункта назначения, до Вологды, — все кончилось, все погасло, она слегла и умерла. То, что она добралась, довезла Иру, — чудо материнской преданности. А то, что на Юру сил не хватило, так кто же решится винить ее за это? Разве только не понимающий не желающий вдуматься в то блокадное существование человек. Сознанию сытого человека, конечно, трудно опуститься в тот мир, а до конца постигнуть его почти невозможно. Потому так тверда народная поговорка: сытый голодного не разумеет!

Рассудок матери, Антонины Михайловны Рябкиной, был уже схвачен дистрофией, видимо, отчетливость восприятия померкла, но и сквозь это помутненное сознание пробивалось единственное — она сына оставила! По-видимому, она предполагала посадить дочь в вагон и вернуться за сыном, привезти его. Чтобы доставить обоих на вокзал разом — Юру-то ведь надо было везти на санках, — таких сил у нее уже не было.

Поезд тронулся сразу... А если бы и не сразу, и тогда, пожалуй, у нее не хватило бы сил вернуться. Повторяем — ведь сама она умирала. Всю дорогу до Вологды умирала. Питание уже было, а не помогло, умирала в тоске, в разрыве души оттого, что остался сын. Может, и корила себя за бессилие. Она корила себя, а мы не можем.

Все это возникало из рассказа Ирины Ивановны, хотя об этом она старалась говорить поменьше, потому что было бы оскорблением памяти матери оправдывать ее, защищать ее.

«Что я помню — это его увлечения. В его комнате был чертежный стол, чернильница, зеленое вольтеровское кресло, посредине — бильярд (на котором постоянно играли мальчишки), конструктор черный с дырочками. Меня, восьмилетнюю, он, конечно, редко устаивал... Иногда они даже устраивались в столовой: завешивали чем-то стол, под ним что-то делали; рисовал карты (которые сам придумывал) на листе ватманской бумаги. Это, как я сейчас понимаю, была физическая карта — океаны и моря кругом. Приходили мальчишки, играли во всякие бои... Дома была приличная библиотека. Юра ходил во Дворец пионеров в кружок истории и в шахматный кружок. Маме говорил академик Тарле: «У вашего сына большое будущее. Берегите его!» Девочек у Юры еще не было. Были товарищи — Штакельберг и Миша Чистов (Чистовы жили внизу).

Моя тетя Тина прожила без семьи. Она по современным понятиям человек неприспособленный, непрактичный, непробивной. Она обычно говорила мне: «Одно дело — мать, отец, но ты сама должна из себя что-то представлять».

Мы вернулись в Ленинград в сорок пятом. Тетя жила в Морозовке. Я пришла на старую квартиру, увидела кое-что: Пушкина увидела, Юрину чернильницу (она есть у меня и сейчас), альбом увидела старый с фотографиями. Эти вещи взяла. А туалет, мебель — мне было уже не до того. Я их узнала, но к следующему моему приходу это все уже исчезло. Я не знаю, может, мама успела их продать, ничего не хочу говорить.

Отец матери (Ирина Ивановна показывает рисунок деда: великолепно сделанное пасхальное поздравление — растительный орнамент с надписью «Христос воскрес! Привет вам, дорогая жена и дочери». — А. А., Д. Г.) окончил Высшее артиллерийское училище и в гражданскую войну был офицером Красной Армии, заместителем начальника артиллерийской базы Западного фронта. Он — Панкин Михаил Степанович (показывает фотографию офицера-артиллериста с усамы. — А. А., Д. Г.) — выдавал «Авроре» снаряды. Я узнала от Юры, что дед в гражданскую войну погиб в городе Буй от съшняка. А вот мой прадед, тоже военный, это бабушка, его жена (показывает фотографию. — А. А., Д. Г.). Мама окончила гимназию, и тетя Тина окончила гимназию. А потом мама окончила переводческие курсы. Тетя Тина родилась в 1895 году в Петербурге».

Интонация какой-то виноватости не исчезает из голоса Ирины Ивановны. Откуда это? Неужели от сознания, что вот она жива, а Юры нет, что ее спасли, а Юру оставили?

Все же как дневник Юры мог попасть в Вологду? — пытаем мы снова и себя и ее. Вопрос этот самый болезненный для Ирины Ивановны. В нем-то, видимо, состоит главная причина ее тоски, ее тревоги. Этот вопрос терзает ее с того дня, как обнаружился дневник Юры, то есть когда напечатали кусок из дневника в «Смене». Она прочла, прибежала в редакцию, попросила этот дневник и узнала, что он был у Трифоновых в Вологде. С этого момента и грызет ее неотступно: как дневник попал в Вологду, каким образом? а что, если вместе с Юрой? тогда что же?..

Она прерывает себя и рассказывает что-то про тетю Тину, показывает автобиографию, которую Тина записала на память, оставила записки о своем роде, о себе и о предках своих для семейного архива:

«...Работала в городе Вязьме на эпидемии сыпного тифа. В 1921 году вернулась в Ленинград для окончания института. В 1923 году окончила, работала в Ленинграде, затем в больнице имени Морозова, в Морозовке, на берегу Ладоги. Работала терапевтом, заместителем главного врача. Мобилизована в войну в эвакуогоспиталь, где работала по 1945 год. Была в Белоруссии, в Восточной Пруссии, награждена орденом, медалями».

Наш разговор уходит в сторону, петляет, но и мы и Ирина Ивановна все время держим в уме те январские дни...

«— У Юры было плохое зрение. Мама знала, что плохое, но не знала, что до такой степени. Он это скрывал. Он много читал. У нас было много периодики. Были комплекты «Вокруг света», приключенческая литература. Мальчики, его друзья, любили устраивать игры в коридоре. Там стоял огромный шкаф, около шкафа ширма, там были маски рыцарей, палки... Как они не покалечились? Помню, Юра писал какие-то рассказы. Маму вызывали в школу и говорили, что он плохо ведет себя на математике. Мама говорила — а вы давайте ему больше задачек. Потому что он решит задачки раньше всех и ему скучно...

— Что означает в дневнике детская карточка, о которой беспокоится Юра? Речь идет о вашей карточке?

— Наверное. Детская карточка тогда имела преимущество. По ней давали печенье. Но я тогда ничего не знала об этом, я впервые вычитала об этом теперь у Юры в дневнике.

— Был ли кто у вас в семье верующим?

— Нет, конечно, и мама и тетя Тина не верили. Тем более что мама была членом партии. У нас на кухне висела красивая икона, наверное от бабушки. Юра еще застал бабушку. И дедушку. Возможно, по воскресеньям они водили его в церковь. Там хорошо пели. Может, у мамы он спрашивал. Мама в партии была с двадцать седьмого года. Ее исключили в тридцать седьмом году в связи с отцом, после его ареста.

— Но она была восстановлена?

— Кажется. Не знаю. Возможно. Потому что в Вологде, когда мама умерла, меня взял милиционер, посадил к себе на колени, и он, я помню, писал какую-то бумагу, наверное акт или протокол, и булавкой подколол к бумаге красную книжечку...

— А что вы помните об отце?

— Я помню один его приезд. Он приезжал из Карелии. Он был переведен туда в тридцать четвертом году, в тридцать седьмом его арестовали там, в Карелии, а выслали под Уфу, где он и умер в войну... Ничто нас не обошло. Вся история прошла через нашу семью — со всеми войнами, бедами. А мама работала последнее время во Дворце труда, она ведала какими-то библиотечными фондами. Она комплектовала библиотеки. Я мало что тогда понимала в этом. Мама знала языки. Французский — свободно, еще немецкий и польский. Она была глубоко интеллигентный человек. Когда я прочла у Юры, что мама его бьет то ничего не поняла. У нас в семье никого пальцем не трогали. В Юрином возрасте, конечно, все обостренно воспринималось, только так я могу объяснить... Зная маму, все, что у меня осталось от нее... самое... самое... — И вдруг она, Ирина Ивановна, сказала: — Его на самолете вывезли. Почему-то у меня такое мнение.

И посмотрела на нас со страхом. Мы промолчали. Тогда она сказала:

— Мне не дает покоя мысль... Подспудно... А вдруг он жив? Странно, да?

Мы слушали ее со всей серьезностью. И она заговорила с жаром:

— Если вывезли, то у него при его жажде жизни, почувствуй он только, что можно выжить, хоть один шанс был бы остаться в живых, он бы использовал. А что, если... он выжил?.. Но он же должен был тогда... он же знает все адреса, он бы нашел... Хотя бы меня... Но, с другой стороны, при его юношеском максимализме. Пережить такое! Ведь он же иначе расценивал. Как предательство... Что его оставили. Но это не может на меня... Верно? Что с меня взять? Я была тогда ребенок... Но иногда мне кажется — а вдруг!.. Он, может, рассуждает: если я тогда не объявился, что ж теперь объявляться...»

Вот, оказывается, в чем ее главная мұка. И это, значит, не отпустило ее с тех пор, как обнаружился дневник, и обнаружился под Вологдой. Как он туда попал? Несколько лет назад она поехала туда. Но розыски не дали никаких результатов. Никаких следов брата она не обнаружила. Однако это не убедило ее. Надежда слабая, невероятная продолжает до сих пор теплиться и, видимо, жжет, не дает покоя. Призрачная вина перед Юрой, которую может взять на себя лишь совестливая душа, заставляет ухватиться за эту немислимую версию: а вдруг? а что, если...?

Мы ничем не могли помочь Ирине Ивановне, ни разуверить, ни опровергнуть, ни подтвердить. Мы перебирали варианты, при которых дневник Юры мог оказаться под Вологдой: Юру подобрали в квартире комсомольцы бытовых отрядов, они тогда ходили по квартирам, отвезли в госпиталь, он там умер, и кто-то из сестер, или врачей, или

соседей по палате подобрал его дневник, уехал с ним в эвакуацию... Дневник могли подобрать самые разные люди — и те, кто хоронил Юру, и те, кому Юра сам отдал дневник перед смертью. Многих ленинградцев эвакуировали тогда именно на Вологодчину. А может быть, это И. снесли Юру вниз, в кочегарку, где было потеплее?.. Бывшая соседка Ирины Ивановны утверждала, что произошло именно это. Не там ли, в кочегарке, обгорели дневник и тетрадь Юры? Там ли, в другом ли месте, Юра все писал: «Хочу есть... хочу есть... есть...» (во второй, пропавшей тетрадке) — а что было дальше, мы не знаем.

Ни один из возможных вариантов, казалось, не оставлял сомнений в Юриной гибели. Но сестра продолжала надеяться, она не отпустила от себя эту надежду, и наша логика тут была бессильна. Было жаль ее, мы и сострадали, и печалились, и гордились, и тоже хотели чуда. Мы слушали эту женщину, мы видели через ее рассказ большую когда-то семью Рябинкиных и за нею семью Панкиных — семьи потомственных питерцев, русских интеллигентов, где не сразу и нелегко соединилось петербургское с ленинградским. Ирина Ивановна помогла нам увидеть что-то в Юре Рябинкине, да и его самого не изнутри, не глазами дневника, а как бы со стороны, другими глазами — то, чего нам так не хватало. Через нее лучше стало видно, откуда у Юры эта работа вести, истоки роста его души.

Стойкость Юры Рябинкина кажется порой нестойкостью: голод справляется с нею, проламывает ее то тут, то там. Но она возрождается. С еще большей требовательностью к себе восстанавливались его забота, любовь, его стыд, доброта. Он страдал от голода, морозов, от вшей, но при этом он страдал от стыда, его одолевала любовь к близким, ненависть к врагам, он мечтал, ему снилась победа. Как животное, он уступал инстинктам, готов был грызть дерево, ремни; как человек, он держался за книги, семью, навыки культуры, за красоту, за мысли, которые не могли ужиться с происходящим. Это противоречие проникало в душу из глубин, которые никогда раньше не затрагивались жизнью. Жажда самосохранения не могла разрушить в нем человека. Когда давление голода и страха становилось велико, перегородки рушились, но затем с отчаянием и упорством он их восстанавливал.

Благодаря Ирине Ивановне мы многое узнали о Юре, хотя и не узнали о том, как погиб он и как уцелел его дневник. Тайная и упорная вера Ирины Ивановны стала захватывать и нас. Не то чтобы мы понадеялись на Юрино спасение, нет, но он перестал быть окончательно мертвым.

Мы хотели выяснить обстоятельства смерти Юры. Вместо этого мы обнаружили совсем иное — затаенную веру Ирины Ивановны в то, что он живет среди людей. Слабая надежда его сестры не убедила нас, но что-то произошло — Юра действительно перестал быть для нас мертвым. Обостренное чувство вины — вот я живу, а он погиб — создало эту зыбкую надежду. Пока в ком-то существует это совестливое чувство, человек не может быть мертвым в том извечном понимании этого смысла, к какому мы привыкли.

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем». Безжалостны библейские слова. Они не оставляют утешения. Они, как ни странно, как бы уводят от веры, от надежды на вечность человеческой души. Но так ли беспорна их суровость? Есть же у Юры Рябинкина своя часть, своя доля в том, что и поныне делается под солнцем! Сохранилась же его доля в мыслях, чувствах, любви пусть немногих, хотя бы нескольких людей. Заставляет же он работать любовь и совесть его сестры: вот я живу, а он... Что-то и в нас читавших Юрин дневник, узнавших Юрину жизнь, вошло и поселилось. Тоже какое-то томящее чувство

вины. Но мы-то в чем виноваты перед Юрой? А та восьмилетняя Ирочка — в чем? Но ведь несет в себе вину.

Когда мы решили ввести Юрин дневник во вторую часть Блокадной книги, была у нас надежда поставить как бы памятник ленинградскому мальчику, одному из десятков тысяч. Стремление это казалось нам благородным и справедливым. Вдруг возник вопрос: поставить памятник — и что дальше? Поставить и освободиться? Поставить, чтобы освободиться? Но в том-то и дело, что освободиться не удалось. Юра вошел и не ушел.

Сколько их среди нас! Тех, чье присутствие мы чувствуем. Или чье отсутствие. Памятники, и литературные в том числе, нужны не для того, чтобы освободиться. А чтобы привязывали навсегда.

В Осиновке на берегу Ладожского озера построен большой музей. Залы его всегда полны народу. Приезжают из Ленинграда, из других городов. Экспонаты деловые — фотографии, карты, портреты, картины, модели кораблей, барж, пирсов, — конкретно рассказывают, как моряки, а потом бойцы «Дороги жизни» обеспечивали город во время блокады, поддерживали его связь со страной. На дворе вокруг музея стоят на постаментах полуторка, трехтонка и автобус. Машины тех лет кажутся трогательно слабыми, маленькими, старомодными. Между тем на них вывезли из города по льду озера больше полу-миллиона женщин, детей. На них привозили продукты. Смотришь на них и думаешь, что, казалось бы, какая это жалкая техника и в то время какая это была могучая техника в руках людей, воодушевленных идеей спасения и защиты города, идеей победы. В залах музея сохраняются образы тех, кто работал на трассе «Дороги жизни», — землетрясителей, гидрографов, медиков, летчиков, железнодорожников. Лежат их ордена и медали, их часы и пистолеты. Мало кто из них еще жив. Но музей не похож на мемориал. Он разворачивается как сюжетная история со множеством действующих героев. В том-то особенность, что они здесь не погибшие, не ушедшие из жизни, а действующие. В тех самых гимнастерках, с полевыми погонями, скуластые, тощие...

Надо было иллюстрировать Блокадную книгу фотографиями. Мы отправились в архив ТАСС, для того чтобы найти фотографии заводов и фабрик времен блокады. Мы знали, как это было: разбитые снарядами цехи, измученные, еле стоявшие у станков люди, привязывавшие себя, чтобы не упасть. Мы перебрали тысячи фотографий, сделанных репортерами в те годы. Мы видели за станками людей, рабочих — мужчин, женщин, суровых или улыбающихся, но неизменно бодрых. И никаких примет голода, мук, блокадной обстановки — хоть сейчас печатай их в газете. Слишком мало оказалось снимков, которые показали бы, что творилось тогда на фабриках и заводах, как трудно было работать, как тяжелы были условия.

Вначале нас это возмутило: украшательство, фальсификация... Но, расспросив фотокорреспондентов тех лет, мы убедились, что тут происходило иное: это была та боевая задача, которую они выполняли в сорок втором — сорок третьем годах, считая своим долгом показать, как, несмотря на блокаду, голод, холод, обстрелы, люди продолжают работать и выполнять свой долг. Со своей задачей фотожурналисты блокадного города блестяще справились. Они были журналисты, а не художники. Те думали бы иначе: о том, чтобы оставить для истории драгоценные кадры быта, героики ленинградцев.

9 мая, в День Победы, ленинградцы, тысячи их, идут на Пискаревское кладбище. Семьями идут и в одиночку, старые и молодые. Земляные холмы братских могил уже свободны от снега, прошлогодняя трава распрямилась. На темную ее жухлую зелень люди кладут цветы, а некоторые кладут конфеты, папиросы, хлеб, маленький ку-

сочек хлеба. Где-то тут, может быть, лежит Юра Рябинкин. А если он не здесь, то все равно каждый из похороненных здесь нуждался в этом куске хлеба.

Юра Рябинкин страстно желал жить. Порою кажется, что короткая, незавершенная его жизнь ищет хоть в чем-то продолжения. И после гибели его эта его жизненная сила как бы пребывает нерастраченной. Он не сумел до конца понять, за что, почему ему пришлось погибнуть, не успев осуществить себя, как ему казалось, ни в чем. Но остался его дневник и через дневник — его страстное томление по жизни.

Блокадный город, где он — город потерь, город нашего страдания, с пустырями разобранных, сгоревших домов, развалин, затаенный город невозместимых утрат, неосуществленных жизней, непроросших семян? Этот город не разглядеть. Раны залечивались быстро, шрамов не оставалось. Город возвращался к нормальной жизни с энергией неистойвой, словно бы накопленной за эти девятьсот дней. Не осталось ничего, не оставляли ничего, словно бы воды сомкнулись. Много позже спохватились — где, что? Восстановили синюю надпись на Невском: «Эта сторона улицы опасна при артобстреле».

Передний край обороны обозначили памятниками, соорудили Зеленый пояс Славы, а новые кварталы уходят все дальше и дальше за бывшую линию фронта. Примерно то же самое произошло с памятью о блокаде — она где-то внутри, как древесные кольца в стволе дерева.

Старый особняк на Васильевском острове, «Аврора» на вечной стоянке, белые иочи — из чего слагается неповторимый образ, красота этого города? Для новых поколений блокада как-то соединилась с этой красотой, придала образу города трагическую силу.

...Мы кончили свою долгую работу со странным чувством, все с тем же неотступным вопросом: зачем, ради чего оживили мы этих давно ушедших людей, их давние муки и боль? Мы много раз отвечали себе на этот вопрос и до конца все же не знали ответа, но в одном мы утвердились: это надо было сделать. Все это было, и живущие люди должны об этом знать.

ТАТЬЯНА АНДРОНОВА

★

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

Дорога Родины живая
однажды подойдет к тебе,
и жизнь народа вековая:
за годом — год, судьба — к судьбе,
и к смерти — смерть, война — к войне,
и за сражением — сраженье,
и гром победного движенья,
и небо в праздничном огне,
мечтанья и труды простые —
все встанет обозримой далью;
и ты в черты ее святыя
вглядишься с гордою печалью.

* * *

То проснувшийся голос души —
я стремление к жизни услышу
в молчаливой, забытой глуши,
где состарились даже деревья
и осыпали листья на крышу,
на траву и уснувшие пни,
начинали когда-то кочевье
далеко ушагавшие дни
от краев этой самой дороги;
но от них, будто тени, тревоги
возвратились сюда ж. Терпеливо
пережду темноту за стеклом,
рассужу обо всем справедливо.
На заре вострепнувшимся сердцем
вдруг почувствую, что рассвело,
распахну нашу ветхую дверцу —
радость снова бессмертным крылом
всепрошающе душу обнимет;
жизнь, твое неизменное имя
назовет, как и раньше, тепло.
«Неужто были мы такие?» —
я, словно на чужой портрет,
смогрю на кадры прошлых лет
и вспоминаю о России:
как в горе или недород
за утешением упрямо
она, отчаявшись, бредет

к своим золотоглавым храмам,
и в лицах тяжесть и забота,
одежда, странная для нас.
«Вот это бедность...» — скажет кто-то.
Соха да пашня, хлеб да квас
и избы, избы под соломой,
годами вытоптаный двор,
косой от старости забор
и крест колодца — все знакомо!

Но лишь тихи, безлюдны, строги
дождем размытые дороги,
а войны только впереди,
их предстоит еще пройти
с мечтой, с решимостью в глазах;
пока ж ни бомб, ни лютой смерти,
ни стен, ни нар из серой жерди,
жилищ, упрятанных в лесах,
ни похоронок, ни разрухи.

У перемогшей жизнь старухи,
жалея высохшую плоть,
спросили: «Молодость вернула б?»
Она испуганно взглянула,
сказала: «Упаси господь.—
И отвернулась вдруг к стене.—
В другой-то раз не выжить мне».



ВАДИМ КОВДА

★

ПО ГРИБЫ

В немой рассвет, в минуты синие,
когда я выйду из избы,
леса глухие и пустынные
из почвы вытолкнут грибы.
И в самой гуще, меж орешников
я вдруг споткнусь... Охватит страх —
окоп, поросший сыроежками,
из веток выступит впотьмах.
Попрячутся лягушки малые
в зеленой лужице на дне.
Ступлю на бруствер — шляпки алые
так и потянутся ко мне...
Пунктиром шляпка к шляпке лепится —
как капли крови сквозь погост...
Копнешь ногой — и забелеется
землей присыпанная кость.

ДОРОГА ПОД ГОРОДОМ РЖЕВОМ

Водитель наш крутит баранку.
Белесое солнце печет.
Вот памятник старому танку.
Еще обелиск. И еще...
Мы станем, где хлебное поле,
где тихая речка блестит,
где малая птица на воле
под солнцем беспечно свистит.
Сквозь птичьи веселые пiski
услышу я сдавленный стон.
Уж слишком часты обелиски —
фанера, гранит и бетон...
И вспомню с неожиданною болью,
что здесь меж осин и берез
земля перемешана с кровью
и сцеплена солью от слез,
что в этих краях, где когда-то
огнем польхала война...
Ах, хватит! Не надо! Не надо!
Ну что ж без конца вспоминать!
Поехали!.. Даль подо Ржевом.
И стон приглушенный разлит.
И **вновь** меж землею и небом —
фанера, бетон и гранит.

АНАТОЛИЙ МЕХОНОШИН

★

ВЕРСТАК

Я был давно знаком с рубанком,
Коловоротом, долотом,
Трудился часто спозаранку
За тем отцовским верстаком,
Что, уходя на фронт, оставил
Он мне как память о себе...
Премудрости столярных правил
Познал я с голодом в борьбе.

Строгал и клеил этажерки,
Комоды довоенных мод...
Сосед, снимая телогрейку,
Кричал: «Ну как ты тут, завод?»
И крепили маленькие руки
От жаркой колкости заноз...
Березы, ясени и буки
Касались стружкой волос.

* *

Нас мамы в дни налетов на рука..
В бомбоубежищах держали,
А мы, не зная, что такое страх,
Не заходились плачем, не дрожали.

Прямого попадания гроза
Нас обошла, как дальних молний токи,
И женская горячая слеза
Навечно обожгла нам щеки.

АКРАМ ШАРИПОВ

★

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ*

1

В госпитале время тянулось медленно, дни походили один на другой. В конце апреля установилась теплая, солнечная погода. Однажды Губкин проснулся на рассвете, выглянул в окно. Над Неманом поднимался туман. Сквозь его толщу пробивались паровозные гудки, доносился стук колес. Эти звуки тревожили Георгия, вызывая смутное беспокойство.

После завтрака по праву ходячих больных они вместе с Парскалом вышли из госпиталя и направились на станцию, глубоко втягивая в себя чистый, пахнущий весной воздух. Мимо них прогрохотал состав с пушками и автомашинами на платформах. Через полчаса у перрона остановился новый состав. На открытых платформах громоздились повозки, тюки сена. В товарных вагонах сидели солдаты. По всему чувствовалось, что едут бывалые фронтовики. У многих на груди сверкали ордена и медали. Для Губкина и Парскала странной показалась переброска боевых частей с фронта в тыл. Попытались разузнать, куда следует эшелон, но никто толком ничего не сказал. Они уже собрались уходить, как вдруг чья-то тяжелая рука опустилась Губкину на плечо. Вздрыгнув от неожиданности, он резко повернулся. Перед ним стоял подполковник Владимиров, начальник оперативного отдела дивизии.

— Это же наша дивизия подошла! Не узнал? — возбужденно сказал он. — После тебя пополнение прибыло. Много новых солдат и офицеров.

В открытую дверь пульмановского вагона Губкин увидел сидящего за столом Городовикова. Басан Бадьминович тоже увидел их. Не дожидаясь, пока опустят стремянку, он подошел к двери и спрыгнул на землю. В одно мгновение комбат оказался в железных объятиях комдива.

— Вот что, товарищ подполковник, — обратился генерал к Владимирову, когда улеглось волнение встречи, — мы отправляемся через двадцать минут, надо подумать насчет обеда и вызвать Костина. Они с Губкиным поедут со мной.

— Товарищ генерал надо выписаться из госпиталя, признают дезертиром, — растерянно проговорил Георгий Никитич.

— Капитан Парскал передаст от меня записку начальнику госпиталя.

Городовиков придирчиво осмотрел Губкина. Пуговицы у того были не чищены, китель и брюки не первой свежести. Басан Бадьминович сам всегда выглядел безукоризненно и от подчиненных требовал предельной опрятности и подтянутости. В пути он особенно следил

* Отрывок из новой документальной повести «Товарищ комбат».

за дисциплиной, требовал во всем поддерживать образцовый воинский порядок.

— Обмундирование получишь новое, — заключил Городовиков, — оденем тебя с иголки. И никаких возражений. Комдив знает что к чему! Позади штабных вагонов едет Двести девяносто четвертый стрелковый полк, командование которым ты примешь на месте. А насчет здоровья не беспокойся: дорога дальняя, в пути долечим.

— Я солдат, товарищ генерал! — тихо сказал Губкин без энтузиазма. Настолько неожиданным было для него сообщение Городовикова, что оно не произвело на него особого впечатления. Но спохватившись, он добавил: — Благодарю вас, товарищ генерал, за доверие.

— Мы должны были это сделать раньше, ты заслужил командовать полком. Так что меня не благодари и вообще никого не благодари.

К вагону торопливо подошел Костин.

— Товарищ генерал, по вашему приказанию... — начал было он, но Городовиков перебил:

— Посмотри, кто у нас в гостях! Твой новый комполка.

Костин крепко обнял Губкина.

— Товарищ капитан, пожалейте майора, он еще не вылезился. — Городовиков с улыбкой смотрел на старых фронтовых друзей.

Он пригласил обоих в вагон. На столе лежала развернутая карта Дальнего Востока.

— По всей вероятности, едем воевать с Японией, — озабоченно сказал он. — Пока все держится в строжайшей тайне, но надо ознакомиться с новым театром военных действий...

Через сутки подъехали к Москве. Эшелон остановился на Северном вокзале. Владимиров сообщил, что получена телеграмма: «Городовикову, Губкину и Костину задержаться в Москве, прибыть в Главное управление кадров для получения правительственных наград».

Комдива на перроне встречали жена, две дочери и дядя, генерал-полковник Ока Иванович Городовиков. Басан Бадьминович представил ему майора Губкина.

Георгий Никитич смущенно протянул руку. Перед ним стоял легендарный герой гражданской войны. Он окончательно растерялся, когда Ока Иванович пригласил его к себе в гости, стал ссылаться на нехватку времени, на то, что должен зайти к родственникам, хотя на самом деле родственников у него в Москве не было. Он только собирался навестить мать Музы.

Костин уговорил Губкина остановиться у него. Он жил в центре города, на Софийской набережной. Когда подошли к дому, Костин попросил Георгия подняться в двадцать четвертую квартиру, а сам забежал в магазин.

Дверь Губкину открыла миловидная женщина.

— Здравствуйте, Валентина Аркадьевна, — поклонился ей Георгий. — Моя фамилия Губкин.

— Вы, товарищ комбат?! — воскликнула она. — Муж писал о вас. — И тревожно-выжидательно взглянула на него, как бы спрашивая: «Не случилось ли чего с Федей?» — Что же мы стоим? Проходите, пожалуйста. Я сейчас что-нибудь приготовлю, накормлю вас с дороги.

— Ничего, не беспокойтесь.

— А у Федора Алексеевича все в порядке? — не выдержав, спросила Валентина Аркадьевна.

В это время снова раздался звонок, она распахнула дверь: на пороге стоял ее муж.

— А ну вас с такими шутками! — взмахнула она руками. — У меня прямо сердце схватило

— Что ты, милая! — Костин обнял жену, осыпая ее лицо поцелуями.

После обеда Георгий Никитич поехал к матери Музы. Она встретила его как родного сына. Вечером, когда Губкин вернулся к Костину, Федор Алексеевич сообщил ему, что звонил Городовиков: завтра их приглашают в Кремль.

Утро 30 апреля выдалось прозрачным, солнечным. Будущие кавалеры Золотой Звезды собрались в Георгиевском зале Кремля.

Горкин зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР, затем стал приглашать воинов к столу для вручения наград.

Когда Губкин услышал свою фамилию, сердце его заколотилось. Сдерживая волнение, он подошел к Михаилу Ивановичу Калинин. Председатель Президиума Верховного Совета вручил ему орден Ленина, Золотую Звезду Героя Советского Союза и сказал:

— Поздравляю вас, товарищ Губкин, и желаю дальнейших успехов!

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Губкин и крепко пожал руку Калинина, позабыв о том, что был предупрежден: сильно не жать.

Золотую Звезду Героя получили также генерал-полковник Крылов, генерал-майор Городовиков и капитан Костин.

После вручения наград, распрощавшись с генералом Крыловым, Городовиков, Губкин и Костин вышли на набережную Москвы-реки. Трое военных, на груди которых сияли Золотые Звезды, медленно шли вдоль гранитного берега. Прохожие провожали их восхищенными взглядами.

Наутро колонны демонстрантов заполнили улицы и площади столицы. Всех, кто накануне был в Кремле, пригласили на трибуны Красной площади. Крылов, Городовиков, Губкин и Костин стояли по правую сторону от Мавзолея. На Красную площадь вступили участники первоймайской демонстрации, заколыхалось море цветов...

А через день Губкин и Костин держали путь на Дальний Восток. Георгий возвращался туда, где начиналась его боевая юность и где ждали новые бои.

2

На станции полковой писарь занес в формуляр, что командование 294-м Краснознаменным стрелковым полком принял майор Губкин. Партийную организацию части возглавил капитан Костин.

Молодому командиру полка все надо было начинать заново. Ординарцем он взял к себе ефрейтора Сорокина, своего земляка, родом из-под Благовещенска. «Хозяйство» у них составили только что подаренная Городовиковым красавица кобыла Мария и трофейный «опель-капитан».

На этой машине майор Губкин вместе с парторгом полка капитаном Костиным поехали на совещание в штаб армии, в село Черемухово.

Генерал-полковник Крылов ознакомил командиров частей и соединений с планом наступательной операции, поставил им предварительные боевые задачи. После официальной части состоялся банкет.

Крылов был в хорошем настроении. Увидев майора Губкина, вспомнил тяжелые зимние бои на подступах к Белоруссии и как он навещал тогда раненого комбата в гжатском госпитале...

Наутро из разговора с начальником отдела кадров Губкин узнал, что генерала Городовикова переводят в другую дивизию, которая наступает в первом эшелоне и на главном направлении, а 184-ю стрелковую дивизию принимает генерал Макаров.

Для Губкина это было огорчительной неожиданностью. Он прыг к Басану Бадьминовичу, они хорошо сработались, и вдруг придется расставаться с ним в такой момент, когда ему так нужна помощь и поддержка.

Стальная пружина войны была еще напряжена, даже победа над фашистской Германией не сразу ослабила ее. Для того чтобы на земле наступил полный мир, предстояло как можно скорее разгромить милитаристскую Японию. На краткосрочных армейских курсах, где занимался Губкин, работали по двенадцать часов в сутки, учились тому, что потребуется в бою.

На курсах, которые офицеры и генералы называли «академией Максимова», по псевдониму командующего 1-м Дальневосточным фронтом маршала Мерецкова, он много узнал о дальневосточном театре военных действий, об особенностях японской армии.

Войска, прибывшие из состава 3-го Белорусского и других фронтов, передавали боевой опыт дальневосточникам. На совместных учениях дальневосточники овладевали важнейшими вопросами организации взаимодействия и управления войсками. Все это было направлено на достижение победы над врагом с наименьшими потерями.

В конце июля генерал Крылов получил боевой приказ на наступление. В первой неделе августа происходило сосредоточение войск. Дивизия, которой стал командовать Городовиков, расположилась у Волынского укрепленного района противника. Басан Бадьминович еще плохо знал своих офицеров. Ему предстояло подобрать опытного командира полка для действий в авангарде. Он сразу подумал о Губкине и решил просить Крылова перевести того к нему. Крылов дал согласие.

На новом месте Георгию Никитичу времени на подготовку оставалось маловато. Но если в Восточной Пруссии он не знал местности, здесь окружающие сопки, покрытые лесом и кустарником, наполнили окрестности Благовещенска. Сложность заключалась в другом: мало было известно о глубине обороны противника, о его инженерных сооружениях.

Вскоре из штаба армии была получена телеграмма: «Полк майора Губкина довести до штатного состава и подготовить для действия в передовом отряде и нацелить: вести разведку боем и давать информацию о противнике в интересах армии; захватывать важнейшие объекты, коммуникации в тылу врага и удерживать их до подхода главных сил...»

По ту сторону линии фронта, в войсках Квантунской армии, насчитывавшей к тому времени свыше миллиона человек, около двух тысяч самолетов, более тысячи танков, около пяти тысяч орудий и минометов, тоже велась большая подготовительная работа. От тактики наступления японцы перешли к отработке стратегии обороны и контрударов. В штабах обобщались разведанные и поступающая информация. Первоочередное внимание уделялось известиям о прибытии новых дивизий русских с запада. Начальник оперативного отдела генерал-майор Мацумура Томокацу, докладывая начальнику штаба генерал-лейтенанту Хикосабуро Хате и командующему Квантунской армией и губернатору Маньчжурии генералу Отодзо Ямаде, особо подчеркивал тот факт, что прибывающие русские дивизии участвовали в разгроме немецкой армии и, таким образом, имеют богатейший боевой опыт.

— Кто такой генерал-полковник Максимов? — поинтересовался Отодзо Ямада.

— Не могу знать. В составе высшего командования русских такой фамилии не значится, — ответил Мацумура Томокацу.

С генералом Максимовым дело доходило до курьезов. Не только японцы были введены в заблуждение, но и свои порой путались.

Однажды у самого Мерецкова вновь прибывший комдив спросил: «Все говорили, что еду к маршалу Мерецкову, где же он, куда его переместили?» Маршал был вынужден сказать, что никакого Мерецкова здесь нет, что он, Максимов, командует фронтом, и для убе-

дительности показал полковнику удостоверение личности, подписанное самим Сталиным.

В подготовке и проведении Маньчжурской стратегической операции особое значение придавалось достижению стремительности и внезапности. В этих целях большая работа проводилась по дезинформации противника.

Операция должна была развиваться стремительно.

В ночь на 9 августа разразилась гроза с ослепительными вспышками молний, с оглушительными раскатами грома. Губкин знал, что ливень в этих местах теперь будет продолжаться сутки, а может, и больше. Значит, завтра артиллерия, не говоря уж об авиации, не сумеет поддержать пехоту. Он решил немедленно связаться с Городовиковым.

Генерал оказался на месте. Комполка попросил разрешения подъехать к нему. Расстояние в два километра на машине он преодолевал полчасика — так развезло дороги.

— Привет тебе. — Городовиков поднялся навстречу вошедшему Губкину. — Что будем делать? Главное командование сроки наступления уже не перенесет, навстречу друг другу наступают два фронта, все жестко спланировано. Конечно, трудно будет наступать без общей артиллерийской подготовки, но внезапная атака на полусонного противника должна принести успех.

— Значит, все-таки без артподготовки?

— Да. В час ноль-ноль атака! Из своей дивизионной артиллерийской группы переподчиняю вам артиллерийский полк тяжелых гаубиц в составе двух артдивизионов, третий его дивизион был придан вашему полку еще раньше. Соответственно командование полковой артиллерийской группой примет командир артполка полковник Петров.

«Не тот ли Петров, мой земляк?» — мелькнула мысль у Георгия Никитича.

Городовиков приказал адъютанту вызвать к нему полковника.

— Вот это встреча! Какими судьбами? — воскликнул Петров, как только увидел Губкина.

— Дальневосточников тянет в родные края, — улыбнулся майор.

— Да... Вот только Светланы уже нет с нами. — Полковник сник: Губкин напомнил ему о гибели жены. — В боях под Харьковом, вскоре после встречи с тобой, ее смертельно ранило. Скончалась на моих руках, до госпитала не смогли доехать.

— Проклятая война, каких людей вырывает! — тяжело вздохнул Губкин. — Учительствовать бы ей, учить бы детей!

— Вы, значит, старые знакомые, — вмешался в их разговор Городовиков. — Тем лучше — дружнее будете громить противника.

Петров с недоумением посмотрел сначала на генерала, затем на майора и только теперь начал догадываться, что Губкин, по-видимому, и есть командир той самой части, которой придаются его тяжелые гаубицы.

— Вот это сюрприз, товарищ генерал! — воскликнул он, но особой радости в голосе не почувствовалось.

— А ты, полковник, не считай зазорным быть в подчинении у молодого майора, — сказал Городовиков, уловив перемену в настроении Петрова. — Он у нас один из храбрейших командиров. Так что, полковник, прошу любить и жаловать майора. Кстати, мы уже направили на него представление на присвоение очередного воинского звания. Итак, желаю вам обоим успеха!

В штабе 1-го фронта Квантунской армии, несмотря на проливной дождь, телефонная связь с войсками работала бесперебойно. Дежурный офицер уточнял обстановку на границе, аккуратно записывал

сведения в толстый журнал в кожаном переплете. На границе все было спокойно, без происшествий.

В углу большого зала, прислушиваясь к шуму дождя, сидел офицер связи рейдового отряда (так называли батальон смертников) поручик Куросава.

После окончания Военного училища минеров год назад поручика Куросаву зачислили в отряд смертников его императорского величества, которым командовал полковник Кобаяси. Куросава рассудил так: в этой чудовищной войне где ни служи, все равно убьют, уж лучше воспользоваться преимуществами, полагающимися смертникам. Ему было присвоено внеочередное воинское звание и предоставлен отпуск. У себя дома, в глухом рыбацком поселке вблизи Отару, он был принят как желанный гость. Хозяин местного рыбного завода, на котором работал отец, встретил его со всеми почестями. В этот же день им домой завезли мешок риса, в семье был праздник. Перед отъездом на место службы Куросава женился на дочери механика рыболовного баркаса.

Поручик Куросава никогда не думал о смерти. Где-то в глубине души еще теплилась надежда, что война обойдет стороной Квантунскую армию, а вкушать земные блага, которыми Куросава был окружен в своем поселке, было весьма приятно. «Камикадзе», — говорили о нем. И он радовался этому — ведь так называли тех летчиков-смертников, которые впервые во второй мировой войне затопили американские корабли. Про них было уже сложено множество песен, их имена были занесены золотыми буквами на стены великого храма Ясукуни, их знала вся Япония...

Неделю назад поручик Куросава получил письмо от любимой жены, которая поздравляла его с рождением сына. После таких вестей поручик рвался домой, и полковник Кобаяси, в общем-то, не возражал дать ему десять дней отпуска, но только в первой половине августа, как только начнутся осенние ливневые дожди. В это время дороги размывало, маленькие речушки выходили из берегов и вероятность проведения военных действий значительно уменьшалась.

Поэтому сейчас, в ночь на 9 августа, поручик Куросава с радостью прислушивался к стуку в окно крупных капель дождя, предвкушая скорое свидание со своим маленьким наследником. Настенные часы монотонно отбивали время. Ни штабные офицеры, ни поручик не знали, что заявление Советского правительства: «С завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией» — уже передано послу Японии и наши самолеты летят к аэродромам императорских авиационных соединений.

На муданьцзянском аэродроме японские летчики были застигнуты врасплох. Они со всех ног кинулись к своим самолетам, но русские уже были над ними и на летное поле падали бомбы. В капонирах горели незаведенные самолеты, взорвался склад авиабомб, над хранилищем горючего взвилось пламя. За какие-то полчаса авиационная часть под Муданьцзяном перестала существовать.

Командующий 3-й японской армией генерал-лейтенант Суруками не мог связаться не только с командующим 1-м фронтом, но и со своими дивизиями. Звено советских бомбардировщиков разбомбило штаб и армейский узел связи. Генерал приказал своему шоферу ехать на запасной КП в районе Яньцзи, чтобы оттуда управлять дивизиями.

Солнце уже высоко поднялось над гребнями сопки, когда Суруками обосновался на запасном КП. Взглянув на часы, он не поверил своим глазам: «Неужели только двенадцать часов? Как медленно тянется время!»

Проводная связь вышла из строя, по радио генерал получал лишь отрывочные сведения. Его планы по нанесению контрудара не имели теперь никакого смысла. Командиры дивизий так же, как и он, бы-

ли подавлены случившимся. Потери в частях первого эшелона составляли более тридцати процентов.

Генерал Суруками вызвал к себе командиров дивизий, обороняющихся на направлении Ванцин, и стал отдавать им запоздалые распоряжения. Командиру 128-й пехотной дивизии поставил задачу во что бы то ни стало удержать Дуннин и строго-настроено предупредил, что его карьера плохо кончится, если город будет оставлен.

Под покровом ночи штурмовым группам майора Губкина удалось незамеченными просочиться между дотами. Ливень позволил ворваться в первую линию Волинского укрепленного района и застать японцев врасплох.

В восемь часов тридцать минут в бой были введены главные силы дивизии. К тому времени, когда дождь прекратился, батальоны Губкина штурмовали уже вторую линию вражеской обороны. Подтвердился прогноз генерала Крылова: на первой линии, кроме вражеских наблюдателей и дежурных смен на отдельных огневых точках, никого не оказалось.

Чтобы подавить сопротивление мощных железобетонных огневых точек на второй линии обороны, Губкин приказал выдвинуть на помощь пластунам четыре «тридцатьчетверки» со взрывчаткой.

Танки, набирая скорость, двинулись к двум вражеским дотам. Но внезапно перед ними возникли четыре японца. Совершая перебежки в зарослях густого гаоляна, они устремились наперерез «тридцатьчетверкам». Трех танкистам удалось уложить из пулеметов, но четвертый успел броситься под наш головной танк. Грохнул взрыв, и машину охватило пламя. Все поняли, что перед ними «живые мины» — смертники, обвязанные сумками с толом и ручными гранатами.

В боевые порядки «тридцатьчетверок» тут же были выдвинуты автоматчики. Теперь пехота прикрывала танки.

Губкин выпустил зеленую ракету в сторону вражеских дотов, показывая направление атаки «ИЛам», появившимся в воздухе над его батальонами. Комполка приказал командирам стрелковых батальонов под прикрытием штурмовиков обходить японские доты и продолжать просачиваться между ними.

Батальоны Губкина во взаимодействии со штурмовиками и танками двинулись вперед и к исходу суток форсировали реку Шитоухэ.

Не отставала от пехоты и артиллерия. Вскоре командир полковой артиллерийской группы полковник Петров доложил, что артдивизионы заняли новые огневые позиции на противоположном берегу Шитоухэ.

Из штаба армии передали в штаб дивизии, что в направлении на Муданьцзян отход частей Квантунской армии прикрывает рейдовый отряд смертников полковника Кобаяси. Комдив приказал принять все необходимые меры предосторожности.

Нападения смертников можно было ожидать днем и ночью, с тыла и с флангов. Эти фанатики были тщательно подготовлены и отлично владели оружием. Особой опасности подвергались одиночные машины и малочисленные группы военнослужащих.

10 августа 1-й и 3-й батальоны Губкина ворвались в населенный пункт на подступах к городу Мулин. И когда он уже был занят, неожиданно в тылу, около командного пункта полка, противник открыл стрельбу из пулемета. На секунду люди опешили, но затем быстро укрылись за домом. Два солдата из комендантского взвода были ранены. Японец засел на четвертом этаже кирпичного дома. Когда дом окружили, он стал на подоконник и, на виду у всех полоснув себя ножом по животу, полетел на землю.

Самурай в поясе был обмотан белым шелковым полотном с ярко-красным кругом в центре, изображающим солнце...

В обход города Мулин генерал Городовиков ввел свои главные силы. Батальоны Губкина во взаимодействии с частями 26-го стрелкового корпуса разгромили части 124-й пехотной дивизии противника и 11 августа вошли в Мулин. В этот же день Городовиков поздравил Губкина с присвоением ему очередного воинского звания — подполковника.

На рассвете следующего дня части 25-й армии вновь повели в наступление на сопки, расположенные на дальних подступах к Муданьцзюну. Японцы укрепили перевалы, окопались на господствующих высотах. Бойцы под прикрытием артиллерии и танков с трудом взбирались на возвышения, устало тащились через овраги. Вот уже багровые сполохи вечерней зари подернулись голубоватой дымкой. Быстро сгущались сумерки, на сопки опускался плотный туман. Низко нависшие тучи придавали землю, стало душно. Однако полк Губкина продолжал продвигаться вперед.

Проводную связь навести не успели. Радиосвязь работала с перебоями. Губкин вызвал к себе начальника связи полка капитана Изюмова и потребовал от него наладить бесперебойную радиосвязь. Тот начал ссылаться на непроходимость радиоволн через сопки и на наличие атмосферных помех.

— Тогда почему не обеспечили телефонную связь? — строго спросил комполка.

— Скорость продвижения больше пяти километров в час, телефонисты не успевают. К тому же батальоны растянулись.

— Без связи мы потеряем управление! — гневно произнес Губкин. — Вы соображаете, к чему это может привести?

Изюмов побледнел. Ему не довелось участвовать в войне с немцами, он не привык к такому тону разговора. Несколько помедлив, Изюмов твердо сказал:

— Я солдат. Как прикажете... Только не в моих силах изменить тактико-технические данные радиостанций.

Спокойный, уверенный ответ капитана Изюмова заставил Губкина задуматься: вправе ли он требовать невозможного от начальника связи полка?

— Передайте начальнику штаба, — успокаиваясь, сказал он, — впредь штабы батальонов располагать так, чтобы не было их отрыва от КНП полка на расстояния, превышающие дальность действия радиостанций.

Случилось то, чего больше всего опасался Губкин: Городовиков потребовал доложить обстановку. Комдив, получив в помощь авиацию, решил поддержать полк Губкина с воздуха. Для этого было крайне необходимо уточнить передний край, чтобы не ударить по своим. Губкин попросил тридцать минут для уточнения обстановки.

Командир полка впервые так остро почувствовал важность бесперебойной связи. Он выделил в распоряжение капитана Изюмова боевую машину — самоходку на гусеничном ходу для установления радиосвязи со 2-м и 3-м стрелковыми батальонами.

Дорога оказалась нелегкой. Самоходка, рискуя каждую минуту свалиться в пропасть, шла вдоль глубокой расщелины. Луна сквозь туман слабо освещала вершину сопки, на которую предстояло подняться. До вершины оставалось метров сто, когда тропа уперлась в крутой горный склон. Машина остановилась, на сидевших в ней людей навалилась тишина. Ночь еще властвовала над сопками, заслонившими горизонт. Изюмов растерялся: дальность радиостанции РБ намного уменьшилась. Что делать? Пытаться подняться на скалу бесполезно. Тридцать минут, отпущенные ему, истекали. Волнуясь, он приказал механику-водителю отъехать метров на двадцать. Самоходка, затарахтев, подалась назад, и вдруг радист закричал: «Есть связь!»

Капитан Изюмов, получив короткую информацию от комбатов, тут же доложил комполка координаты 2-го и 3-го батальонов. Губкин

немедленно сообщил обстановку командиву. Полк продолжал выполнять поставленную задачу.

Квантунская армия ночью отходила на рубежи Муданьцзян, Фусун. Командующий 1-м фронтом генерал-лейтенант Кита, чтобы задержать подход главных сил русских и нарушить коммуникации их войск, приказал командиру рейдового батальона полковнику Кобаяси взорвать мост через реку Муданьцзян, после того как отойдут свои войска. Кобаяси возложил выполнение этой задачи на поручика Куросаву с тринадцатью солдатами. Выстроив всех, он призвал их совершить подвиг во имя императора Японии. «Молю богов о ваших успехах!» — сказал полковник на прощание.

На рассвете рейдовая группа поручика Куросавы расположилась на склоне сопки, метрах в ста пятидесяти от моста. Смертники с тревогой смотрели на дорогу, ведущую в Муданьцзян, по которой отступали их соотечественники. Во главе колонны поручик Куросава увидел автомобиль командующего генерал-лейтенанта Киты. Она проехала в сопровождении нескольких легковых машин. Вскоре шоссе заполнили толпы беженцев попеременно с воинскими колоннами. Вконец измотанные солдаты еле волочили ноги. Вскоре в облаке пыли показался первый советский танк, за ним двигалась стальная лавина, заполнив все вокруг лязгом и грохотом.

Куросава лежал в густом орешнике, остро ощущая свое бессилие перед русскими танками. Только теперь он понял, почему столь поспешно отошла императорская армия. И сам генерал Кита впереди своих войск.

Колонны советских танков и самоходок неумолимо приближались к мосту. Впереди по дороге брели разрозненные группы японских солдат.

Смертники отсчитывали последние минуты жизни. Поручик Куросава с безразличием посмотрел на окружающие сопки, поросшие дубняком и орешником. Пропуская последнюю колонну своих соотечественников, он скомандовал: «За мной, по местам!» За считанные секунды четырнадцать смертников, как муравьи, облепили бетонированные опоры моста. По сигналу поручика взрывы раздались почти одновременно. Сам Куросава в последнюю секунду не успел нажать на свой детонатор. Взрывная волна отбросила его далеко в сторону...

Машина командарма Крылова остановилась у самого въезда на мост, окутанный сплошным дымом. Пока разбирались в случившемся, автоматчики из бронетранспортера охраны привели поручика Куросаву. Из ушей его лилась кровь, с рукавов мундира стекала вода. Он шел, еле передвигая ноги. Увидев русского генерала, остановился, пригладил сплывшиеся, всклокоченные волосы.

— Поручик императорской армии уклонился от исполнения своего долга, не так ли? — спросил его Крылов через переводчика.

— Не совсем так... — Куросава ничего не слышал, но понял смысл вопроса. — Генерал Кита ехал впереди императорских войск. Кита не только не остановил русских, он даже не собирался отдавать свою жизнь на поле сражения во имя его императорского величества. Я же просто чудом остался жив...

Полк Губкина, сбивая вражеские арьергарды, к 15 августа вырвался к подножию хребта Лаоэмин. Здесь, в долине, его батальоны пленили японский кавалерийский полк.

Звуки боя затихли. Губкин стоял на самой высокой точке Лаоэмина. Позади высались голубые сопки. Впереди до самого горизонта раскинулась степь, покрытая побуревшей от зноя травой.

Спротивление противника на этом направлении было сломлено. Но командующему 3-й японской армией генералу Суруками все еще не верилось, что его дивизии разгромлены. Он надеялся на подход

оперативных резервов генерала Ямады. В ушах еще звучали хвастливые призывы Ямады: «Победные знамена императорской армии поднимаем над русскими городами!»

17 августа соединения 25-й армии взяли город и важный узел обороны Ванцин, прикрывающий дороги на гиринское и харбинское направления с юга. Во второй половине дня генерал-полковник Чистяков получил радиограмму от командира 72-й танковой бригады о взятии города Яньцзи, где, по данным разведки, находился штаб 3-й японской армии. Тут же с группой офицеров Чистяков вылетел в Яньцзи. Но на аэродроме вместо наших танкистов его встретили... японские солдаты.

Генерал Чистяков не растерялся. Властно разъяснил через переводчика, что прилетел в соответствии с договоренностью советского командования с императором Японии для заключения перемирия. Японский офицер сразу снял и убрал пистолет в кобуру. Чистяков потребовал, чтобы его проводили к командующему.

Громкий стук в дверь прервал раздумья генерала Суруками. На пороге стоял советский генерал! Суруками был настолько ошарашен, что вскочил и испуганно спросил по-русски:

— Кто вы и откуда?

— Я командующий Двадцать пятой армией! — уверенно сказал Чистяков и сел в кресло за письменным столом. — Садитесь, мне с вами надо поговорить.

— Вы не удивлены, что я говорю по-русски? — машинально спросил Суруками.

— Нет. Я знаю, что вы несколько лет были военным атташе в Москве, поэтому думаю, что мы с вами не допустим напрасного кровопролития. — На лице советского генерала не было и тени волнения, только страшная усталость от бессонных ночей. — Вы должны понять, если еще не поняли, всю бесперспективность вашего сопротивления.

— Войну мы проиграли, — медленно выдавил генерал Суруками...

К вечеру следующего дня из штаба дивизии подполковнику Губкину передали, что пал кабинет правительства Судзуки, а в войсках Квантунской армии получен приказ генерального штаба: «Знамена, портреты императора, императорские указы и важные секретные документы немедленно сжечь». Противник, однако, продолжал оказывать сопротивление. Дожди размывали дороги, и наступать приходилось в крайне трудных условиях.

В ночь на 19 августа Губкин вызвал к себе в штаб командира артиллерийской группы, начальника разведки полка и командиров стрелковых батальонов.

Начальник штаба доложил о противнике и о боеготовности наших войск.

— В Гирине сосредоточены Сто тридцать восьмая пехотная дивизия и Вторая пехотная бригада. Население составляет более двухсот тысяч человек. Нашему полку приказано с подходом частей армии генерала Чистякова и во взаимодействии с ними атаковать северо-восточную окраину города вдоль шоссеной дороги.

— Есть ли надобность ждать подхода стрелковых частей армии Чистякова? — спросил командир полковой артиллерийской группы полковник Петров.

— Противник не только укрепляется в городе, но и превосходит нас в силах. Без взаимодействия с подходящими частями армии Чистякова наступление полка немыслимо, — ответил начальник штаба.

— Если больше нет вопросов к начальнику штаба, заслушаем командира полковой артиллерийской группы, — сказал Губкин.

— Мне представляется, что нет смысла ждать подхода частей генерала Чистякова. Этим мы дадим возможность противнику подготовить город к обороне. По огневой мощи мы превосходим врага, артиллерия и минометы обеспечены полуторным боекомплектом снарядов и мин,— сообщил полковник Петров. — К утру должны подвести еще один боекомплект.

— Хорошо. Как предлагаете использовать артиллерийские дивизионы? — спросил Губкин.

— В вашем распоряжении, товарищ подполковник, предлагаю оставить два дивизиона гаубиц, дивизион «катюш», батарею противотанковой артиллерии для борьбы с танками. Все остальное отдать батальонам для создания штурмовых групп и усиления стрелковых рот.

— Есть ли у вас дополнительные данные о противнике? — обратился Губкин к начальнику разведки.

— На окраине города действует наша разведгруппа, ждем пленного. В Гирине, кроме пехотных соединений, имеется около пятидесяти танков. Сколько их окажется на нашем участке, сказать затрудняюсь...

Обстановка, таким образом, складывалась противоречивая. Однако Губкин решил во взаимодействии с передовым отрядом — танковой бригадой — атаковать противника вдоль шоссе на дороге по северо-восточной окраине Гирина.

...На рассвете 19 августа жители Гирина были разбужены грохотом артиллерийской канонады и гулом танков. С юго-востока в город входили танки передового отряда генерала Чистякова. С северо-запада первый батальон Губкина перерезал дорогу Гирин — Чанчунь и создал японцам угрозу окружения.

Генерал Городовиков для развития успеха ввел в бой второй эшелон дивизии. Однако дальнейшее продвижение его было приостановлено. Враг любой ценой стремился удержать занимаемые позиции. Японские солдаты с криками «банзай!» неоднократно бросались в контратаки. Безымянная высота, через которую пролегла дорога Чанчунь — Мукден, несколько раз переходила из рук в руки...

Наступил решающий момент. 3-й стрелковый батальон на подмогу 1-му Губкин повел сам. Командир полка наступал в цепи своих солдат, личным примером воодушевляя их, и вместе с ним незримо шагали те, кого уже не было в живых. Он чувствовал их рядом с собой, помнил их голоса, лица и обретал новые силы.

Когда овладели первой линией вражеской обороны, Георгий Никитич оказался в кругу своих солдат. Глядя на них, он видел, как они устали от напряжения, не отпускающего их с начала операции, и как нуждаются в разрядке.

— Ну как, славяне, до Токио духу хватит добраться? — спросил он.

— Хватит, товарищ подполковник, — ответил за всех молодой солдат, — если десантом на самолете подбросят.

— А кроме десантных средств, всего у вас хватает? — допытывался комполка.

— Вместо табака папиросы выдали, а они раскисли. Дождь одолевает, промокли до ниточки!

— Это ничего, я говорил со штабом генерала Максимова. Товарищи заверили, что дождь скоро прекратится.

Солдаты дружно рассмеялись. И не только потому, что штаб фронта не мог иметь связи с небесной канцелярией, но и потому, что знали, кто был настоящий Максимов...

Полки генерала Городовикова совместно с частями генерала Чистякова к полудню полностью заняли город Гирин. Комдив сообщил, что в соседней дивизии на юго-восточной окраине Гирина успешно действует батальон под командованием бывшего их сослуживца капитана Ахметова. Георгий Никитич, обрадованный неожиданным

известием, отдав необходимые распоряжения об организации охраны и отдыха полка, незамедлительно отправился на розыски Ахметова.

Но, к большому огорчению, в штабе соседней дивизии ему сообщили, что в последнем бою комбата тяжело ранило и что два часа назад он эвакуирован в медсанбат. Губкин тут же погнал туда свой «опель».

Узнав, где поместили капитана Ахметова, направился к нему в палату. Женщина-врач, встретив Губкина у входа, спросила, к кому он.

— Ахметов в операционной,— сказала она устало.

— Может, позвольте мне взглянуть на него? Хотя бы на минутку,— стал просить Губкин.

— Кто же вам разрешит, если он на операционном столе?

Губкин скинул с плеч пропыленную плащ-палатку. Врач, увидев подполковника со Звездой Героя Советского Союза, сразу переменилась и пригласила его следовать за ней. Подойдя к операционной, попросила подождать, а сама, осторожно приоткрыв дверь, вошла туда.

Минуты ожидания показались Георгию часами. Ему вспомнилось, как Ахметов, уже лейтенантом, прибыл в его батальон в Белоруссии. С первых же боев зарекомендовал себя исполнительным и храбрым офицером. В том лесном бою летом 1944 года он просто чудом уцелел. Судьба пощадила его и в тяжелейших боях на подступах к границам Восточной Пруссии. А вот в конце войны — он тяжело ранен.

Губкин потерял счет времени, так долго пришлось ждать. Наконец дверь операционной открылась, оттуда вышел мужчина в белом халате. Георгий интуитивно почувствовал в нем хирурга, оперировавшего Ахметова. Тот остановился, снял очки, за ним молча стала женщина-врач. Губкин ждал, что она представит его хирургу и тот разрешит ему свидание с Ахметовым. Но хирург сам нарушил тягостное молчание.

— Нет больше Ахметова,— сказал он хрипло.

— Как нет? — вырвалось у Губкина. — Не может быть!

Собственный голос оглушил Губкина, в ушах стоял какой-то звон. Ему хотелось кричать, но горло перехватило и Георгий не смог вымолвить ни слова.

— Ахметов был смертельно ранен в живот... Мы не смогли его спасти.

Губкин не помнил, как они вошли в операционную. Никак не хотелось верить, что он лишился еще одного фронтового друга. Чуть придя в себя, увидел, что стоит у носилок, покрытых белой простыней. Откинув простыню, склонился над Ахметовым и тихо сквозь слезы сказал:

— Не увиделись, теперь уже не увидимся никогда.

Японские войска хотя и были разгромлены, но оружие еще не сложили. Маршал Василевский вынужден был отдать приказ продолжать боевые действия до полной капитуляции противника.

Дивизия генерала Городовикова составила гарнизон города Гирин. Сам комдив стал начальником гарнизона, и ему пришлось с головой окунуться в административную работу, решать множество неотложных дел. Прежде всего надо было обеспечить людей работой и продовольствием. Губкина назначили помощником Городовикова.

Боевые действия на отдельных участках все еще продолжались. Столица Маньчжурии Чанчунь была захвачена воздушным десантом Забайкальского фронта. В соответствии с директивой маршала Мерецкова генерал Крылов приказал Городовикову установить связь с войсками маршала Малиновского в Чанчуне.

Городовиков, снарядив четыре легковых автомобиля с автоматчиками, взял с собой подполковника Губкина и начальника разведки майора Ковалева. На полпути в одном из сел им пришлось сделать

привал. Белые домики утопали в садах. Комдив и его спутники с удивлением заметили, что все вокруг напоминает юг России, Украину. Мелодичный звон колоколов, раздавшийся совсем близко, еще больше поразил их. Над зелеными кронами тополей возвышались купола с крестами. Генерал и офицеры, охваченные любопытством, подошли к церкви. Из ее раскрытых дверей доносились голоса — шла служба, и шла на русском языке!

Городовиков в недоумении попросил Ковалева сходить за священником. Вскоре майор возвратился вместе с пожилым человеком в расшитой ризе. Он шел, на ходу вытирая платком мокрые от слез глаза.

— Боже мой, русские!

— Откуда вы взялись в этих местах, в Маньчжурии? — спросил его Городовиков.

— Мы здесь проживаем с тех пор, как переселились сюда вместе с колчаковцами, — ответил священник, не сводя глаз с русских офицеров.

— На родину не тянет? Неужели не хочется вернуться в Россию?

— Еще как хочется! Мы русские были, ими и остались.

— А вроде бы и здесь прижились. Вон какие сады вырастили!

— Сады эти выросли на людских слезах. Пока они зацвели, надо было выжить не только деревьям, но и нам. Каждый третий из наших поселенцев умер в крайней нужде. Мы чужие и на родине и здесь!

— Обижаетесь на Россию?

— Главное — Россия, а мы былинки. Она-то без нас обходится, а мы без нее — нет. Дело не только в нас, это еще полбеды. Вот молодежь... Дети нам покоя не дают, просят домой, на родину.

— Как вас величают? — спросил Городовиков.

— Иваном Ивановичем.

— Что касается молодых, то мы им поможем вернуться на родину. Через неделю приезжайте ко мне в Гирин. Я начальник гарнизона.

Пока генерал говорил со священником, молодежь обступила советские автомашины. Посыпались вопросы. На поляну притащили фрукты, парное молоко, девушки старались угостить советских офицеров. Но пора было ехать. Генерал Городовиков, распрощавшись со всеми, дал команду: «По машинам!»

В полдень въехали в Чанчунь. По сторонам узких, кривых улочек на окраине города замелькали грязные халупки, густо заселенные китайской беднотой. На каждом шагу встречались нищие, сновали рикши. А в центре города раскинулись широкие, светлые улицы с многоэтажными домами в европейском стиле. Головная машина остановилась у въезда во дворец императора Пу И, где размещался штаб нашего воздушного десанта. Самого императора уже не было здесь, он с запасом золота пытался вылететь в Японию, но советский истребитель вынудил его самолет совершить посадку на мукденском аэродроме.

Дворец, покрытый маскировочной сеткой, утопал в зелени. Его окружал ров, наполненный водой. Только с близкого расстояния можно было разглядеть экзотический вид дворца. Фасад был расписан буддийскими символами. Через ров Городовиков и сопровождавшие его офицеры прошли по мостику, который опустился, как только часовая включил приводящий его в действие электродвигатель.

Командир бригады полковник Казанцев обрадовался встрече с Городовиковым и крайне удивился, когда узнал, что генерал рискнул в сопровождении всего лишь трех машин совершить рейд по тылам японских войск. Он рассказал, как жарко ему пришлось в Чанчуне — по численности враг превосходил его силы более чем в десять раз.

Городовикова, Ковалева и Губкина провели в большой зал дворца, где на высоком постаменте стоял императорский трон. Ординарец комдива Долин, раздобыв фотоаппарат, пригласил всех сниматься.

— Товарищ генерал, садитесь на трон, будет редкая фотография! — кричал Долин.

— Тогда побыстрее.— Городовиков, приглаживая усы, важно уселся на троне, заведомо зная, что при таком свете фотография не получится.

Затем они двинулись дальше, продолжая осмотр императорских апартаментов. Басан Бадьминович остановился около пирамид с оружием: как кавалерист, он не мог равнодушно видеть холодное оружие. Казанцев в качестве трофея преподнес ему самую красивую шашку...

Командование воздушно-десантной бригады дало обед в императорском дворце в честь встречи войск двух фронтов. В парке перед входом во дворец играл духовой оркестр, в огромном зале были изысканно сервированы длинные белые столы под слоנוвую кость. Впервые за всю войну так торжественно отмечали победу офицеры генерала Городовикова и полковника Казанцева...

После торжественного обеда продолжили знакомство с дворцом императора. Городовикову показали личный автопарк Пу И, предоставили возможность выбрать один из легковых автомобилей. Выбор генерала пал на кадиллак. Долин без особого труда завел его и выкатил во двор.

Заместитель начальника разведки 6-й танковой армии подполковник Мельниченко, координировавший высадку воздушных десантов и их взаимодействие с передовыми частями танковой армии, показал Губкину на своей карте, где высаживались наши воздушные и морские десанты. От него Георгий узнал, что одним из расположенных неподалеку японских полков командует родственник самого императора полковник Хоза Мики.

Губкин загорелся желанием тотчас же посмотреть на пехотный полк Хозы Мики. Не подозревая, какая опасность его ждет, он отправился в путь на двух автомобилях с автоматчиками. Вскоре они остановились перед казармами из красного кирпича, расположенными в виде буквы «п». Со стороны фасада видно было, как во дворе маршируют солдаты в полном боевом снаряжении. Во всем чувствовался образцовый воинский порядок, казалось, что японцы и не помышляют о капитуляции.

Необычные гости привлекли внимание хозяев. Губкин уже стал сожалеть, что решился на столь опрометчивый поступок, но отступить было поздно.

Дежурный по части встретил советского офицера сухо и неприязненно. Он повел его в штаб. Губкин понял всю двусмысленность своего положения и несколько растерялся, но виду не подал. В штабе к нему подошел переводчик, говоривший на чистом русском языке.

— Как прикажете о вас доложить командиру полка, господин подполковник?— оглядев Губкина с ног до головы, вкрадчиво спросил он.

— Представитель советского командования!

Полковника Хозы Мики на месте не оказалось. Переводчик пригласил Губкина к заместителю командира полка. Поведение японских офицеров, настороженно наблюдавших за ними, показалось Губкину подозрительным, и он отказался идти, заявив, что уполномочен говорить только с командиром полка и потому вынужден уехать. Переводчик в недоумении проводил Губкина до машины. Водитель на всякий случай сразу же нажал на газ, чтобы японские часовые ненароком не обстреляли их.

На обратном пути в Гирин Городовиков поинтересовался о похождениях Губкина.

— Подивились на японского принца? — не без иронии спросил он.

Губкин замялся.

— Меня интересовал не столько полковник Хоза Мики, сколько его полк.

— Должно быть, богатое хозяйство? Они в свое время оккупировали Филиппины. Филиппинским вином полковник вас, случайно, не угостил?

— Я его не видел. К сожалению, он отсутствовал. Видимо, развлекался где-то. — Подполковник улыбнулся.

— Вот что, товарищ помощник начальника гарнизона, — строго произнес Городовиков, — предупреждаю, чтобы такие ваши необдуманные поступки были в последний раз! Ведете себя несолидно. Стали разыскивать — вас нет. Каково было наше положение в гостях у десантников? А потом, мало ли что могло случиться! Разве можно делать такие опрометчивые шаги под конец войны? — Городовиков замолчал и не разговаривал с Губкиным всю дорогу.

В Гирине они узнали о полной капитуляции Квантунской армии. На улицах было много народу, на площадях уже шли митинги, освобожденное население ликовало. Наши солдаты, хотя и не знали языка, обходились без переводчиков: поднятый вверх большой палец для всех означал «хорошо». Радости не было границ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЕГ АЛЯКРИНСКИЙ



ЖАНР И ЖИЗНЬ

Американская действительность сквозь призму повести

В иерархии жанров американской прозы повесть занимает далеко не главное место. Так уж сложилось исторически, что повесть всегда стояла на периферии литературного процесса, теснимая новеллой и романом. С новелл Вашингтона Ирвинга и романов Дж. Фенимора Купера началось самостоятельное, независимое от европейских литературных веяний и мод развитие американской прозы. С тех пор и повелось считать короткий рассказ и роман исконно национальными жанрами. А повесть... Повесть родилась на перекрестке двух основных магистралей. Натаниел Готорн и Герман Мелвилл, принадлежавшие ко второму поколению американских романтиков, создали повесть как бы втихомолку: Готорн пришел к повести от новеллы, Мелвилл — от романа. Так и была осуждена американская повесть оставаться в положении весьма двусмысленном — то ли слишком большой новеллы, то ли слишком короткого романа.

По сей день в американской критике жанр повести не определен со всей ясностью. Привычное для нас слово «повесть» не имеет точного эквивалента в американском литературно-критическом инструментарии. Существующие термины «новеллетта» (то есть «романчик») и «тейл» (то есть «рассказанная история») употребляются редко — все чаще повесть именуют, как некогда, большой новеллой или коротким романом. Американцы, как, в частности, известно по рассказам О'Генри, — деловые люди, любящие всему вести аккуратный счет. И отличие романа и новеллы от повести они обыкновенно выражают чисто арифме-

тически, по количеству слов. Если произведение насчитывает один-полтора десятка тысяч слов — это новелла. Если до 30 тысяч — новеллетта. А когда число вырастает до 40 тысяч и больше, то в подзаголовке ставят: роман... Но, разумеется, все эти подсчеты не опасают положения. Даже наоборот, создают дополнительные трудности в определении жанра. Вот несколько самых очевидных примеров. У нас книга «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» Джеймса Болдуина печаталась сначала как роман (в журнале «Иностранная литература»), потому что так ее обозначили американские издатели. Теперь же эта вещь вошла — и совершенно справедливо — в сборник «Современная американская повесть» (составление и предисловие А. Зверева, М., «Прогресс», 1980)¹. И книга молодой писательницы Энн Тайлер «Блага земные» на книжном рынке США тоже фигурирует в качестве романа (и в таком качестве она издана в нашей стране)², между тем это самая очевидная повесть.

Специфика жанра, конечно, определяется не объемом, не тысячами слов. Дело тут в другом. В современной литературной науке есть устойчивое понятие — романное мышление. Опираясь этим понятием, критики единодушно соглашаются на том, что

¹ Сюда же включено еще пять повестей — «Ионнондю тридцатых годов» Тилли Олсен, «Пистолет» Джеймса Джонса, «Долгий марш» Уильяма Стайрона, «Завтрак у Тиффани» Трумена Капоте и «Мое прошение о дополнительной площади» Джона Херси, о которых пойдет речь в этой статье.

² Энн Тайлер. Блага земные. М. «Прогресс». 1980.

книгам писателей, обладающих таким мышлением, свойственны эпичность и масштабность изображения действительности, историко-социальный, историко-философский подход к анализу жизненных явлений и т. д. и т. п. А можно ли по аналогии говорить о... повестном мышлении, новелльном мышлении? Наверное, да. Ведь эти формулировки при всей их непривычности и даже неуклюжести вполне могут претендовать на законное существование. Вся суть, весь смысл того или иного жанра именно в типе творческого мышления, который в этом жанре проявляется; в особом, специфическом именно для этого жанра подходе к изображению реальности; в избранном угле зрения на действительность. Английский поэт-романтик Уильям Блейк любил повторять: «Реальность — всегда одна и та же. Различны лишь способы ее видения». Вот это несходство в способах видения мира и лежит в основе отличия одного жанра от другого, отличия романа от повести и повести от новеллы. Что же делает повесть повестью, а не чем-то вроде разновидности рассказа или романа?

О разных способах видения в романе и повести писал Белинский в статье «О русской повести и повестях Гоголя»: «Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки... дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни... повесть — распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа». Это сказано не только о русской повести. Это сказано о повести как жанре. Роман охватывает жизнь во всей ее сложности, глубине, незавершенности. Роман — всегда многосюжетная, многоплановая, густонаселенная картина мира. Повесть же не стремится — воспользуемся терминологией кино — к широкоформатному и тем более полиэкранному показу жизни. Повесть — типичная короткометражка. В своем тяготении раздробить жизнь по мелочи повесть приближается к новелле. Как и для новеллы, объектом интереса для повести является единичное, локальное: одна жизнь, один эпизод из жизни, одно событие. Но повесть отлична и от новеллы. И новелла и повесть — фрагмент. Однако то локальное, что изображается в повести, никогда не замыкается только в себе самом, как это происходит в новелле. Повесть — фрагмент с бесконечно расши-

ряющимися, размытыми границами; фрагмент, который метонимически замещает некоторое более масштабное и в социальном и в эпохальном плане явление; фрагмент, который неявно, как бы окольным путем воссоздает целое, концентрируя в себе его наихарактернейшие черты и свойства. В этом основном своеобразии жанра повести. И в этом смысле повесть можно назвать синеждохой романа. Свою эпическую скромность повесть активно компенсирует своей потенциальной символичностью. Единичное явление, на котором сосредоточивает свое внимание автор повести, может стать символом целой судьбы, целой исторической эпохи или даже символом человеческого существования. Роман-символ, роман-притча — довольно редкий факт в литературе. «Моби Дик», «Улисс» или «Иосиф и его братья» — примеры-исключения. А вот примеров повестей-притч можно привести предостаточно: «Алмаз величиной с отелъ „Риц“» Ф. Скотта Фицджеральда, «Мост короля Людовика Святого» Т. Уайлдера, «Жемчужина» Дж. Стейнбека, «Старик и море» Э. Хемингуэя, «Королевский гамбит» Дж. Гарднера — это если брать только произведения американских прозаиков.

• Блистательный образец повести-притчи — «Долгий марш» Уильяма Стайрона, где, правда, притчевая структура скрыта под покровом реалистического сюжета, что, казалось бы, снимает всякую условность притчи. Повесть рассказывает о многокилометровом учебном марш-броске американских резервистов, призванных на лагерные сборы. Время и место действия точно обозначены: штат Каролина, 1951 год. И все же реальный план — это лишь ширма, скрывающая глубинный смысловой пласт. Ведь тут происходит почти мобидковское единоборство между капитаном Маниксом и полковником Темплтоном. И главное здесь — не столько личные взаимоотношения между офицерами американской армии, сколько та модель межчеловеческого общения, которую воплощает столкновение Маникса и Темплтона. К тому же эти двое, как и третий участник (а точнее, свидетель) их конфликта — лейтенант Калвер, не просто реалистические образы живых людей, но психологические типы, выявляющие свою суть в кризисной, пограничной, ситуации противоборства воле. И потому, несмотря на внешнее реалистическое живое подобие, ситуация здесь вполне условна, как того требует поэтика притчи.

Стайрон сообщает: «...Маникс однажды шоотрадал... Страдание озлобило его... Он

не просто брюзжал — он восставал неукротимо и открыто». Условность? Конечно. Автор задает некий психологический контекст (однажды пострадал — озлобился — восстал), в котором Маникс проявляет свою бунтарскую суть. Так его и воспринимает полковник Темплтон: «...перед ним стоял не просто курсант, не просто капитан, его подчиненный, а упрямый и разгневанный человек». Еще одна необходимая для сюжета условность — нелепая гибель от шальных мин восьми солдат, выстроившихся в очереди у походной кухни. Эта абсурдная смерть задает тон всей повести. Повести о тщете бунта Маникса (Маникс «лишь калечит себя в этом... бессмысленном бунте...»), об абсурдности «бессмысленно жестокого марша» — абсурдности, которую одинаково осознают все его участники, не только Маникс, выполняющий приказ, но даже и Темплтон, этот приказ отдавший. Самый образ долгого марша становится в этой повести символом удела человеческого, а фатальная власть бессмысленно жестокого приказа превращается в символ судьбы, подчиненной неким устойчивым и от века данным законам. И не случайно этот долгий марш порой проецируется Стайроном в плоскость мифа. «Пыль взвивалась впереди столпом облачным, как в пустыне Египетской», — роняет автор многозначительное сравнение. Смысл его прозрачен: долгий марш уподобляется библейскому исходу...

Если «Долгий марш» — философская притча об уделе человеческом, замаскированная под реалистическое повествование, то в сатирико-фантастической повести Джона Херси «Мое прошение о дополнительной площади» сюжетная условность совсем не прикрыта. Херси использует прием, аналогичный тому, к которому прибег Свифт в «Путешествиях Гулливера», а за ним Дж. Ф. Купер в «Моникинах», Эдгар По в «Mellonta Tauta». Суть приема в том, что современная социальная действительность изображается как бы со стороны, извне — в другом географическом (у Свифта и Купера) или историческом (у По) определении. Как По, всмотревшийся в окружающую его американскую реальность из 2848 года, как Твен, отправивший своего коннектикутского янки в средневековую Англию, чтобы получше рассмотреть пороки американского капитализма, так и Херси переносит писателя Сэма Пойнтера на несколько десятилетий вперед не потому, что его интересует Америка XXI века, но лишь для того, чтобы резче выявить и высмеять антигуманные, разрушительные для

человека тенденции развития сегодняшней «индустриальной цивилизации». Антиутопия Херси в чем-то напоминает притчи Ф. Кафки: смысл этой аллегории сводится в общем-то, к тому же, к чему и смысл кафковских романов «Процесс» и «Замок». Личность в буржуазном обществе превращается в крохотного человека-дробинку, впаивную в гигантский бюрократический механизм — неумолимого Суда («Процесс»), или бесчисленных канцелярий некоего графа («Замок»), или, как у Херси, таинственно-всемогущего Бюро, которое осуществляет жесточайшую регламентацию всех сфер жизни в американской технотронной империи недалекого будущего. Гротескное преувеличение реальных примет нынешнего этапа американской истории, реальных процессов американской социальной жизни служит в «Моем прошении...» своеобразным сигналом не менее реальной опасности — гибели личности как личности в обществе, ослепленном идеей безудержного научно-технического прогресса.

Один из трех эпиграфов, поставленных Херси к своей повести — выдержка из дневника знаменитого пионера Дэниела Буна, — звучит печальным напоминанием о тепер уже почти легендарном времени, когда североамериканский континент еще мог казаться землей обетованной для тысяч переселенцев, бежавших в Новый Свет в поисках счастья, и человек здесь еще мог ощущать себя вольным творцом своей судьбы. И еще — напоминанием о безрадостном финале трехсотлетней истории «американской мечты», который Херси рисует с иронической усмешкой.

Повесть-притча, повесть-аллегория, какowymi являются произведения Стайрона и Херси, составляют одну из трех ведущих жанровых разновидностей американской послевоенной повести. Две другие отчетливо выделяемые магистральные развития жанра — социально-бытовая и психологическая повесть. Разумеется, любая классификация упрощает, схематизирует реальное богатство и многообразие явления. Так и в нашем случае: три указанных типа повести почти совсем не встречаются в своем чистом виде. Вот ведь и в притче «Долгий марш» социально-бытовой план играет пусть и не определяющую, но все же существенную роль: писатель исследует законы человеческого бытия не в их голом выражении, но прослеживает, как эти законы выявляют себя в реальной жизни, в конкретно-социальных, конкретно-исторических условиях. Эти условия, впрочем, у Стайрона обладают в принципе второстепенной значимо-

стью. Иное у Херси: социальные факторы формируют весь комплекс поведения его героя, который прочно вращается в общественную систему и живет согласно ее законам — либо подчиняясь им, либо (как в случае подачи в Бюро прошения о дополнительной площади) пытаюсь от них ускользнуть. Таким образом, и повесть Стайрона не чистая притча, а повесть Херси не чистая аллегория: обе заметно тяготеют к социально-бытовому жанру.

А вот другой случай: на стыке притчи и психологической повести, синтезируя художественные возможности обеих жанровых разновидностей, оказывается «Королевский гамбит» Джона Гарднера³ — очередная (какая по счету в современной прозе США?) вариация на архетипический для американской литературной традиции сюжет «Моби Дика». Еще более разительный пример — повесть негритянского прозаика Эрнеста Дж. Гейнса «Автобиография мисс Джейн Питтман»⁴, представляющая собой своеобразный калейдоскоп не только отдельных, часто мало связанных друг с другом событий-новелл, но и отдельных жанровых форм. Книга Гейнса не просто романизированная повесть (то, что в США и называют коротким романом, а чаще просто романом), но воистину синтетическое произведение, соединяющее в себе признаки нескольких повествовательных жанров. Это и биографическая, и историческая, и даже социально-политическая повесть одновременно. Кроме того, автор «Автобиографии...» опирается и на традиционные жанры негритянского фольклора: комический сказ в духе известных «Историй о Симпле» Ленгстона Хьюза, торжественный спиричуэл, проникновенно-трогательный блюз. Говоря о жанровом своеобразии повести Гейнса, нельзя не упомянуть и о мощной лирической струе, которая словно подводное течение проникает все повествование, то выходя на поверхность, то вновь устремляясь вглубь.

В этом своем синтетизме «Автобиография мисс Джейн Питтман» представляет собой и типичное и одновременно нетипичное явление для американской повести наших дней. Нетипичное — потому что такой богатый слав жанровых форм, какой обнаруживается в повести Гейнса, — случай совершенно исключительный. Типичное — потому что в целом сегодняшняя амери-

канская повесть редко стремится сохранить свою жанровую чистоту. Причем в наибольшей степени это относится к социально-бытовому жанру.

Одной из сравнительно немногих иллюстраций беспримесно социально-бытовой повести может служить «Пистолет» Джеймса Джонса. Стихия Джонса, наследника и продолжателя художественных традиций американского натурализма конца прошлого века, — армейский повседневный быт, под воздействием которого выковываются специфическое солдатское мировосприятие и солдатская психология. Интерес писателя к самой что ни на есть прозаической обыденности человеческой жизни имеет свои преимущества: позволяет создать предельно точное, реалистически достоверное и убедительное изображение армейской жизни с ее драматическими коллизиями и психологическими конфликтами, которые исподволь прорываются сквозь размеренную и отупляющую рутину казармы. Картина солдатского — военного и мирного — быта, создаваемая Джонсом, получается многокрасочной, со множеством мелких и крупных деталей, в чем-то подобная гигантской фреске. Джонс — первоклассный бытописатель, но не более того. Созданная картина, как правило, монументальна (таков его первый, и лучший, роман «Отсюда в вечность»), но неглубока (как его последний, незавершенный роман «Побудка»).

Под стать многостраничным солдатским сагам Джонса — «Пистолет», где проявились сильные и слабые стороны его прозы. Если верно то, что повесть — синекдоха романа, то «Пистолет» — это уж точно синекдоха романов Джонса, как бы сжатый до одиннадцати коротких глав конспект очередной саги, сюжет которой почти всегда сводится к неторопливому рассказу о судьбе солдата. Например, такого, как рядовой первого класса Ричард Маст, который в суматохе, начавшейся после первого налета японской авиации на Пёрл-Харбор, украл пистолет. Когда в заглавии повести стоит название конкретного предмета, как-то само собой рождается предположение, что этот предмет должен выполнять в сюжете особую — вполне вероятно, символическую — функцию, должен наполниться некоторым выходящим далеко за пределы его собственного утилитарного назначения смыслом. Читая повесть Джонса, все ждешь и ждешь, когда же этот небольшой пистолет калибра 11,43 мм выстрелит — когда, другими словами, сработает пресловутый принцип ружья, висящего на стене. Однако ожидания напрасны. Пистолет не

³ Джон Гарднер. Нинелевая гора. Королевский гамбит Рассказы. М. «Прогресс». 1979.

⁴ Эрнест Дж. Гейнс. Автобиография мисс Джейн Питтман. М. «Прогресс». 1980.

стреляет. Да, собственно, пистолет тут только служебная деталь, повод для завязки сюжета — бесстрастно-объективного изображения «куска жизни»...

Поставив «Пистолет» рядом с «Долгим маршем» — а сопоставление этих двух повестей, помещенных под одной обложкой, так и напрашивается, — сразу же видишь, насколько в художественном отношении проигрывает «Пистолет». И причиной тому — все тот же способ видения жизни, оказывающийся у Джона во многом односторонним и поверхностным: скрупулезное и неприукрашенное воссоздание «голой правды» жизни сегодня кажется чем-то безнадежно устаревшим.

Социологический анализ действительности, пристальное внимание к быту — то, что во времена Стивена Крейна и Фрэнка Норриса оказалось подлинно новым словом в американской прозе, — были по-прежнему актуальны и вызвали живой читательский интерес и в 30-е и в 40-е годы. Именно в ту пору получил заслуженное признание Джон Стейнбек, автор остросоциальных повестей («Квартал Тортилья-Флэт», «О мышах и людях», «Консервный Ряд»), которые в одних случаях предвосхищали, в других дополняли его социальные романы. В послевоенные же десятилетия ситуация заметно изменилась. Только социально-бытовой способ видения действительности уже в 50-е годы начал отодвигаться на задний план, и чистые социально-бытовые повести, подобные джонсовскому «Пистолету», перемещались на периферию литературного процесса. Приведем лишь два примера. Первый — небольшой роман (а по сути повесть) Леонарда Гарднера «Город избылия»⁵. Второй — тоже «короткий роман» Патрика Смита «Энджел-Сити, или Ангельский город»⁶. И Гарднер и Смит отталкиваются от опыта американской социально-критической прозы 30-х годов. Гарднеровские безработные Эрни Манджер и Билли Талли, перебивающиеся случайными заработками то на профессиональном ринге, то на полевой работе в поле, словно сошли со страниц калифорнийских повестей Стейнбека. И Смит, подобно Гарднеру, совершенно явно ориентируется на Стейнбека, на его «Гроздья гнева», впрочем, несколько видоизменяя тему: действие его повести происходит во Флориде в начале 70-х годов. Обе повести прошли в США почти незамеченными, потонув в море текущей

прозы. В чем же причина? В том ли, что прозаики обратились к устаревшей и «отработанной» (тем же Стейнбеком) тематике? Вряд ли. Ведь то, о чем рассказывают Гарднер и Смит, это вполне правдивое изображение американской действительности (в послесловии к повести П. Смита известный американский публицист Майк Дэвидов свидетельствует, что писатель запечатлел «горькую правду жизни»). Но тут-то и встает вопрос: а достаточно ли этой правды? Только социологического угла зрения, под которым Гарднер и Смит рассматривают современную Америку? Ответ возникает однозначный: недостаточно. Повестям определенно недостает глубины художественного постижения жизни, которая показана у обоих писателей лишь в своих внешних проявлениях, с почти натуралистическим фактографизмом. Так, как, скажем, в этом эпизоде из «Города избылия»: «Теплыми летними вечерами сотни поденщиков и безработных слонялись вдоль улиц Эльдорадо и Сентер-стрит от судоходного канала до Мормонского болота. Они болтали, глазели по сторонам, переполняли бары, игорные дома, бильярдные, винные лавки и кинематографы, перешагивали через струйки мочи, вытекавшие из темных подворотен. В этом районе постоянно развезжали полицейские машины и фургоны... Пронеслись кареты «скорой помощи» с водителями в полицейской форме. Подъезжали пожарные машины, и на мостовую летели промокшие дымящиеся матрасы. Под аккомпанемент крохотных духовых оркестров читали проповеди евангелисты. Время от времени из какой-нибудь гостиницы увозили труп...» Та же поверхностность ощущается и в образах гарднеровских героев. Писатель изображает их всего только как социальные типы, как безликие единицы той общественной группы, к которой они принадлежат. И потому хотя в центре сюжета повести Гарднера оказываются две человеческие судьбы, они полностью растворяются в социальном контексте, куда они вписаны, становятся лишь результирующей приложения внешних сил. То же и у Смита. Его герои не полнокровные человеческие характеры, а какие-то бесцветные, почти схематичные марионетки в масках добряка, страдальца, злодея. Для того чтобы создать картину невзгод бедной американской семьи, писатель форсирует социально-бытовой способ видения жизни, что и делает его повесть далеко не безупречной в художественном отношении: какими бы искренними ни были намерения Смита, желавшего написать правдивую книгу о

⁵ Л. Гарднер. Город избылия. М. «Прогресс». 1972.

⁶ Опубликовано в журнале «Иностранная литература», 1981, № 2.

бедствиях трудовой Америки 70-х годов, все это у него оборачивается лишь живописанием патологической жестокости владельца «Ангельского города» и его прислужников.

Поиски новых средств изображения действительности, которые могли бы обогатить художественную палитру социальной прозы, начались уже в то время, когда социологический угол зрения на реальность давал еще в американской литературе свои плодотворные результаты. Имеются в виду те же 30-е годы, когда писалась повесть Тили Олсен «Йоннондио тридцатых годов». «Йоннондио...» тоже, как и «Город изобилия» и «Энджел-Сити...», поднимает давно, казалось бы, отработанную американскими прозаиками тему: переключка повести Олсен с «Гроздьями гнева» очевидна. В «Йоннондио...» показан фрагмент американской действительности 30-х годов, избрана сугубо частная в историческом масштабе тема: год жизни семьи шахтера Холбрука. Год страданий, болезней и голода, год отчаянных надежд и жестоких разочарований, год изнурительного кочевья по стране в поисках куска хлеба. При этом история семьи Холбруков воспринимается как символ судьбы всего народа, всей бездомной безработной Америки тех лет. В последних строках «Йоннондио...», ставших чем-то вроде авторского послесловия, Олсен пишет о том, что работа над книгой была начата ею и «отложена почти сорок лет назад (повесть увидела свет лишь в 1974 году. — О. А.), и так и не завершена» Но и без этого указания можно безошибочно определить время создания этой повести — 30-е годы. Самое достоверное подтверждение того, что книга написана не по памяти, а с натуры, написана живой свидетельницей. спешившей в отрывочно-репортажных набросках запечатлеть сиюминутную реальность происходящего, — поэтика «Йоннондио...» Поэтика голого факта, социологического документа, столь характерная для американской литературы — и прозы и поэзии — «красного десятилетия». Причем документа, который у Олсен обладает высокой художественной значимостью, что достигается прежде всего умением писательницы поднять «грубую прозу» факта до уровня высокой лирики. Такого редкого слияния социально-критического пафоса с проникновенным лиризмом писательница добилась с помощью счастливо найденного приема, так сказать, двойного видения, где тесно сплелись два плана воссоздания мира — с социально-аналитической точки зрения, принадлежащей не-

видимому рассказчику, и с лирической точки зрения шестилетней Мейзи Холбрук. Этим совмещением двух точек зрения Олсен достигает почти стереоскопического эффекта в изображении действительности. Писательница показывает, что помимо внешней жизни, насыщенной драматическими социальными коллизиями, у человека есть и иная, внутренняя жизнь его личности, которая не менее сложна и противоречива, чем жизнь внешняя. И не случайно задача выразить эту глубинно-личностную сторону человеческого бытия Олсен возлагает на ребенка: маленькая Мейзи еще не погрузилась полностью, как ее отец и мать, во внешнюю жизнь, не подчинилась ей целиком. Потому даже в условиях тягчайших жизненных испытаний, когда, как кажется взрослым Холбрукам, все катастрофически рушится и нет возможности противостоять все новым и новым несчастьям, остается непоколебимым потаенный мир девочки с присущей ему психологией удивления — взгляд, которому жизнь даже в самых кризисных и безнадежных ситуациях представляется многообещающе прекрасной.

Написанная почти полвека назад, повесть Олсен читается сегодня как вполне современное произведение. Почему? Думается, не только из-за переключки эпох — 30-х и 70-х годов, — о чем пишет в предисловии к сборнику американских повестей А. Зверев. Современное звучание повести Олсен как художественного произведения во многом результат предпринятого писательницей уклонения, углубления приемов художественного постижения бытия. Стейнбековская тема прозвучала у Олсен неожиданно и по-новому (чего не скажешь о повестях Гарднера и Смита) главным образом потому, что традиционное для литературы 30-х годов социально-аналитическое изображение действительности соединилось в «Йоннондио...» с тонким психологическим анализом романного масштаба.

Тенденция к синтезу социального и психологического анализа, углублению социального анализа психологическим, которая намечается в повести 30-х годов (в частности, под пером Т. Олсен), отчетливо проявляется на рубеже 40—50-х годов. В этом смысле показательно, например, творчество Стейнбека второй половины 40-х годов. Писатель одновременно выпускает два совершенно различных с точки зрения способа видения действительности произведения: короткую повесть-притчу «Жемчужина», где с почти схематической четкостью выделен социальный конфликт, и большую повесть

«Заблудившийся автобус»⁷, где социальный конфликт приглушен, почти незаметен вследствие выдвигания на передний план этической проблематики, исследуемой писателем в сугубо психологическом ключе. Заметим попутно, что приблизительно в это же время работает над первой в послевоенной литературе США социально-психологической повестью Дж. Д. Сэлинджер (речь идет о книге «Над пропастью во ржи», к которой мы еще вернемся).

Проводить прямые параллели между литературой и тем, что Ю. Тынянов называл соседними с литературой рядами (социальными, бытовыми), — рискованное занятие, всегда таящее в себе опасность нарисовать чересчур упрощенную и обедненную картину литературного развития. Однако в нашем случае есть все основания полагать, что в числе главных причин наблюдаемого в послевоенной американской повести (и не только повести) изменения в способах видения действительности оказываются глубокие сдвиги в жизни американского общества. Уже на рубеже 40—50-х годов, а особенно в 50-е годы, американские социологи с тревогой заговорили о кризисе национального духа, о кризисе духовного и нравственного самосознания личности — кризисе, ставшем специфическим отражением тех социальных и психологических потрясений, которые страна переживала в эпоху «холодной войны» и маккартизма. Именно тогда, в 50-е годы, с особой остротой встала проблема, которой потом, в 60-е и 70-е годы, суждено было оказаться едва ли не основным феноменом духовной жизни Америки, — проблема отчуждения личности: человек переставал ощущать свою ценность, свою нужность в условиях новой социальной организации, сложившейся в США к середине 50-х годов и получившей имя «массовое общество». И еще — «толпа одиноких». Эти перемены в социально-психологическом климате безошибочно фиксировал литературный барометр. Вот достаточно авторитетное свидетельство известного американского критика Ихаба Хассана: «Отличительная особенность послевоенной действительности заключалась в торжестве разрушительного, хаотического начала... Подтекстом современной жизни по-прежнему оставалась война в ее «холодной» или «горячей» разновидности, влекущая за собой разгул бессмысленного насилия, отчуждения и дегуманизацию человека... Отклик литературы США на послево-

енную действительность сопровождался протестом против ужесточения социальной и культурной регламентации... новая литература целиком сосредоточилась вокруг исследования человеческого «я», инстинктивных, глубоко личных движений человеческой психики».

Исследователи давно подметили, что для американского социального романа первой трети нашего столетия типичен образ человека, ведущего борьбу за то, чтобы либо продвинуться на более высокую ступеньку на лестнице общественной иерархии, либо не скатиться с той ступеньки, на которой он с трудом удерживается. В послевоенную же эпоху наблюдается совсем иная, почти противоположная картина. Герой уже обеспокоен не столько своим социальным статусом, сколько своим духовным самочувствием. Он сосредоточивает все свои помыслы на самом себе, на тех проблемах, которые прямо касаются его личности. А это прежде всего проблемы психологического и этического порядка. И взаимоотношения романного героя с обществом приобретают характер не столько социально-экономический, сколько нравственный по преимуществу.

То же наблюдается и в американской повести, где как в миниатюре отражается трансформация романного жанра.

Сразу же бросается в глаза: в целом американская послевоенная повесть все более персонализируется, усиливая акцент на изображение отдельной индивидуальности — как личности, обладающей своим неповторимо сложным и противоречивым внутренним миром. Происходит в известном смысле сужение ракурса видения действительности, отход от экстенсивного — насколько это позволяет делать жанр повести — показа социальных конфликтов к исследованию более частных, личностных проблем, что идет по пути интенсификации психологизма. Именно этим объясняется тот очевидный факт, что в последние два-три десятилетия в американской прозе наблюдается расцвет психологической повести, ставшей магистральным направлением развития жанра.

Тут четко обозначаются две главные жанровые разновидности. Психологическая повесть может оберегать свою жанровую чистоту (что, впрочем, случается довольно редко). В этом случае герой повести как бы десоциализируется, выключается из системы многообразных связей с обществом и остается наедине с самим собой. Что, разумеется, не означает, будто писатель вовсе игнорирует социальное измерение

⁷ Обычно это произведение называют романом, но, думается, в жанровом отношении это скорее повесть.

жизни своего персонажа. Это измерение присутствует — даже в такой, казалось бы, камерной вещи, как «Ферма» Джона Апдайка³, — но присутствует неявно, опосредованно, как бы в подтексте тех психологических коллизий, которые мучительно переживает апдайковский Джой. Повторим еще раз: повесть — синекдоха романа, и в «Ферме» обнажена, выдвинута та психологическая драма, которая в романах Апдайка («Кролик, беги», «Давай поженимся», «Супружеские пары») включена в более широкий, нежели это показано в небольшой «Ферме», контекст — социальный.

Но чаще современная психологическая повесть вбирает в свою жанровую орбиту граничащую с ней социально-бытовую повесть, сливаясь с ней воедино. В этом плане показателен творческий опыт Джеймса Болдуина, еще в начале 50-х годов активно выступившего против резко выраженного социализма негритянской литературы 30—40-х годов, воплощением которого молодой прозаик объявил творчество Ричарда Райта. Болдуин был первым писателем-негром, исследовавшим традиционные для прозы черных американцев расовые проблемы в психологическом аспекте. С этой точки зрения особый интерес представляет повесть «Если Бийл-стрит могла бы заговорить». Как и в «Автобиографии мисс Джейн Питтман», повесть Болдуина — рассказываемая история жизни, лирическая история жизни-любви негритянского юноши и негритянской девушки. Но в отличие от повести Гейнса социальная проблематика здесь не столь четко обозначена: социальный способ видения у Болдуина играет скорее подчиненную роль. На первый же план выдвигаются психологические проблемы существования двух любящих во враждебном им мире, с которым они вступают в открытую борьбу. И борьба эта носит почти исключительно психологический характер (хотя, разумеется, Болдуин ясно показывает и социальные истоки этой борьбы); идет борьба двух молодых людей не за кусок хлеба, а за право любить. А по сути — за право быть самим собой, быть личностью, утвердить себя как личность, несмотря ни на что.

Эта борьба за суверенность личности является, пожалуй, одной из наиболее характерных наиболее острых проблем американской действительности последних десятилетий. И потому, видимо, она выдвигается в качестве доминирующей темы в американской повести 50—70-х годов. Борьба

личности за свое самоопределение, за свою не столько, может быть, социальную, сколько экзистенциальную свободу движет стайроновским Маниксом и болдуиновскими Фонни и Тиш, героем Херси и даже джонсовским Мاستом, для которого обладание пистолетом становится символом его победы — победы его личности — над окружающими.

Психологический конфликт с обществом, психологическая несовместимость с обществом, война, объявленная обществу личностью, лежит в основе повестей «Завтрак у Тиффани» Трумена Капоте и «Блага земные» Энн Тайлер. Эти книги разделяет почти двадцатилетие: первая вышла в конце 50-х, вторая — в конце 70-х годов. Но обе они так похожи, что даже создается впечатление, будто они были написаны чуть ли не одновременно. И обе они, может быть, не были бы созданы или были бы созданы совсем по-другому, не напиши Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» — повесть, открывшую целую эпоху в развитии современной американской прозы.

Они очень близки друг другу, эти три книги, и роднит их общая генеалогия: «Над пропастью во ржи», «Завтрак у Тиффани» и «Блага земные» — три ветви одного древа, выросшего из семени «Приключения Гекльберри Финна», книги, о которой Хемингуэй сказал, что из нее вышла вся американская литература. Может быть, это и преувеличение, но факт то, что роман Марка Твена создал ставший архетипическим для американской прозы образ героя-путешественника, героя-беглеца, отвергнувшего душный маленький мирок ради Большой Дороги жизни. Таковы Холден Колфилд у Сэлинджера, Холли Голайтли у Капоте, Шарлотта Эмори у Тайлер. Все трое, подобно Геку Финну, их литературному пращуру, пытаются найти путь, который принесет им духовную свободу, выведет в огромный мир, не тронутый беспощадно-циничным и всеразрушающим буржуазным социумом.

К этому мотиву бегства от несовершенного общества, где человеку неуютно и тесно, Капоте обратился впервые в повести «Голоса травы», написанной за несколько лет до «Завтрака у Тиффани». Там этот мотив обнажен, выдвинут. Сюжет имеет почти условно-аллегорический характер: пятеро жителей провинциального городка уходят в лес... и поселяются на ветвях старого платана. Мотив ухода обретает едва ли не гротескные очертания: так подчеркнута наивная простота разрешения жи-

³ Опубликована в журнале «Иностранная литература», 1967, № 4.

тейских проблем. Этот неожиданный и во многом фантастический жест оборачивается поражением: беглецы Капоте вновь приходят к тому, от чего пытались спастись в своей лесной коммуне. Возвращение домой — неизбежный финал, последнее слово остается за жизнью, с неумолимой безжалостностью сокрушающей мечту. В ином, более жизнеподобном, что ли, плане, но, в общем-то, по тому же рисунку строится «Завтрак у Тиффани», где мотив бегства не столь явно лежит на поверхности, не столь гротескно проявляется. Это уже не обратившаяся в реальность мечта, но так и не осуществившаяся мечта, ставшая единственным помыслом, единственной нравственно-психологической опорой Холли Голайтли в прозаически-скучном мире. В «Завтраке...» повторяется почти та же, что и у Сэлинджера, картина, рисуется та же психологическая коллизия. Неприкаязность Холли, мечущейся по жизни в поисках укромного уголка, где можно было бы наконец обрести душевное отдохновение, сродни духовному бродяжничеству Холдена Колфида, мечтающего уйти от ненавистного «дурацкого мира» и «найти спокойное, тихое место» — например, «построить хижину в лесу» и остаться там навсегда. Для Холли такой несбывшейся, да и несбыточной грезой становится желание купить заброшенное ранчо в Мексике, где можно будет, забыв обо всем, разводить диких лошадей... Но мечте, о практическом осуществлении которой поведал когда-то Генри Торо в своем знаменитом «Уолдене», в сегодняшней Америке суждено оставаться только прекраснодушной утопией. И потому Холли обречена на нескончаемые скитания...

От психологической повести Сэлинджера, от повестей Капоте тянется прямая ниточка к книге Тайлер. Как Холден Колфилд, как Холли Голайтли, Шарлотта Эмори мучительно переживает свое заточение в повседневности. Она узница родного дома, пленница семейного очага. И эта личная несвобода настолько невыносима для Шарлотты, что у нее не хватает даже душевных сил построить себе какой-то воздушный замок, изобрести свою сказочную страну. У Гека Финна была индейская территория, у Холдена Колфида — хижина в лесу, у Холли Голайтли — мексиканское ранчо. У Шарлотты ничего нет. Поэтому она готова уйти куда угодно. И она — уходит. Но уход Шарлотты — это бег по кругу. Дорога, на которой она оказывается, приводит ее обратно к дому, к «благам земным», от которых Шарлотта твёрдо пытается освобо-

диться. Кстати, о названии повести. В оригинале имеется в виду не столько «блага» (как, вложив очень уместный в данном случае иронический оттенок, перевела Ф. Лурье), сколько однозначное и юридически сухое «имущество», «собственность». Словом, вещи. От этих вещей и бежит Шарлотта, жаждущая сбросить с себя ярмо собственности.

Поэтику этой повести, написанной рукой умелого мастера, отличает глубокий и в то же время тонкий, чеховский символизм бытовой детали, в котором проявляется характерная для жанра повести синекдохичность. Вот один пример. Шарлотта рассказывает о своей семье и роняет как бы ненароком: мать всегда безвыходно «сидела дома... и мастерила разные разности: подушечки для булавок, крышечки для корбков с салфетками, гигиенические пакеты, кукол для комода (разрядка моя.— О. А.)». Казалось бы, случайная деталь, о которой сообщается между прочим. Но вот в конце книги она вновь появляется. Теперь Шарлотта ведет рассказ о Лайнусе Эмори, брате ее мужа, поселившемся у нее в доме. Лайнус день-деньской мастерит кукольную мебель. «...на каждом столе стояли другие столики высотой в два дюйма. А также серванты, буфеты и комоды обитые бархатом диваны...» И еще через несколько десятков страниц: «...Лайнус перестал мастерить кукольную мебель и переключился на самих кукол (разрядка моя.— О. А.)... У каждой куклы своя внешность, свой цвет волос, своя одежда, но лица у всех удивленные, словно они никак не могут понять, каким это образом они здесь очутились». Едва заметная деталь разрастается до всеобъемлющего символа: куклы с недоумевающими личиками, затерянные среди бесчисленных, громоздящихся друг на друга кукольных вещей,— ведь это миниатюрное изображение семьи Шарлотты, их мирка «земных благ». В этой книге повторяется та же безысходная в своей сущности ситуация, что и в «Голосах травы» Капоте: там мечта о бегстве выразилась в наивно-отчаянном поступке пяти чудачков, здесь — в покорном согласии Шарлотты бежать вместе с молодым грабителем, который похитил ее как заложницу. И в обоих случаях, когда мечта уже, казалось бы, реализована, она подвергается суровой жизненной проверке, и выясняется, что эта мечта — всего только пустая иллюзия, самообман. И тогда, конечно, ничего не остается делать, как спуститься с дерева и брести обратно. Отступить, вытравить в себе мечту. Сдаться

на милость «благам земным», вернувшись к привычному благополучию земного (то бишь приземленного) существования.

Повести, на которых мы остановили свое внимание, написаны в разное время. Они принадлежат перу писателей, значительно отстоящих друг от друга и в идейном и в художественном плане. Но при всем своем несходстве эти повести образуют некий собирательный портрет жанра на нынешнем этапе его эволюции. Правда, то, что получилось у нас здесь, это скорее не портрет, а набросок, эскиз: ведь мы сознательно обратились лишь к тем произведениям, с которыми в течение последних нескольких лет сумел познакомиться русский читатель. Но даже и этот эскиз, думается, дает, пусть даже отчасти и схематичное, представление о богатых творческих возможностях современной американской повести, о путях ее развития.

Известно: жанр — устойчивый феномен. Литературоведы говорят о «памяти жанра», об инерции жанровых структур. Но жанр и динамичен. Он находится в состоянии вечного становления. И залогом его вечного становления, его постоянного движения вперед, обновления и модификации является динамика самой жизни, которую жанр и отражает в себе и на которую он постоянно реагирует: происходит как бы адаптация жанра к жизни.

Повесть в этом смысле — жанр, обладающий чрезвычайно высокой подвижностью, эластичностью, что позволяет ей не только быстро, оперативно откликаться на новейшие явления и тенденции в общественной

жизни, но и, сосредоточиваясь на этих явлениях и этих тенденциях, высвечивать и укрупнять их. Кроме того, с эластичностью повести связана и другая особенность жанра: повесть является как бы испытательным полигоном, где писатель экспериментирует с не опробованными еще способами художественного постижения действительности. История послевоенной повести США (жанра, повторим, в американской литературе далеко не магистрального, но по-своему существенного) — это наглядное свидетельство того, какие сдвиги происходили в американской прозе последних трех десятилетий, как прокладывались новые пути освоения жизненного материала, как, наконец, менялся сам этот материал. Не рискуя впасть в преувеличение, скажем, что основное своеобразие американской повести 50—70-х годов в том, что в центр проблематики жанра ставится личность со всеми ее драматическими противоречиями и метаниями и нередко душевными катастрофами. Повесть приобрела характер центристский и, как ни парадоксально, романский. Не в том смысле, что она достигла романной масштабности видения, но в том, что все чаще пытается проникать в глубинные пласты человеческого сознания, обнажать механизмы социального поведения личности. А это, бесспорно, задача романа. И становится отчасти ясно, почему в современной прозе США повесть и роман почти что неразличимы как жанры: они идут сегодня в одном фарватере, объединенными усилиями стремясь исследовать животрепещущие проблемы психологического, духовного бытия американского общества.

Ю. ТРИФОНОВ



КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ...

Публикуемые ниже материалы Ю. В. Трифонова были получены редакцией журнала незадолго до смерти писателя.

Начиная с романа «Студенты» (1950), Ю. Трифонов был постоянным автором «Нового мира». В журнале печатались его роман «Нетерпение», повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», рассказы, статьи, рецензии.

Диалог между Ю. Трифоновым и Л. Аннинским (записанный Григорием Цитриняком) посвящен актуальным проблемам сегодняшнего литературного процесса, особенностям художественной природы творчества, принципам современной критики. Диалог сохраняет и доносит непосредственность живой интонации писателя.

Вторая статья продолжает разговор о Ф. М. Достоевском, начатый прозаиками А. Агамовичем и Д. Граниным, чьи статьи были напечатаны в прошлом номере «Нового мира».

I

ДИАЛОГ С Л. АННИНСКИМ О СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКЕ

Ю. Трифонов. Недавно я встретил знакомого литератора и спросил: «О чем пишете новый роман?» «О защите природы». Мне это показалось смешным. Любовь к природе превратилась в какой-то фетиш.

Л. Аннинский. Немножко неожиданное начало. Мне кажется, природа никогда не была для вас предметом специального интереса. А что вас тут смущает?

Ю. Трифонов. Понимаете, такие вопросы находятся не столько в ведомстве литературы и искусства, сколько — государственных органов. Ну не стали бы Толстой или Достоевский писать об этом художественное произведение. Между прочим, все не так безобидно, как кажется на первый взгляд, и оборачивается тем, что на второй план отходит главный герой литературы — человек. Дальше — больше: кое-кто

уже считает, что и нравственность надо выводить из природы. Я вам, проще, передам один разговор. Речь зашла о нравственности — тоже модной сейчас теме, — и собеседник мой сказал: «Природа ведь не знает нравственности. Почему мы должны быть исключением? Вот волк поедает козленка — это нравственно или безнравственно?» — и посмотрел на меня победоносно.

Л. Аннинский. Он абсолютно прав.

Ю. Трифонов. Прав? Замечательно! Но человек тем и отличается от волка, что несет в себе начало, которого природа не знает: совесть.

Л. Аннинский. Тем не менее, Юрий Валентинович, реальность — вещь жестокая.

Ю. Трифонов. Так вот, совесть, Лев Александрович, существует, чтобы в этой реальности человек оставался человеком.

Л. Аннинский. Остается маленькая подробность: откуда человек возьмет совесть и вообще откуда она берется в этой реальности? Но давайте держаться побли

же к сегодняшней литературе. Возьмем трех писателей: Шукшина, Распутина и Трифонова. Совершенно очевидно, что у Шукшина и Распутина природа, как философия, играет большую роль, чем у вас, и для них имеет смысл тот вопрос, который вам кажется абсурдным.

Ю. Трифонов. Но главным у Распутина и Шукшина остается все-таки человек. Для них человек — имя существительное, поэтому я их считаю настоящими писателями.

Л. Аннинский. Ваша реакция закономерна: для вас природное начало в человеке безусловно отрицательно. Вот вы наблюдаете как женщина ревнует — это в «Другой жизни», — и из-под красоты человеческой у вас мгновенно вылезает злобная зверюшка, которая только и ждет своего часа, чтобы укусить соперницу. Вы недоверчивы к природе.

Ю. Трифонов. Нет, просто я не желаю природу боготворить. Я не хочу считать, что в природе все благо, все прекрасно. А, скажем, раковые клетки — не природа? А тайфуны, землетрясения, лесные пожары, смертоносная жара? А крысы, москиты, грызуны, скорпионы, ядовитые змеи, мухи це-це — не природа? Ведь природа не только березка у пруда. В ней много гадости и много страшного. И я повторяю старую истину о том, что человек — это царь природы...

Л. Аннинский. Выходит, прав был ваш собеседник, смотревший победоносно? Так кто ж человек в природе? Царь? Значит, владыка? Значит, насильник?

Ю. Трифонов. Царь в смысле метафорическом. Он венец природы и действительно мера всех вещей. А некоторые писатели стали вдруг мерить человека природой — сосной, волком, собакой. Я ведь природу тоже не отбрасываю. Я ее люблю, но не делаю из нее фетиша. Естественно, не делают этого и мои герои.

Л. Аннинский. В том-то и дело, что ваш герой внутренне разорван и противоречив, и вы это состояние считаете непоправимым. А «деревенщики» (да простят они мне это слово) пытаются найти в человеке связь и цельность. Именно в этом дело, а не в соснах, в которых иные жаждут заблудиться. Вопрос не в количестве собак и сосен, а в концепции человека, развиваемой этими писателями.

Ю. Трифонов. Мой герой так же разорван и противоречив, как разорваны и противоречивы мы с вами, как разорван и противоречив каждый человек, в том числе деревенский. Идеального человека искать не надо — это бессмысленно, но на-

до искать идеальное в человеке. Шукшин писал о деревне, потому что сельскую жизнь знал лучше. Я пишу о городе, потому что лучше знаю город. Но это не значит, что мы должны заниматься социологией. Русская литература в ее лучших образцах — литература мысли, духа, исследующая характер человека; если хотите, городского. Городской человек более сложен, гораздо больше магнитов его разрывает.

Л. Аннинский. Почему же это он более сложен?

Ю. Трифонов. Потому что больше людей его окружает. Люди и есть то, что разрывает человека.

Л. Аннинский. Думать, что городской человек более сложен, — это чудовищная иллюзия, за которую нам уже приходилось и еще придется расплачиваться. Городской человек не более сложен, а более умело рассуждает о сложности. Но я понимаю вашу логику: вы в городе не видите цельного и естественного человека и не верите в его существование. Я не думаю, что такого человека намного легче найти в деревне; повторяю: это тоже иллюзия, в ином деревенском человеке не меньше лжи и лукавства. Но если решает не «прописка», а сфера духа, то у «деревенщиков» эта жажда найти человека естественно доброго, естественно красивого — святая жажда. Вы такого человека не находите, потому что ваш герой погружен в городскую текучку. Недаром нашлись критики, которые записали вас в певцы быта...

Ю. Трифонов. Знаете, мне надоело разъяснять свою точку зрения на этот вопрос, поэтому буду говорить резче, чем обычно. Никакой бытовой литературы не существует. Писатели разделяются не по тематике, а по уровню возможностей. Мне иные «деревенщики» ближе, чем иные городские писатели. Бессмысленное понятие «быт», не существующее, кстати, ни в одном языке, кроме русского, запутывает дело и втягивает в себя, как в бездонную воронку, все стороны и проявления человеческой жизни. Я пишу о смерти («Обмен») — мне говорят, что я пишу о быте; я пишу о любви («Долгое прощание») — говорят, что тоже о быте; я пишу о распаде семьи («Предварительные итоги») — опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем («Другая жизнь») — вновь говорят про быт. Я думаю, это вот отчего: разучились читать книги. Я имею в виду критиков. Они разучились. Не все, конечно, но многие. А бесконечно раздутое целюфановое понятие «быт» — удобный ме-

шок, куда можно бросать все, что не нужно, в чем ты не разобрался, и всякого рода объедки от литературных пиров.

Л. Аннинский. Ну, я за других критиков не ответчик и вспомнил о них кстати. Однако сказать «я пишу о любви», «я пишу о смерти» — значит, почти ничего не сказать: тут уж такие необъятные «мешки», где что угодно затеряется. Толстой пишет о смерти и Чехов о смерти, однако «Смерть чиновника» и «Смерть Ивана Ильича» — вещи слишком разные. Вопрос в том, кто умирает, как умирает... Русская литература искала человека, который стоял бы обеими ногами на земле и кормил всех остальных.

Ю. Трифонов. «Кормил!» Не задача литературы — кормить. Забота экономики, как сажать — квадратно-гнездовым способом или иначе. И эта невероятная вдруг любовь к природе...

Л. Аннинский. Да что ж она вдруг стала для вас опасностью? Чего тут бояться? Впрочем, понимаю: когда вы ищете разрешения нравственных вопросов, то действительно боитесь природного начала. Вы стоите на городской почве, а это значит — иной почвы не чувствуете.

Ю. Трифонов. Я просто ощущаю природу города, она тоже существует. И город — лес, понимаете? В нем есть свои деревья, ущелья, овраги, ямы — что хотите. Но при чем здесь волки и овцы?

Л. Аннинский. При том, что природа, как мы выяснили вообще, сама по себе нравственности не знает.

Ю. Трифонов. Это касается только природы. И оставим это природе.

Л. Аннинский. Как «оставим»? Человек — существо природное. Допустим, он вносит в природу нравственность. Но кормиться-то люди все равно должны, никуда не денешься.

Ю. Трифонов. Нет, человек вносит нравственность только в общество себе подобных. Природа же была, есть и будет равнодушной, как гениально определил Пушкин.

Л. Аннинский. Хорошо, оставим этот вопрос, мы его тут не решим. Я вам задам другой: каким видите вы, русский писатель, человека ближайшего времени? Нормального человека, среднестатистического, так сказать?

Ю. Трифонов. Это человек, живущий по совести, если употреблять старое русское слово. Будет ли он работать на земле, будет ли работать в городе — где-то в конторе, — но он должен жить по совести. Это будет его отличать от волка.

Л. Аннинский. Всю жизнь слышу «живи по совести», причем от людей, имеющих в виду прямо противоположные вещи. Иногда кажется, что мы с помощью совести хотим восполнить прорехи в «закономерности» и «законности». Особенно пикантно это соединение совести с «конторой». Некоторые «конторы» мы знаем по фельетонам. И по практике, впрочем. Интересно, как это жить по совести, работая в таких одиозных «конторах»?

Ю. Трифонов. Наверно, трудно. Но надо иметь по совести отношения с сослуживцами, с начальством, со своим делом — вот вам и работа по совести. Та же самая «контора» есть и на селе. Как вы представляете себе — крестьянин прямо на грядках, что ли, сидит?

Л. Аннинский. Но урожай-то растет на грядках, а не в конторах! И что же — дальше того, что надо жить по совести, вы ничего и не скажете читателю?

Ю. Трифонов. Нет, скажу...

Л. Аннинский. Вот и скажите Лукьяновым и Дмитриевым: живите, братцы, по совести! — а они услышат разное и сделают по совести разное. Не верю я в эти призывы.

Ю. Трифонов. А вы верьте только в то, что они реальны. Вы верите, что Лукьяновы и Дмитриевы существуют в жизни?

Л. Аннинский. Конечно.

Ю. Трифонов. Вот чего я и добивался.

Л. Аннинский. Но у вас есть идея и помимо этого: вы считаете, что Лукьяновы виноваты перед Дмитриевыми.

Ю. Трифонов. Я этого не утверждаю. Нет, тут мы возвращаемся к вашей статье, с которой я и десять лет назад не был согласен. Я ничего подобного не писал — вы просто прочли собственные мысли. Так вот и написали бы книгу сами!

Л. Аннинский. Я и написал — в своем жанре. А что до мысли, то внутри вашего текста все это было.

Ю. Трифонов. Да не было! Вы сделали вид, что я Дмитриевых боготворю, а я над ними иронизирую.

Л. Аннинский. Иронизируете, конечно. Как и над остальными. Но лучше Ксении Федоровны там для вас никого нет. Вы Дмитриевых любите, а их противники вам чужие.

Ю. Трифонов. Я люблю людей живых. Если одни получились живые — слава богу. Если другие не получились — значит, моя вина как писателя.

Л. Аннинский. Что значит — «моя вина»? Если вы написали плохо, так я это и читать не стану.

Ю. Трифонов. Но «Обмен» вы прочитали, однако не захотели увидеть то, что как раз написано: Лена обвиняет Дмитриеву, мать мужа, в ханжестве, а та Лену — в мещанстве. Так они же квиты! Почему вы этого не заметили?

Л. Аннинский. Потому что вы все-таки душой были на стороне Дмитриевой.

Ю. Трифонов. Да потому, что она умирает! А остальные остаются жить. Неужели это не ясно? Я же написал слова, я же написал сцену!

Л. Аннинский. Это-то ясно. Неясно другое: дядюшка Веры Лазаревны тоже вроде как умирает, однако ни слов, ни сцены... Он вам не очень важен, он другого типа человек. И потом — кто же читает слова, Юрий Валентинович? Вы пишете за словами реальность, и я на нее реагирую...

Ю. Трифонов. Нет, с вашей стороны была передержка: вы написали о схеме, какую себе замыслили, — их, мол, противопоставляют. Да ничего подобного! Я б сказал, что и те и другие хороши. Понимаете? И те и другие.

Л. Аннинский. Только одних вы при этом оплакивали, говорили, что они жертвы, а других обвиняли в том, что они чуть ли не нравственные палачи.

Ю. Трифонов. Откуда еще взялись «палачи»?

Л. Аннинский. Ну, доводя аналогичные эмоции до предела...

Ю. Трифонов. Не доводите до предела. Это все-таки не азартная игра, а литература. Кстати, почти вся критика обвиняла меня как раз в обратном: в том, что я чересчур бесстрастен, стою в стороне, не выказываю своего отношения к героям. Вот и пойми вас!

Л. Аннинский. Понять просто — если признать право критика на такой обостренный отклик, иначе мы, критики, только и будем повторять то, что писатели уже написали, и все пойдет по кругу.

Ю. Трифонов. Но я просто всегда удивляюсь, как иные критики предварительно составляют себе схему, а потом обрубают произведению руки и ноги и укладывают в прокрустово ложе.

Л. Аннинский. Да хоть бы и так. Оно же напечатано — и гуляет себе с руками и ногами, что вы вополошились? Но, фигурально говоря, я защищаю именно эту точку зрения: что как критик имею право обрубить произведению руки и ноги. И не потому, что я такой садист...

Ю. Трифонов. Я понимаю: у вас есть какая-то идея...

Л. Аннинский. Даже не идея: у меня есть ощущение вашего присутствия в литературе, которое, естественно, не совпадает с вашим внутренним самоощущением. Потому что я-то смотрю со стороны. Я, конечно, читаю и слова, но стараюсь сквозь них увидеть, из какого духовного материала вы строите героев. Слова — не случайность.

Ю. Трифонов. Слова — очень существенно; все-таки фраза состоит из слов.

Л. Аннинский. Фраза — да, но мысль, эмоция — из того, что за словами стоит.

Ю. Трифонов. Из того и другого. Но как же не замечать такие отчетливые, наполненные авторским отношением и чувством сцены, как будто их вовсе не было?

Л. Аннинский. Потому что я опираюсь на те сцены, которые соответствуют моему ощущению.

Ю. Трифонов. А-а-а! А другие выбрасываете? Значит, ваш суд несправедлив.

Л. Аннинский. А зачем мне справедливость? Ее у меня не более, чем у вас, и я также субъективен.

Ю. Трифонов. Тогда это не суд, а, так сказать, самовыражение.

Л. Аннинский. Разумеется. И уж конечно, не суд. И я никакой не судья вам. Мое суждение — это мое самовыражение во взаимодействии с вами как писателем.

Ю. Трифонов. Тогда я, прошу прощения, здесь ни при чем.

Л. Аннинский. Вы и есть ни при чем. Вы написали — дело сделано: ваше детище гуляет само по себе, и мое право с ним взаимодействовать. Потому-то у меня никогда и не получается единодушия с авторами, что они, с моей точки зрения, тут ни при чем. Как и я ни при чем, когда потом кто-то высказывается по моему адресу и уже мне обрубают руки-ноги.

Ю. Трифонов. Но ведь дело критика опираться на текст. А мы должны, так сказать, создавать «фикшн».

Л. Аннинский. Такой «фикшн» все создают — и вы и мы. Вы опираетесь на эмпирику, я опираюсь на ваш текст, но вы тоже используете эмпирику, исходя из ощущения духовного процесса, идущего в жизни. Я же взаимодействую с вашим ощущением духовного процесса. Статьи критиков возникают отнюдь не только из текстов, а еще из очень-очень многого. Что касается той моей статьи в «Доне», которая вызвала ваше недовольство, то я помню, из чего и почему она возникла. Я верил, что кто-то должен в литературе

сделать то, что вы начали делать. Когда появились ваши повести, я ахнул...

Ю. Трифонов. И набросились на меня. А надо было поддержать, если действительно ахнули.

Л. Аннинский. Интересно вы ставите вопрос... А разве я вас не поддержал тем, что «набросился»?

Ю. Трифонов. Вы просто солидаризировались с другими моими критиками — писали то же самое, что они. Правда, с другой стороны, я знаю.

Л. Аннинский. Так эта другая сторона и есть для меня суть дела.

Ю. Трифонов. Но не имеет отношения к моей прозе...

Л. Аннинский. Некоторое имеет — как повод и материал. Мы тут подходим к обсуждению очень горячего сейчас вопроса: что должна делать литературная критика? Эта проблема всегда была болезненной, и в XIX веке тоже, потому что тогда не только писатели, но и критики верили, что критика существует для писателей. Сейчас писатели по-прежнему в это верят, а критики, так сказать, эмансипировались. Критика стала совершенно автономна, и я только тем и живу.

Ю. Трифонов. Но здесь по отношению к писателям есть какая-то безнравственность, если уж хотите точное слово. То есть критик, который хочет утвердить свою автономность и своеобразие, не задумывается над тем, оправедлив его суд или нет. Ему не это важно. Он выдергивает какую-то цитату, что-то подрезает — и самовыражается.

Л. Аннинский. Все верно. Можно обойтись даже и без цитат.

Ю. Трифонов. Вам нужно было доказать, что нельзя противопоставлять мещанство каким-то интеллигентам. Вам показалось, что моя повесть для этого подходит. Тут вы полярно сошлись с критиками, которые меня ругали за то, что я как раз по-настоящему такого противопоставления не показал. А на самом-то деле я написал неоднозначно, как в жизни бывает: я хотел сказать, что в конце концов Лена в чем-то права. И очень многие так считают: «А какая, собственно, она мещанка?» А семью Дмитриевых я написал довольно прямолинейно: действительно в них есть ханжество и действительно эта мать во всем себя считает хорошей — там есть такие фразы, я их подчеркиваю.

Л. Аннинский. Интересно, так ли вы оценивали бы сейчас своих героев, если бы критика не заставила вас с такой остротой

продумать эти аспекты? Но это, как говорится, вопрос для будущих ваших биографов. Я сейчас хочу вот что уточнить: вы говорите, что критик, желая утвердить свою оригинальность, злоупотребляет произведением писателя. Отнюдь. Никакого зла нет — по крайней мере с моей стороны. И нет желания утвердить свою оригинальность за ваш счет. Критик так же высказывается о духовной реальности, как высказался о ней писатель.

Ю. Трифонов. Почему же критик не задумывается над тем, что именно хотел сказать автор? Эта безнравственность дошла до своего апогея, когда один критик начал писать статью о моих вещах, имея перед собой такую схему: Трифонов может писать только о том, что он пережил. Правда, он полностью отменил роман «Нетерпение», поскольку, видимо, догадался, что во времена Желябова я еще не родился. В оценке «Обмена» вы были хоть и несправедливы к каким-то моим послылкам, но на высоте в смысле критической добросовестности.

Л. Аннинский. Благодарю вас. Но ведь добросовестность неотделима от установки. Вы для меня писатель, осмысляющий судьбы интеллигенции. И то, что я в вас не приемлю, я не приемлю и в собственном опыте. А к писателям-деревенщикам — вернемся к началу нашего разговора — я как отношусь? Извне. Вдруг там какое-то опасение есть — вдруг оттуда придет человек, который снимет внутреннюю противоречивость нашего героя?

Ю. Трифонов. Вы знаете: это снимается не в литературе...

Л. Аннинский. А что, по-вашему, русская литература — только литература? Никогда она не была только литературой. И не будет. В том-то ее судьба, что она всегда была и философией, и социологией, и еще много чем. У нас литература всегда была в сем. И вы уж не взъщичте, что написали вроде бы повесть для чтения, а мы ее прочитали не так, как вам бы хотелось. Вы же любите цитировать Герцена: «Мы не врачи, мы боль». Так у меня тоже болит. И я не вижу в этом для вас никакого ущерба. Напротив, многие писатели дорого бы дали, чтобы оказаться в таком положении, как вы.

Ю. Трифонов. Лев Александрович, как вы знаете, я к вам очень хорошо отношусь...

Л. Аннинский. Да, да, со мной все в порядке. Я говорю о нашей позиции вообще, о критике в принципе.

Ю. Трифонов. Если в принципе, то о чувстве меры не грех бы вспомнить. И о совести, я думаю, тоже.

Л. Аннинский. Ну вот, опять о совести... «Чувство меры» — это ощущение закономерности, а совесть безмерна по определению. У нас своя задача и своя одержимость. Так что аптечной справедливости не будет. Иначе нет настоящей критики. Вне одержимости критика служебная. Она неинтересна. Это прекрасно, что ваши вещи так взорвались, что о них столько спорили. Чего ж вам обижаться на критиков? Мы естественный хвост кометы. Есть солнце — светится хвост. Нет солнца — будет сам по себе лететь черный кусок метеорита. И поймите: вы мой писатель и ваши противоречия — мои.

Ю. Трифонов. Должен сказать, что я действительно читаю вас с интересом, потому что всегда нахожу какую-то своеобразную мысль. Но если говорить о критике вообще — если вот честно говорить, — то, видимо, критики и писатели часто существуют автономно.

Л. Аннинский. Двумя руками подписываюсь! Не читайте вы критику, ради бога! А если читаете, читайте, как будто она не про вас. Вы, так сказать, в вашем тексте остаетесь.

Ю. Трифонов. Спасибо. Вы очень добры. Но все же это безнравственность.

Л. Аннинский. Если понимать нравственность прикладным образом — да. С известной точки зрения, безнравственно вообще художественное творчество, ибо оно выволакивает сокровенные вещи на всеобщее обозрение и заставляет обсуждать то, что обсуждать неловко. Есть элемент безнравственности и в том, что я беру ваше детище и с его помощью строю свое. Но вообще это не столько безнравственность, сколько, как говаривали в старину, соблазн, которому мы поддаемся — мы все, кто занимается художественной литературой и ее обсуждением. Это безжалостно. Не безнравственно, а безжалостно. Согласен.

Ю. Трифонов. Это вы соглашаетесь сами с собой.

Л. Аннинский. Пусть так. Безжалостна к себе поэзия, которая публикует интимные признания...

Ю. Трифонов. Поэты безжалостны к себе. Это их право.

Л. Аннинский. И вы, прозаики, не лучше. Прототипом Наташи Ростовской послужила Татьяна Кузминская, сестра жены Льва Николаевича. Да и сама Софья Андреевна. Это все знали. Томас Манн извинялся перед прототипами за то, что не

устоял: соблазн. Лескова убить были готовы за такие вещи! Литература вообще великий соблазн и критика, конечно, тоже. Тем более что я беру не эмпирику, известную нескольким лицам, а ваш текст, который знают миллионы читателей. Еще бы не соблазниться. Но с тем примите, иначе не выйдет ничего. Не сегодня, кстати, оно началось: такой прожигающий анализ, который сквозь текст выходит к проблемам, волнующим общество, — это традиция Белинского. Другой вопрос, что до него не дотянешься...

Ю. Трифонов. Вот тут и выходит: дотянуться до Белинского не удастся, сверхзадача не выполнена, но и простая задача — объективно оценить то, что хотел оказать автор, — тоже в забросе, потому что она, дескать, слишком мелка...

Л. Аннинский. Это уж у кого как...

II

ЗАГАДКА И ПРОВИДЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО

В чем загадка Достоевского? Почему спустя сто лет после смерти он один из самых живых, сильно действующих, необходимых человечеству? Художественная и мыслительная мощь Достоевского не растерялась в десятилетиях, а, наоборот, неуклонно возрастает и крепнет. Его влияние на литературу XX века неоспоримо. И не только на литературу. Это тем более загадочно, что с точки зрения литературной формы Достоевский — писатель неправильный. Живописность, образность, пластика, все то, что в привычном понимании составляет плоть прозы, Достоевского не заботит. Он лишен зуда все непременно с чем-то сравнивать. Метафоры его не интересуют. Он может спокойно написать: «Он покраснел как рак», или «Он покраснел, как пион». Пейзажей в его романах почти нет. Они тормозят действие. Мысли, чувства, идеи извергаются лавой, и нет времени оттапливаться и глядеть на природу. А передавать посредством пейзажа душевное состояние, как учит литературоведение, Достоевскому не нужно — он передает состояние другим способом. Речи героев несуразно длинные. Люди так долго, нудно, страстно, бесконечно не разговаривают. Да и композиция романов какая-то сумбурная, неестественная — отдельные лица выскакивают вначале, потом исчезают; незначительные события занимают много места, значительные — мало. Есть фигуры будто бы

важные, о которых мы не знаем решительно ничего, кроме того, что они исполняют служебную роль — рассказчика. Но ведь так не делается по правилам прозы. Каждая фигура должна быть осязаема. Иначе зачем ее вставлять в сочинение? И на всем печатать неистовой спешки, оттого небрежность, неряшливость, неотделанность. Ну да, он был в долгах, он спешил, ему некогда было шлифовать, оттачивать

И вот оказывается...

Да мы ничего этого просто не замечаем! Никаких «покраснел как рак», никаких неестественностей! Потому что он захватывает главным — обнажает перед нами внутреннюю суть людей. А ведь нет ничего интересней, как заглядывать внутрь других и себя. Он описывает то, что наименее доступно описанию, — характеры. И для этих описаний — я бы назвал их психологическими пейзажами или пейзажами души — не жалеет ни красок, ни подробностей, ни зоркости, ни многих, многих страниц. Исследуя характеры, Достоевский исследует все стороны человеческого бытия. Все тайное и запертое отмыкается этим ключом. Такая работа требует глубокого погружения. Магма характеров находится в недрах, под великою толщей — ее надо прорыть, прогрызть. Мы, обыкновенные сочинители, находимся на поверхности, где пейзажи, а лазерный луч Достоевского проникает вглубь. Перед началом работы над романом «Бесы» — книгой политической и полемической, требовавшей, вероятно, в первую очередь социального анализа, — Достоевский написал в черновике чуть ли не первую фразу: «NB. Все дело в характерах».

Для раскрытия характеров Достоевский ставит героев в ситуации, которые теперь принято называть экстремальными. Но в наше время, когда это понятие возникло и стало излюбленным у критиков, оно связано с войной, тайгой, пустыней, кораблекрушениями, прорывом дамбы и прочим в этом роде. Связано с тем, что требует физической смелости и спортивной закалки. Достоевского интересуют экстремальные ситуации духа. Человек мучается, приходит в отчаянье, решается на безумные поступки каждую минуту, ибо все это происходит в глубине сознания, чего мы не замечаем, а он — видит. В экстремальной ситуации находится Раскольников, убивший двух людей, но в экстремальной ситуации находится и Макар Девушкин, терзающийся от собственного ничтожества, и Степан Трофимович Верховенский, который никого не убивал, живет в достатке, но он прижи-

вал, неудачник, вынужден терпеть сумасбродную любовь генеральши Ставрогиной, и это делает жизнь невыносимой. Недаром он говорит: «Я человек, припертый к стене!» Для Достоевского жизнь — экстремальная ситуация.

И есть еще феномен, делающий книги Достоевского столь читаемыми сегодня — для тех, кто еще не научился читать. Многие научились, сидя у телевизоров. Достоевский — отгадчик будущего. Правда его отгадок становится ясна не сразу. Проходят десятилетия, вот уже минул век — и, как на фотобумаге, под воздействием бесконечно медленного проявителя (проявителем служит время) проступают знаки и письма, понятные миру. Книги Достоевского подлинно «имеют свою судьбу», которая сложна, болезненна, противоречива, конца ей не видно. Эти сети закинута далеко вперед, в пока еще неведомые пространства. О книгах Достоевского сначала судили грубо, потом страстно, потом на них взглянули другими глазами. Человечество погрузилось в апокалипсические испытания XX века и измученным зрением все оценивало по-новому. Особенно поразительна в этом смысле судьба романа «Бесы». Современники, даже наиболее проницательные, не оценили «Бесов» по-настоящему. Левый лагерь категорически признал книгу антиреволюционной, хотя она была антипсевдореволюционной. Русский жобинец Ткачев в статье «Больные люди» яростно клочотал против Достоевского, но не смел коснуться двух главных болевых точек романа — убийства Шатова и идей Шигалева — Верховенского, ибо то и другое Достоевский взял из реальной жизни и назвать то и другое плодом воображения больного человека было никак уж нельзя. Не понял истинного значения «Бесов» и представители художественной элиты и правого лагеря — первые видели в романе недостаток художественности, вторые поднимали его на щит все за ту же антиреволюционность. У Шопенгауэра есть размышление о природе таланта и гения. Талант, считает философ, попадает в цели, в которые обычные люди попасть не могут, а гений попадает в цели, которых обычные люди не видят. Так вот: книга, написанная впопыхах, по жгучим следам событий, почти пародия, почти фельетон, превратилась под воздействием «проявителя» в книгу пророческую. Как это случилось?

Больше ста лет назад, в ноябре 1869 года, в Москве в Петровском парке произошло убийство мало кому известного молодого человека, студента Иванова. Убивали

впятером: двое заманили в безлюдное место, затолкали в грот, трое набросились, один держал за руки, другой душил, третий выстрелил в голову. Иванов укусил стрелявшего за палец. Тело убитого бросили в пруд. Через четыре дня его обнаружила полиция.

Убийство студента Иванова, ничем не примечательное, гнусное — впятером на одного! — стало, однако, одним из самых заметных событий прошлого века, а тень от него перекинулась на век нынешний. И кто знает, куда потянется дальше. Для русской истории это убийство не менее роковое, чем, скажем, убийство народовольцами царя Александра II. Дело не в том, что Достоевский взял этот сюжет для романа «Бесы» и тем обессмертил убийц и жертву, а в том, что убийство в Петровском парке обозначило движение, которое по имени главного убийцы — Нечаева (того, кто прострелил Иванову голову) — получило название нечаевщины, переполошило Россию, жандармов, либералов, революционеров, померещилось фантастической и страховидной ерундой, обреченной на гибель.

Сергей Нечаев, сын сельского священника, учитель закона божия из провинции, желчный, болезненного вида юноша, страдавший тиком лица, приобрел с годами — так же как его ненавистливый жизнеописатель — все большую славу. Как два вечных супротивника, как Христос и антихрист, они не могли теперь существовать друг без друга и в каждом новом поколении находили себе адептов: у Достоевского их было неизмеримо больше, но адепты Нечаева ничтожною горсткой умели приводить мир в содрогание.

Так, в 1871 году содрогнулась Россия, когда судили нечаевцев (сам Нечаев ускользнул от суда в Европу и был судим несколько лет спустя), и в газете «Правительственный вестник» появилось в качестве документа, приобщенного к делу, злоещее сочинение: «Катехизис революционера». Долгое время авторство приписывалось Бакунину, с которым Нечаев сошелся в Европе и сумел ему понравиться, но в последнее время ученые склонны обелять знаменитого «апостола анархии» и прямо называют творцом «Катехизиса...» Нечаева. Вот некоторые цитаты из этого труда:

«1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.

2. Он... разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира.

3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — разрушения. Для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и ношно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя...

4. Он презирает общественное мнение. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему...

6. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою, холодной страстью революционного дела...»

Далее подробно: как следует организовать тайные кружки, как вербовать членов, как коноспиривать, как и под каким видом проникать во все слои общества, как добывать денежные средства и прочее. Особенно замечательна глава «Отношение революционера к обществу». Здесь объявлялось, что «все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий». Первая категория — неотлагаяемо осужденные на смерть. При составлении списков должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в народе, а мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела... Вторая категория: лица, которым даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. К третьей категории принадлежат множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатствами, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать всевозможными путями, опутать их, сбить с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами... Далее следуют четвертая, пятая и шестая категории: либералы, псевдореволюционеры и женщины, которые тоже строго распределены на разряды по удобству и способу их употребления для той же «пользы дела».

О какой же «пользе дела» заботится автор «Катехизиса...»? Какова программа, цель, будущий результат дела? Тут сюрприз: ни программы, ни цели не существу-

ет. Сказано прямо: «Мы имеем только один отрицательный, неизменный план — общего разрушения. Мы отказываемся от выработки будущих жизненных условий и... считаем бесплодной всякую исключительно теоретическую работу ума».

Если план — общее разрушение, то стоит ли останавливаться перед разрушением одного человека?

На процессе 1871 года выяснилось: студент Иванов был убит, по существу, ни за что, по пустому подозрению в предательстве, выдуманном Нечаевым. Ни один из четверых, кого Нечаев сплотил и сговорил на убийство, не верил до последней минуты в то, что Нечаев приведет угрозу в исполнение. Думали, хочет лишь напугать, заставить подчиняться. Но Нечаеву нужна была кровь. В романе «Бесы» Ставрогин советует Петру Верховенскому: «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут...». Но Петр Верховенский — он же Нечаев, Достоевский в черновиках и планах так прямо и называет его Нечаевым — лучше Ставрогина знает, как поступать. Он мог бы ответить генеральскому сынку: «Не учи ученого, съешь яблочка моченого!» Разница между ними: Ставрогин все страшное вываливает безоглядно наружу, а Петр Верховенский держит страшное глубоко в тайне. Для пользы дела.

Дальнейшая судьба Нечаева: в Европе он сумел очаровать простодушного Огарева и неукротимого Бакунина, убедил их в том, что возглавляет в России громадное тайное общество и для развития дела нуждается в средствах, выманил большую сумму у Огарева, пытался соблазнить дочь Герцена, выманивая деньги и у нее, но потерпел неудачу, процесс 1871 года сильно очернил его репутацию, европейские революционеры отшатнулись, Бакунин отрекся, и в 1872 году швейцарское правительство выдало Нечаева России как уголовного преступника. Молодежь не желала иметь с ним дела. Его проклинали и забыли. Но Нечаев оказался не просто жалкий обманщик и лишенный чести преступник, а дошедший до безумия фанатик «революционного» дела: это обнаружилось через десять лет, Достоевского уже не было в живых. Нечаев сумел благодаря фантастической воле и сверхъестественной силе внушения склонить стражников Петропавловской крепости на свою сторону и едва не устроил грандиозную мистификацию с побегом. Заговор раскрылся, многие стражники и солдаты поехали

в Сибирь, а Нечаев погиб в крепости — в тот же день, 21 ноября, когда убил студента Иванова, только тринадцать лет спустя, в 1882 году.

Петр Верховенский не смог бы вынести всего, что вынес в крепости Нечаев (два года его держали в цепях), но Достоевский не знал об этих подробностях, а если бы и знал, его отношение к Нечаеву-Верховенскому, к одному из главных «бесов» столетия, вряд ли поколебалось бы. Злодейская откровенность «Катехизиса...» была тем барьером, который отделял все человеческое от нечеловеческого, и этот барьер был непреодолим даже в понимании. Писатель, который мог оправдать и простить многократных убийц из «Мертвого дома», теперь не находил сил для оправдания. Поразил, может быть, не сам текст, сколько характер того, кто мог создать подобное и в него уверовать. Характер! Это было загадочное, не поддающееся скорому разумению, и оттого Верховенский противоречив, неровен, неясен, смутно его происхождение и не виден конец. Вначале он легковесен, комичен, в нем есть шутство, затем становится все более зловещим, inferнальным, приобретает черты демонические. Произошло это не потому лишь, что роман писался как бы в два приема — до процесса и после, когда раскрылась фигура Нечаева, — но и благодаря гениальной догадке: там должно быть то, и другое, и третье. Там должно быть много слоев. Верховенский — самый многомерный образ романа. Но главное в нем — злодейская суть.

Достоевский мог острее чем кто-либо почувствовать сокрушительную разницу между Нечаевым и вольнодумцами прежних лет, народниками начала 70-х: он сам прошел мученический путь заговорщика, мечтателя, принадлежал к тайному обществу Петрашевского и в 1849 году, осужденный на смертную казнь, стоял на эшафоте, но в последнюю минуту был прощен и отправлен на каторгу. Мир обогатился великой книгой: «Записками из мертвого дома». Мощь этой книги отдана одному чувству — состраданию.

Но нет ничего более далекого от нечаевщины, чем сострадание.

Хотя Достоевский давно выболел свои юношеские мечты о переустройстве мира в духе Фурье и Кабе (над которыми со знанием дела уже и глумился в «Бесах»), вкладывая их в болтовню Степана Верховенского и Кириллова), он, однако, не очеркивал прошлого, находил мужество и себя считать причастным к распространению болезни, от которой лихорадило не

только Россию, но и Европу. В Европе-то она, впрочем, и зародилась. Достоевский писал в статье: «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности... я сам старый нечаевец...» Отличие Нечаева от нечаевцев — тех, кого судили на процессе 1871 года, — заключалось в том, что нечаевцам были доступны такие человеческие чувства, как, скажем, раскаяние, для Нечаева же с его ледяным математическим умом никакое раскаяние, как и сострадание, недоступно. Раскаяние — это ведь и есть сострадание: к самому себе.

Революционеры-народники отрещивались от Нечаева. Называли его мистификатором, иезуитом, макиавеллистом, с отвращением говорили: «Ему все средства хороши для достижения цели». К стати, «Монарх» Макиавелли в русском переводе появился как раз в 1869 году и для убийц Иванова был, возможно, свежим чтением. Народники имели программу, Нечаев же — никакой, кроме разрушения. Народники не отторгли от себя христианских понятий доброты, любви, товарищества, страдания ради ближних (не только ради идеи), Нечаев же отбрасывал как ветошь всякую нравственность прочь.

Верховенский и Шигаев, два главных «беса» романа, рассуждают: «Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов... Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... их изгоняют или казнят Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство...» И наконец: снести сто миллионов голов — и создать новое общество. Свои маленькие головенки они из этих ста миллионов, разумеется, вычитают.

Основные идеи и черты нечаевщины воплотились в романе порою с фотографической точностью. Убийство Шатова полностью, до малейших деталей — вплоть до прокушенного пальца — соответствует убийству Иванова. Рассуждения главных героев — вариации на тему «Катехизиса революционера». Связь с преступным, разбойничьим миром — связь с Федькой Каторжным. Презрение к доктринерам — презрение Петра Верховенского к отцу, бывшему вольнодумцу, превратившемуся в чучело Дон Кихота. Наконец, шпиономания — она процветает у нечаевцев. Страх перед

шпионами — инфраструктура подполья, в которой может произойти и быть оправданно любое злодеяние.

В первом номере нечаевского журнала «Народная расправа» есть такой пассаж: «Мы из народа, со шкурой, пережваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственности и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла». Один из героев «Бесов» говорит: «Вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести».

Русские террористы, члены знаменитой «Народной воли», хотя и проклинали Нечаева за антинравственность, к концу деятельности во многом — силою обстоятельств и логикой движения — приблизились к Нечаеву. И все же глубиной своей природой они отличались от Нечаева бесконечно, убивали только врагов, представителей самодержавной власти, а возможность гибели людей сторонних приводила их в ужас и заставляла порой откладывать покушения. Террористы теперь не останавливаются ни перед чем: взрывают самолеты, поезда, аэропорты, универмаги, народное гулянье на площади... И это нечаевщина в чистом виде. Это то самое, к чему призывал Нечаев и в чем признавался мелкий бесенок Лямшин из романа Достоевского: «...всех обескуражить и изо всего сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циничское и неверующее, — вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта».

Несчастный Шатов, к которому Достоевский испытывает мрачное, укоризненное сочувствие, говорит: «Знаете ли вы, как может быть силен один человек?» Роман показывает такую силу одного человека — но не Кириллова, который убивает себя, чтобы стать богом, и не Ставрогина, приводящего дикими поступками в трепет целую губернию, а Петра Верховенского, который быстро и страшно уничтожает всех. Каким способом? Силою тайного зла, которая и есть сила одного человека.

Достоевский расшепил, исследовал и создал модель зла. Эта модель действует ныне. Все части в ней типовые. Взять, к примеру, неизвестного Карлоса — чем он не Верховенский? Он так же абсолютно антинравствен, патологичен, властолюбив, мал ростом, обладает легендарной сексуальной мощью, внезапно появляется, бесследно исчезает, его имя окружено тайной. По своему происхождению Карлос, правда, отличается от Нечаева. Он сын миллионера. Но

это дань веку. В наше время слишком много миллионеров. Характер! Вот что царит надо всем. И это часть созданной Достоевским модели. Через столетие писатель заглянул в наши будни: похолодание, снежные заносы, эпидемия гриппа, ограблен банк, взорвана школа, захвачены заложники, требуется выкуп в пять миллионов. В противном случае сто сорок человек будут взорваны вместе с самолетом. Для пользы дела. Некоторые события нынешней «террориады» почти в деталях повторяют знакомые сюжеты: например, убийство одного «из наших», кого подозревают в доносе. А может, не подозревают, а только делают вид, что подозревают. Ульрих Шмюкер, немецкий террорист из группы Баадера — Майнхоф, был убит по неясному предположению, что выдал двух товарищей: они спали в машине возле дома родственников Шмюкера и были схвачены полицией. Убийство Шмюкера поручили его другу Тильгенеру, но тот отказался. Шмюкер все равно был убит, а Тильгенер умер, затравленный угрозами.

Иванов, Шатов, Шмюкер — для пользы дела. Презрение к человеческой жизни, убить кого-либо, кто попал в пресловутые «категории», для Нечаева так же просто, как убить комара. «Человек в униформе для нас не человек», — сказала Ульрика Майнхоф в тюрьме корреспонденту «Шпигеля».

И все же: что происходит с бесами? Почему они не превращаются в свиней и не бросаются со скалы в озеро, чтобы исчезнуть, как предсказывал евангелист? И Достоевскому под конец жизни уже становилось ясно, что все тут не просто и спасительное озеро далеко: пламя бесовщины разгоралось, новые бомбы взрывались, новые ужасные имена выскакивали из российских недр и на глазах мира разворачивалась охота на царя. Достоевский не дождался месяца до дня, когда Гриневицкий убил царя бомбой. Это ничего не принесло России, кроме бедствий. Принятие конституции, на что царь уже решился под напором обстоятельств, отложилось надолго.

Живучесть терроризма — плодов он не приносит, что для всех очевидно, — остается загадкой века.

Ян Шрайбер, английский философ, считает, что терроризм силен не числом и умением, а общественным мнением. Оно представляет из себя сложный комплекс ненависти, восхищения, отчаянья, надежд и страха. Это кривое зеркало, но с мощным усилителем. Вечный соблазн: все проблемы решить разом — одной бомбой, одним пос-

ледним убийством. Достоевский считал — к концу 70-х, когда терроризм в России пугающе разгорался, — что общество выработало какую-то особую, вывернутую наизнанку стыдливость в отношении террора. Издатель А. С. Суворин вспоминает об одном разговоре с писателем:

«Представьте себе, Алексей Сергеевич, что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину» (то есть адскую машину, бомбу с часовым механизмом). Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» Суворин ответил: нет, не пошел бы. В том-то и дело, рассуждал Достоевский, ведь это ужас! Боязнь прослыть доносчиком. Представлялось, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаянья. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит.

Общественное мнение, которого страшился Достоевский, питалось слухами и газетами, теперь эти возможности многократно усилились: все становится известно в тот же день и час. Мир следит по телевизору за драмой заложников, и нет более захватывающего зрелища. Террористы превратились в киногероев. Население рассматривает громадные фотографии в журналах, ужасается, старается понять: кто эти люди? инопланетяне? чего добиваются? чего хотят от нас? И первая, облегчающая душу догадка: от нас — ничего. Хотят от других. Терроризм выродился в мировое шоу. Бесовщина стала театром, где сцена залита кровью, а главное действующее лицо — смерть. И есть подозрение, что это именно то, к чему террористы, сами того не сознавая, стремились. Без криков, проклятий и замирающих от страха сердец играть в этом театре неинтересно. Террор и средства информации — сямские близнецы нашего века. У них одна кровеносная система, они не могут существовать отдельно: одно постоянно пожирает и насыщает собой другое.

Московский корреспондент газеты «Пэ-зе сера» Адриано Альдоморески однажды задал автору гипотетический вопрос: что бы он в первую очередь сделал, чтобы пресечь терроризм? В первую очередь, по мнению автора, следовало бы рассечь близнецов надвое. Террор надо лишить паблисити. Без паблисити нынешние бесы хиреют, у них падает гемоглобин в крови, им неохота жить. Это подтверждается эпизодом, который произошел в Штутгарте во время суда над группой Баадерра — Майнхоф. Террористы упорно отказывались признать свое участие в убийствах, но в начале мая 1976 года началась забастовка прессы в ФРГ, и это повергло четверку террористов в уныние: без паблисити им стало нечем дышать. Они начали признаваться. Ульрика Майнхоф покончила с собой. Есть разница между ними и Нечаевым, который отчаянно боролся восемь лет в одиночной камере, во мраке и безвестности!

Обозначился двойной лик терроризма — Верховенский и Шатов. Бес рано или поздно должен убить святого. Сначала в себе. Почему гнев и боль Достоевского живы се-

годня? Наше время переломное: жить дальше или погибнуть? Мир вокруг колоссально и чудовищно переменялся. Достоевский с его фантазией не мог бы предположить, каковы перемены. Нынешний Кириллов обладает абсолютной способностью взорвать вместе с собой население Земли, чтобы стать богом. В 1975 году в Америке двадцатилетний физик соорудил из спортивного интереса атомную бомбу за пять недель.

И все же характер человечества остался тот же: противоречивый, забывчивый, легкомысленный. Мировой Скотопригоньевск опомнится лишь тогда, когда вспыхнет пожар. Диктор французского радио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Моро заслоняет всю остальную действительность. Но все же я сообщу вам о результатах бегов...»

Бега продолжают. Люди интересуются их результатами. Верховенский и Карлос до сих пор не пойманы и бродят в нашем маленьком мире на свободе. Поэтому будем внимательно читать Достоевского.



Ж Н И Ж Н О Е О Ъ О З Р Е Н И Е

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Лебедев. Человек из-под Ржева.— **Лев Озеров.** Вкус к жизни.— **В. Хмара.** С позиций социальности.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Буров. Какими они были.— **Ю. Каграманов.** Контркультура в зеркале науки.— **С. Десятков.** От Мюнхена к войне.

Литература и искусство

ЧЕЛОВЕК ИЗ-ПОД РЖЕВА

Вячеслав Кондратьев. Отпуск по ранению. Повесть. «Знамя». 1980, № 12.

Случай Вячеслава Кондратьева — примечательное явление нашей литературной жизни. В. Кондратьев очень долго молчал — до поры, когда иные литераторы уже подводят первые итоги своей деятельности. Примечательно и то, что критика сразу же откликнулась на его повесть «Сашка» с выражениями признательности и некоторого удивления. Внешние обстоятельства литературной судьбы писателя немало тому содействовали. Появление этой повести в литературе обнаружило высокую степень совместимости той правды, которую он выразил, и с нашими нынешними общественными запросами, и с нынешним уровнем критики, сумевшей по достоинству оценить его творчество. И, по удачному выражению критика И. Дедкова, «'гесниться' при этом никому не пришлось: место Вячеслава Кондратьева оставалось свободным. Оно словно ждало его». Вполне возможно, что именно этим обстоятельством объясняется отчасти то, что поздний дебют писателя оказался счастливым. Но отчасти. Сам Вячеслав Кондратьев уже имел личную возможность объяснить своим читателям (в разных обстоятельствах с разными акцентами), как все с ним было, чем вызвано его «столь долгое молчание» и какова роль «счастливой случайности» в его нынешнем литературном успехе и в пред-

шествовавшем этому успеху появлении веры в себя. Покойный К. Симонов, напутственной рекомендацией которого сопровождалась первая публикация Кондратьева в «Дружбе народов», выражал опасения по части ожидавшихся им «укоризны и перечня промахов» со стороны тех, кому он представлял нового автора.

Действительно, кондратьевский «Сашка», казалось, явил собой готовый арсенал свежих аргументов для тех, кто в не столь уж давние времена считал необходимым придать словам «окопная правда» негативное значение. В «Сашке» война была такой, какой и вправду ее можно было увидеть только из солдатского окопа, вырытого кое-как в «набухшей от крови земле»; война во всей своей «погани» и трупном смраде, когда и в наступлениях боль и отчаяние «выхлестывают» люди «с обреченными глазами» в протяжном воющем крике «ура-а-а»... Словом, это было «не то, что вам показывают в кино», как не раз потом мы услышим от кондратьевских героев. Война, увиденная глазами «человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской», как выразился Симонов, словно бы предупреждая опасность расширительного истолкования значения и смысла того военного эпизода, о котором

было рассказано в повести. Но вот одно за другим стали появляться новые произведения Вячеслава Кондратьева — с той же войной, с той же ее нечеловечески дикой правдой. И не слышно, слава богу, пока суровых укоризн и назидательных перечней промахов. Не выговариваются, видно, как-то эти укоризны.

Мы расстались с кондратьевским Сашкой, когда, как помним, разлученный волею корявой судьбы с лейтенантом Володькой, он добрался после ранения наконец до Москвы. Новая повесть Вячеслава Кондратьева так и называется — «Отпуск по ранению». Но речь в ней идет уже не о Сашке, а о лейтенанте Володьке. А возвратился он на краткое время в Москву с той самой, с «Сашкиной войны». Это узнается сразу. И по тому, как «все шархнулись от него», когда он по приезде вскарабкался на заднюю площадку трамвая. И по тому, как вздрогнула какая-то женщина, уступившая было ему, раненому фронтовику, место в том же трамвае, когда он глянул на нее своими «мертвыми глазами».

Герой — в шоке. Шок — от той предельной ситуации, в которую попадает лейтенант Володька в своем отпуске по ранению, от несовместимости всей атмосферы тыловой жизни и фронта. Он ошеломлен «необыкновенным происшедшим с ним рывком из одного пространства в другое». Ему совершенно невозможно представить, что два этих мира «существуют в одном времени и пространстве. Либо сон это, либо сном был Ржев... Одно из двух! Совместить вместе их нельзя!». Он не узнает своих старых друзей, он заранее враждебно относится едва ли не к каждому, кто не хлебнул фронта. Все «чистенькое», «аккуратненькое», «спокойненькое» вызывает у него неодолимое раздражение, и ему то и дело становится тоскливо и горько до спазм, до того, что «стрелять охота», до невременности. И только в какой-нибудь убогой пивной с убогими калеками — первыми инвалидами войны — лейтенанта Володьку вроде как-то отпускает на время. «Сейчас тебе все видится не таким, — говорит мать. — Я понимаю, но это пройдет...»

Но это не проходило. Да, раздражение против всего, что он видел в Москве, не проходило. И снилось ему снова заснеженное поле с подбитым танком, чернеющие крыши деревни, которую они должны взять, и его ротный с загнанными глазами, говоривший ему: «Надо, Володька, понимаешь, надо...» А тут, в Москве, кинотеатры работают и кто-то ходит в ки-

но. И сад «Эрмитаж» с посыпанными песком дорожками. И ловкачи торгаши (хочешь жить — умей вертеться). И этот чертов коктейль-холл — люстры, мрамор, ковры, сытые, довольные хари и сюда, «разве вы забыли... В военной форме не положено»... А потом его ротного убило, и лейтенант Володька принял роту и сам уже гнал людей вперед на почти верную смерть, потому что надо... Шли дни короткого отпуска, а «он без конца прокручивал в голове Ржев».

Там, под Ржевом, он узнал настоящую правду. Оттуда, из-под Ржева, начался для него отсчет дням какой-то новой — страшной, безжалостной, но истинной жизни, жизни без иллюзий, без романтики, без обмана и самообмана...

Хемингуэй писал в свое время, что истинную правду о войне добыть очень опасно — чаще вместо нее можно найти смерть. Правда на войне там, где смерть, рядом с ней. И ни в каком ином месте. Лейтенант Володька узнал под Ржевом правду о войне. Но в отпуске по ранению в его сознании произошел чудовищный внешне парадокс: сквозь призму противостественной правды о войне мирная жизнь, тыл кажутся теперь ему чем-то неестественным, чуть ли не ложным, чуть ли не фальшивым. Правда — это реально существующий ад войны, а «рай» мирной жизни в тылу — неправда, иллюзия, обман. «Отпуск по ранению» — своего рода доказательство от противного, если иметь в виду ту правду, о которой говорил Хемингуэй. Или Анри Барбюс, знаменитую в свое время книгу которого о первой мировой с такой жадностью и пониманием читает теперь лейтенант Володька, подсчитывая оставшиеся до возвращения на фронт дни.

Лишь постепенно к лейтенанту начинает возвращаться способность видеть окружающее не иступленным взглядом. И тут люди в огромном своем большинстве жили сейчас под знаком той же окопной правды, были подчинены ей, служили ей чуть ли не так же, как те, кто «на передке», — «через не могу», до упаду. И вместе с тем лейтенант из-под Ржева начинает понимать, что «жизнь идет», и даже начинает понимать, что у людей есть «не одно "надо"»... Но прежде в его жизни случается нечто чрезвычайное, происходит некое потрясение души. На него обрушивается еще не виданное и не слыханное им — любовь. И власть этого запредельного почти, кажется, чувства оказывается властнее вроде бы всего на свете. И эта «эгоистическая» власть любви, ее чудесный «эгоцент-

ризм» возвращают герою весь человеческий мир и всю человечность.

Встреча с Тоней — внутренняя кульминация повести. Тут все решается, все сходится, все развязывается и все, видимо, даже предрешается в жизни героя. И эта Тоня найдена и понята автором повести очень, надо сказать, точно — типологически единственно возможная для героя в ту пору его жизни.

Тоня вся, весь ее мир в совершенно ином измерении, нежели тот мир, в котором обитает лейтенант Володька. Она, Тоня, определяет собой для него совершенно иную систему отсчета жизненных ценностей — от жизни, счастья, любви, а не от горького духа окопных истин. Но дело не только в этом. Тоня вообще не из того круга, в котором живет Володька, выросавший в более чем скромном интеллигентном доме (в коммунальной комнатухе, вернее) и среди оголтелых пацанов Марьиной Рощи, набравшийся ума и чувств у «святой русской литературы» с ее психологией и проклятыми вопросами, с ее неизменной ориентацией на «человека, которому очень трудно быть подлецом». Тоня — человек «иной породы». И при первой же встрече с ней Володька чувствует острую социально-психологическую грань, отделяющую Тонию от всего его привычного быта — этой непосредственной, ближайшей нашей среды обитания. Тоня вся отрицание той «окопной правды», которой живет теперь герой и которая отождествляется для него с жизнью по совести. Даром что отец Тони сам военный и что по стенам ее (отцовской, конечно) огромной квартиры развешано всякое удивительное наградное оружие. А может быть, именно поэтому. Мера социально-психологической несовместимости мира лейтенанта Володьки и мира Тони определяет особую остроту и насыщенность того взрыва чувств, который переживает герой повести, определяет в конечном счете и исход, разрешение всей этой духовной коллизии.

«Володька поднялся по широкой и чистой лестнице, чему удивился — не до уборки было домоуправам в ту пору, — и позвонил в единственный звонок, около которого не висело никакого списка жильцов»... Был Тонин день рождения, «тосты за новорожденную, за победу... за всех, кто на фронте... и он примирился с сытыми лицами присутствующих, и с их хорошей одеждой, с обилием еды, что поначалу ударило резким контрастом с собственным домом...».

Потом был некий разговор с Тоней. Он важен.

«— Расскажите что-нибудь... о фронте, — попросила она.

— Вы ждете романтических эпизодов?.. — усмехнулся Володька.

— Нет. Я немного представляю, что такое война. Мой отец военный...

— Ну, ваш отец видел войну, наверное, с другой точки, — взглянул он на шашки. — Не с окопа.

— Вообще-то да. Но ему приходилось выходить из окружения, и он бился вместе с красноармейцами. Что же видели из окопа?..

— ...Трупы. Много трупов — и немецких и наших! И кругом вода, грязь. Жратвы нет, снарядов нет...»

А утром звонок Тони («Это вы? Значит, правда, что вы есть на свете?»), и Володька кинулся к ней. Дверь была открыта. «Наконец-то... Господи, что же это такое? Я думала — это радость, а это мука... Я совсем не могу без вас...»

Так началась любовь в оставшиеся дни перед возвращением Володьки под Ржев; Обреченная любовь.

А Ржев не отпускал. Там, под Ржевом, осталась его рота. Вернее, та часть ее, которую еще недобили немцы. Ржев не отпускал лейтенанта тем чувством вины перед оставшимися там и — главное! — чувством вины перед теми, кто уже никогда не вернется оттуда, перед теми, кто остался там навсегда. Едва ли не инстинктивно лейтенант Володька чувствовал эту «власть Ржева» над всей своей «оставшейся жизнью». После Ржева он действительно стал другим человеком — из тех, кто «убит под Ржевом». Даже если и останется в живых. В каком-то важном смысле он останется под Ржевом уже навсегда. Пусть даже никакой вины не будет, в общем-то, на нем за тех, «кто не пришел с войны». Пусть даже он поймет и разберется потом, что и не на нем, зеленом лейтенантике, почти мальчишке, лежит в конечном счете ответ за бездарно загубленные, а не неизбежные жертвы. Пусть будет так. «Но все же, все же, все же...»

И Тоня чувствует эту огромную силу Ржева. И зовет на помощь своей любви все силы своего мира. «...не шучу тебя больше под этот Ржев!» — говорит Тоня. И в голое ее ранняя властность и неюношеская самоуверенность. И вот уже Тонин отец официально обращается к Володьке в неофициальном письме: «...не продолжить ли Вам дальнейшую службу во вверенной мне части!» Это спасение от Ржева, может

быть, спасение вообще. Володька готов согласиться. «Только не смей раздумывать! Ты убьешь меня и мать!» — говорит Тоня, испытывая некое предчувствие.

— Почему я могу раздумать?..

— Потому... потому, что ты какая-то странная смесь рефлектирующего интеллигента с марьинощинской пшаной. И от тебя можно всего ожидать».

Нет у Тони уверенности в Володьке. Нет уверенности не в любви его — тут есть. А в чем-то ином...

Дважды в повести упоминается слово «совесть». И оба раза это слово оказывается рядом с мыслью об «окопной правде» — и тогда, когда оно произносится безруким инвалидом («...что немца до Москвы допустили, в том нашей вины нет. Наша совесть чиста»), и тогда, когда это слово произносит Володина мать, перед тем как тот объявляет о своем решении отказать от Тониного варианта...

И сила Тониного мира оказывается бессилой, нет уже в Тонином голосе ни ранней властности, ни самоуверенности. «Нет, нет! — кричит она. — Володька! Ксения Николаевна!.. Да скажите же ему! Нельзя так, нельзя! Он ни о ком не подумал... Ни о ком!» Какой дикий, но какой многозначительный парадокс заключен в этих последних словах Тони!..

Как поздно и как вовремя пришел к нам герой Кондратьева — человек из-под Ржева. И не зря не поворачивается язык поговорить по этому поводу об «ущербности», или «недостаточности», или о чем-то в том же духе относительно «окопной правды», согласно которой война — это прежде всего то, что вызовет лишь «страх и отвращение», пока человек еще в состоянии испытывать хоть какие-то человеческие чувства.

Все дальше и дальше во времени отходит от нас война, и каждый новый год, отделяющий нас от нее, отмечен минутой молчания. А мысли о войне все ближе и ближе подходят. К каждому. Как самые главные мысли — тяжкие и суровые — о жизни и смерти. И это заставляет нас вновь осмысливать и переосмысливать нравственное наследие и духовные последствия минувшей, все отдаляющейся во времени войны. Никто и никогда больше не выйдет из войны «духовно обогащенным». С чистой совестью из войны выходят только те, кто потом сможет сказать о себе: «Я убит подо Ржевом».

Есть нечто теркинское и в кондратьевском Сашке, в кондратьевском «человеке из-под Ржева» вообще, некая общая родо-

вая, так сказать, типологическая черта. Эта типологическая общность накладывает, конечно, на автора суровую и неуклонную гражданскую и литературную ответственность. Но главное не в этом. Главное в том, что кондратьевский герой сам воплощение некой суровой и неуклонной ответственности, это «Ржев, который всегда с тобой...».

В свое время Лев Толстой произнес слова, многократно затем повторенные все: «Герой... которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». Прекрасные, гордые, высокие слова. Но правда, как известно, всегда конкретна. И в этой связи нелишне, думаю, добавить, что прекрасные слова о правде Лев Толстой произнес в произведении, входящем в цикл «Севастопольских рассказов». В том самом произведении, в котором война была увидена и представлена читателю «с окопа» — «не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а... в настоящем, — как писал Толстой, — ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...»

..Не пора ли людям занести себя в некую Красную книгу? Ведь уже не осталось ни одного места на Земле, где человек был бы в безопасности, где мог бы быть спокоен за свою жизнь. В «Севастопольских рассказах» еще «прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю». Для кондратьевского героя пейзажа уже нет — только черная, мертвая земля. И образ такой земли, «земли под Ржевом», обретает не только наперед, но уже и для нас сейчас смысл некоего глобального (извините за громкое слово) урока. Даже если мы занесем в Красную книгу все окружающее, она останется символом иллюзий или знаком отчаяния, если в нее не будет занесен наконец навсегда тот, кто ее составляет.

«Отпуск по ранению» не лучшее произведение В. Кондратьева, лучшее пока — «Сашка». «Сашка» лаконичен, строг, выверен. Его стилистика скупа, сурова, временами, пожалуй, даже несколько угрюма. жестко соотнесена с предметом изображения. В «Отпуске...» есть, к сожалению, неопытные, как мне кажется, сюжетные эпизоды и отступления, вообще некая многоречивость. В «Отпуске...» заметны поиски соответствия манеры, приемов и интонации новым обстоятельствам и коллизиям. Автор словно уже начинает примериваться

к тому, как он смог бы писать о послевоенном своем герое. «Отпуск по ранению» — образ условно мирной жизни, отпуск в жизнь, «выходной» на войне. Потом, позже, если посчастливится, герой еще будет искать свое место в послевоенной жизни, определится тогда, если посчастливится, и мера успеха новых творческих поисков автора. В этом смысле «Отпуск...» — отчасти промежуточное звено в работе писателя. И как не все, наверное, еще сказано В. Кондратьевым в «Сашке», так не все еще, думается, намечено в «Отпуске...». Но наиболее характерные черты того, что можно назвать теперь прозой Кондратьева, определились, во всяком случае, уже вполне отчетливо, недвусмысленно.

Лейтенант Володька отринул спасение по благу, отринул жизнь по протекции, удачу за чужой счет. «И покой, особенно ошутимый после разлада и разброда последних дней, сошел на него: он возвращается «на крути своя», на свой, выбранный им самим путь... Он сразу словно вырубил себя из московской жизни... Он был уже там, подо Ржевом...» Он выдержал испытание тылом, как раньше выдерживал испытание фронтом, — это был двуединный для него процесс. И потому, что он вовремя вернулся тогда к своим ребятам под Ржев. он теперь смог вовремя прийти к нам, человек из-под Ржева

А. ЛЕБЕДЕВ.



ВКУС К ЖИЗНИ

Евгений Елисеев. Петушиное слово. Стихи. М. «Советский писатель». 1980. 143 стр.

Этот своеобразный поэт редко попадает в поле зрения критики. В перечнях обзореваемых стихотворцев его место среди «и др.». Хочу извлечь имя Евгения Елисеева из сводного хора голосов.

У многих есть черты лица (мелкие, крупные, какие природой дарованы). У немногих есть лицо, выражение лица.

Глухая, бедная крапива —
зачем-то родилась на свет
и думает, что некрасива,
а от смелей отбою нет.

Для не знающих Евгения Елисеева это стихотворение покажется всего лишь эффектной миниатюрой. В действительности здесь заключена важная для поэта мысль: неприметное, не избалованное ничьим вниманием иногда оказывается существенней показного, демонстративно красивого.

Рядовой солдат, заштатный городок, забытый полустанок, хилый подросток, достойный, но по скромности упорно не замечаемый человек, заколоченный дом — все это у Евгения Елисеева вызывает не жалость, не сострадание к сирому и убогому, а желание понять, взглянуть в жизнь.

Ведный родственник столицы,
городок-провинциал,
он не выбился в солисты
и не больно процветал.
За джамгаровской плотниной
в заповедной глубине,
под корягами и тинной
он лежит на самом дне
деревянной Атлантидой

Городок что материк Малое укрупняется. Происходит образное перетекание малого в большое, а большого в малое. Книга «Петушиное слово» выстроена по тому же композиционному принципу, что и прежние книги Евгения Елисеева: небольшие поэмы, баллады идут попеременно с лирикой.

Все люди у Евгения Елисеева заняты делом и все, как в плотницкой артели, знают свое место и занятие. К людям артельного дела, мастерам, искусникам, выдумщикам, у Елисеева особый род симпатии. Из их среды выходили великие живописцы, зодчие, ученые, мыслители, чьи истоки всего более интересуют художника.

Ритмы меняются быстро, неожиданно, прихотливо и, я бы сказал, озорно. Сказ и сказка не одно и то же. Елисеев это знает и все же идет на то, чтобы соединить их, заставляя служить замыслу всей книги.

Вот лесник из поэмы «Петушиное слово» — образ безымянного героя времен Отечественной войны, видимо у земли подслушавший чудо — слово спасения, встает из мастерского «плетения словес». «Дом — бай — конур», «Бабы сплетни», «Без пяти Москва», «Черви-kozyри», «Травы-ковыли», «Двенадцать на часах» — по современному сложенные баллады, в которых находишь народность образов, свободно льющийся стих, богатые речевые краски.

Если говорить об истоках маленьких поэм Евгения Елисеева, то их надо искать скорее в русской прозе. Характер героев и главенствующая интонация поэм восходят к В. Шукшину, В. Распутину, В. Астафьеву, В. Белову. Вижу вместе с тем долгую выучку у таких старых мастеров, как М. Пришвин и И. Соколов-Микитов. Мне скажут: Евгений Елисеев — жанрист. Соглашусь, но с прибавлением, что это жанрист, прошедший добрую лирическую школу.

Среди наших стихотворцев одни — приверженцы, условно говоря, народно-сказовой манеры, райка, частушки, шутки-прибаутки другие наследуют элегический канон, классическую метрику и строфику. В распоряжении Елисеева и то и другое, на палитре разные краски. От райка и частушки до александрийского стиха и верлибра — все ему служит.

Вчера ездил в Индию
немного развеяться
(по телевидению,
разумеется),
а в Риге и Вильнюсе
побывал потом
(не в действительности,
а тем же путем)...

Что это как не искусный раешник! А неподалеку мы находим стихи иного распева, иной просодии: «Как печальны деревья, когда без листьев...», «Рябиновая гроздь — какая горечь!..».

Музыкальное начало, осязаемое внутри каждого стихотворения, угадывается и в композиции книги. Она выстроена, как песенная сюита. Книга закольцована, все в ней аукнулось, отозвалось, завершилось не формально логически, а естественно, художественно.

Речь у Евгения Елисеева естественная, свежая, не нарядная — народная. Не чуждается поэт слов из новейшего лексикона, но вводит их, строго сообразуясь с логикой контекста. Поэт не копирует фольклор, а усваивает его уроки. Мысль поэта работает в том же направлении, что и мысль сказителя. Только с той разницей, что первый прошел все университеты куль-

туры и обрел профессиональные писательские навыки, коих нет у второго. В лучших стихах Елисеева есть и непосредственность и сокрытая в стихе культура.

Много значит интонация. Вот Елисеев, мастер сказового стиха, обращается к классическому канону, к элегии. Но и здесь он остро современен:

От сердечной беды-остуды,
от душевного паралича
не проси у месткома ссуды,
а послушай Петра Ильича.

Переведите этот образ в иную интонацию, дайте ему иной ритм — и он задохнется, пропадет. В том же стихотворении несколькими строфами дальше обыгрывается взятый из Тютчева эпиграф: «Мысль изреченная есть ложь»:

...приходит с зарей вечерней
сквозь закатные витражи
ясность мысли неизреченной,
что нельзя упрекнуть во лжи.

Любитель вести рассказ с привлечением значимых подробностей быта, остро подмечающий то, мимо чего пройдет иной, Евгений Елисеев не увязает в деталях. Он поощряет нашу мысль к масштабному восприятию явлений, к сопряжению настоящего, прошедшего и будущего. Книга дает ощущение трехмерности времени и пространства.

Основа образного строя поэзии Евгения Елисеева — движение. Стих его стремителен. За шутивным, за лукавым плетением словес приходит понимание главного:

Что там доброго ли, злого
ни случится на веку —
петушиное-то слово,
может, есть всему основа,
надо только, чтобы снова
не досталось дураку.

Мне кажется, что Евгений Елисеев находится в преддверии большой эпической поэмы с народным сюжетом и народными характерами. Подсказывать поэту рискованно. Но весь строй лирической книги «Петушиное слово» взывает к эпосу.

Лев ОЗЕРОВ.



С ПОЗИЦИЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

Ю. Кузьменко. Советская литература вчера сегодня, завтра. М. «Советский писатель», 1981. 440 стр.

Книга Юрия Кузьменко относится к тому завидному типу монографий, в которых строгая научность дополнена ощу-

тимым, если можно так сказать, личностным зарядом. Объективность исследования здесь обеспечена самим характером ана-

лиза, многостороннего и тщательного. Мысль Ю. Кузьменко несуетна, вдумчива, доброжелательна, хотя и не чужда порой усмешки и сдержанной иронии. Он охотно прислушивается к чужому мнению и в то же время последовательно самостоятелен, не склонен к педантизму, но строго целеустремлен. В его мысли обаяние ясности, той ясности, за которой годы труда, груды прочитанных и серьезно обдуманных книг. Есть, наконец, внутренняя, непоказная страсть увлеченного предметом исследования и — смелость.

Смелость эта проявляется по-своему, уже в решительном выборе социологического аспекта анализа истории литературы — в ее, литературы, не общетематическом, а глубинном движении. А такого рода подход нынче как-то не «моден». Юрий Кузьменко предлагает взглянуть на развитие советской литературы (а по сути, всего искусства) как на социально обусловленный процесс, глубоко и конкретно подумать «о законах изменения искусства под воздействием изменений в действительности» (здесь и дальше в цитатах разрядка моя.— В. Х.). Он идет от общепризнанной истины о решающей роли общественного бытия, но идет дальше простой констатации этого положения (чем, в общем-то, нередко довольствуется наше литературоведение), пытается исследовать внутреннюю механику взаимодействия бытия и искусства. Попытка эта закономерна и плодотворна. Ведь недоверие к идее частенко возникает не потому, что идея сама по себе ложна, а потому, что она так или иначе оказывается в обиходе в самом схематизированном и инертном виде. Мы формально вроде бы хорошо знаем некоторые истины, но нам явно не хватает желаний или умения предметно исследовать исторически конкретный механизм «осуществления» этих истин. Ю. Кузьменко возвращает «гражданские права» одной из таких истин литературоведения. И ход его мысли примерно таков...

Автор книги решительно спорит с теориями, утверждающими герметизм, автономию искусства, упрощающими действительную сложность эстетических отношений и уходящими от рассмотрения бесчисленных «нервов» и «кровеносных сосудов», которыми связано искусство с общественным сознанием в целом. Марксистское же искусствознание, справедливо отмечает Ю. Кузьменко, «„разомкнуто“ в сторону общих социально-исторических процессов», потому что «никакой структурный анализ,

никакие методы исследования творческого процесса сами по себе — при всей их бесспорной важности — не в состоянии объяснить, почему в структуре произведений происходят те или иные качественные изменения, почему одно художественное течение сменяется другим. Для понимания этого следует поставить вопрос о генезисе самого духовного мира художника, обратиться к закономерностям развития личности и общества, возможно полнее охватить всю систему социально-исторических связей, в которую включено искусство».

Эти два слова — «возможно полнее» — не случайны. Упорно настаивая на обратной связи между искусством и социальной жизнью, между художником и читателем, утверждая тем самым права социологической критики, «научной социологии литературы», Юрий Кузьменко, однако, ни в малейшей мере не забывает опыт прошлого. Ни вульгарно-социологических упрощений 20-х годов, ни «гносеологического подхода к искусству» в 30-е годы, игнорировавшего специфику художественного мира. Теоретические построения автора «Советской литературы...» учитывают широкий методологический сдвиг, который намечался в 60-е годы «в направлении системного, комплексного понимания искусства, лишённого прежних односторонностей. Мы привыкаем рассматривать искусство в диалектике художественного отражения и выражения, творческого воссоздания и пересоздания действительности, в сложном многообразии его общественных функций. В соответствии с этим идет дифференциация наук, изучающих искусство. Уточняют свое место и свои особые возможности социология и поэтика, структуральный анализ и семиотика».

Такое понимание социологии как одной из наук, изучающих искусство, достаточно примечательно. Но более существенно содержание предмета научной социологии искусства. Оно сложно и богато, как само искусство. Есть в книге Ю. Кузьменко важное место, характеризующее своеобразие художественного творчества. «...идейность в литературе и искусстве,— пишет автор,— как известно, отнюдь не сводится к политическим позициям художника. Она получает специфическое преломление во всех компонентах содержания и формы произведения, выявляется в конечном итоге с учетом таких факторов, как мироощущение художника, его подход к отображению действительности, пафос творчества, утверждаемый им эстетический идеал... Мироощущение — трудно определяемая сло-

весно, но очень важная сторона художественного творчества, тот «осадок», который остается за вычетом всего остального».

Действительно, мироощущение — немаловажная категория, без которой не подступиться к искусству. Оно, искусство, не просто утверждает ту или иную истину, не только сообщает о каком-либо факте, но выражает отношение художника к этой истине или факту. Мироощущение, несколько упрощенно говоря, как бы корректирует, «интерпретирует» истину, житейский факт. Здесь сказывается не капитизм, а — так или иначе — социальный опыт человека. Эмоции в конечном счете социальные. Тем более социальные эмоции, которые играют существенную роль в концепции Ю. Кузьменко. И он справедливо сетует, к примеру, что в школьных учебниках история литературы предстает почти исключительно как история общественной мысли, в то время как это одновременно и «ярчайшая история социальных эмоций».

Мир социальных эмоций («...сложный комплекс общественных чувств и настроений, имеющих, как правило, свою доминанту») выражает определенные отношения между человеком и действительностью, а социальные эмоции, в свою очередь, «та атмосфера, в которую погружено искусство, вне которой оно не может существовать, которую оно — всеми своими формами и видами — выражает и закрепляет». И [шаг за шагом подводит нас Ю. Кузьменко к своей центральной идее] «если закономерна и познаваема диалектика взаимодействия человека и действительности, значит, в конечном счете подвластна определенным законам и приоткрывая сфера социальных эмоций. А отсюда открывается путь к пониманию тех исторических сдвигов, которые происходят в глубинах художественной культуры, находя выражение в перестройке системы жанров, в «переливах» от эпоса к лирике и обратно, в смене ведущих литературных героев».

Предмет изучения имеет часто много больше граней и измерений, чем попадает в поле исследования; жизнь явления определяется гораздо большим числом пусть не равновеликих, но так или иначе существенных факторов, нежели те, что выявлены и достаточны логике конкретного анализа. Однако методологическая зрелость ученого заключается отнюдь не в обязательном стремлении объять необъятное, а в четком представлении границ и полноты истины его выводов, в учете (открытом или

внутреннем) реалий, оставшихся по ту сторону исследования.

Именно этого рода зрелость отличает книгу Ю. Кузьменко. Факторов, определяющих движение, эволюцию искусства, много, не устает напоминать нам ученый. Но среди них можно и нужно «выделить нечто главное: меняющиеся отношения человека и мира»...

И здесь мы подошли к еще одному принципиально важному слагаемому, или (что, пожалуй, точнее) «координате», концепции Юрия Кузьменко.

Известны размышления Гегеля о воздействии на искусство различных состояний мира: Гегель считал наиболее благоприятным для художественного творчества «героическое состояние мира», на почве которого выросло классическое искусство. Героическая эпоха (ее черты и особенности: «всестороннее единство человека и мира», «непосредственная самостоятельность индивида в его деятельности», наконец «наличие высокой цели, затрагивающей данный народ или все человечество») сменяется «прозаическим состоянием мира», или «состоянием развитой государственной жизни», что, по мысли Гегеля, вполне закономерно и во многом полезно, однако обрекает искусство на упадок, ибо сужается «свободное поприще для самостоятельных решений частных лиц». В отличие от «эпохи героев» современный человек «принадлежит существующему обществу строю и выступает не как самостоятельная, целостная и индивидуально живая фигура этого самого общества, а лишь как ограниченный в своем значении его член», уже «не представляет собой существования права, обычая, законности вообще». В итоге разложение классического искусства, а вместе с ним подлинного искусства вообще...

Можно ли сомневаться, что Ю. Кузьменко спорит с пессимистическими представлениями Гегеля! Но, понятно, не этот спор сам по себе представляет интерес и новизну. Ново в книге почти парадоксальное осмысление гегелевской типологии, возвращение ее в современный научный оборот. «Если читать Гегеля материалистически...» называется глава, в которой идея о состоянии мира, определяющем характер и уровень искусства, рассматривается как возможное методологическое основание для понимания движения литературы. Автор книги черпает аргументы не только в историческом материализме, в учении Маркса и Энгельса о преодолении при ком-

мунизме «господства вещных отношений над индивидами», о «возвращении человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному». Возвращение «героического состояния общества», утверждает Ю. Кузьменко,— факт. Факт этот — эпоха социалистического преобразования общества, эпоха Октября, время особого состояния общественного сознания, накала социальных эмоций, время, когда согласно Гегелю представители народа «сами становятся основателями государств, так что право и порядок, закон и нравы исходят от них и существуют как их индивидуальное дело», когда «повсюду проглядывает первая радость от новых открытий, свежесть обладания», «чувство всевластия человека над окружающей действительностью». Многомиллионный порыв революционного обновления не мог не найти своего выражения в искусстве, и этим выражением было, по Кузьменко, возрождение эпического художественного сознания. Он доказывает это примером «Мещан» М. Горького, «Двенадцати» А. Блока, «Чапаевым» Дм. Фурманова, «Железным потоком» А. Серафимовича. (При этом исследователь понимает возвращение эпического художественного сознания исторически-конкретно, он совершенно справедливо предупреждает, что «разговор о «возврате якобы к старому» надо вести не столько в идейно-содержательном, сколько в типологическом ракурсе».)

Историзм вообще одна из самых сильных сторон книги Ю. Кузьменко. «Главное — в исторических реальностях, которые стоят за... терминами», — совсем не случайно замечает он. Историческая реальность побуждает его отметить, что «не может не быть известных различий во взаимодействии человека и мира в эпоху становления новой формации, когда все ее устои являются результатом бурного социального творчества, и в эпоху постепенного развития социализма на его собственной основе, в условиях будничной повседневности». «Буйно взвихренная действительность» уложилась в определенный образ жизни, в сложную систему отношений, в паре «человек и обстоятельства» вырос удельный вес и сила обстоятельств. «В соответствии с этим менялись структура, «окраска», доминанты общественной психологии». Естественно, что и литература откликается на запросы иного состояния мира, более уравновешенного, более сложного; литература переживает «испытание прозаическим состоянием мира». Это отнюдь не надо понимать как упадок (в духе

пессимизма Гегеля); однажды такое испытание получило гениальное отражение в «Гамлете» и «Дон-Кихоте». Просто на смену эпическим формам познания и отображения действительности приходит интерес к подробностям жизни, глубокий психологизм, внимание к обстоятельствам в их взаимоотношении с характером человека.

Вот ядро, сердцевина концепции Юрия Кузьменко. Принципы, опираясь на которые исследователь поднимает и по-новому осмысливает немало теоретически важных проблем.

Одна из них — предложенная автором периодизация истории советской литературы, которая исходила бы из того научно-социологического факта, что советская литература пережила два основных этапа — в соответствии со сменой этапов утверждения социалистического общества. Его подход к этому вопросу и его критические замечания в адрес во многом условной и дробной «календарной» периодизации заслуживают, думается, серьезного внимания. Анализируя историю возникновения и содержание понятия метода социалистического реализма, Ю. Кузьменко указывает, что оно сформировалось в 30-е годы и в значительной мере отразило задачи «эпического направления в литературе и искусстве», следовательно, споры последних десятилетий вокруг понятия метода, стремление уточнить его и переосмыслить применительно к новому этапу неизбежны и закономерны. В полном соответствии исходным своим позициям автор книги обращается к проблеме «читатель и писатель», к той самой обратной связи, которая приобретает особое значение в современных условиях и уже не может игнорироваться литературоведением. Последовательно проводит Ю. Кузьменко мысль о необходимости развития «социологии стилей», которая сейчас, по его мнению, находится в самом зачаточном состоянии: «...если эпические стили 20—30-х годов еще как-то связываются с особенностями эпохи, то социальное обоснование нынешней стилиевой дифференциации, как правило, сводится к простым ссылкам на богатство и многообразие современной действительности».

Книга «Советская литература вчера, сегодня, завтра» богата идеями. Ее отличает широта основательно и с истинным художественным чутьем проанализированного материала с учетом задач «научной социологии литературы». Многие типологические сближения в ней литературных явлений разных эпох весьма поучительны и убедительны. Обоснованы обстоятельным ана-

лизом советского искусства выводы о взаимодействии национальных литератур, об исторических особенностях отношения к классическим традициям, о расширении творческого многообразия литературы и искусства. Самое же главное — последовательно и сильно выражена, так сказать, методологическая забота автора о том, чтобы восстановить и утвердить возможности истинно социологической критики, социологии литературы. Правда, в данном случае можно говорить лишь о тенденции, о направлении исследовательской мысли. Слишком велика эта задача — осмыслить историю советской литературы с новых методологических позиций. Но, по признанию Ю. Кузьменко, выигрыш в одном нередко означает потерю в другом. К примеру, последовательность и целеустремленность, с какими автор обосновывает коренную мысль о соответствии художественного эпоса «героическому состоянию мира», обернулись недостатком внимания к внутрижанровым различиям, модификациям эпоса.

Вообще, как только автор отходит от чистого эпоса, он оставляет открытыми немало вопросов. Вот он пишет: «Мы видим... разные пути художественного отражения эпической ситуации (на примере произведений времен Великой Отечественной. — В. Х.). Одни — с использованием символики, условности, романтической приподнятости, народно-поэтической образности. Другие — с опорой на традиции социально-психологического реализма. Тем не менее и во втором случае мы имеем дело с эпическим искусством». Допустим. Но какова природа внутриэпических различий? В другом месте Ю. Кузьменко утверждает: «Эпос тяготеет к обобщению и гиперболизации». Но как быть тогда с «Тихим Доном», который отнесен к вершинным произведениям нашей литературы, представляет собой, по признанию автора, эпопею?

Комментируя «не слишком благозвучные» понятия «деэпизация» и «лиризация», Ю. Кузьменко пишет: «Эпическое состояние мира влечет за собой определенный «прилив» эпоса и «отлив» лирики». Другими словами, это как бы взаимоисключающие художественные начала. Однако в годы войны «на стыке двух обычно «несмешиваемых» начал возникло жанровое образование, названное исследователями... «лирическим эпосом», «лироэпосом»...». Но если такое взаимопроникновение возможно, то не преувеличено ли противостояние этих начал? Разве лирично равнозначно

камерному? Наконец, разве лироэпос ведет отсчет только с войны? Думается, уже «Слово о полку Игореве» представляет собой пример лирического эпоса, его разновидности по крайней мере.

Может быть, при переиздании книги автору стоит подумать о более широкой аргументации или о введении некоторых дополнительных «координат», позволяющих понять жизнь жанра во всей полноте и многообразии форм.

Нуждаются в уточнении и другого рода суждения. К примеру, если социалистический реализм, по мысли Ю. Кузьменко, лишь одно из течений советской литературы (пусть «основное и ведущее»), то не теряют ли смысл споры вокруг него как «открытой эстетической системы»? Споры, смысл которых и заключается в том, чтобы понять и объяснить его движение, реальное развитие. Вообще, тут много еще нерешенного, проблема поставлена в книге суммарно, так сказать, в принципе, — нельзя не пожелать ее детальной и всесторонней разработки.

Не все главы в книге написаны ровно. Бросается в глаза контраст эпически-неторопливых теоретических размышлений в первой главе, убедительные логические сцепления глав о начале советской литературы, раздела о производственном романе и фрагментарность, калейдоскопичность главы «Литература развитого социализма». Жаль, что фактически за пределами анализа осталась поэзия. Не удалось автору поразмышлять над нетипичными явлениями литературы 20-х и 30-х годов. Очень интересен замысел последнего раздела — о завтрашнем дне советской литературы — «По страницам ненаписанного». Однако и здесь наибольший и истинный интерес представляют методологические размышления — тонкие и острые, обоснование собственных футурологических предположений. Сами же конкретные прогнозы, скажем так, не производят впечатления, носят во многом отрицательный характер («эстетической революции, коренным образом меняющей способы художественного отражения реальности, не предвидится» и т. д.). Ну что ж, дело это новое — научное предвидение судеб литературы. И все же, все же, все же...

Книга «Советская литература вчера, сегодня, завтра» выросла из статьи «К истокам проблем, конфликтов, характеров», опубликованной почти шестнадцать лет назад. Полтора десятилетия автор шел к осмыслению грандиозного явления, имя которому — социалистический реализм, совет-

ская литература. Бесспорен высокий теоретический уровень этой работы, раскрывающей, как говорится, с фактами в руках высоту идеалов, идейно-художественное богатство нашего искусства, работы, которая помогает уяснить литературный процесс в динамике и целостности, увидеть по-ново-

му социальные корни искусства, утвердить созидательную роль литературы. Книга убеждает. Книга побуждает к спорам. А это всегда признак подлинно творческого и научного решения коренных проблем науки.

В. ХМАРА.



Политика и наука

КАКИМИ ОНИ БЫЛИ

Р. А. Ульяновский. Политические портреты борцов за национальную независимость. М. Политиздат. 1980. 176 стр.

Личность и история; эта тема всегда волновала умы ученых, писателей, журналистов, заставляя их обращаться к исследованию — в научной, художественной, публицистической форме — сложных перипетий жизнедеятельности различных персонажей разыгрываемой воле уже в течение многих тысячелетий пьесы под названием история мировой цивилизации. При этом высказывались самые разнообразные мнения, зачастую противоречивые. В предельно ясной форме марксистская позиция по вопросу о роли личности в истории была сформулирована В. И. Лениным: «Марксизм отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объективного хода эволюции с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс, — а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами»¹. Марксизм отнюдь не отрицает влияния выдающейся личности на ход общественно-исторического процесса, но в отличие от буржуазной политологии он ставит ее деятельность в конкретный временной социальный контекст, показывая обусловленность побудительных мотивов поступков выдающихся личностей определенными экономическими, политическими и культурными условиями их стран и континентов. Именно под таким углом зрения марксистское общественное познание подходит к оценке исторической роли лидеров современного национально-освободительного движения.

Небольшая по объему, но емкая по содержанию книга Р. Ульяновского посвящена деятельности пяти выдающихся борцов за национальную независимость стран Азии и Африки — М. К. Ганди, Дж. Неру, К. Нкрумы, А. Кабрала и Ф. Фанона. Автор хорошо известен своими исследованиями по теоретическим проблемам национально-освободительного движения развивающихся стран; только в последние годы вышли такие его работы, как «Очерки национально-освободительной борьбы. Вопросы теории и практики» (М. 1976) и «Современные проблемы Азии и Африки. Политика. Экономика» (М. 1978). И в новой книге Р. Ульяновского, решающей скромную конкретную задачу — познакомиться массового читателя с рядом политических биографий, речь идет о таких принципиальных и сложных вопросах, как историческая ответственность современных политических лидеров бывших колониальных стран, причины их взлетов и падений, глубинные основания их социальной деятельности.

Разрабатывая эти темы, автор показывает, что сложный комплекс причин — и прежде всего уровень социально-экономического развития стран Азии и Африки — обусловил то обстоятельство, что в большинстве из них на авансцену политической жизни выдвинулись деятели, исповедовавшие мелкобуржуазную или буржуазную идеологию. Тем не менее это не помешало многим из них сыграть выдающуюся роль в национально-освободительной борьбе народов колоний. Потому автор и подходит к оценке деятельности Ганди и Неру, Нкрумы, Кабрала и Фанона не с позиций идеальных требований, основанных на абстрактных, умозрительных представлениях, не с точки зрения того, что они могли бы сделать, если бы следовали

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 23.

принципам научного социализма, а по их реальному вкладу в дело национального освобождения и социального прогресса. Р. Ульяновский показывает, что эти лидеры, каждый по-своему, сумели уловить умонастроения и чаяния народных масс и выразить их в своей политической практике и теоретических размышлениях. Именно в этом состоит их историческая заслуга.

Национально-освободительная борьба народов Азии и Африки разворачивается в чрезвычайно сложных условиях. Им противостоит мощный в индустриальном и военном плане противник, имеющий к тому же богатый опыт политического маневрирования в отношениях с другими странами и идеологического манипулирования умами людей. Не следует забывать и о преобладании в афро-азиатских странах архаичных общественных структур, отсталых форм социального бытия, о существовании в них этнических, расовых предрассудков, консервативных культурных стандартов и стереотипов массового сознания.

В этих условиях многие руководители молодых независимых государств оказались не на высоте требований, предъявленных к ним эпохой,— вступили на путь сотрудничества с империализмом. Одни поступают так в силу своей идейно-политической ориентации, особенностей биографии, другие — руководствуясь интересами личной выгоды, третьи — под влиянием фаталистического взгляда на мир, уверовав в невозможность противостоять Западу.

Поэтому тем более значимой в социально-политическом смысле является деятельность тех руководителей национально-освободительного движения (Ганди, Неру, Нкрумы, Кабрала и Фанона), которые всегда придерживались позиций последовательного антиимпериализма. Во многом это объясняется тем, что на их мировоззрение оказали влияние идеи научного социализма.

Многие страницы книги посвящены выдающемуся сыну индийского народа М. К. Ганди. Автор рисует впечатляющий образ политического лидера, в чьей идеологии причудливо сочетались представления, характерные для психологии крестьянства, и взгляды, органически родственные буржуазным интересам и представлениям. Р. Ульяновский возражает против упрощенческого подхода к оценке гандизма лишь как к идеологии индийской национальной буржуазии: «Он шире этого, и в нем много моментов, противоречащих такой оценке. Гандизм порожден сложной совокупностью явлений, присущих индий-

скому национально-освободительному движению, и участвующих в нем социальных сил. В нем воплотились не только общие интересы этих сил, но и их различия и противоречия. Гандизм был явлением национальной жизни крестьянской страны, и потому... он не мог не отразить в своеобразной форме стихийное стремление индийского труженика к социальной справедливости, выходящее за рамки классовых интересов буржуазии». Заслуживает также внимания высказанная впервые в советской литературе мысль автора о том, что в гандистском ненасилии наряду с метафизической стороной имеется «вполне реалистическая идея тактического использования мирных форм массовой и индивидуальной антиимпериалистической, антирасистской и в принципе даже антифеодальной и антикапиталистической борьбы, хотя Ганди и не призывал к этому».

Продолжателем дела Ганди в условиях независимой Индии был Неру, который вошел в историю своей страны как последовательный борец за демократию и равноправие, против сил социальной и религиозной реакции. Человек недюжинных талантов — он был не только крупным политическим деятелем, но и оригинальным мыслителем и талантливым поэтом,— Неру внес своей деятельностью значительный вклад в движение Индии по пути социального прогресса. Он находился в постоянном творческом поиске. Как справедливо отмечается в книге, «будучи честным исследователем, Неру нередко самокритически пересматривал свои первоначальные мировоззренческие построения, стремясь идти вперед и совершенствовать свои взгляды». Одним из свидетельств этого являлось его обращение к принципам научного социализма, в которых он пытался найти ответ на вопросы, ставившиеся живой практикой индийского общества.

Значительный след в истории национально-освободительного движения в нынешнем. XX столетии оставили Нкрума и Фанон. Посвященные им разделы привлекают строгим научным анализом, меткостью характеристик при описании их взглядов и поступков.

Зоветский читатель до недавнего времени сравнительно мало знал о А. Кабрале. Между тем это интересная фигура в истории современной Африки, да и не только ее.

Руководитель маленькой страны на западном побережье африканского континента, а точнее двух стран, ибо созданная им ПАИГК выражала интересы народа не

только Гвинеи-Бисау, но и островов Зеленого Мыса, проделал в своей идейной эволюции путь от африканского национализма через революционный демократизм к марксизму. Его марксистские воззрения проявлялись и в научном понимании характера общественных отношений своих стран, и в ясном представлении перспектив их социально-экономического развития, и, наконец, в трезвом осознании роли различных классов и социальных групп. В последние годы слово «социализм» стало очень модным во всем мире, в том числе в странах Азии и Африки, однако далеко не всегда за ним скрывается реальное социалистическое содержание программ и действий. Зачастую слово «социализм» служит средством политических спекуляций и эгоистических расчетов. Яркий тому пример — деятельность режима С. Барре в Сомали. Что же касается А. Кабрала, то у него дела не расходились со словами. Р. Ульяновский безусловно прав, когда пишет, что А. Кабрал «в своей теоретической и практической работе руководствовался принципами научного социализма и вся его жизнь, отданная борьбе за счастье своего народа, бесспорно лежит в русле марксизма-ленинизма».

Автору этой рецензии приходилось не однажды встречаться с А. Кабралом, беседовать с ним, слушать его выступления. Высокий лоб мыслителя, живые, пронизательные глаза, богатая мимика, жестикуляция, блестящая, остроумная речь... Уже с первых минут разговора ты оказывался под обаянием этой незаурядной личности. Поражало его умение проникать в самую суть вопроса, постоянная жажда новых знаний, глубокое уважение к мнению со-

беседника. Он пользовался заслуженным авторитетом в кругах борцов за свободу угнетенных народов. По своему интеллектуальному потенциалу он принадлежал к числу наиболее крупных лидеров национально-освободительного движения XX века. Его легко можно было бы представить руководителем не только маленьких Гвинеи-Бисау и островов Зеленого Мыса, но и крупной африканской или азиатской страны.

Хочется подчеркнуть еще один момент, говоря о А. Кабрале. Ныне мы являемся свидетелями далеко не единичных примеров, когда руководители некоторых афроазиатских государств проявляют склонность к диктаторству, патернализму в отношениях с народными массами, культу своей личности, роскошному образу жизни. А. Кабралу были чужды авторитарные методы управления, он был исключительно скромным человеком, непритязательным в личной жизни, доверчивым — может быть, излишне...

Р. Ульяновский далек от мысли идеализировать деятельность выдающихся лидеров современного национально-освободительного движения, он рисует их такими, какими они были на самом деле, указывая на присутствующие им слабости, ошибки, на противоречия в их взглядах.

Написанная в увлекательной, живой форме и вместе с тем на хорошем теоретическом уровне книга Р. Ульяновского несомненно займет достойное место в ряду исследований, посвященных славным страницам антиимпериалистического народного движения.

В. БУРОВ,

кандидат философских наук.



КОНТРАКУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ

Ю. Н. Давыдов, И. Б. Роднянская. Социология контркультуры (Инфантилизм как тип мировосприятия и социальная болезнь). М. «Наука». 1980. 264 стр.

Название этой книги кого-то может и расколдовать: контркультура — далеко не самая последняя новость западного мира, не единожды она описана и в той или иной мере объяснена. Но уже имя одного из авторов должно привлечь внимание: мы знаем, что каждая работа Ю. Давыдова (рецензируемая книга создана им в соавторстве с И. Роднянской — ее перу принадлежит глава, представляющая историю контркультуры «в зеркале американской социологии») неизменно богата содержанием и, значит, есть гарантия того, что

здесь дело не ограничится уточнением и детализацией уже известных вещей. Далее, не следует думать, что предмет, о котором идет речь в книге, успел сделаться достоянием истории: контркультура, хотя она, как мы сказали, и не последняя новость, отнюдь не стала для Запада вчерашним днем.

Конечно, контркультура как широковетвистая заявка, требующая немедленной и полной реализации, перестала существовать. Исчезло видение босоногих варваров, собравшихся отпраздновать гибель цивили-

защиты и на ее развалинах утвердить «власть цветов», то есть преимущественно состояние некоего перманентного не то экстаза, не то кайфа. Но потерпев поражение в открытую, контркультура окольными путями, приватным и явочным, так сказать, порядком утвердилась и утверждается в самых различных областях западной культуры (до некоторой степени аналогичным образом движение «новых левых» — другое направление, или другое измерение, молодежного движения протеста — разбилось на мелкие экстремистские и террористические группы).

И еще одно обстоятельство оправдывает возвращение к теме контркультуры: для западной социологии за последнее время она стала одной из центральных проблем. Ее возникновение, как и возникновение молодежного движения протеста в целом, явилось полной неожиданностью для буржуазного обществоведения и имело для него примерно тот же эффект, какой обычно производит землетрясение средней силы: в фундаменте образовалась трещина, кое-где рухнули балки, осела крыша. Господствующие теории начисто отрицали возможность распространения инакомыслия в молодежной среде, и вот теперь пришлось перестраиваться и создавать новые социокультурные модели, которые давали бы какое-то объяснение совершившимся фактам.

Давыдов и Роднянская рассматривают контркультуру на фоне различных ее толкований, предлагаемых буржуазными теоретиками, главным образом американскими. Когда несостоятельность «бесконфликтной» модели подключения молодежи к системе сделалась очевидной, американские социологи в поисках ответа на озадачившие их вопросы обратились к наследию старых немецких профессоров, отличавшихся, как известно, особой обстоятельностью на избранном ими пути. Настоящим открытием для этих американцев стала «концепция поколений», разработанная еще в 30—40-х годах известным «социологом знания» Карлом Маннгеймом. В ней, как им казалось, они нашли то, чего не доставало господствовавшей ранее в американской социологии так называемой структурно-функциональной школе.

Эта последняя (ее виднейшим представителем был Т. Парсонс) видела в молодых людях «еще не взрослых», стремящихся по возможности скорее сделаться таковыми. то есть начать выполнять те функции, что предусмотрены существующими социальными институтами. Почему контркультурная молодежь вдруг не захотела пой-

ти по стопам взрослых — этого последователи Парсонса толком никак не могли объяснить. Есть и другое направление в американской социологии: оно рассматривает процесс взросления молодежи в рамках семьи. Эта школа попыталась истолковать бунт молодежи как результат разлада между отцами и детьми. Но не говоря о том, что таковой разлад трактовался целиком по Фрейдю, здесь не было учтено, что на сознание подрастающего поколения все в большей степени влияют внесемейные факторы: община ровесников, телевизор и другие.

Маннгейм пленил молодую поросль буржуазных социологов тем, что для него проблема поколений фактически оказывается центральной в масштабе общества. В русле «философии жизни» Маннгейм сделал акцент на такой вещи, как общность переживания, связывающая определенный коллектив: хотя она согласно Маннгейму и зависит от позиции, занимаемой данным коллективом в социальном пространстве, вполне ею не определяется; поэтому у каждого поколения она своя, особенная. Переживание своей уникальной судьбы, связывающее каждую из «поколенческих когорт», — это и есть ее ответ на проблемы истории. Исходя из такой точки зрения, можно если и не объяснить вразумительно, то, во всяком случае, оправдать любые новации, коль скоро они исходят от поколения, вступающего в жизнь. «Заранее объявленная единственно истинным воплощением новой исторической реальности, — пишет Давыдов, — неконформистская молодежь, взятая со всеми ее эксцессами и экстравагантностями... неожиданно предстает в роли «священного дуба», по невнятому шелесту листьев которого предлагается предсказывать будущее».

Авторы книги подробно рассматривают концепции ряда буржуазных социологов отмечая то ценное, что заключают в себе их работы. Фиксируемые ими (буржуазными социологами) частные истины, однако, оборачиваются ложью, коль скоро они преподносятся как истины, все объясняющие. И последователи Маннгейма, и сторонники внутрисемейного объяснения молодежного бунта, и структурно-функциональная школа смотря на дело с какой-то одной стороны, а надо смотреть гораздо шире. Ибо вопрос о контркультуре, как указывает Давыдов, гораздо шире, нежели проблематика любых молодежных движений.

Действительно, контркультура как мироозернение, или мироощущение, как прин-

цип существования и образ жизни заявила о себе достаточно давно — ее истоки нетрудно обнаружить в различных идейно-философских, художественных (авангардистских) и религиозных (модернистских) течениях конца XIX — начала XX века. Такие ее глашатаи, как Т. Роззак и Ч. Рейч (чьих книги в свое время комментировались в нашей печати), лишь попытались привести в систему взгляды, верования, вкусы (нередко со ссылкой на источник), возникшие много раньше и теперь получившие распространение в среде нонконформистской молодежи.

Авторы, таким образом, выводят читателя к новому определению понятия «контркультура», вся книга их, собственно, о том, как нонконформистская молодежь и контркультура нашли друг друга. Будучи выражением глубочайшего кризиса культуры на капиталистическом Западе, контркультура стала также формой, в которую вылилось молодежное бунтарство, то есть явилась также выражением кризиса, переживаемого данным именно поколением.

Основные черты контркультуры согласно Давыдову следующие: контркультура против духовности как таковой, за возвращение к телесно-природному, витальному; против всего рационального и разумно упорядоченного, за безумство, стихию, каприз; против этически ориентированных религий, за религии эстетизированные, этически нейтральные; против трудовой этики, за безделье, осмысляемое в аспекте античной атараксии и буддистской нирваны; против индивидуально-личностного начала, органичного для западноевропейской культуры, и против интимности в межличностных отношениях; против не только ригоризма, но и какой бы то ни было упорядоченности в эротической сфере; против любых упорядочивающих и формообразующих тенденций социокультурной жизни, против социальности и культурности вообще.

В целом контркультуру Давыдов определяет как не- и антикультуру, существующую вне культуры, но за ее счет. Контркультурные идеалы, отмечает он, и не рассчитаны на осуществление их в полном объеме, иначе говоря, контркультура не могла бы обойтись без той культуры, которую она отрицает, ибо она есть паразитарное образование, питающееся соками отрицаемой культуры.

Заметим сразу, что не все согласятся с таким взглядом на контркультуру, вообще выводящим ее за рамки культуры. Могут возразить, и, вероятно, не без достаточных оснований, что ее связывают с культурой

Запада отношения более сложные, нежели только паразитирование. Еще более спорным представляется взгляд авторов на контркультуру в оценочном плане. Едва ли справедливо начисто лишать ее духовного и этического измерения. Все-таки были в ней изначально (мы говорим сейчас конкретно о молодежной контркультуре) «благие порывы», хотя они и не привели ни к чему иному, кроме юродства (хиппи, протривающий цветок полицейскому, столь же трогателен, сколь и нелеп). А взять поп-музыку, это основное искусство контркультуры, — разве не было среди всех ее плевел элементов подлинного творчества? И наконец, не является ли контркультура феноменом более неоднородным сравнительно с тем, как она представлена в книге? К примеру, гедонизм («инфантильный гедонизм», по определению Давыдова), по-видимому, является, как и пишут авторы, важнейшей из ее характеристик, но ведь наряду с ним прослеживается в ней и религиозно-аскетическая струя.

Надо, однако, иметь в виду, что определение контркультуры как антикультуры полемически направлено против истолкований, даваемых ей буржуазными теоретиками. На сей раз речь идет о тех из них, кто рассматривает контркультуру в общекультурном плане. Эти теоретики видят в ней едва ли не универсальное явление, способ сказать «нет», обнаруживаемый ими в самых различных обществах в различные исторические эпохи. И древние сатурналии, и средневековые праздники шугов, и фарсовые церемонии индейцев, и еще многое другое относят по ведомству контркультуры, понимаемой как некий «ритуал отрицания», служащий отдушиной для периодически скапливающихся асоциальных и агрессивных устремлений. Помимо того контркультурную оппозицию представляют как источник обновления господствующей системы и, наконец, в ней видят предупреждение ортодоксам, чтобы те не дремали, стоя на страже господствующих ценностей.

Все эти толкования удобные, успокаивающие для правящей элиты Запада. Они создают впечатление, что ничего страшного не произошло, что нечто подобное имело место и раньше. Как бунт, заведомо не рассчитанный на успех, контркультура, дескать, прекрасно уживается с господствующей культурой, более того, парадоксальным образом она содействует стабильности системы, так как позволяет «спускать пары» негативной энергии, а также потому, что формулируя свои альтернативы, побужда-

ет ортодоксию проявлять необходимую гибкость.

Таким образом, скрадывается то обстоятельство, что контркультура — явление в высокой степени специфическое, хотя она, по-видимому, и имеет далеких предтеч (Давыдов считает таковыми древнегреческих киников — тема, развитая в других его работах). Скрадывается антикультурный, абсолютно деструктивный момент контркультуры, особенно выпирающий, если брать последнюю в ее, так сказать, рыночном варианте — тиражированную контркультуру, для очень и очень многих ставшую хотя бы отчасти реальным образом жизни. Фактически следование принципам контркультуры толкает человека, цитируем Давыдова, в «лоно хаоса, причем так, чтобы он не смог найти дороги обратно...». Субъективно (поскольку она сама осознает себя в работах Розака и других своих идеологов) контркультура отнюдь не стремится дополнить (как если бы здесь можно было применить физический принцип дополнительности) мир цивилизации, напротив, она хотела бы перечеркнуть его, хотя, как уже было сказано, и не может без него обойтись.

Давыдов выявляет несостоятельность контркультурнического противопоставления цивилизации и природы, указывая, что та природа, к которой апеллирует контркультура, отрешена от строгости и серьезности своих требований и задач, это природа «вождедеющая» и тем не менее «оскопленная», ибо она не ставит перед собой истинно созидательных целей. Не принцип природы, а принцип вседозволенности является для контркультуры определяющим. Характерная для нее установка на аморфную и растекающуюся чувственность включает в себя в самом деле нечто старческое. Нет в контркультуре настоящего жизненного стремления (Давыдов обращает против нее самой понятие «философия жизни», к которой она так близка¹⁾), нет спо-

¹ Заметим кстати, что в сборнике «„Неомарксизм“ и проблемы социологии культуры» (М. «Наука». 1980; по замыслу его авторов сборник этот примыкает к «Социологии контркультуры») Ю. Давыдов убедительно доказывает, что и «неомарксизм» (ранний Г. Лукач, Ч. Р. Миллс, франкфуртские культурфилософы, поздний Ж.-П. Сартр и другие), оказавший решающее влияние на политическое крыло молодежного движения протеста, несмотря на все его претензии быть «развитием» и «углублением» марксизма, по сути является не чем иным, как разновидностью все той же «философии жизни».

собности к волевому самоутверждению. Контркультурный антигерой боится усилий, делающих из человека личность в полном смысле этого слова, то есть тождественную себе определенность. «Быть личностью для меня утомительно... — признается герой рассказа Сьюзен Сонга «Кукла». — Я устал. Я хотел бы быть горой, деревом, камнем».

И еще одно свойство контркультурной личности описывает Давыдов. Не принимая таких «скучных» вещей, как необходимость, объективный порядок бытия, этот тип личности, вместо того чтобы выбрать себе определенную социальную роль, примеряет на манер актера различные маски, играя в жизнь там, где к ней следует относиться очень серьезно (в той или иной степени игровое отношение к культуре свойственно молодым людям, вероятно, во все времена). Это не раз уже зафиксированное свойство контркультурного сознания, как показывает Давыдов, есть результат, с одной стороны, перзрелости буржуазной культуры, и с другой — злостной, так сказать, инфантильности не желающей по-настоящему взрослеть молодежи. Само понятие молодежи в этом плане определяют по признаку инфантильности; иным инфантилам сейчас далеко за тридцать (не присутствуем ли мы при рождении нового типа вечного молодого человека, подобно тому как раньше были вечные студенты?). Так как молодежная субкультура прочнее связана с контркультурой, нежели с традиционной культурой, заключает Давыдов, при определенных обстоятельствах контркультурный тип личности будет формироваться вновь и вновь.

Местами это чересчур «сердитая» книга: контркультура, на наш взгляд, заслуживает порою более снисходительного отношения к себе; все-таки ее антибуржуазный момент что-нибудь да значит. Но «сердитость» здесь от принципиальности, от равнодушия к судьбам гуманистической культуры на Западе, под которую упорно роет контркультура. Проделав глубокий и разносторонний анализ сложнейшего комплекса явлений, каковым является контркультура, авторы явили пример слияния научной объективности с публицистической страстностью, причем у Давыдова она сочетается со свойственной ему большой убедительностью. Суровая непреклонность здесь имеет оправдание: ставка в игре слишком дорога.

Ю. КАГРАМАНОВ.

ОТ МЮНХЕНА К ВОЙНЕ

- Ф. Д. Волков. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. М. «Мысль». 1980. 462 стр.
 В. Я. Сиполс. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М. «Международные отношения». 1979. 320 стр.
 В. Я. Сиполс. Внешняя политика Советского Союза 1933—1935. М. «Наука». 1980. 391 стр.
 Вацлав Крап. План Зет. Перевод с чешского. М. «Прогресс». 1978. 340 стр.
 В. К. Волков. Мюнхенский сговор и балканские страны. М. «Наука». 1978. 327 стр.

В этом году минуло сорок лет, как фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Уинстон Черчилль в своей истории второй мировой войны заявил, что сама Немезида — богиня мщения — покарала Советский Союз за пакт о ненападении, подписанный с Германией в августе 1939 года. Эта версия была широко подхвачена буржуазной историографией, которая и поныне стремится представить советско-германский пакт о ненападении основной причиной второй мировой войны. При этом буржуазные историки или сознательно забывают, или всячески пытаются принизить роль и значение позорной мюнхенской сделки в сентябре 1938 года, когда премьер-министры Англии и Франции — Чемберлен и Даладье — выдали Чехословакию Гитлеру. В последние годы в английской буржуазной историографии сложилась целая «ревизионистская школа», которая стремится полностью реабилитировать мюнхенскую политику западных держав, или, как формулируется в аннотации к третьему тому работы С. Роскилла «Хэнки. Человек секретов», «трансформировать пейзаж 30-х годов». Свои «ревизию» школа пытается подтвердить рассекреченной английской правительственной документацией, которая поступила в обращение историков после снижения сроков давности в Государственном архиве Великобритании с 50 до 30 лет. Так предыстория второй мировой войны продолжает дискутироваться, до сих пор являясь полем острой идеологической борьбы.

Советская историческая наука выдвинула в последнее время целый ряд работ, в которых также (с использованием неизвестных ранее документов) убедительно показано, что вторая мировая война зародилась, вырелась и началась в мировой системе капитализма, что отсчет международного кризиса, приведшего к возникновению этой войны, надо вести не с августа 1939 года, а прежде всего с периода мюнхенского предательства, открывшего шлязю второй мировой войны.

В монографии Ф. Волкова, раскрывающей антисоветскую политику британского империализма в 1917—1939 годах, три последние главы посвящены мюнхенской политике Великобритании, стремившейся направить

гитлеровскую агрессию на Восток — против Советского Союза. Ф. Волков приводит, в частности, откровенное письмо английского премьер-министра Чемберлена послу фашистской Италии в Лондоне, в котором этот ярый апологет мюнхенского курса весной 1938 года прямо заявил: «Моей дальнейшей целью является постоянный и как можно более прочный договор с фюрером и национал-социалистической Германией». Таким образом, еще до Мюнхена Гитлеру предлагали долгосрочную сделку с далеко идущими антисоветскими целями. Ф. Волков отмечает, что сделка с фашистской Германией была первой, решающей частью плана по сколачиванию единого антисоветского блока капиталистических государств. Завершением этого плана должно было стать долгожданное «объединение Европы без России и против нее», причем ядром такого объединения являлись бы англо-германский и франко-германский союзы.

Сами же основы этого мюнхенского плана были заложены за многие годы до Мюнхена. Как констатирует в своей новой работе другой советский исследователь этой проблемы, В. Сиполс, еще в начале 30-х годов «правители Британской империи разработали собственный генеральный стратегический план, который предусматривал заключение империалистического сговора между Великобританией и фашистским рейхом».

О главной стратегической цели этого плана с предельной циничностью высказался предшественник Чемберлена на посту премьер-министра С. Болдуин, который еще за два года до Мюнхена и за три года до начала второй мировой войны заявил: «Нам всем известно желание Германии, изложенное Гитлером в его книге, двинуться на Восток. Если бы он двинулся на Восток, мое сердце не разорвалось бы... Если бы в Европе дело дошло до драки, то я хотел бы, чтобы это была драка между большевиками и нацистами». В соответствии с этой установкой, отмечает В. Сиполс, британский кабинет вскоре после прихода Гитлера к власти, 15 июля 1933 года, подписал в Риме так называемый пакт четырех, который, в сущности, пытался «передать руководство экономическим и политическим положением в Европе в руки Директората» 4-х держав — гитлеровской

Германии, фашистской Италии, Англии и Франции. И хотя пакт не вступил в силу, так как «французское правительство не сочло возможным внести его в парламент на ратификацию», тем не менее он был своего рода прообразом «мюнхенского концерта» тех же четырех держав. И если Мюнхен не состоялся раньше 1938 года, то во многом здесь заслуга Советского Союза, выступившего в эти годы с широкой программой коллективной безопасности, призванной остановить агрессию. Для того чтобы более эффективно бороться за мир, Советский Союз в 1934 году вступил в Лигу наций, а в 1935 году подписал договор о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Это «возвращение России в Европу», по характеристике западной прессы, сразу изменило соотношение сил мира и войны. «Я считаю своим долгом заявить здесь,— сказал министр иностранных дел Швеции Р. Сандлер при приеме СССР в Лигу наций,— что дата 18 сентября 1934 года означает решительный поворотный пункт в истории Лиги, к которой прибавился новый член, вносящий в международное сотрудничество силы 160 миллионов человеческих существ и играющий первостепенную роль на двух континентах». И если такого поворота не наступило, то вина в этом падает на влиятельные антисоветские силы международной реакции, и прежде всего на британских «умиротворителей» агрессии, пошедших в Мюнхене на сделку с Гитлером.

Мюнхенский сговор был в этом плане не только личным творением Чемберлена, но логическим завершением длительного курса британской внешней политики на «умиротворение» агрессоров. История самой мюнхенской сделки детально рассмотрена в монографии чехословацкого историка В. Крала «План Зет». В. Крал, много поработавший в рассекреченных британских государственных архивах, документально прослеживает, как на протяжении всего кризиса 1938 года кабинет Чемберлена, стремясь к достижению договоренности с фашистской Германией на антисоветской основе, шел на все новые и новые уступки Гитлеру и одновременно подталкивал к таким же уступкам Францию и Чехословакию. За месяц до Мюнхена «внутренний круг» британского правительства (премьер-министр Чемберлен, министр финансов Дж. Саймон, министр иностранных дел Э. Галифакс и ближайший советник Чемберлена Х. Вильсон) разработал и принял так называемый план Зет. Этот план предусматривал запугивание английской общественности ложными военными приготовлениями, «неожиданную» личную встречу

Чемберлена с Гитлером и широкую сделку с фашистской Германией за счет полной капитуляции в чехословацком вопросе. «План Зет», как отмечает чехословацкий историк, и был приведен в действие британским кабинетом в сентябре 1938 года во время встреч Чемберлена с Гитлером в Берхтесгадене и Бад-Годесберге и завершен на Мюнхенской конференции 29—30 сентября 1938 года. Анализируя мюнхенскую сделку, В. Крал показывает не только как в Мюнхене Англия и Франция предали Чехословакию, но и как крупная чехословацкая буржуазия поступила интересами своего народа. Ведь чехословацкая армия в сентябре 1938 года, опираясь на безусловную поддержку Советского Союза, могла оказать гитлеровцам на своих укрепленных рубежах мощное сопротивление. В Чехословакии «к 15 февраля 1938 года,— указывает В. Крал,— было закончено 4370 дзотов, 160 дотов и 21 крепость. Летом 1938 года фортификационные работы были ускорены и построено дополнительно 5262 дзота, 67 дотов и 17 крепостей... укрепления были полностью обеспечены боеприпасами и оснащены вооружением высокого качества — ведь Чехословакия славилась производством совершенного по тем временам оружия». Точку зрения чехословацкого историка разделяет и советская историография. Разительные данные о противостоящих в 1938 году силах приводит, например, в своей монографии Ф. Волков: «...Германия располагала тогда 35 пехотными и 16 танковыми и моторизованными дивизиями, причем треть из них еще формировалась. Чехословакия могла противопоставить ей 45 исполненных патристического долга дивизий, на вооружении которых было 1500 боевых самолетов, от 470 до 740 танков, около 601 тысячи пулеметов... Численность французской армии достигала 100 дивизий. В вооруженных силах Англии... насчитывалось 455 тысяч человек. Потенциальные человеческие ресурсы Британской империи были громадны. Преимущество Англии и Франции перед Германией в области военно-морского флота было неоспоримо». И наконец, отмечает советский историк, «мощь Советской Армии, авиации и флота создавала для Чехословакии решающий перевес, даже если бы Англия и Франция, вероломно нарушив обязательство, не пришли ей на помощь».

Вот когда можно было остановить Гитлера, и не случайно германские генералы готовили «дворцовый переворот» на тот случай, если бы Гитлер рискнул воевать осенью 1938 года. Поистине Чехословакия была барьером для дальнейшей гитлеровской аг-

рессии. Но усилиями английских и французских «мюнхенцев» этот барьер был взломан изнутри и снят без единого выстрела. Президент Бенеш капитулировал в Мюнхене под натиском Чемберлена и Даладье. В октябре 1938 года Чехословакия была расчленена, а в марте 1938-го поглощена фашистской Германией. Последствия этого можно сравнить со взрывом высотной плотины. Мутный поток фашистской экспансии прорвал преграду. Прежде всего он, естественно, хлынул в регион, лежащий за Чехословакией,— на Балканы. Нарастание фашистской экспансии в Юго-Восточной Европе исследуется в монографии В. Волкова «Мюнхенский сговор и балканские страны». Если монографии Ф. Волкова и В. Сиполса написаны, так сказать, по горизонтали— дают исторический срез за многие годы и десятилетия,— то монография В. Волкова, так же как и В. Крала, построена по вертикали— исследуют отдельную проблему (Мюнхен у В. Крала) или локальный регион (Балканы у В. Волкова). Эта локализация дает возможность В. Волкову рассматривать проблемы международных отношений Югославии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Греции и Турции в тесной связи с внутренней политикой этих стран.

По оценке В. Волкова, результаты Мюнхена, означавшие для этого региона прежде всего фактическое исчезновение Чехословакии как военной силы в Европе и франко-советской системы союзов, привели к новой стратегической ситуации, характеризовавшейся установлением доминирующего германского влияния в зоне, простиравшейся от линии Мажино на западе до границ Советского Союза на востоке. Здесь не было сил, способных противостоять гитлеровскому вермахту, и отсутствовала какая-либо система союзов или двусторонних союзных договоров, обязывающих великие державы или сами страны Центральной и Юго-Восточной Европы прийти на помощь в случае германского или итальянского нападения на одну из них. Мюнхен означал конец Малой Антанты. «Дунай стал немецким бульваром», резко возросло не только экономическое, но и политическое влияние гитлеровского рейха на Балканах.

Что касается западных держав, то сразу после Мюнхена Англия принимала экспансию Германии на Балканах как должное при условии, что Германия откажется «от проникновения в район Средиземного моря и в направлении Стамбул—Багдад, сосредоточив свое внимание на Дунайском бассейне и в районах к северу от Дуная». Так пытались направить гитлеровскую агрессию, вы-

вести ее на подступы к Советскому Союзу.

Не случайно именно в эти первые после Мюнхена месяцы буржуазная печать подняла шумиху о предстоящем походе гитлеровской Германии на Украину. Однако, к разочарованию «мюнхенцев», поход тогда не состоялся. Как отмечает В. Сиполс, специально исследовавший этот вопрос, гитлеровцы действительно намеревались форсировать нападение на Советский Союз. При этом «Риббентроп и Розенберг „выступали за войну против Советского Союза, используя постановку украинского вопроса“». Однако в конце 1938 года Гитлер заявил, что нужно еще время для основательной подготовки войны против СССР.

Если у агрессии есть свои закономерности, то одна из них состоит в том, что агрессор обычно предпочитает обрушиться прежде на слабейших. Гитлер в этом плане не составлял исключения. Как отмечает В. Сиполс, «намеченные Гитлером планы.. предусматривали прежде всего разгром более слабых противников, а также захват или подчинение тем или иным путем германскому господству ряда малых стран Европы». Уже в январе 1939 года английской и французской разведке стало ясно, что Гитлер решил напасть сначала на Англию, Францию и Польшу и, лишь разгромив их, двинуться против Советского Союза. Автор приводит в связи с этим любопытнейшую записку британского Форин оффиса от 19 января 1939 года, в которой говорилось: «До сих пор было общепринятым ожидать, что устремления Гитлера будут направлены на восток и в особенности, что он планирует что-то в отношении Украины. За самое последнее время мы получаем сообщения, свидетельствующие о том, что он может счесть момент подходящим для того, чтобы нанести решительный удар по западным державам». Форин оффис располагал сведениями о том, что гитлеровцы намерены начать крупные военные акции с разгрома Польши.

Казалось бы, в этих условиях кабинеты Чемберлена и Даладье, как и правители Польши, должны были бы поспешить с заключением союза с СССР, однако этого не случилось. В работе В. Сиполса «Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны» убедительно показано, как «мюнхенские» правительства Англии и Франции завели в тупик московские переговоры с Советским Союзом весной—летом 1939 года. Сыграли свою пагубную роль и правители буржуазно-помещичьей Польши, категорически отказавшиеся от советской помощи. Что же касается Англии и Франции, то, идя на срыв московских переговоров, по при-

знанию английского военного атташе в Москве, они рассчитывали, что «в будущей войне Германия, напад превосходящими силами на Польшу, захватит ее в течение одного-двух месяцев. В таком случае вскоре после начала войны германские войска окажутся на советской границе. Несомненно, Германия затем предложит западным державам сепаратный мир с условием, что ей предоставят свободу наступления на восток».

Учитывая военные действия, которые Советский Союз уже вынужден был вести с японскими милитаристами у Халхин-Гола, летом 1939 года наша страна стояла перед серьезной опасностью войны одновременно на своих западных и восточных рубежах. Но тем не менее, только окончательно убедившись в ходе военных переговоров с Англией и Францией, что есть все основания сомневаться в их стремлении к действительному и серьезному военному сотрудничеству с СССР, Советское правительство в августе 1939 года пошло на подписание пакта о ненападении с Германией.

В. Сиполс в «Дипломатической борьбе накануне второй мировой войны» внимательно анализирует все германские предложения, которые делались Советскому Союзу начиная с мая 1939 года, и показывает, что на протяжении трех месяцев, вплоть до середины августа 1939 года, пока существовала хоть какая-то надежда на заключение англо-франко-советского соглашения, Советское правительство оставляло зондажи немцев без ответа. «Однако в связи с провалом переговоров трех держав игнорировать германские обращения становилось невозможным».

Вину за то, что решительная поддержка Советского Союза в 1939 году была отвергнута, несут прежде всего правители Англии, Франции и Польши. Однако все их расчеты на новый Мюнхен провалились в конце августа — начале сентября 1939 года. Документы, приведенные в книге, ясно показы-

вают, что Гитлер в то время уже сам не принимал уступок, предлагавшихся ему «мюнхенцами» разных стран. И когда министр иностранных дел Италии Чиано в августе 1939 года спросил Риббентропа: «Что вы хотите: коридор или Данциг?» — германский министр цинично заявил: «Теперь ни первого, ни второго... Мы хотим войны».

Вторая мировая война зародилась и вызрела в системе капитализма. Фашистскую агрессию к границам Советского Союза направляла не легендарная черчиллевская богиня Немезида, а вполне реальные силы международного империализма.

Более сорока лет назад мюнхенский стовор развязал руки фашистской агрессии. Но с началом Великой Отечественной войны советского народа изменился и сам характер второй мировой войны, которая превратилась в войну антифашистскую, справедливую и освободительную.

Обращение современных советских историков и историков стран социалистического содружества к проблемам предвоенного десятилетия глубоко мотивировано. Ведь для нас это прежде всего проблемы войны и мира. «В годы, когда над миром нависла угроза фашистской агрессии,— подчеркивал Л. И. Брежнев,— Советский Союз настойчиво боролся за создание системы коллективной безопасности, которая могла бы обуздать агрессоров и предотвратить вторую мировую войну». Анализ и углубленное изучение исторического опыта этой борьбы — одна из важнейших задач марксистско-ленинской исторической науки на современном этапе, когда силы международной реакции снова стремятся возратить мир ко временам «холодной войны», а новоявленные западные «умиротворители» агрессоров — разыграть «китайскую карту», подтолкнуть на север Японию, взвинтить гонку вооружений. Но у истории своя память.

С. ДЕСЯТСКОВ,

кандидат исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР РОДИН. Летний зной. Рассказы. М. «Советский писатель». 1980. 238 стр.

«Летний зной» Александра Родина мало похож на первую книгу. Это не заявка, не обещание, не своеобразный пролог к неким возможным успехам в будущем — это книга реально существующего и вполне состоявшегося прозаика. Рассказы, нечасто печатавшиеся в периодике или вообще не публиковавшиеся ранее, теперь, собранные под одной крышей, спокойно и весомо свидетельствуют: писатель есть!

Родин — рассказчик. Не только потому, что пишет в основном рассказы (и книжка полностью состоит из них), но и потому, что умеет их писать. Умеет на малом пространстве — порой в семь-восемь страниц — уложить все, что хочет в данный момент сказать.

Опыт Родина во многом поучителен. Фронтвик, человек с большим запасом жизненных впечатлений, за двадцать лет литературной работы он написал, в общем-то немного. Писателем стал, а вот профессионалом в практическом смысле этого слова — нет. Но у его невысокой продуктивности имеется и свой плюс: в сборнике есть вещи, больше или меньше удавшиеся, но необязательных — ни одной. В каждой и настроение и боль. И творческая задача.

Автор «Летнего зноя» скорее психолог, чем бытописатель. Но и быт он пишет подробно, детально, со вкусом. Противоречия тут нет: ведь человеческая натура обычно и вырастает из быта, как дерево из земли. Не случайно пренебрежение к быту так часто оборачивается приблизительностью характера.

Герои Родина прочно стоят на прочной земле, кто бы они ни были — математик или уборщица, продавщица или начальник АХО. Каждый из них знает свое дело, потому что его достаточно глубоко знает и автор.

Но быт, даже весьма достоверно описанный, в литературе, дело третье. Что же главное в книжке Родина? Что несут читателю его герои — рядовые наши современники, ни в работе, ни в любви не великие, однако и работающие, и любящие, и детей растящие, и о справедливости думающие?

Вот рассказ с характерным для Родина названием «Будний день». «Полная, массивная, не слишком молодая женщина» в розовом кримпленовом платье, в серьгах и с бурами пришла на свидание. Стоит на жаре

у метро близ вокзала, ждет. Дождалась — приехал электричкой «мужчина с обветренным, почти бурым от загара лицом, в клетчатой рубашке с засученными рукавами». Он не свободен, она не свободна — есть пьяница-муж. Встречаются редко, в основном у «сочувственной» подруги Зинаиды. Времени совсем мало. Но, как поспешно соглашается женщина, «все ж лучше, чем ничего!». Под этим скромным лозунгом и существует незаконная любовь.

Встретившись, стоят на жаре уже вдвоем — ждут автобуса. Женщина пока что забегает в обувной магазин напротив остановки и «возвращается быстро, деловая, озабоченная».

— Ты какой номер носишь? — спрашивает.

— Я? Сорок второй. А что?

— А полнота?

— Шут ее знает! Так себе. Обыкновенная.

— Пойдем, померишь на свою ногу».

И идут, и меряют, и всесторонне проверяют.

«— Время, понимаешь, идет... — говорит мужчина».

— Ну что будешь делать? Ревматизм у него, черт бы его побрал! Без теплой обуви никак нельзя!

Мужчина вздыхает.

— Понимаю, — говорит...

Они считают деньги, и у обоих едва набирается нужная сумма... А время идет, и негу уже больше никакого времени».

О чем этот рассказ? О сложностях современной семьи? О тисках быта, в которые мы порой неожиданно попадаем? Наверное. Но больше всего об ине — о том, что и в сложностях, и в тисках, и практически в любых ситуациях люди, если они люди, умеют оставаться людьми.

Пожалуй, самая привлекательная черта небольшой по объему книжки Родина — именно эта будничная, житейская, сквозь быт прорастающая человечность...

Леонид Жуховицкий.



ИЛЬДАР ЮЗЕЕВ. Тихое утро. Стихи и поэмы. Перевод с татарского Николая Новикова. М. «Советский писатель». 1980. 119 стр.

Имя Ильдара Юзеева, видного татарского поэта послевоенного поколения, уже знако-

мо читателю по публикациям в центральной печати.

В новый сборник вошли стихотворения поэта разных лет. Хотя И. Юзеев — поэт несомненно гражданского звучания, но особый склад его дарования таков, что о самых волнующих, горячих проблемах прошлого и настоящего он говорит негромко и доверительно, как бы оставаясь со своим читателем-собеседником с глазу на глаз. В таком именно ключе написано стихотворение «Тихое утро», давшее название сборнику. Тихое сельское утро пронизывает скрип протеза инвалида войны...

Юношеская непосредственность, соединившаяся со зрелостью души и немалым опытом жизни, сообщает стихотворениям И. Юзеева особую прозрачность. «Вернись-ка я в детство мое хоть на день!» — восклицает поэт в одном из стихотворений, чувствуя необходимость взглянуть на себя сегодняшнего из опаленного дыханием войны детства. Тема войны и героико-революционная тема тесно переплетаются в творчестве И. Юзеева, ими определяется круг его идей и поэтических пристрастий. Личность и поэзия Мусы Джалиля для И. Юзеева — зеркало и мерило его собственных попыток осмыслить современный мир. Герой гражданской войны Ян Юдин, поэты-воины Фатых Карим, Абдулла Алиш, Хайрутдин Музаев — к ним обращены поэтические искания И. Юзеева, в их жизненных подвигах он ищет отгадку вечных вопросов о смысле бытия.

Жанр поэмы издавна привлекает его возможностью масштабного охвата действительности, философского к ней подхода. В больших поэтических формах И. Юзеев достиг явных успехов — достаточно вспомнить поэму «Последнее испытание», где рассказано о Мусе Джалиле, вчитываемомся перед казнью в бессмертные строки «Фауста». В новый сборник вошли поэмы «Черный столб» и «„Карурман“». «Карурман» в переводе означает «черный лес», «глухомань», «чаща». Есть старинная народная песня того же названия, отлично выражающая саму мелодику национального характера. Особенности фольклорного источника во многом определяют поэтический облик поэмы. Ильдар Юзеев — самобытный мастер слова, что резко усложняет задачу переводчика. С тем большим удовлетворением я отмечаю удачный перевод поэмы «Черный столб», доносящий до нас стремительность авторского повествования и затаенную словесную вязь подлинника.

Равиль Бухараев.



ЮРИЙ МАГАЛИФ. Монолог. Стихи. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1980. 127 стр.

У поэта вышла первая книжка стихов. Факт как будто рядовой: ежегодно в нашей стране осуществляются десятки, если не сотни поэтических дебютов. Но в данном случае первая стихотворная книжка вышла у писателя уже достаточно известного, автора многочисленных рассказов, повестей, книг для детей. Именно в качестве

детского писателя новосибирец Юрий Магалиф стал когда-то известен широкому читателю: его «Приключения Жакони», забавная сказка о шестилетнем Мальчике и его любимой игрушечной обезьянке, выдержала несколько изданий в Сибири и в столице. Но, пожалуй, еще более широко аудиторию, чем Магалиф-писатель, имеет Магалиф-артист — высокопрофессиональный эстрадный чтец, неутомимый популяризатор произведений русской классической и советской литературы. Не удивительно, что в его поэтическом сборнике «Монолог» немало строк посвящено людям искусства:

Аллодисментов сладкая отрава
Не удлиняет нашей жизни срок...
Желанная, обманчивая слава —
Каких великих ты валила с ног!
Равняться с ними не имею права...
Но если б хоть на миг вернуться смог
Я в старый клуб, где бушевал поток
Горячих слез.

«да здравствует!» и «бравол!»,
Чадил на сцене желтый керосин,
Из телогреек вылезала вата...
Глаза удайных женщин и мужчин...
Бессмертной славы памятная дата! —
Пять слов, произнесенных мной когда-то:
«Конец войне!

Сегодня взят Берлин!»

Внимательный читатель заметит, что стихотворение это написано в строгой форме сонета, причем сонета безупречного. В последние годы сонет стал отчасти моден, пишутся не только отдельные сонеты, но и громоздкие венки. Однако дело ведь не только в том, чтобы соблюсти все многочисленные технические требования (хотя и это далеко не всем удается), — важно, чтобы сонет звучал свободно и естественно. Этим качеством в полной мере обладают сонеты Юрия Магалифа. Вообще, надо отметить, стих его в лучших своих образцах отличается отточностью и высокой культурой, не случайно подчиняется ему и белый пятистопный ямб, не становясь многословным и скучным. Культура не значит книжность: поэт пишет о пережитом и пережитом. Книгу «Монолог» открывает именно такое возвращающее нас в далекий 1924 год стихотворение — «Эстафета». Трех путников — мальчика, его мать и старого эстонца-возчика — застают на зимней дороге траурные гудки паровозов:

— Вставай! —

сказал старик, слезая с дровней.—
Стоять немножко надо... — Скинув шапку
И обернувшись в сторону высоких
Шатровых елей, он смотрел на небо,
Как будто там, средь облаков тяжелых,
Увидел огненные письмена...

О пионерском детстве с неизменной песней «Взвейтесь кострами...», о юности в предвоенном Ленинграде, сибирских дорогах, радости творчества — стихи в сборнике «Монолог». Свою поэтическую программу Юрий Магалиф сформулировал в восьмистрочной миниатюре:

Я к четкости питаю склонность,
Размытой формы не терплю.
И свой родной язык люблю
За внятность и определенность.

Всегда произносите внятно
Слова, где сущность бытия:
«Россия. Родина. Семья».
Да будет ваша речь понятна!

Не во всем ровна книжка «Монолог». В ней нет стихов проходных, написанных без повода, но есть стихотворения облегченные, не в полной мере состоявшиеся. И все-таки в целом она явление неординарное. Может быть, самая яркая книжка в многообразном и многожанровом творчестве этого писателя.

Илья Фоянков.

Ленинград.



Б. М. ШАХМАТОВ. П. Н. Ткачев. Этюды к творческому портрету. М. «Мысль». 1981. 286 стр.

Сознаешь риск прогневить специалистов — книгу выпустила в свет редакция философской литературы... но аннотация-то вроде бы как амнистия — Б. М. Шахматов обращается не только к коллегам, а и к широким кругам читателей. Стало быть, одному из них можно высказаться об этюдах к творческому портрету Петра Никитича Ткачева, родившегося в 1844 году на Псковщине в деревне Сивцове и умершего в 1885 году в Париже на больничной койке.

Что ж до портретов фотографических, то они помещены и на яркой обложке и на нескольких вкладышах. Черно-белый Ткачев угрюм, неулыбчив. Не верьте тогдашней похвальной на саквояж павильонной фотокамере — ее опровергают свидетельства мемуаристов, приведенные в книге: был Петр Никитич застенчив, как барышня; краснел и робел, тихоня, словно вчера из института благородных девиц. Но и словесный портрет обманчив — цельная была натура и мужественная. О чем и свидетельствует портрет творческий, воссозданный Б. М. Шахматовым.

Итак, этюды. Историографические (как толкуют Ткачева современные нам с вами исследователи), иконографические (личность Петра Никитича), историко-философские, социологические (взгляды и позиции одного из идеологов народничества) и, наконец, полемические с интригующим эпиграфом: «Опасайтесь тем, которых нельзя избежать!» Все это в основном о П. Н. Ткачеве 60-х годов, поры его сотрудничества в петербургских журналах «Русское слово» и «Дело».

Сильное и тщательно протертое увеличительное стекло навел Б. М. Шахматов на печатную продукцию демократа-публициста. Ткачев подан читателю и духовной сутью — материалистической, и духовной статью — русской, самостоятельной. Последнее не означает, что все, решительно все определила почва: думающих людей питает духовный материал разноплеменных и разновременных мыслителей.

Б. М. Шахматов впервые подверг столь строгому досмотру философский и социологический багаж Ткачева. Особенно пристально анализируется его отношение к позитивистам — Конту, Миллю, Спенсеру. Ткачевская критика властителей дум отнюдь не смахивала на подсчет, сколько чертей синих

и сколько зеленых умещается на кончике швейной иглы. Его критика была злобой дня. А день этот не был длиною в день.

В расхожем, хотя нынче уже и потускневшем представлении философ выглядит житейским недотепой. В представлении же некоторых философов предмет их любви выглядел сверхпрактичным. Не в том смысле, что философия, так сказать, практичнее практики. А в том, что она над практикой. А Ткачев, подобно Фейербаху, полагал, что философия, сбросив жреческие ризы, обязана спуститься в бездны человеческого горя-злосчастья. И полагал так и поступал так. Иначе был бы взорван своим же боевым темпераментом. И не был бы одним из лидеров революционного народничества.

Здесь-то мы и подходим вплотную к этюду полемическому. Здесь-то и обретает полемичность автора почти высоковольтное напряжение. Оно и понятно: «героя его романа» упорно клеймят тавром волюнтариста социологического, политического, всяческого. А ведь волюнтаризм, как известно, до добра не доводит. Автор убедительно развенчивает и развевает легенду о ткачевском волюнтаризме.

Его бланкистские, заговорщические устремления и проповеди 70-х — начала 80-х эмигрантских годов — это уже другой вопрос. Он не снимается автором, что было бы, мягко выражаясь, опрочечено, хотя и не разрабатывается подробно.

Старший современник Ткачева агроном, химик и публицист А. Н. Энгельгард говорил: есть ученые книги воловьей ялости... Книга Б. М. Шахматова разительна иная. Изящество композиции, энергия и ясность стиля, умение, сохранив традиционную академическую технику, нарисовать этюды нетрадиционного отсвета и звучания — все это заслуживает и признания. И признательно-сти.

Ю. В. Давыдов.



С. АПТ. Над страницами Томаса Манна. Очерки. М. «Советский писатель». 1980. 392 стр.

Международная критическая литература о Томасе Манне огромна. Книга С. Апта занимает в этой литературе особое место. У автора свой подход к материалу, аналитическая мысль исследователя опирается на опыт переводчика. Работая в течение долгих лет над русскими текстами Т. Манна, включая и такие сложнейшие по языку и структуре произведения, как «Доктор Фаустус», «Избранник», «Иосиф и его братья», С. Апт проникал в тайны творческой лаборатории Т. Манна так глубоко, как это мало кому удавалось. В рецензируемую книгу входит, в частности, статья «Двойное благословение», где именно практика перевода выступает как аргумент, помогающий автору обосновать свой взгляд на неповторимо своеобразный стиль томас-манновской библейской тетралогии. Эта работа впервые была оглашена в 1975 году на международной научной конференции памяти Т. Манна в Веймаре. Я была свидетелем того, как горячо приняла это выступление советского специалиста зарубежная ученая аудитория.

Из сказанного никак не вытекает, что

книга С. Апта — труд по стилистике. Наблюдения над стилем, почерком, творческой манерой, даже над особенностями манновской лексики — все это в конечном счете помогает автору подойти с новых сторон к идейной проблематике творчества немецкого писателя. С. Апт цитирует известное высказывание Т. Манна: «Я открыто прошу избавить меня от всякого почитания, не видящего и не учитывающего органической связи между всем, что я делал как художник, и нынешней моей позицией в борьбе против третьей империи». В сущности, это и есть главная тема книги. Нравственная суть творчества Т. Манна как писателя-гуманиста, определившая с середины 30-х годов его активную антифашистскую позицию, выразилась не только в статьях и речах, открыто и недвусмысленно, но и — гораздо раньше — в романах и новеллах. Причем выразилась подчас в форме зашифрованной, намеренно незавершенной — тут имеют значение и аллюзии и символы.

Центральная часть книги называется «Принцип контрапункта». Посвященная роману «Доктор Фаустус», она написана увлекательно, можно сказать, вдохновенно, и пересказать ее почти невозможно: тут множество тонких частных наблюдений, остроумных догадок, благодаря которым даже мельчайшие детали обширного повествования оказываются не случайными, раскрываются как органически необходимые части целого. Да, «Доктор Фаустус» — роман о судьбе музыканта, человека искусства, но и не только об этом. Это роман и о Германии, в каком-то смысле даже многообъемлющая картина европейской действительности XX века. Судьба композитора Леверкюна соотносится (не отождествляется, а именно соотносится) с историческими судьбами его страны; оттого и понадобился романисту посредник-повествователь, добросовестно-ограниченный бюргер Цейтблом, понадобились и сотни, если не тысячи трудноуловимых художественных подробностей, которые, будучи взяты вместе, натапливают внимательного читателя на ряд ассоциаций, на идейно значимые выводы, далеко выходящие за пределы биографии главного героя. Художник не претендует на исчерпывающий социальный, исторический анализ германского фашизма, и странно было бы от него этого требовать. Но он по-своему, оригинальными художественными средствами, дает картину тревожной, кризисной эпохи, пробуждает у нас ощущение «сложности, противоречивости и проблематичности бытия, которые всегда родят у слушателя переплетающиеся в контрапункте мелодии». Думается, что эта работа, где показано на материале одного романа, какую ответственную идейную функцию может нести композиция, обогащает не только наше понимание Томаса Манна, но и теорию прозы.

Очень весомо не только по материалу, но и по обобщениям статья «Толстовское и манновское». О влиянии Толстого на Томаса Манна писали не раз. С. Апт подходит к этой теме по-своему, акцентируя в обоих писателях черты духовного родства: образ Толстого, говорит он, строился Т. Манном на материале его собственного «я». В этой концепции есть и нечто спорное (ведь Т. Манн довольно рано сумел разглядеть в

Толстом мужицкое, плебейское начало, которое было глубоко чуждо ему самому). Но безусловно прав исследователь, когда он, по своему обыкновению избегая упрощений, присматриваясь к таким явлениям духовной жизни, которые трудно разглядеть простым глазом, приходит к выводу: Толстой для Томаса Манна в конечном счете противопоставлен новоницеевству и «школа антифашизма». С. Апт не сбрасывает со счета многочисленных частных заимствований, тех деталей, штрихов, мотивов в книгах Т. Манна, которые восходят к русскому образцу. Однако С. Апт (в отличие от чешского исследователя А. Хофмана, с которым он спорит) не придает заимствованиям самодовлеющего значения: детали или даже целые мизансцены, «взятые» у Толстого, живут в манновском контексте другой жизнью, несут другую функцию.

Словом, перед нами интересная, богатая книга. Книга, которой суждена долгая жизнь.

Т. Мотылева.



НИКОЛАЙ КУЗЬМИН, Меч и плут. Повесть о Григории Котовском. М. Политиздат. 1981. 400 стр.

12 июня нынешнего года Григорию Ивановичу Котовскому исполнилось бы сто лет. А прожил он всего сорок четыре. В памяти народной Котовский живет молодым, сильным, красивым, бесстрашным, удачливым. Кажется, доживи он до своего столетнего юбилея, Григорий Иванович остался бы таким же. Старость не увязывается в нашем сознании с его обликом. И сил и жизнестойкости было ему отпущено от рождения не менее чем на сто лет...

Ни аресты, ни ссылки, ни тюремные камеры, ни каторга, ни смертные приговоры не погасили в нем оптимизма, не ослабили его душевного здоровья. Он был прирожденным народным вождем. Люди верили ему и без колебаний шли за ним на риск и подвиги, в смертельный бой. Таковы были его внутренняя убежденность и человеческое обаяние.

Имя Григория Ивановича Котовского стоит в ряду легендарных имен времен революции и гражданской войны. Оно вдохновило многих историков, журналистов, писателей на создание книг. Должно быть, поэтому образ Котовского столь популярен в широких читательских кругах и столь знаком едва ли не каждому в нашей стране.

В этом, вероятно, кроется причина той опаски, с которой невольно открываешь всякую новую книгу о Котовском. Не соблазнился ли автор кажущейся легкостью воссоздания многократно воспроизведенного образа, не пошел ли по исхоженному пути?

Автору повести «Меч и плут» Николаю Кузьмину, к счастью, удалось избежать этой опасности. Книга построена на материале участия кавалерийской бригады Котовского в подавлении кулацкого антоновского мятежа на Тамбовщине в 1921 году. Григорий Иванович предстает здесь перед читателем человеком, который вобрал умом и сердцем уроки, полученные от более опытных и об-

разованных революционеров-большевиков в тюремных камерах и на каторге, и вырос в зрелого, внутренне дисциплинированного бойца революции.

Сама по себе жизнь Григория Котовского безо всякого вмешательства писательской фантазии могла бы стать увлекательнейшим приключенческим романом. Однако Николай Кузьмин отказался от соблазна создать своего рода «вестерн». Писатель пошел по пути более сложному и, как мне представляется, более выигранному — по пути психологически достоверного и документально точного повествования. Приключенческую струю в биографии героя автор не мог и, разумеется, не должен был игнорировать, эта грань, возникая преимущественно в ретроспекциях, делает повествование увлекательным.

Герой повести «Меч и плуг» разгадывает хитроумные замыслы военного противника, четко воображает соотношения сил и ход предстоящего сражения. Если этого требует обстановка, он лично возглавляет атаку конной лавы. Он умеет подавить в себе эмоции, подчинить жизнь поставленной цели. Это в повести не декларируется, а изображается выпукло и убедительно. Писатель знакомит нас с живым Котовским.

Это не просто лихой рубака-кавалерист, способный заразить собственным бесстрашием всю бригаду. Котовский прежде всего военачальник. Он — политик, понимающий нужды трудового народа, ясно видящий цели великой борьбы. Убедительно выявлена еще одна важная сторона образа Котовского. Он — воспитатель масс. Это находит выражение в такой, к примеру, не самой существенной детали, как умение комбрига быть образцом для бойцов в поддержании физической формы. Для Котовского ежедневная гимнастика — закон. А что закон для Григория Ивановича, становится нормой для бригады.

Любопытен в плане психологического постижения героя повести эпизод наказания бойца Мамаева. Дело-то на первый взгляд не стоит выведенного яйца: подумает, у богатея Миловановых для «дамы сердца» куртку утащи! И ведь не последний человек в бригаде — отважный конник, прошедший с соединением весь путь с боями, ни разу не подводивший товарищей, надежный боец, преданный и бесстрашный. На таких, можно сказать, бригада держится. Но Григорий Иванович соглашается с приговором трибунала о расстреле Мамаева. Бросившему на бригаду тень, запятнавшему Красную Армию не может быть пощады. Котовский подавляет в себе жалость.

Но зато как же чуток и нежен он к обездоленному люду и — особенно — к обойденным судьбой детям! Это ярко показано писателем в отношениях между Котовским и «сыном бригады» Колькой. В них обаяние Котовского-человека обнаружилось особенно впечатляюще.

Деликатность и робость, совершенно не отвечающие внешнему облику огромного, много пережившего мужчины, которые скрывают Котовского, влюбленного в Ольгу Петровну, показывают его характер еще многограннее.

Хорошо дан в повести единый и многоликий образ всего соединения, кавалерийской

бригады Котовского. Перед читателем проходит большая галерея бойцов и командиров. Это и комиссары бригады Христофоров и Борисов, командиры Криворучко, Девятый, Зацепа, Маштава, Няга, начлуба Канделенский. За каждым именем встает полнокровный человеческий характер. А все вместе они и ряд эпизодических персонажей создают ощущение единства и слитности целостного организма — боевого кавалерийского соединения. Этот состоящий из тысяч бойцов монолог как бы представляет собой двойника комбрига Котовского, неустрашимого, целеустремленного, грозного.

Владимир Буданин.



МИХАИЛ ЧЕРНОУСОВ. Советский полпред сообщает... М. Политиздат. 1980. 271 стр.

Политический детектив прочно утвердил свою репутацию и в литературе, и в кино, и на телевизионном экране. То, что предлагал читателю журналист-международник Михаил Черноусов, я бы назвал дипломатическим детективом. И это несмотря на то, что в книге мы не найдем ни вымышленных фактов или событий, ни выдуманных героев. Она строго документальна. Автор описывает реальные события и реальных людей. Но какие события и какие люди!

Книга охватывает период 1933—1939 годов. От пожара рейхстага до пожара второй мировой войны. Используя официальные документы МИД СССР и внешнеполитических ведомств других стран, архивные материалы, опираясь на мемуары государственных деятелей и профессиональных дипломатов, исследования историков и свідетельства очевидцев, автор воссоздает картину дипломатической борьбы 30-х годов вокруг проблемы войны и мира. Эта картина насыщена внутренним драматизмом, пронизана острыми коллизиями, причудливой игрой света и тени. Как на глазах всей международной общности, так и в кулуарах, в конфиденциальной тиши кабинетов в напряженном противоборстве сошлись две идеологии — социалистическая и буржуазная, две дипломатические школы. Интригам, двуличности, хитросплетениям, коварному талейранству буржуазных внешнеполитических ведомств Советский Союз противопоставил ленинскую дипломатию — честную и последовательно миролюбивую, бескомпромиссную в принципах и готовую к компромиссам, когда идет речь о поисках взаимоприемлемых решений в интересах сохранения всеобщего мира. Разгадав суть империалистической стратегии «мироворения» агрессоров, создания «баланса сил» на антисоветской основе, СССР во всей своей деятельности руководствовался своим неизменным принципом неделимости мира и активной, целеустремленной его защиты в духе правила «не ждать мира, а бороться за него».

Под пером автора оживают люди и документы. Со страниц книги нашему взору

предстает плеяда советских дипломатов — В. П. Потемкин, И. М. Майский, А. А. Трояновский, К. К. Юренев, Я. З. Суриц, С. С. Александровский, Б. Е. Скворский, Г. А. Астахов. Их дипломатические депеши из столиц капиталистического мира, скрупулезный анализ сложной обстановки в канун второй мировой войны, их взвешенные прогнозы помогали Москве своевременно реагировать на те или иные изменения в ситуации, делать выводы и принимать решения. М. Черноусов сумел так подать и дипломатические депеши и протокольные записи бесед, что читатель становится как бы очевидцем событий полувековой давности.

Книга М. Черноусова опровергает суждения тех западных исследователей, которые считали (а кое-кто и до сих пор так считает), что предотвратить вторую мировую войну было нельзя, что она носила чуть ли не фатальный характер. Страницы истории, раскрывающие многогранную миротворческую деятельность Коммунистической партии и Советского государства и его представителей за рубежом, убеждают, однако, в обратном. Если бы в Лондоне, Париже и Вашингтоне пошли в 30-е годы на создание вместе с Советским Союзом антигитлеровской коалиции (что они сделали с трагическим запозданием — уже в разгар второй мировой войны), фашистская Германия при всем сумасбродстве ее руководства вряд ли отважилась бы на агрессию. Материалы книги выразительно рассказывают об энергичных усилиях советской дипломатии с целью создания эффективной системы коллективной безопасности в Европе. И о том, как на Западе срывали эти усилия, открывая агрессору путь на восток.

Читателя вводят и в портретную галерею представителей западного политического и дипломатического олимпа тех лет. Рузвельт и Черчилль. Барту и Лаваль. Гитлер, Риббентроп и Муссолини. Болдуин и Иден. Ллойд-Джордж и Чемберлен. Блюм и Даладье... Все они обрисованы скрупулезно, но точными, выразительными штрихами.

Вообще эта книга очень компактна. Автор владеет искусством емкой, многозначительной детали. Готовый благодатный исторический материал благодаря умелой компоновке превращен в содержательное, лишенное какой-либо легковесности, увлекательное повествование. Повествование, рассчитанное на весьма взыскательного читателя.

...В 1922 году В. И. Ленин дал такой наказ советским делегатам на Международный конгресс мира в Гааге: «Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается...» Пока такая угроза не снята, советская публицистика будет руководствоваться этим ленинским заветом, срывая покровы тайны с агрессивных приготовлений империализма. И тут исторический опыт незаменим. Книга М. Черноусова еще раз убеждает в этом.

Вл. Кузнецов.



А. Б. ДИТМАР. География в античное время (Очерки развития физико-географических идей). М. «Мысль». 1980. 149 стр.

О возрастающем в наши дни интересе к античной культуре и науке свидетельствует появление множества новых книг. А. Дитмар, автор одной из таких работ, полагает, что «изучение физико-географических проблем древних должно вестись в свете проблем современной физической географии». На том, как автор реализует этот подход, мы и остановимся.

...Крупнейшие географические открытия, например открытие Америки, серьезнейшим образом влияли на мировоззрение людей. Но в литературе практически совершенно обойден вопрос о методологическом значении географической науки для философии и науки в целом. Вспомним основной принцип средневековой метафизической философии: «...истории природы, — как отмечал Ф. Энгельс, — приписывалось только развертывание в пространстве», — но природу в пространстве «развертывала» перед мыслящим человеком именно география, и ей принадлежит важнейшая методологическая роль в формировании этого философского принципа.

Историки науки обычно пытаются датировать начало географии появлением первого описания ойкумены или первой карты, обычно «сталкивая» при этом Анаксимандра с Гекатеем... А. Дитмар, разумеется, рассмотрел этот вопрос, но в согласии с общим замыслом книги поставил проблему о начале географии значительно шире.

Современная физическая география занимается изучением процессов взаимодействия между такими компонентами природы, как земля, вода, воздух, солнечное тепло, жизнь... Эти же самые явления природы окружали и первых древнегреческих мудрецов, и поэтому совершенно естественно — как естественно дышать и пить воду — раннеантичные натурфилософы строили свои концепции, положив в основу их один из физико-географических компонентов, или, как они говорили, одну из «стихий»: Фалес — воду, Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь. Конечно, они придавали и символическое и вездусущее значение этим «стихиям», но очевидно, что раннеантичная натурфилософия вырастала на реальной географической основе, она методологически географична. Поэтому и есть основания утверждать, что география создана не автором первого землеописания или первой карты, а всей античной натурфилософией, всей античной наукой. Это было, если так позволительно выразиться, «взаиморождение», невозможное без взаимовлияния, взаимопроникновения. Но вот так оценить давно происшедшее можно лишь «в свете проблем современной физической географии». Это дискуссионно, но чрезвычайно интересно.

Однако автор, думается, не всегда последователен. Он совершенно сознательно исключил из книги проблему влияния физико-географических условий на человека. Тема же эта присутствует у многих мыслителей античности (Гиппарх, Геродот, Страбон и другие). Проблема, как известно, дождала до

наших дней, а на более ранних этапах способствовала борьбе материализма против религиозных концепций (вновь — методологическое значение географии для науки). В плане же нынешних задач этот пропуск досажен еще и потому, что именно география (начиная с XIX века) установила обратную связь в проблеме взаимодействия человека с природой, выявила главенствующую роль человеческого общества в этом процессе, что нашло окончательное решение в историческом материализме (еще один методологический аспект).

Последнее. Дитмар совершенно справедливо констатирует: «...именно античным ученым принадлежит первая попытка осмысления всеобщности связей внутри материального мира, его единства». И автор всей своей книгой как бы агитирует за такой подход к пониманию окружающего мира. Но осмысление всеобщности и единства мира — одна из важнейших задач современной науки в целом, географии в частности, что и делает историческую книгу до-настоящему актуальной. И, пожалуй, позволяет понять, почему возрастает ныне интерес к античной культуре. Мудрый Гёте когда-то сказал примерно следующее: пусть каждый будет древним греком на свой лад, но пусть он все же будет им... Конечно же, древние греки были очень разными. Лучших представителей античной культуры отличали гармоничность ума, души, тела и, главное, разносторонность и целостность миропонимания... Но ведь и мы стремимся к этому и этого желаем будущим поколениям.

И. Трифильцев.



П. ТОПЕР. Овладение реальностью. Статьи. М. «Советский писатель». 1980. 472 стр.

Сборник статей Павла Топера посвящен в основном проблемам развития литературы и искусства в странах социалистического содружества. Здесь рассматривается принципиально новый характер взаимосвязей и взаимоотношений, которые сложились за последние десятилетия и продолжают складываться между литературами стран социализма.

Старая истина о том, что культуры разных народов во все времена развивались не изолированно, а в общении между собой, ныне приобретает новый качественный оттенок в связи с новым характером культурного общения и взаимообогащения народов социалистических стран.

Понятно, что литературы стран социалистического содружества имеют общие и Ростов-на-Дону.

специфические черты, обусловленные многими социально-историческими факторами. П. Топер удачно прослеживает диалектику общего и особенного, сопоставля творческую практику художников, работающих в каждой из социалистических стран. Книга П. Топера убеждает читателя, что эти литературы сильны общим пафосом исторического оптимизма, который особенно ощутим на фоне идейно-художественного кризиса буржуазного искусства. И, как справедливо считает автор, сегодня можно говорить о том, что литература стран социалистического содружества оказывает огромное воздействие на мировой литературный процесс. Вот почему перед литературной наукой и критикой, по мысли П. Топера, с особой остротой встает задача сравнительно-типологического изучения литератур стран социализма в масштабах содружества в целом. Это требует от исследователей расширения их методологического арсенала, широкого включения опыта советской литературы в контекст развития братских социалистических литератур, опирающихся на твердую основу единого для них творческого метода. Правда, и в первом, теоретическом, разделе книги и в третьем, монографическом, посвященном творчеству отдельных писателей ГДР, общие тезисы о сравнительно-типологическом изучении, об опыте советской литературы оказались, на мой взгляд, недостаточно подкреплены конкретным анализом. Счастливым исключением с этой точки зрения составляют статьи «В горьковской перспективе» и «Библиотека Победы», заметки о творчестве А. Зегерс, М. Шульца, Б. Рейман. Проблемы комплексного подхода к изучению художественных взаимовлияний затронуты и во втором разделе книги — в статьях о видных советских литературоведах и критиках Б. Рюрикове, Б. Сучкове и Е. Книпович. Сами по себе эти статьи хороши, но ведь не секрет, что при всей важности критических исследований именно художественная практика определяет интенсивность взаимодействия культур. Она и требует к себе со стороны теоретиков первостепенного внимания.

Да, не все статьи сборника «Овладение реальностью» равноценны. Но читая даже те из них, с которыми не до конца соглашаешься, отмечаешь талант автора, его эрудицию, стремление внести реальный вклад в творческое развитие марксистско-ленинской эстетики. Книга П. Топера, посвященная литературе стран социалистического содружества, приобретает сегодня особую важность, становится фактом нашей идеологической жизни.

Вл. Котовсков.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О государстве. 24 стр. Цена 3 к.

Л. И. Брежнев. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 3. 623 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи. Т. 8. 800 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Гуревич. Спасет ли мессия? Философско-публицистический очерк. 272 стр. Цена 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Адамян. Трое под одной крышей. Повесть, рассказы. 272 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ж. Грива. Любовь и ненависть. Роман. Перевод с латышского. 464 стр. Цена 1 р. 90 к.

О. Мирошниченко. Закон Паскаля. Повести. 256 стр. Цена 95 к.

С. Смоляницкий. Дойти до горизонта. Повесть, рассказы, очерки. 495 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Джагаров. Времена года. Стихи. Перевод с болгарского. 223 стр. Цена 80 к.

Избранные произведения поэтов Азии. Переводы. 703 стр. Цена 4 р.

М. Ларни. Прекрасная свинарка. Роман. Рассказы.— **Л. Виита.** Морена. Роман. Перевод с финского. 606 стр. Цена 3 р. 80 к.

А. Моравиа. Рассказы. Перевод с итальянского. 414 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. Шнурре. Когда отцовы усы еще были рыжими. Роман. Рассказы. Перевод с немецкого. 462 стр. Цена 2 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ч. Айтматов. Буранный полустанок. Роман. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Андреев. Лиственный свет. Стихотворения. 31 стр. Цена 10 к.

Е. Астахов. Наш старый добрый двор. Роман. 271 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Калинауснас. Запахи земли. Стихи. Перевод с литовского. 32 стр. Цена 15 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Амлинский. Сегодня и навсегда. Роман, повесть, рассказы. 383 стр. Цена 85 к.

В. Железников. Чучело. Повесть. 206 стр. Цена 45 к.

С. Иванов. Июнь, июль, август. Повесть. 224 стр. Цена 70 к.

М. Ломоносов. Избранное. Оды, послания, стихотворения. Составление и вступительная статья В. И. Коровина. 158 стр. Цена 45 к.

М. Лященко. Из Питера в Питер. Повести. 303 стр. Цена 75 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Д. Гусаров. Избранные сочинения в 2-х тт. Вступительная статья В. Бондаренко. Т. 1. 654 стр. Цена 2 р. 60 к.

Ю. Додолев. Сразу после войны. Повести и рассказы. 432 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Крупин. Верное воскресенье. Рассказы, очерки, повесть. («Новинки «Современника») 303 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ПРОГРЕСС»

П. Виджайя. Когда сгущается тьма. Повесть. Телеграмма. Роман. Перевод с индонезийского. 239 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Крусси. Хищник. Роман. Перевод с французского. 256 стр. Цена 1 р. 40 к.

Лао Шэ. Рикша. Записки о Кошачьем городе. Под пурпурными стягами. Романы. Рассказы.— Старый вол, разбитая повозка. Эссе. Перевод с китайского. 512 стр. Цена 3 р. 60 к.

«ИСКУССТВО»

И. Вдовина. Эстетика французского персонализма. Критический очерк. 190 стр. Цена 65 к.

Современная румынская пьеса. Перевод с румынского. 759 стр. Цена 5 р. 10 к.

Р. Юренев. Книга фильмов. Статьи и рецензии разных лет. 383 стр. Цена 2 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Астраханцев. Дом к сдаче. Повести и рассказы. Красноярск. Книжное издательство. 165 стр. Цена 80 к.

М. Гроссман. Синева осенних вечеров. Стихи. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 143 стр. Цена 80 к.

Г. Иольгин. Матушка-водиня, светлая вода. Рассказы. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 133 стр. Цена 45 к.

С. Матюшин. Черемуховая долина. Рассказы. Уфа. Башкирское книжное издательство. 222 стр. Цена 65 к.

Слово гнева народного. Массовое поэтическое творчество партизан в годы Великой Отечественной войны. Львов. «Каменяр». 182 стр. Цена 70 к.

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 12. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 24/VIII 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 21/X 1981 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}, 29,3 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 10623. Тираж 350.000 экз. (1-й завод: 1—20.000 экз.) Зак. 2853.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636